

НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№ 12 2022



*Дорогие наши читатели!
Сотрудники редакции поздравляют вас
с наступающим 2023 годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам в Новом году
крепкого здоровья и благополучия!*

* * *

Серебристым, снежным хмелем
Опьяню и опьянюсь:
Сердцем, преданным метелям,
К высям неба унесусь.
В далях снежных веют крылья, —
Слышу, слышу белый зов;
В вихре звездном, без усилия
Сброшу звенья всех оков.
Опьянись же светлым хмелем,
Снежноокиим будь и Ты...
Ах, потерян счет неделям
В вихре белой красоты!

А. Блок



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
ТИХОН (ШЕВКУНОВ)
митрополит Псковский
и Порховский,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Юбилей

Поздравления Ст. Куняеву 3, 258
Пётр ТКАЧЕНКО
“Всё, что было отмечено
сердцем...” (окончание) 214

Поэзия

Андрей ШАЦКОВ
Заворожённый кистью января..... 5
Валентин ГОЛУБЕВ
Земли едва касаясь 67
Николай РАЧКОВ
“Золотые дожди” 84
Анна ЗОРИНА. До первых слёз 93
Сергей ДОНБАЙ
Твоё создание – твой дом 97
Чеченская тетрадь 168

Проза

Наталья РОМАНОВА-СЕГЕНЬ
Великий стряпчий. Роман 8
Дмитрий ЛАГУТИН
Светом и прохладой. Рассказы 70
Валерий РЫЖЕНКО
Мимолёт. Рассказ 87
Максим ВАСЮНОВ
Пушкин, прощай! Рассказы 99
Игорь ТЕРЕХОВ
Ваня, русский солдат. Рассказ 114
Виталий ЛОЗОВИЧ
“За духов неба и тундры!..”.
Повесть 121
Ирина ВИНОГРАДОВА
Кривая дорога жизнь.
Рассказ 136
Александр ВЛАДИМИРОВ
Городок в центре Вселенной.
Рассказ 139
Анастасия КОВАЛЕНКОВА
Ласточка. Рассказ 144
Ирина ОРДЫНСКАЯ
Город миллиона роз. Рассказ..... 152
Евгений ТОЛМАЧЁВ
Размышления о вечном. Рассказ.... 162

Очерк и публицистика

Наталья НАРОЧНИЦКАЯ
Приговор России вынесен и
обжалованию не подлежит..... 172

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора, зав. отделом
публицистики* —
(495) 625-01-81

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —
*редактор отдела
критики* —
(495) 625-30-47
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Константин ДОЛГОВ
Образование, наука,
культура и будущее России 179
Юрий СОКОЛОВ. К концепции
советского общества 185
Александр РОМАНОВ
Иеромонах Иоанн (Шаховской) и
Борис Петрович Вышеславцев.... 190
Виктор ИВАНОВ
В гости к Кириллице 195
Владимир ЧУГУНОВ
Крестная слава 199
Платон БЕСЕДИН
Мечта как выход из Матрицы 209

Критика

Наталья ЕГОРОВА
Сражение за вечность 226
Вячеслав ЛЮТЫЙ
Родовые вериги 238

Встречи с читателями

Александра МАЛЫГИНА
Цикориевый небосвод 243
Лена ЧАЙКА
Когда прорастаешь у моря 246
Дина ДАБРИШЮТЕ
Печаль свою оставлю ветру... 249
Юрий ТАТАРЕНКО
Отпуск в Сибири 251

Книжный развал

Алексей А. ШЕПЕЛЁВ
Не мода, но таинство 253
Наталья ЕРМЕНКОВА
Ваше Превосходительство Слово.... 256

В конце номера

Вячеслав КУПРИЯНОВ
Вокруг больших поэтов 264
Сергей КУНЯЕВ
45 лет дискуссии
“Классика и мы” 273
Андрей ТИМОФЕЕВ
Классическая литература
и современный писатель 279
Карина СЕЙДАМЕТОВА
Великолепная семёрка
“по-леонтьевски” 282
Годовое содержание журнала 283

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.12.2022. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 117342, Москва, Севастопольский проспект, 56/40 с1.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ЮБИЛЕИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕЛЕГРАММА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ
МОСКВА БУЛЬВАР ЦВЕТНОЙ Д 32 СТР 2 РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА НАШ СОВРЕ-
МЕННОК ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ С. Ю. КУНЯЕВУ=

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ВСКЛ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ.

СВОЙ САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ, ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ВЫ ПОСВЯТИЛИ ТВОР-
ЧЕСКОМУ ТРУДУ, ДОБИЛИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРИЗНАНИЯ. ВАС ЗНАЮТ КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЭТА, ГЛУБОКОГО ПИСА-
ТЕЛЯ И ПУБЛИЦИСТА. ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКИХ НРАВСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ,
НАСТОЯЩЕГО ПАТРИОТА РОССИИ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВИЖ-
НИКА РУССКОГО СЛОВА.

И КОНЕЧНО, ОСОБО ОТМЕЧУ ВАШУ ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ НА ПОСТУ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА “НАШ СОВРЕМЕННОК” – ОДНОГО ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ И ПОИСТИНЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ СТРАНЫ.

ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО.

=В. ПУТИН

НННН ВРЕМЯ-15:40

ДАТА-27. 11. 2022

ТЕЛЕГРАММА

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ВРУЧИТЬ 27/11 МОСКВА БУЛЬВАР ЦВЕТНОЙ Д 32
СТР 2 РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА НАШ СОВРЕМЕННОК ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУР-
НАЛА НАШ СОВРЕМЕННОК КУНЯЕВУ С. Ю. =

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ

ВАС ЗНАЮТ И ВЫСОКО ЦЕНЯТ КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РУССКОГО ПОЭТА
БЛЕСТЯЩЕГО ПУБЛИЦИСТА ПРОЗАИКА УЧЕНОГО И ВИДНОГО ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ДЕЯТЕЛЯ ВАШЕ МНОГОГРАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ПРОНИКНУТО ЛЮБОВЬЮ
К РОДИНЕ ЕЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ВЫ АВТОР ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЙ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ И ЛЮБИМЫХ В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОГИЕ ГО-
ДЫ ВЫ ВОЗГЛАВЛЯЕТЕ ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕ-
РИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЖУРНАЛ НАШ СОВРЕМЕННОК КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ
ХРАНИТЕЛЕМ И ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ЛУЧШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ВАШ
ТАЛАНТ МНОГОЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
СНИСКАЛИ ВАМ ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ И ИНТЕРЕС КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО СООБЩЕСТВА ТАК И САМОГО ШИРОКОГО КРУГА ЧИТАТЕЛЕЙ В ЭТОТ ЗНА-
МЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ КРЕПКО-
ГО ЗДОРОВЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ

=ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИИ

С. Е. НАРЫШКИН-

НННН ВРЕМЯ-15:50

ДАТА-25. 11. 2022

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*Главному редактору журнала “Наш современник”
С. Ю. Куняеву*

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Примите сердечные поздравления с 90-летием со дня рождения.

Вас знают как талантливого поэта, публициста и прозаика, принадлежащего к плеяде ярких, неординарных личностей. Ваше многогранное творчество, пронизанное большой любовью к Родине и людям, наполнено искренними чувствами, находит живой отклик в сердцах всех читателей.

Более тридцати лет Вы возглавляете журнал “Наш современник”, вносите значимый вклад в сохранение и приумножение славных традиций отечественной литературы. Поистине восхищают Ваши неиссякаемая энергия, жизнелюбие, умение ценить каждый прожитый день.

От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, творческих успехов и всего самого доброго.

В. И. МАТВИЕНКО

**Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
поздравил главного редактора журнала “Наш современник”
С. Ю. Куняева с 90-летием со дня рождения**

*Главному редактору журнала “Наш современник”
С. Ю. Куняеву*

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Примите сердечные поздравления со знаменательной датой – 90-летием.

Ваш жизненный путь ярок и долог, насыщен многими событиями и свершениями. Отраднo отметить, что, несмотря на столь почтенный возраст, Вы по-прежнему преисполнены творческих сил и желания трудиться на пользу нашей страны.

Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей культуры, главная цель которых – служение Отечеству. Об этом убедительно свидетельствуют Ваши произведения, проникнутые горячей любовью к Родине, искренним сопереживанием людям, способным преодолевать различные трудности и испытания, выпадающие на их долю.

Ваша приверженность высоким моральным идеалам, а также традициям классической русской литературы оказывает благотворное влияние на содержание и качество публикуемых материалов в журнале, которым Вы руководите уже более 30 лет. Радует, что сегодня это популярное издание, как и в прежние годы, помогает многим читателям ориентироваться в непростых реалиях нашего времени.

Во внимание к вкладу в сохранение непреходящих духовно-нравственных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени).

Желаю Вам неоскудевающих сил, душевного мира и успехов во всех добрых делах и начинаниях.

С уважением
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

АНДРЕЙ ШАЦКОВ



ЗАВОРОЖЁННЫЙ КИСТЬЮ ЯНВАРЯ

ДЕДУ

*Командиру 61-й Никопольской
гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майору ШАЦКОВУ АНДРЕЮ
ГЕОРГИЕВИЧУ посвящается*

Под Никополем ветры злобно воют,
И “Хаймерсы” летят над головою,
В багровом небе выжигая след...
В шинели генеральской светло-серой,
Крещённый пролетарской красной верой,
Во фронт поднялся мой далёкий дед!

Он Никополь когда-то брал с налёта.
Не выдала усталая пехота,
Когда за дедом грозно встала в цепь...
Всегда в России были генералы,
Которые в атаках умирали
И окропляли кровью злую степь.

ШАЦКОВ Андрей Владиславович родился 1 декабря 1952 года в Москве. Автор четырнадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ и многих литературных премий и наград. Главный редактор альманаха “День поэзии — XXI век”. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Проживает в Москве и в Рузе.

И нам судьба дорушить Рейха иго.
За нами — Бог, а впереди — князь Игорь
Добрался до заветного Донца,
Чтоб на скрижалях вечности героям
Застыть единым нерушимым строем
И достичь до звёздного венца!

О ВЕЧНОСТИ

А вечность течёт и уходит в песок —
Прибрежный песок камышовой протоки.
И с устьем сольётся далёкий исток
Той жизни, чей Богом отмеренный срок
Позволил родить эти грустные строки.

Они загорчат у тебя на губах,
Когда их прочесть попытаешься тихо.
Они упорхнут перепёлкой в хлебах,
Узорами лягут на ворот рубах,
Их осенью в землю стряхнёт облепиха.

Бог милостив: ты не приходишь во сны.
И имя твоё перестало “святиться”.
Лишь память осталась от давней весны
И держит на кончике острой блесны,
Как щуку, что вышла из льдов нереститься.

Кончается путь, и кончается лес.
Гудит электричка у края погоста*.
И ангелы машут призывно с небес,
Из горней обители райских чудес,
А может быть, это почудилось просто.

И сын возвращается вечной зимой,
Полночную дверь открывая без стука.
Мы были когда-то единой семьёй,
Теперь он кружит горюном над землёй
И плачет слезой нерождённого внука!

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

Пейзаж в оконной раме: “Руза спит...”
Морозной вязью — на стекле названье.
И даже вьюга — Божье наказание —
Затворницей ушла в еловый скит.

Заворожённый кистью января,
Я не оставляю пост свой полуночный.
На городок из прошлого — лубочный
Ещё не пала робкая заря.

Собака спит. Печной проём — в золе.
И Спас глядит пронзительно и строго,
Как утопает в замети дорога,
Как без движенья стилос на столе

* Ваганьковское кладбище своей тыльной стороной выходит к Белорусской железной дороге у станции “Беговая”.

Застыл поверх нетронутых бумаг,
Предвестником поэмы о печали,
Которой, очевидно изначале,
Название будет: "Горе от ума".

На сотни вёрст, на сотни дней окрест
Лежит загадкой белое пространство.
И светит с неба полумесяц ханства
На птичий след — на русских вранов крест...

Я эту ночь, что мiнула без сна
С бесшумною повадкой снежной рыси,
Возьму с собой в заоблачные выси,
Когда придёт последняя весна!

ЭТИ ГОДЫ

Задыхаюсь от нежности к этим годам
И в былое опять возвращаюсь упрямо...
В нём цвели георгины по дачным садам
И спускалась с крыльца синеглазая мама.

И парил над верандой дощатый балкон,
И скрипели под шагом сандалий ступени...
И взлетал поутру херувим-махаон
На процветшие гроздья махровой сирени.

И бежали в торосах коры муравьи
До вершины сосны, подпирающей небо,
Охраняющей лучшие годы мои
С молоком и краюхою тёплого хлеба...

Со слюдою стрекоз, со слезами росы
И царапиной, честно полученной в драке...
С летним зноем в канун приближенья грозы
И любовью навек к самой первой собаке.

Это снится всё реже, среди суетных снов,
Где в затменьи мелькают недобрые лица,
Где проносятся стаи кладбищенских сов...
Но легла на бумагу годов вереница,

Тех, которых теперь не предаю, не отдаю.
Да не имут они ни сомненья, ни срама...
Я несу их на холм, к заповедным цветам,
Под которыми ждёт синеглазая мама.

.....
Сердечно поздравляем дорогого нашего автора и друга с 70-летием!

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА-СЕГЕНЬ

ВЕЛИКИЙ СТЯПЧИЙ

РОМАН

Да, это была не Лета, но как похожа на неё! Красивую молодую женщину звали Зинаидой.

— Редкое имя у вас, — сказал Борис Андреевич при знакомстве и автоматически посмотрел на безымянный палец правой руки. Обручального кольца нет.

Новая знакомая, улыбнувшись, пожала плечами. Под октябрьским дождем он с приятелем проводил её до дома. Рогачёву очень хотелось, чтобы Зина пригласила их на чай, но этого не последовало.

— Красивая баба! — Приятель восхищённо смотрел ей вслед. — Свободная, главное! Двадцать семь и не замужем. Куда мужики смотрят?!

Двадцать семь, значит, на тринадцать лет меня младше, — подсчитал Рогачёв. Ему очень приглянулась Зинаида. Живым ответом Леты.

Зинаида Петровна Тыщенкова работала бухгалтером в областном суде, на сленге юристов — в “вобле”. В эту “воблу” и зачастил Рогачёв.

— Признаться, глядя на вас, такую изящную, Зинаида Петровна — звучит тяжело. — Борис Андреевич положил на бухгалтерские бумаги коробку конфет треугольной формы. — Можно я буду вас называть Зиной?

Зина, сидя за своим рабочим столом, сосредоточенно что-то искала в сумочке.

— Ой, а я и не слышала, как вы вошли! — Она улыбнулась Рогачёву и коробке конфет. — Какая интересная геометрия коробки!

— Зиночка, а вы внутрь загляните. — Рогачёв с нескрываемым интересом смотрел на красивую бухгалтершу.

Копия Леты, но взрослой. Надо же... Те же золотые волосы, каре-зелёные глаза, та же посадка головы, красиво очерченные плечи, царственная осанка, да ещё — волнующее декольте...

— А давайте пить чай! — Зинаида весело посмотрела на Рогачёва.

— А давайте! — кивнул адвокат.

Через месяц они вместе укатили в испанскую Каталонию.

Рогачёву было несказанно хорошо с Зиной. Помимо красоты, она отличалась весёлым нравом, острым умом и здоровым пофигизмом. Его новая пассия никогда не беспокоилась по пустякам, даже самые раздражающие ме-

лочи не выводили её из себя, и, кажется, она всегда засыпала со спокойной душой, не имея привычки терзать себя и других.

Борис Андреевич ценил лёгкость их отношений. Вместе с тем он чётко осознал, что всё сильнее привязывается к этой незаурядной женщине с лилейной кожей. Она была слишком похожа на Лету, но при этом так не похожа на неё. Рогачёв постоянно их сравнивал. Когда-то его магически притягивали холодность и недоступность Леты, а сейчас его заводила страсть Зинаиды.

После скандала из-за родственников жена Рогачёва Лариса, помытарившись где-то неделку, вернулась в родные пенаты. Борис Андреевич даже не заинтересовался, где она была. Отношения между ними стали натянутее, но Рогачёва это нисколько не расстраивало, напротив, он ещё усугублял семейную ситуацию, подкидывая дровишек в огонь. Нет, он не затевал ссоры, не устраивал скандалы, не вступал в перепалки. Он вежливо хамил, изощрённо издеваясь, где-то даже с юмором, над постылой женой. Уходил и приходил, когда ему вздумается, не ночевал дома. Из Каталонии ни разу не позвонил.

Так продолжалось всю зиму.

— Я больше не могу! Нам нужно поговорить. — В один из февральских вечеров Лариса села напротив мужа, смотревшего телевизор.

Рогачёв мотнул головой.

— Борис! — она повысила голос. — Нам просто необходимо поговорить!

— Я смотрю хоккей.

Лариса подошла к телевизору и выключила его. Глаза Рогачёва налились бешенством. Огромного труда ему стоило сдержаться.

— Камни вопиют? — усмехнулся он, проглотив негодование.

Лариса села в кресло и, не глядя на мужа, принялась говорить, как ей трудно жить в тотальном непонимании друг друга.

— Так давай разбежимся, и дело с концом. — Рогачёв уселся на диване нога на ногу.

— То есть? — Лариса впервые за весь монолог взглянула на мужа. В этот момент с грохотом открылась форточка, и синяя штора, подобно паруснику выдулась, оторвавшись от пола.

— Почему ты не закрыл за шпингалет? — Рогачёва с укором взглянула на Бориса Андреевича и направилась к окну.

Когда она повернулась, чтобы продолжить разговор, мужа на диване уже не оказалось. Лариса вышла из комнаты. В прихожей Борис Андреевич зашнуровывал правый ботинок.

— Ты куда? — Из глаз Ларисы неожиданно брызнули слёзы.

— Извини, что я прошёлся своим грубым копытом по лепесткам твоей нежной души. — Рогачёв, взяв с вешалки куртку, вышел из квартиры.

По пути к Зине он зашёл в цветочный. Продавщица уже убирала белые вазоны в стеклянный холодильник. Борис Андреевич указал на самый большой букет и молча отсчитал деньги.

— Привет, проходи! — Зинаида совершенно не удивилась приходу любовника. — Пойдём хоккей смотреть.

— Ещё идёт? — гость с букетом в руках снимал с себя верхнюю одежду и обувь. Его задело, что Зина не обратила внимания на цветы. А не заметить такой букетнице просто невозможно. “Это она нарочно. Но зачем?”

— Куда бы притулить вот этот кустарник? — Рогачёв, зайдя в комнату, выискивал вазу.

— Какая прелесть! — Зина вдруг искренне завопила от восторга.

Она что, цветы и вправду не заметила? Рогачёв был потрясён.

Утром, едва открыв глаза, Зина сообщила:

— Я вчера поругалась с нашей главной бухгалтершей.

Рогачёв что-то промывал в ответ, ещё хотелось спать и спать.

— Поэтому я была не в настроении.

— Да? — Борис открыл левый глаз. — Что-то я не заметил твоего настроения.

— Поругалась, — вздохнула Зина. — Причём сильно.
— Чтобы ты и поругалась? Не верю! А из-за чего?
— Пустое. — Зинаида нырнула Борису под руку.
— Нет уж, говори!
— Да по работе кое-какие моменты спорные имеются. Глазбух развопи-
лась, но я ей сказала пару ласковых, и она заткнулась.
— Да? И каких это ласковых, интересно?
— Сказала, что живу напротив кладбища. А будет выпендриваться, бу-
дет жить напротив меня.

Рогачёв усмехнулся.

— А что? — Зина перебросила волосы через плечо. — Закажу... А те-
бя, — она подмигнула Борису, — в случае чего, адвокатом найму.

Рогачёв резко откинул одеяло, подошёл к окну, раздвинул портьеры. День только зачинался. Борис, опершись на широкий подоконник, долго вглядывался в плавную линию горизонта, перед которой всё было усеяно крестами.

“А я ведь вчера собирался ей сказать, что ухожу от Шейнис. И поче-
му же не сказал? Ну, подумаешь, не отреагировала на букет. Может, хоте-
ла показать, что ей десятками их дарили. Что, мол, привычная к цветам.
Но я-то не кто-то, а я! А может, и впрямь так была увлечена этим хокке-
ем? Странная особа и интересная... Так что же мне, говорить про уход от
жены?”

Зина, словно зная о его важных рассуждениях, тихонько вышла из спаль-
ни и прикрыла за собой дверь, оставив голого Бориса одного в комнате.

По его душе блуждала смута. Любит ли он её? Ему с ней хорошо, это точно. С ней просто, легко, забавно. И главное, она напоминает Лету. А это заводит. А любить? Пожалуй, да, любит. Но самой обычной любовью. Как, к примеру, когда-то Тоню. С этой любовью можно жить, но и без неё про-
жить тоже можно. Но вот той, нечеловеческой любви, о которой говорила
Цветаева, у него к Зине нет. Она была к Лете. И даётся она один раз. Ви-
димо, ему её уже выдали и обозначили в реестре. Но неужели всего один
раз? Тогда она в прошлом, эта нечеловеческая любовь. А дальше-то как? Ле-
та умерла, но он-то живой. И к Зине его тянет. Особенно в постели с ней
хорошо.

Этот Новый год он отмечал с женой и друзьями на даче. Зина тридца-
того сказала, что улетает с матерью к бабке. Родственники сообщили, что та
очень плоха. Борис злился на эту бабку, но бабка, надо отдать ей должное,
не придумывала себе болезни, а к приезду дочки и внучки вообще впала
в кому. Встретив в таком состоянии Новый год, благополучно скончалась
третьего числа.

Стараясь не думать о Зине, Борис весь Новый год веселился от души
с друзьями, и даже с женой был приветлив. Лариса, подвыпив, старалась за-
тащить его в спальню, но, увы, ей так и не удалось соблазнить собствен-
ного мужа.

Уже за полночь Борис жарил шашлыки, а друзья, рассматривая новый
флаг, спрашивали о Каталонии.

— Ну что, посетил долгострой? — спросил Сэм, обнимая за талию кра-
савицу Вику.

Самуил Викторович Коржанский, он же Сэм, был давним приятелем Ро-
гачёва. Они вместе работали. Ничем не примечательный Коржанский, чело-
век с заурядной внешностью, имел постоянно связи на стороне. Вот и сего-
дня он пришёл к другу со своей очередной любовницей. Его жена с тремя
детьми уехала к родителям, причём, самое смешное, — к его родителям,
в соседний город.

Лариса, встречая гостей, ахнула, увидев на пороге Коржанского с незна-
комой дамой. Рогачёв больно сжал жене локоть.

— Я его сейчас выставлю за дверь! — сказала она Борису, как только
они остались вдвоём в одной из многочисленных комнат дачи.

— Только попробуй!

— Это беспутство, Борис! Неужели ты одобряешь?

Коржанский, конечно, обнаглел, притащив эту левую бабу к ним на Новый год. И, главное, не боится огласки. Нет, Борис не побежит кому-либо докладывать. А вот Лариса... Но кроме Ларисы ещё есть кому. Петровы Мишка да Марья, Локтиенко Колька, Разумов Димка с Алёной.

— Это как понимать? — шепнул Борис Коржанскому, кивнув в сторону Вики. — А Марина если узнает? Смелый какой. Всё-таки осторожность и конспиративность не помешали бы.

— А! — Сэм махнул рукой. — Как-нибудь.

Эх, бабы, бабы... И чего вот ты, Маринка, попёрлась к родителям, оставив своего мужика одного на растерзание этой волчице? Рогачёв посмотрел на ногти Вики, длинные и беспощадные, окрашенные кроваво-красным лаком.

— Долгострой-то посетил, спрашиваю? — переспросил Сэм. — Собор Святого Семейства, — уточнил он.

— Искупительный храм Святого Семейства он называется. — Рогачёв нанизывал куски мяса на шампур. — Да, был там.

— И что, он до сих пор в лесах, как говорят?

— Знаешь, старик, а строительные леса и краны несколько не портят впечатления от собора, даже наоборот! Словно вечность и временность соединились в одном месте. А вообще, ребята, скажу я вам, издалека храм Гауди похож на песочный замок, с невероятным количеством различных башенок, а вблизи напоминает остатки кораллового рифа.

— Как здорово, Борис, вы рассказываете! — Вика с нескрываемым интересом посмотрела на Рогачёва. — Так и захотелось там побывать.

— Архитектура — моя страсть...

— Дорогая, сходи к Ларисе за помидорами! — Коржанский зло взглянул на свою любовницу. — Захотелось ей... — прошептал он вслед девушке.

Борис продолжал нанизывать мясо на шампуры.

— А мне он показался зловещим, собор этот, хоть я никогда его и не видел вживую. — Колька Локтиенко налил в рюмки коньяк. — За Новый год, братцы!

— Пусть хоть он не будет зловещим, — подхватил его Сэм и опрокинул в себя рюмку, закусил лимоном.

В этот день он изрядно напился. Сдержанно попрощавшись с Зиной, отправился сначала к Локтиенко. Локоть жил один. По известным только ему соображениям, Николай Петрович в свои сорок пять ни разу не был женат. У него случались романы, но все они были непродолжительными и, по рассказам Локтя, какими-то безынтересными и вымученными. Сейчас Локтиенко снова находился в активном поиске.

Николай Петрович работал травматологом. Борис познакомился с ним много лет назад, когда привозил на приём отчима со сломанной шейкой бедра. Потом Локтиенко обратился к Рогачёву за адвокатской помощью. Так и началось их приятельство.

Локоть, несмотря на то, что ломал кости и правил суставы, имел щуплый вид, что никак не вязалось у Бориса с образом травматолога. Ему казалось, что травматолог должен быть приземистым громилой с большими корявыми руками и коротким могучим торсом. Однако Николай Петрович слыл хоршим врачом и приятным собеседником.

Рогачёв и не заметил, как под водочку и манты поведал приятелю о том, что его мучило.

— Знаешь, Борька, а тебе всё-таки повезло. — Локтиенко внимательно посмотрел на друга. — Ты любил, хоть это и в прошлом. Мне же не довелось испытать этого.

— Но ты же...

— Всё какая-то бутафория. А у тебя настоящее. И сейчас, как я почувствовал, тоже не шуточное.

— Так что, уходить мне от Ларки?

— Уходи, а я на ней женюсь! — засмеялся Локтиенко.

— Вот как? — Рогачёв оглядел приятеля. В случае чего он этого Локтя кулаком перешибет.

— А что ты хотел? Такими женщинами, как твоя Лариса, не разбрасываются. Заботливая, нежная, тактичная.

— А Зина? Сам же сказал, что понял, что у меня по-настоящему.

— И Зиной не разбрасываются.

— Так что же делать?

— Не знаю, приятель, не знаю. Думай сам.

Молодец, друг Колька, помог. Нечего сказать! Рогачёв, покинув берлогу Локтя, плюхнулся на заснеженную скамейку возле подъезда. Хотелось пить. Он, зачерпнув пригоршню снега, сунул её в рот.

— А если чего покрепче? — услышал он над собой голос. Перед ним стоял мужичок с портвешком. — Не откажи. — Мужик сел рядом с Борисом.

— Чего ж обижать хороших людей. — Рогачёв протянул руку к портвейну.

Выпив бутылку, они со Славой, так звали мужика, пошли куда-то за самогоном. Через какое-то облезлое окно выдали то отвратительное пойло, от которого у Бориса наутро нещадно болела голова.

Проснулся он дома в супружеской кровати. Лариса безмятежно спала рядом.

— А кто поселился рядом с кладбищем? — первое, что спросила жена.

— Что? — не понял Борис.

— Да ты вчера одно твердил: как можно жить возле кладбища да как можно жить возле кладбища?

Рогачёв осторожно взглянул на жену. Выдержал паузу.

— Бред нёс. Накосорезился беспощадно.

— И вправду, как можно жить возле кладбища? Там мёртвая энергетика.

— Так это на кладбище мёртвая, — слабо улыбнулся он.

— И на округу распространяется, — категорично заявила Лариса.

Как он вчера столь сильно нажрался, что опустился до постели с женой? — Борис смотрел на своё отражение в зеркале ванной. Помятое донельзя. В голове раскардаш.

— Лара, дай анальгина, — выкрикнул он, приоткрыв дверь.

Надо было собираться на работу. Сегодня Рогачёв защищал одного очень серьёзного клиента.

“Вообще-то она очень даже живая, её энергетика”, — по дороге на работу Борис думал о Зине. И тем не менее море кладбищенских крестов под её окошками не давало Рогачёву покоя.

Самозабвенно любя деньги, адвокат Рогачёв брался за любое дело. Но и не только поэтому. Он хотел быть правозащитником-асом, звездой адвокатуры. Однажды необходимо было взять под защиту серийного убийцу, вина которого казалась очевидной. Никто из его коллег не согласился выступить на стороне маньяка.

— Пусть назначают! — заявили адвокаты. — Добровольно мы не станем.

Родственники обвиняемого предложили внушительную сумму, и тем не менее все правозащитники наотрез отказались, кроме одного: Рогачёва Бориса Андреевича:

— Каждый гражданин имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты своих прав и свобод. Коллеги, вам ли не знать?

И добился для отпетого убийцы смягчения приговора!

В тот день, когда Рогачёв пришёл на судебное заседание с глубокого похмелья, решалась судьба одной очень важной персоны — главы крупной преступной группировки.

Адвокат Рогачёв в возбуждённом состоянии приехал в коллегии и прошёл в свой кабинет. Хотелось побыть одному, посмаковать защиту. После окончания судебного заседания к нему подошли какие-то люди с просьбой об аудиенции, но Борис Андреевич сказал, что после вынесения приговора, какой бы он ни был, ему всегда необходима полная изоляция.

Рогачёв достал сигару. С недавнего времени предпочитал доминиканские. Адвокат несколько лет назад побывал в Сантьяго-де-лос-Кабальерос,

его тронуло, как работают торседоры. Не каждый отец с такой любовью будет пеленать собственное дитя, как крутильщики вручную скручивают сигары из листьев табака.

Рогачёв облизал шапочку и гильотинкой с двумя лезвиями обрезал её. По обыкновению, сделал “холодную” затяжку. Оценил вкус табака. Отменный! В этот момент в дверь постучали. Сладкое предвкушение от раскуривания сигары сменила досада.

— Я занят! — выкрикнул Рогачёв, вспоминая, закрыл ли он дверь на ключ, однако в следующую секунду он увидел на пороге улыбающуюся Зинаиду.

До его носа тотчас же долетел запах её духов — прекрасный, насыщенный, но не навязчивый. С непокрытой головой, в длинном чёрном кожаном плаще, вверху опущённом чернобуркой, Зинаида, кроме духов, благоухала начавшейся холодной весной, принеся запахи свежей морозной улицы. На её распущенных волосах и воротнике блестели растаявшие снежинки.

Рогачёв отложил сигару и, облокотившись о стол, раздумчиво смотрел на любовницу. Она очень похожа на Лету, — в сотый раз признался он себе. Но живая. Даже с холодной улицы пришла горячая! А Лета? Холодная рыба. Да ну её, эту Лету.

И тут случилось невероятное. Сознание, постоянно мучавшее горькими воспоминаниями, вдруг толчком выдавило из себя ту далёкую и желанную девушку, холодную, но с жарким именем. Она даже сгорела на улице Пламенных Революционеров!

Остро почувствовав свободу, Борис откинулся на спинку кресла и расплылся в улыбке:

— Какой сегодня удачный день!

— Да. Я уже слышана о твоём адвокатском подвиге.

— Ну надо же, — усмехнулся Рогачёв, — а прошло-то всего ничего...

— Как говорится, земля слухами полнится. Вот зашла тебя поздравить. Их взгляды встретились.

— Зина, я люблю тебя, — как-то очень запросто сказал Борис.

Зинаида удивлённо посмотрела на него. Казалось, она даже несколько растерялась от его признания.

— Бывает... — только и нашла она, что ответить.

— А не закатить ли нам по этому поводу пир горой? — Рогачёв энергично принялся собирать у себя на столе бумаги. — Поехали в какой-нибудь ресторанчик.

— Не могу, — вздохнула Зина.

— Почему?

— Потому что вот! — Она развязала пояс и распахнула плащ.

— Бог мой... — Рогачёв остолбенел. Под плащом, кроме алых коралловых бус, на Зине ничего не было...

Во время их близости непрерывно звонил телефон.

— У, паршивец! — Борис легонько стукнул по ярко-малиновому кнопочному аппарату, когда всё закончилось. — Ни раньше, ни позже!

В дверь постучали. Рогачёв, спешно заправляя рубашку в брюки и нервно приглаживая волосы, пошёл открывать. Зина, запахнув плащ, уселась на клиентское место.

Ёшкин кот! В дверях стояла Лариса.

— Привет, ты чего? — Борис старался не показать своего изумления.

— Зашла закрепить ночной успех. — Она кокетливо улыбнулась мужу и, отстранив его, вошла в кабинет.

Рогачёв кинул быстрый взгляд на любовницу. Она, расправив плечи, mildly улыбнулась вошедшей.

— Здравствуйте! — поприветствовала Лариса Зинаиду. — Так ты занят, милый?

— Нет, нет, мы уже закончили. — Зина с иронией посмотрела на Рогачёва и медленно поднялась со стула. — Я уже ухожу.

Лариса кивнула и, на ходу расстёгивая шубу, направилась к рабочему креслу мужа, а Зинаида пошла к двери.

— Подождите, — хрипло сказал Рогачёв и жестом остановил Зину, однако та сделала ещё несколько шагов по направлению к выходу. — Подожди, — повторил Борис и взял её за рукав. — Сядь! — Он указал ей на небольшой кожаный диванчик возле стены.

Она повиновалась, села на диван и сразу же взяла с прозрачного столика первый попавшийся глянцевый журнальчик. Рогачёв плотно закрыл дверь, немного подумав, повернул ключ в замке.

Лариса, восседая за столом, смотрела на мужа с любопытством. Зина же уткнулась в журнал.

— Лариса, — сказал он, но тут зазвонил телефон.

— Алло. — Жена сняла трубку. — Да здесь. Борис Андреевич, тебя.

Рогачёв взял у Ларисы трубку и положил её на рычаг. Резким движением выдернул шнур телефона из розетки. Сел на один из клиентских стульев. Лариса находилась перед ним, а Зина чуть в отдалении сбоку.

— Я всё думала, как правильно назвать цвет твоих волос? — сказал Лариса.

Зина оторвалась от журнала и посмотрела на волосы Рогачёва, задержала взгляд и снова уткнулась в журнал.

— Аспидный, — ответила Лариса на свой же вопрос.

— Чёрный, он и в Африке чёрный, — пробурчал Рогачёв. — Лариса, вот что...

— Ой, — вдруг спохватилась Лариса, — Макс же должен прийти. — Она соскочила с места. — У него ключей нет.

— Почему? — нахмурился Борис. — Отчего это у сына нет ключей от дома?

— Так мы же замок на той неделе меняли. Верхний. Вспомни-ка!

Рогачёв кивнул.

— У нас сын постоянно у бабушки с дедом живёт, у родителей моих. — Лариса, повернувшись в Зине, объясняла ей. — Домой редко-редко заглядывает.

Рогачёв встал с места.

— Ты давай скоренько все дела решай, — она махнула рукой мужу в знак прощания, — и домой. А я готовить семейный ужин. Вот и Макс дома будет в кои веки.

Борис Андреевич стоял в нерешительности, теребя запонку на рукаве рубашки.

— Кстати, от укуса аспиды умерла Клеопатра. — Лариса Рогачёва, одарив красавицу Зинаиду Тыщенко долгим взглядом, удалилась.

Рогачёв взял сигару.

— Доминиканские, — отчего-то пояснил он Зине. — Я, когда был на Гаити... Слушай, а давай на Гаити махнём? Я на самом острове был, то есть в Доминикане, а в Гаити нет.

Зина, нахмурившись, смотрела на Бориса, не выпуская журнал из рук.

— Гаити — это остров. В Карибском море. Но треть его занимает Доминиканская республика, а две трети — одноимённая республика Гаити.

— Да знаю я. — Зина положила журнал на столик. — Я была на Гаити. А ты съезди-ка туда с семьёй. — И, подняв свой чернобурый воротник, она вышла из кабинета.

Рогачёв, проводив её печальным взглядом, наконец-то раскурил свою сигару.

Ночевать домой он не пошёл. Выпив бутылку лучшего никарагуанского рома, Борис улёгся на тот самый диванчик, на котором ещё недавно сидела Зина, рассматривая журнал. Весь вечер он тщетно пытался ей дозвониться. Мобильный не отвечал. На работе её не было, и дома никто не брал трубку. Зато жена названивала ему каждые пять минут. Отключить телефон он не мог. А вдруг позвонит Зина? Но она не позвонила. У неё и в мыслях не было звонить Рогачёву.

Съездив домой и переодевшись, Зина отправилась с друзьями кататься на лыжах. Они давно её приглашали, и Зина даже согласилась, потому и взяла на работе пятничный отгул, но, к огорчению приятелей, неожиданно

поменяла планы. Зина знала, что для Бориса защита криминального авторитета Степняка, к которой он тщательно готовился, была крайне важна. Поэтому, узнав, как всё прошло, поспешила к своему любовнику. Она всегда умела удивлять и не сомневалась, что её визит в одних коралловых бусах под верхней одеждой не оставит Бориса равнодушным. К тому же в последний раз они как-то кисло расстались. Лезть к нему в душу Зина не собиралась. Да и вообще думала, что Рогачёв целиком погружён в мысли о предстоящем суде. Ан нет, не только о Степняке, видать, думал Боренька...

Зина вовремя позвонила друзьям. Они только выехали из города, но вернулись за ней. Её лыжи привязали к багажнику с остальными, и она юркнула в “девятку”. На заднем сиденье машины расположились Таня Дроботенко и Лиза Шайрулина, их мужа — Олег и Довлат — спереди.

— Эх, прокачу! — Олег завёл машину и резко тронулся с места.

Проехав сорок километров по Московскому тракту, приятели добрались до шайрулинской дачи. Участок Довлата и Лизы находился неподалёку от реки Чусовая и всего в нескольких километрах от Волчихи — горы, которую давно облюбовали лыжники.

Обычно хохотушка, Зина на сей раз вела себя крайне сдержанно. Это заметили даже Олег с Довлатом.

— Колись, в чём дело, — сказал Дроботенко.

Зина пожала плечами: мол, ты о чём?

— Я тебя сто лет знаю. — Олег никак не мог натянуть лыжный ботинок. Мал, что ли стал?

С Лизой Шамехиной, а теперь Шайрулиной, и Олегом Дроботенко Зина училась в школе. А потом, когда Лиза вышла замуж за Довлата, а Олег женился на Татьяне, стали дружить семьями. То есть они семьями, а Зина-ида дружила с их четвергом то одна, то со своим очередным. Лиза и Таня знали, что сейчас у их подруги роман с юристом. Стало быть, знали и их мужа. Однако Олег, сделав вид, что ему ничего не известно, вздохнул:

— Эх, Зинуля, тебе бы мужика хорошего. Баба-то ты справная!

— Чо это ты как-то по-стариковски заговорил? — Таня, быстрее всех снарядившись, от нечего делать тыкала лыжной палкой в снег, оставляя кружки с маленькой дырочкой. — “Баба”, “справная”, — передразнила она его.

— Хорошего, где его взять, — вздохнула Зина и лукаво посмотрела на подруг, — были всего два, да и тех разобрали. — Она скользнула взглядом по Олегу и Довлату. Эх, заурядненькие!

Все, кроме Шайрулина, отправились на гору. Довлат же остался затопить баню, но скоро и он присоединился к друзьям и жене, попросив соседа приглядывать за своим баннным хозяйством. Вдоволь накатавшись, красневшая компания в весёлом настроении вернулась восвояси. Даже Зина не выглядела столь грозно, как прежде.

— Тыщенкова, ну, не идёт тебе хмурость. — Олег вновь возился со своими лыжными ботинками. На сей раз они не хотели стаскиваться.

После лыжной прогулки всем дико хотелось есть. Наспех накрыв стол, друзья уселись за дачный ужин, который совмещали с парной. Посещать её договорились, как выразился Олег, гендерно. Поэтому в баньку время от времени наведывались то хозяйка Лиза с подругами, то Довлат с Олегом.

— Чего-то ты исхудала, мать! — в первый заход подметила Лиза, как только Зина обнажилась.

— Зато по тебе спортзал плачет, — беззлобно огрызнулась Зинаида пухленькой подруге. Она забралась на верхнюю полку парилки и легла, вытянувшись. Таня и Лиза уселись на нижние.

— Поддать? — спросила Лиза и с молчаливого согласия подруг, зачерпнув ковшом холодной воды, вылила её на каменку. Пар пошёл во все стороны, и Лиза, обжигаясь, отскочила подальше.

— Не складывается? — спросила Таня, как только рассеялся пар.

— Не-а. — Зина, лёжа на спине, подняла вверх правую ногу и достала ей дощатый потолок.

— А чо так?

— Да ну их. Мужиков этих...

— Зинка, ну, что из тебя клещами всё надо вытягивать! — насупилась Лиза. — Впрочем, не хочешь — не говори.

— Правда, чего мы пристали? — Таня поддержала подругу.

— Да чего говорить-то, девочки? — Зина перевернулась со спины на живот. — Женатик. Что тут ещё скажешь?

И она поведала подругам историю своего романа с Рогачёвым.

— А теперь я хочу уйти от него. Хватит, надоело. Сколько можно встречаться с женатыми мужиками? Всё равно в итоге одно и то же. Расставание.

— Знаешь, что! Мужчин не уводят из семьи, они уходят сами. — Таня подняла вверх указательный палец, довольная своей сентенцией. — Видимо, ему плоховастенько дома с женой.

— Плоховастенько-то плоховастенько, а всё равно не забывает про ночные утехи или что там... как выразилась его жена? — Лиза тоже забралась на верхнюю полку.

— Девочки, а что же из нас никто про любовь не говорит? — Таня посмотрела на подруг. — Зинка, скажи честно, ты хоть его любишь?

— Да, — без промедления ответила Зина.

— Так и борись за свою любовь! — Таня взяла из тазика с водой берёзовый веник. — Отвоёвывай его.

— Странно, что мне об этом говорит замужняя женщина, — засмеялась Зина. — Нет, не буду никого отвоёвывать. — Она сделалась печальной. — Ему надо, пусть сам добывается, а я уже устала от этой женатой расы. — И, взяв веник из рук Тани, яростно стала хлестать себя по спине.

Рогачёв вот уже вторые сутки не виделся с Зиной. Его тревога нарастала с каждым часом. А её мобильный по-прежнему оставался вне зоны доступа. Борис трижды безрезультатно съездил в дом напротив кладбища. В “воблу” наведываться бесполезно, суббота и воскресенье — законные выходные. Куда она могла подеваться?

Наутро третьего дня после бессонной ночи к нему вдруг вернулся его здоровый цинизм. Ситуэйшен повторяется. Не зря же они с Летой похожи. Только холодная Лета сгорела, а горячая Зинка, наверное, в сугробе замёрзла. Голая ведь в последний раз пришла.

И Рогачёв успокоился. Что толку от его переживаний? Но он дал себе твёрдое мужское слово, что если с Зиной всё в порядке, он делает ей предложение и разводится с женой. И в понедельник Борис застал пропажу на своём рабочем месте в “вобле”.

— Слава тебе Господи! И где ты была?

— Девочки, — словно не слыша Бориса, обратилась Зина к бухгалтершам в кабинете, — на моём столе лежала синяя папка.

Две тётки, сидящие за столами друг напротив друга, переглянулись.

— Она была! — настаивала Зина.

— Ах, да! — припомнила одна из тёток. — Её, кажется, главбух взяла.

— Понятно. — Тыщенкова закатила глаза.

Рогачёв то и дело переводил взгляд с двух усталых бухгалтерш на цветущую Зинаиду.

— Зинаида Петровна, давайте выйдем. Необходимо поговорить.

— У меня не скоро обед, — сказала Зина, как отрезала. — И вообще, почему у нас посторонние в кабинете? Потом вот папок не досчитаетесь!

“Ничего, ничего, — думал Рогачёв, выходя из бухгалтерии, — эта пташечка зря ерепенится. Ей от меня уже никуда не деться”.

От Зины Борис рванул в ювелирный. Он долго присматривался к кольцам, пока не выбрал, по его мнению, самое достойное. Но тут возник вопрос с размером. Как его определить-то, размер этот? Вот грудь на глаз определить можно при покупке бюстгальтера, а как на глаз определить размер пальца?

Рогачёв купил наугад: “Если подойдёт, — загадал он, — будем всегда вместе”.

Он не стал заезжать к Зине во время обеденного перерыва. Борис был ещё тем знатоком человеческих душ. “Пусть помучается. Она ведь непременно будет ждать меня в обед. Знает, что желаю с ней поговорить”.

Думать о делах не хотелось, поэтому, припарковав свой “Мерседес” недалеко от места работы Зины, отправился бесцельно слоняться по городу. Незадолго до окончания её рабочего дня он вернулся и, развалившись в машине, стал читать диалоги Платона. В его портфеле всегда лежала какая-нибудь книга. Первым делом он расправился с “Федром”.

— Сократик, ты не прав, а оратор Лисий молодец! Разумеется, человек в любви должен предпочитать отвечающего взаимностью, а не того, кто ответного чувства не проявляет. Я уже это проходил, знаю... Кстати, и Ларка тому пример.

— А вот тут ты, Сократушка, умница! Страсть не всегда зло. Даже разумная любовь несёт в себе сильнейший чувственный элемент.

— Ха! Боги отличаются от людей тем, что в их душах стихийные и разумные страсти пребывают в равновесии. Не смейся, Сократ! К кому, к кому, а к вашим богам-авантюристам это никак не относится. Сплошные неистовства и козни.

Следующим был “Пир”. Когда же этот симпозион был читан? Да на заре молодости ещё!

То ли от того, что Рогачёва смертельно утомил современный мир с его подлыми проблемами и заботами, то ли ещё по какой причине, он с упоением читал античную литературу. Сократ, Аристофан, Агафон, Эриксимах и прочие отчего-то казались ближе и понятнее.

*Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек...*

Ему нравились стихи поэта Владимира Соловьёва, жаль, умершего не так давно.

Рогачёв посмотрел на свои новенькие японские часы с корпусом из титановых сплавов, подчёркивающие достаток и социальный статус адвоката. Почти пять. Он тотчас повернул ключ зажигания, чтобы прогнать “мерина”. Понемногу из главного входа стал вытягиваться народ. Кто группками, кто поодиночке. Наконец, вышла Зина. Борис внимательно наблюдал за ней. Так... Замедленные движения. Неторопливая поступь. Оглядывается. И вообще, будто кого-то высматривает. Кого, кого... Его!

Рогачёв закинул Платона через плечо на заднее сидение и выехал из своего укрытия. Поравнявшись с Зиной, открыл окно.

— Садись.

— И не подумаю. — Зина гордо вышагивала по заснеженному тротуару.

— Садись!

— Вот ещё! И вообще, выедь из моей интимной социальной зоны.

“Выедь... Да, грамотность, Зинуленька, зашкаливает”, — Рогачёв усмехнулся, но вслух сказал другое:

— Садись, кому говорят!

— Слушай, Рогачёв. — Зинаида остановилась. Её красные влажные губы слегка скривились. — А иди-ка ты, знаешь, куда...

— Смело. — Борис потёр подбородок. — Смело, однако. — И он, что было силы, нажал на сигнал. “Мерин”, громко заржав, напугал Зину. Она резко отшатнулась:

— Ты дурак, что ли?

— Ага, а ты трусиха. Ну, садись же. Боишься?

— А чего мне бояться?

— Тогда садись.

Зина, перешагнув небольшой сугроб, обошла “Мерседес” спереди. В это время Борис распахнул для неё дверцу.

— Ну, села. Дальше что?

— А дальше вопрос. Почему ты никогда не говорила о желании совместной жизни?

— С кем? — опешила Зинаида.

— С Папой Римским! Ну, ты даёшь, Зинаида. Тебя и меня это вообще касается.

Зина внимательно посмотрела на Бориса, а затем, отведя взгляд, стала через лобовое стекло смотреть на прохожих. Сгущались мартовские сумерки.

— Какое всё усталое... Усталые люди, усталые улицы, усталые дома. Даже фонари как-то устало светят. Знаешь, Борис, и я тоже устала. Пойду-ка домой. И не держи меня.

Она удалялась по широкому проспекту, запруженному людьми, спешащими уйти от дневных забот в уютный мартовский вечер с чашкой чая, пледом, телевизором, домашними заданиями детей, а может, с развесёлыми друзьями и рекой шампанского. Наверное, из них тоже кто-то был одинок, но почему-то лишь одна молодая красивая женщина, не знавшая себе равных в обворожительности, вышагивала по ярко освещённому мегаполису с пудовой усталостью бытия.

Придя домой, Зина, не снимая кожаного плаща, легла на кровать. Чернобурый воротник щекотал щёку. Зину знобило. Ничего не хотелось. Горячего чаю. Но вставать заваривать его никаких сил. Она провалилась в сон, а проснулась от звонка в дверь. Залихватская мелодия заставила её встрепенуться. Ещё трель, ещё одна. Зина села на кровати. Кромешная тьма. Сколько времени? Она с трудом встала с постели. Надо же, уснула в плаще! В это же время в сумочке зазвонила "Моторола". Зина, перешагивая через сумку, брошенную возле кровати, пошла открывать дверь. Каждый шаг давался с болью. Она с трудом открыла дверной засов, обессиленные руки не повиновались. Зажмурилась от подъездного света, бьющего в глаза.

— Ты?

На пороге стоял Борис, в одной руке он держал портфель, в другой — пакет с шоколадными пряниками, а позади него стояла синяя спортивная сумка, набитая до отказа.

— Уходишь? — спросил он, увидев, что Зина по-прежнему в верхней одежде.

— А ты уезжаешь?

— В каком-то смысле да. Уезжаю из одного места в другое.

— Командировка?

Рогачёв вдруг задумался. Он прищурился, и его глаза засмеялись раньше, чем он расхохотался.

— А почему у тебя такой казённый взгляд?

— Не казённый, сонный, наверное.

— Девушка, я не командировочный. Я к вам на ПМЖ.

И в следующее мгновение Борис, взяв сумку, отстранил Зину и вошёл в квартиру.

— А чего у тебя темень такая? — спросил он, нащупывая кнопку выключателя. — Давай чай с пряниками попьём, а? Пряников вдруг захотелось. — Борис протянул Зине пакет.

— Завари, пожалуйста, сам.

— Тебе плохо? Ты неважно выглядишь. Что с тобой?

— Знобит и всё плывет перед глазами.

— Ложись немедленно. Куда ты собралась? — Он потрогал лоб Зины и покачал головой. Затем снял с неё кожаный плащ, проводил до кровати и помог раздеться. При виде обнажённой любимой женщины адреналин забурлил в крови. Рогачёв, как мог, пытался обуздать ретивые желания, но пылкость только усиливалась даже от одного взгляда на гладкие пятки.

— Есть градусник? — просипел он.

Пока Зина измеряла температуру, Борис заварил чай. Нашёл в холодильнике малиновое варенье.

Температура зашкаливала.

— Горячий чай и малина отменяются. — Рогачев отнёс обратно на кухню поднос и принялся кому-то звонить. — Сейчас Котов приедет, — сказал он, зайдя в спальню.

— Кто это?

— Лучший врач. А пока нам самостоятельно нужно сбить твои тридцать девять и три. Где таблетки?

— У меня их нет.

Рогачёв посмотрел на неё так, словно перед ним на яркой разноцветной постели лежал неандерталец. У его матери и жены даже были выделены специальные ящики для лекарств.

— А чем же ты лечишься?

— А я и не болею.

— Оно и видно... Уксус-то хоть есть?

Не дожидаясь ответа, Борис отправился на кухню. В одном из шкафов нашёл столовый уксус. Смешал в глубокой чашке один к одному с водой, опустил в полученную смесь вафельное полотенце.

Растирать больную он начал со ступней, не удержался и поцеловал в мягкие пяточки. Затем протёр ладони. Внимательно рассмотрел пальцы, заостряя внимание на правом безымянном. Какая удивительная тонкость. “Большое купил, — с сожалением подумал он о кольце. — Да и ладно, другое куплю”.

Котов не заставил себя долго ждать, явился в четверть первого.

— Вы извините, что мы вас так поздно побеспокоили, — начала было Зинаида, но Борис сделал знак не продолжать извинения. Котов, солидный кряжистый дядька лет сорока пяти с густой шевелюрой, чуть тронутый седinouй, осмотрел больную и тотчас вынес диагноз: острый тонзиллит или попросту ангина. Подробно объяснил, чем лечиться. Договорились, что Рогачёв заедет к нему завтра с утра на работу в поликлинику за больничным.

— Впрочем, чего тебе, Борис Андреевич, дважды кататься? Приезжай лучше как минимум через недельку, а то и позже, мы его закроем, а пока пусть лежит у меня.

— А когда на приём? — подала голос Зина.

— А зачем? Надо будет, я приеду. Больничный открою с завтрашнего дня. Или с сегодняшнего надо?

Зина покачала головой. На прощание врач поцеловал больной руку, пожелал скорейшего выздоровления и удалился.

— Это лучший терапевт города, — сказал Борис, проводив Котова.

— О, как, — улыбнулась Зина.

— Привыкай, деточка, теперь у тебя всё будет самое лучшее. Ты лежи, дорогая, а я сгоняю в круглосуточную за лекарствами.

Борис бережно укрыл Зину одеялом, подоткнул его со всех сторон, поцеловал в нос и отправился в аптеку.

Следующие трое суток Борис не выходил из её дома, ухаживал за Зиной, а когда она засыпала, звонил по рабочим делам. Вечером третьего дня, когда болезнь стала отступать, состоялся недолгий разговор. Она полулежала в постели в золотистом пеньюаре, с распущенными пшеничными волосами, бледная и прекрасная. Непродолжительная болезнь отточила черты её лица, доведя их до совершенства.

Борис сделал горячий глинтвейн и, принеся на жостовском подносе ей и себе, сел в кресло напротив.

— Я разобрал сумку, — сказал он. — Разложил вещи.

— С женой поссорился? — Зина сделала глоток горячего вина. — Люблю корицу, особенно её запах.

— Что значит поссорился? Мы расстались. Я ушёл от неё.

— Ты хочешь сказать, что мы будем жить вместе?

— А ты не хочешь?

Зина двумя руками держала большую кружку целебного бальзама. Потом прислонила её к щеке. Немного помолчав, вновь отпила глинтвейна.

— Я не хотела больше встречаться с женатым мужчиной.

— Так я, можно сказать, холостой. Осталось уладить формальности.

— Она тебе не даст развода.

— Ларка? Да кто её спрашивать будет?

— А сын?

— У него родители — бабка с дедом. Ему до фонаря и я, и мать.

Зина выглядела растерянной.

— Ты не рада, Зинуль?

— Да как-то неожиданно...

Зинаида испытывала странные ощущения. Вроде бы так долго ждала всего этого, а как только случилось то, о чём она часто грезила, её будто накрыло толстым слоем несвободы.

— А что ты жене сказал?

— Правду.

Лариса залпом выпила полуостывший глинтвейн.

— А что конкретно?

— Что не люблю её. Что мне не за что её любить.

— А она?

— Вместо неё мне ответил Достоевский.

Зина метнула удивлённый взгляд на Бориса.

— “А ты ни за что люби”. Поначиталась.

— Ну, а про меня, про нас сказал?

— Да.

— А она? Боря, в конце концов, ты можешь по-нормальному рассказать? Что я всё испытываю: а она? а ты?..

— Так, а что рассказывать-то? Сказал ей всё, взял нужные документы, покидал самое необходимое в спортивную сумку и ушёл.

— А она?

— Зина, да что она? Она осталась.

— А ты больше её не видел? Не звонил? Как она?

— Нет, конечно, не видел. Когда? Я от тебя, дорогая моя, ни на шаг не отхожу все эти дни.

Зина попросила налить ещё глинтвейна. Борис сходил на кухню и подогрел двойную порцию. Он слукавил, что после выяснения отношений с Ларисой её больше не видел. Той ночью, когда нужны были лекарства, Борис уехал за ними в круглосуточную аптеку. Однако никакой аптеки в Зинином районе он не нашёл и, чтобы бесполезно не крутиться по спящему городу и не тратить время зря, он поехал домой за таблетками.

Лариса не спала. Она как будто стояла у входной двери и караулила мужа, потому как, когда Борис открыл дверь ключом и зашёл в квартиру, уже встречала его на пороге.

— Я знала, что ты одумаешься и вернёшься.

Борис молча снял обувь и в меховой куртке прошёл в зал. Вытащил из стенки ящичек с лекарствами и высыпал из него всё на стол.

— Чего только нет! — со злостью сказал он, перебирая таблетки. Взял по одной бумажной ленте парацетамола и аспирина. Парацетамол был уже почат. Поискав среди груды лекарств другую упаковку и не найдя, Рогачёв сунул в карман эту.

— Ты заболел? — в голосе Ларисы сквозила тревога. — Зачем тебе таблетки?

— А тебе?

— Мне не выжить без антидепрессантов.

— Кушай морковь лучше. — И Борис, не встречаясь взглядом с женой, надел ботинки и вышел, оставив её в полном недоумении.

Сейчас после выпитого глинтвейна Зина сразу уснула, а Рогачёв ещё долго ходил по её квартире, раздумывая, пытался сосредоточиться на завтрашнем суде, но взгляд то и дело скользил по вещам Зины, её мебели, шторам, обоям. Согласится ли она переехать из этой квартиры? Хорошо, если да. А если нет? Скажет, мне тут нравится, от работы недалеко, здесь я себя чувствую хозяйкой и всё такое. Тогда надо будет здесь всё поменять. Всё. Чтобы ни один гвоздик не напоминал о её жизни до меня. Сколько сюда

приходило?.. На Рогачёва вдруг напала сумасшедшая ревность. И он, поспешив к Зине, набросился на неё с рычанием изголодавшего самца.

Проснувшись рано утром, Борис долго и с особой нежностью разглядывал спящую Зину. Её безмятежность передалась и Рогачёву, поэтому и суд прошёл очень быстро, без напряжения, а главное — успешно. В час дня Борис уже подходил к Зине с полными пакетами снеди и выпивки.

— Зиночка, как ты? — спросил он, открыв дверь своим ключом.

Из полуоткрытой двери спальни было видно, что Зина всё ещё нежится в кровати. Приглушённый свет прикроватной лампы делал комнату очень уютной.

— А на дворе уже день и почти весна! — Рогачёв, не раздеваясь, вошёл в спальню и поцеловал Зину в тёплые губы.

— А я здорова и не почты! — Зина схватила лежащую рядом подушку и легонько огрела ею Бориса.

— Ах, так ты поступаешь со своим благодетелем! — Борис сделал вид, что рассвирепел. Он взлохматил волосы, нахмурил брови и вытаращил глаза. — Неблагодарная!

Зина звонко расхохоталась, и Борис, подняв её на руках с постели, стал кружиться по комнате, напевая слова популярной попсовой песенки, перефразировав её на свой лад:

— Я люблю тебя Зина, это так необходимо!

Зина смеялась навзрыд. Но вдруг Борис замолчал, Зина тоже. Они внимательно посмотрели друг на друга и слились в тягучем сладком поцелуе.

— Зинка, я так счастлив! — через полчаса сказал Борис, вставая с постели.

— Я тоже, — ответила Зина, — но для полного счастья мне не хватает сытости в желудке.

— Значит, дорогая, ты действительно идёшь на поправку! Это приятная новость, и её надо бы спрыснуть. Да и дело я выиграл сегодня. Да и вместе жить начали, да и... Столько всего! Ты, милая, лежи, а я сейчас всё приготовлю. Кстати, телефоны надо вырубить, а то замучают звонками. — Рогачёв надел трусы и пошёл разбирать принесённые пакеты, заодно унося свою верхнюю одежду в прихожую.

Перед Зиной постелью журнальный столик, принесённый из зала, быстро наполнился едой — сыром, ветчиной, бутербродами с красной икрой и прочим. В последнюю очередь Борис принёс ведерко с шампанским во льду и коньяк, напевая:

— “Как прекрасен этот мир, посмотри!..”

— Да ты, оказывается, отлично поёшь! — Зина совсем не ожидала от Бориса таких потрясающих вокальных данных.

Она подкрасила глаза и накинула халатик цвета морской волны.

— Что? — Борис взглянул на Зину и остановил взор. Залобовался. До чего ж хороша! Ну, до чего ж хороша! — Что ты сказала, милая? Прости, не расслышал.

— Говорю, поёшь здорово.

— Да? Правда?

Зина выставила большой палец: мол, ещё как здорово!

Борис поймал себя на мысли, что раньше он никогда не пел! И, окрылённый похвалой любимой женщины, вновь запел и гораздо увереннее:

— “У любви, как у птицы, крылья, её нельзя...”

При открывании шампанского раздался лёгкий хлопок. Рогачев подмигнул Зине и, дунув на дымок, ангелом вылетевший из пузатой бутылки, налил вина в бокалы утончённой высокой формы, именуемые “флейтой”. Стройные ряды пузырьков взметнулись от самого дна и с поверхности стенок. Борис с Зиной выпили за любовь на брудершафт.

— Хотя я не энолог, но должна заметить, что выбираете вы напитки не хуже, чем поёте! — Зина с наслаждением повторно пригубила шампанское.

— Весьма польщён вашими дифирамбами, сударыня. — Борис подал ей бутерброд с красной икрой. — А почему у нас до сих пор окно зашторено? Надо открыть. — Рогачёв, выключив прикроватную лампу, направился к окну.

— Скоро опять придётся зашторивать. Уже часа четыре, наверное. — Зина потянулась в постели.

Но Борис уже оголил окно, отодвинув плотные кремовые портьеры по сторонам. Несколько секунд он стоял застыв. А потом снова задёрнул шторы.

— Передумал? — Зина делала в ломтиках сыра мизинцем дырочки.

— Меня бесят эти могильные кресты за твоим окном!

— Они далеко, — спокойно возразила Зина.

— Но они всё равно перед носом! Ты же каждый раз, раздёргивая шторы, натыкаешься взглядом на кладбище.

Зина пожалала плечами.

— Дались они тебе, эти кресты. Я вот их и не замечаю вовсе.

— А мне, признаться, от них вот не по себе.

— Ты что, боишься кладбища?

— Ничего я не боюсь.

— Нет, боишься, если стал такой взбудораженный.

Борис и в самом деле был несколько возбуждён.

— Я не хочу здесь жить. Будем строить дом.

— Это недёшево.

— У меня денег на дворец хватит. Но дом мы будем строить, живя в другой квартире. Завтра же я займусь её съёмом или даже покупкой. У меня, правда, и отцовская есть, но тоскливо мне там. Хотя... не тоскливее, чем здесь, у кладбища!

— Как хочешь, конечно... — Зина запахла полы халата. — А мне здесь удобно жить. Работа под боком и вообще.

— Мне неудобно! Понимаешь, мне неудобно жить рядом с кладбищем.

— Да что тут такого? Рогачёв, ты определённо боишься, а говоришь — нет! Боишься, что можешь оказаться там, среди крестов этих могильных.

— С чего это?

— Боишься, что убьют. Всем известно, что ты адвокат братвы. — Зина разглядывала на бокале следы от пены, напоминающие ожерелье.

— С каким презрением ты произнесла последнюю фразу! — Борис включил свет. Люстра одновременно загорелась пятью рожками.

— Да нет у меня никакого презрения, я просто предположила, чего ты боишься и почему.

Борис открыл коньяк, налил себе в рюмку. Усмехнулся:

— Адвокат братвы... Я адвокат. Адвокат и точка. Защитник я, понимаешь? А братва — не братва, это не важно. Я вообще-то тех, кто обращается ко мне за помощью, называю клиентами. По-твоему, это безнравственно? А, по-моему, это всё условности.

— Ну да, ты у нас условно-нравственный, — фыркнула Зина.

— Остроумно. А что касается боязни... Нет, я не боюсь. Остерегаюсь. Да, остерегаюсь принимать неправильные решения и делать ошибки.

— И совсем-совсем не боишься? — Зина прищурилась. — Странно.

— Что странно? — устало спросил Борис. — Зина, что странно?

— Они же враждуют.

— Кто?

— Группировки.

— Да, бывает. И что?

— Друг друга заказывают, уничтожают. Ты, к примеру, защищаешь одного авторитета, а он чей-то кровник. По его приказу грохнули какого-нибудь криминального вожака, ну, или кого-нибудь рангом пониже. Невыгодно же, чтобы ты отмазывал личных врагов группировки. А на тебя наезды были?

Борис сделал маленький глоток коньяка и отставил рюмку. Слегка наклонил голову, задумался. Большим и указательным пальцами левой руки потёр брови.

— Ты температуру давно не измеряла, — сказал он, кивнув на градусник. Зина, отмахнувшись, повторила вопрос.

— Были, конечно, были. — Рогачёв вытянул ноги. — Но, как видишь, я живой и даже не покалеченный.

— Но неужели тебе нравится то, чем ты занимаешься? Защищаешь подонков, хоть ты и называешь их вежливо клиентами. Приходится всё время ловчить, выкручиваться, искать в законах лазейки. Да и рискованно это вдобавок.

— А я люблю свою работу! — с вызовом ответил Борис. — Это даже работой-то назвать нельзя. Это моя стихия, моя жизнь.

— Как высокопарно! А если бы копейки получал, так же бы говорил? — Зина поджала под себя одну ногу, а другую спустила с кровати.

— А разве плохо иметь хороший заработок? Деньги, голубушка моя, мне не прилетают с неба. Я горбачусь в поте лица.

— Ага, язык в кровь стираешь.

— Не хаами.

Рогачёв встал с кресла, прошёлся по комнате и остановился возле пузатенького комода из массива натуральной древесины, декорированного росписью ручной работы. Постучал по нему костяшками пальцев.

— Мебелюшка-то не из дешёвых!

— Он очень удобный. В небольших верхних ящичках у меня лежит нижнее бельё, а в нижних, глубоких, запасные подушки и плед. Довольно полезная вещь.

— Не спорю, что удобная. А чего ж она не из фанеры? Стоила бы эта полезная вещь в разы дешевле. Какая разница, где хранить трусы?

Рогачёв выдвинул верхний ящик и, зачерпнув горсть трусиков, потряс ими:

— Вот им-то не всё равно, где лежать? В этом вьетнамском расписном комодике или на дээспэшной полке?

— Им-то, может, и всё равно, а мне вот нет. — Зина скрестила на груди руки. — Я понимаю, к чему ты клонишь.

— Прекрасно, что понимаешь. — Рогачёв быстро подошёл к столику и опрокинул в себя рюмку коньяка.

Они помолчали.

— Между прочим, жалит тот, кто уязвлён. — Зинаида встала с кровати и подошла к зеркалу.

Борис, покусывая зубами внутреннюю сторону щеки, мрачно наблюдал за её действиями.

— Значит, мне придётся одному ехать, так? — Он скорбно посмотрел на Зинаиду и делано опустил уголки губ. — Зиночке же западло будет отдыхать на нечестные, как ей кажется, денежки.

— Ты на Арлекина похож, — засмеялась она. — Ещё бы белилами тебя.

Видно было, что ей хотелось мирного окончания этого неприятного разговора, который она сама и затеяла. Зина подошла к Рогачёву, села к нему на колени и принялась целовать в губы. Вдоволь нацеловавшись, Борис, откинувшись на кресло, спросил:

— Ну что, Мальвина, куда рванём?

— А с работой как?

— Больничный сделаем.

— Так я сейчас на больничном. Ещё раз заболеть придётся? — Она усмехнулась и запустила пальцы в его шевелюру. — Дура она, твоя жена. — Борис с напряжением посмотрел на Зину. — Никакой это не аспидный цвет, аспидный — это серо-чёрный, а у тебя явно смоляной. Предки смоляне были, наверное. — Зина, улыбнувшись, потянулась. — Дай мне яблочко, плиз.

Борис взял из вазы самое крупное яблоко и, несмотря на то, что все фрукты были вымыты, вытер его об салфетку.

— Придумаем что-нибудь с твоей работой. — Он подал Зине красное бордовое яблоко. — Состряпаем какую-нибудь другую бумагу.

— Ах ты, стряпчий мой, стряпчий...

— А знаешь, что! Увольняйся-ка ты оттуда.

— Как это? Совсем?

— Совсем. Зачем тебе она, эта твоя бухгалтерия? И с главбухом вечные проблемы. Не надо тебе ходить на работу. Я тебя сам всем обеспечу.

Зина, покрутив в руках яблоко, подбросила. Борис поймал его и вновь передал Зине.

— А что, милый. — Она резко и сильно надкусила яблоко, так, что оно брызнуло. — Я согласна.

— Вот и здорово! Идешь и увольняешься. Ничего не будем мудрить и стряпать. Значит, я не стряпчий. — Рогачёв откусил у Зины яблоко. — У-у-у, вкусное какое!

— Стряпчий, ещё какой стряпчий!

— Почему? — не понял Борис.

— Как почему?

— И почему же? — Рогачёв вообще забрал у Зины яблоко и принялся его доедать вместе с огрызком.

— Стряпчий — так в старину называли адвокатов.

— Да? Первый раз об этом слышу...

— Хочешь, позвони кому-нибудь, уточни.

Зина принесла Борису телефон. За аппаратом тонкой змейкой тянулся чёрный шнур. Рогачёв, крутя указательным пальцем диск, который тут же с грохотом возвращался на место, набрал номер знакомого.

— Привет, профессор! — Борис переложил телефонную трубку из одной руки в другую, а сам телефон поставил на стол. — Как дела? — Рогачёв откинулся в кресле. Пока ему отвечали на вопрос, зевая, почёсывал голову и ворошил волосы. — Ну, прекрасно, что всё в порядке, рад. Слушай, а скажи мне, что значит “стряпчий”? То, что царский слуга, это я знаю, одежды подносил и прочее. А какое отношение имеет “стряпчий” к юстиции? Припоминаю, что у Салтыкова-Щедрина встречается...

Зина тем временем заполнила плечи на тарелках нарезанными бутербродами, принесла из холодильника лёд и новую бутылку шампанского, зажгла свечи, но свет ещё не выключила. В комнате запахло земляникой.

— Чего ты там молчишь, в словаре, что ли, смотришь? — Борис втянул носом воздух и огляделся. Чем так вкусно пахнет? Остановил взгляд на высоких витых свечах в круглых серебряных подсвечниках. — Так... Угу... Понял... Ясно, типа ходатая.

Борис шкрябал пальцем по подлокотнику кресла, внимательно слушая своего телефонного собеседника. Через какое-то время он поблагодарил его, пожелал удачи и положил трубку на рычаг.

— Что тебе интересного сказали? — Зина кивнула на бутылку шампанского в ведёрке.

— Да по сути ничего нового. Так, из вежливости выслушал.

— И всё же?

— Со “стряпчим” всё понятно. Это, можно сказать, синоним адвоката. От древнерусского “стряпати” — работать, улаживать дело. Интересен другой момент. У нас не существует разделения адвокатов на категории, а в Англии есть. Так вот, наш стряпчий — это то же, что их солиситор.

— Кто-кто? Солитёр? — хохотнула Зина. — Это что, червь? Или пасьянс, может быть?

— Не солитёр, солиситор, — повторил Борис. — Он собирает материалы для барристера.

— А это ещё кто такой?

— А это адвокат высшего ранга.

— Мда. Как у них всё запутано.

Борис взял шампанское из ведёрка со льдом и вытер его полотенцем.

— Тогда ты не стряпчий, не солитёр этот. — Зина сдвинула бокалы.

— А кто? — Раздался хлопок шампанского. Ещё один ангел-дымок вылетел.

— Барристер.

— Почему? — Борис наполнил бокалы.

— Ну, как почему? Звучит похоже. Борис — барристер. Да и мелок для тебя солиситор этот.

— Надо же, как ты обо мне! — И Рогачёв, подмигнув Зине, легонько ударил своим бокалом об её бокал.

С утра в спортивном центре было немногочисленно. Зина в коротких шортиках и в яркой обтягивающей маечке крутила педали велотренажёра. К ней то и дело подходил Толик — самовлюблённый накачанный инструктор. Зина давно ходила в этот тренажёрный зал, поэтому и Толика хорошо знала. Разговоры, как правило, у них завязывались пустые. Инструктор любил поболтать о том о сём, а больше ни о чём. Пятидесятилетний Анатолий Корепанов, помешанный на себе, выглядел лет на тридцать пять, не больше. Он вёл здоровый образ жизни, занимался спортом и тщательно следил за собой. Ещё он любил красивых и ухоженных женщин, обязательно со стройными фигурами. А если такая ещё и при деньгах — уважение инструктора к ней становилось безграничным. Он старался подружиться с ней и вовсе не для того, чтобы закадрить. У Толика была молодая жена, тоже инструктор соседнего фитнес-центра, с которой он неплохо ладил. Он заводил дружбу с успешными дамами просто так, чтобы быть с ними на “ты”, да и посплетничать. Дамочкам же льстило внимание такого симпатяги. Группы обаятельного инструктора Корепанова полнились, соответственно полнились и его карманы. К тому же многие из состоятельных женщин вскоре предпочитали индивидуальные занятия, которые стоили гораздо дороже групповых. И опять Корепанову шла прибыль. А ещё подарки за квалифицированность и обаяние.

— Ты с работы уволилась? — Толик взглянул на спидометр велотренажёра.

— Откуда узнал? — усиленно работая ногами, спросила Зина.

— По утрам стала ходить. Раньше только в вечерние группы.

— Да, уволилась.

— Зинуль, на высоких скоростях ход педалей плавный? — Толик озабоченно смотрел на педали велотренажёра.

— Да, нормальный.

— Так у вас как с этим адвокатом-то? Всё серьёзно? — Инструктор подмигнул Зине. Зина в ответ ухмыльнулась. “Первый сплетник на деревне, — она продолжала неистово работать ногами, — вот откуда он что знает?”

— Ну, ну... — Толик легонько похлопал Зину по плечу. — Желаю удачи! Не переусердствуй на велотренажёре. — И инструктор направился к другим клиентам.

Выполняя упражнения для рук, Зина слышала, как Толик увещевал стройную длинноволосую девушку:

— Не превращайся в затасканную домохозяйку, забывшую о фигуре, маникюре и косметике. Конечно, твой мужик любит тебя любой, но любить красивую женщину намного приятнее.

“И что мне делать с утра до вечера? — думала Зина по дороге домой. — Маникюры, педикюры, салоны красоты, спортивные центры... Скукотница, да и только”.

Борис сутки напролёт пропадал на работе. Быстро справившись с домашними делами, Зина весь день оставалась предоставлена самой себе. Ей даже с ужином не приходилось заморачиваться, поскольку каждый вечер они с Борисом ходили в кафе или ресторан. И через две недели Зина уже изнывала от ничегонеделания. Хорошо, что наконец-то замаячила поездка во Вьетнам, и Зина принялась изучать всё, что касается этой страны.

Незадолго до отъезда Рогачёв сообщил, что у него предстоит вечером очень серьёзная встреча, и он придёт поздно. Весь остаток дня Зина штудировала русско-вьетнамский разговорник. И когда, наконец, Борис вернулся домой, первое что она спросила:

— Маугио рои нхи?

— Без десяти двенадцать, — по-русски ответил Рогачёв. Он тоже учил общие фразы вьетнамского.

— Ты голоден? — Зина быстренько соображала, чем бы покормить Бориса, но тот отказался от еды, лишь попросил чаю.

Свисток чайника заставил обоих обоих вздрогнуть.

— Так зайкой можно остаться, — пробурчал Борис, глядя, как Зина наливает янтарную заварку ему в кружку и добавляет кипятка.

— Представляешь, Борик, во вьетнамском языке одно слово, произнесённое разной интонацией и тоном, может иметь до шести значений.

— Надо же...

— А что за встреча у тебя была?

— Я на развод сегодня подал.

— Значит, встреча с женой была? — Зина внимательно посмотрела на Бориса, а затем перевела взгляд на большие круглые часы, висевшие над столом.

— Нет, не с женой. Почему это? Мне сегодня сделали деловое предложение. Заманчивое.

Борис Андреевич устало вздохнул.

— Ты не выглядишь радостным. — Зина присела на краешек табурета и положила руку на колено Бориса.

— Нет, солнышко, всё хорошо. Замотался.

Рогачёв сделал короткий глоток чая.

— Не так давно, после того, как Степняк был оправдан, ко мне подошли незнакомые люди и предложили поговорить. Я отказался. Слишком устал тогда. Недавно они созвонились со мной, договорились о встрече. Сегодня вот встретились.

— А что за деловое предложение? — Зина выкладывала из пакета на пирожковую тарелку из костяного фарфора слоёное печенье.

— Мне предложили быть адвокатом у одной крупной политической и бизнес-фигуры и переехать в Москву.

— О как! — Немного помолчав, Зина осторожно спросила: — А кто он, эта крупная политическая фигура?

— Могилевский.

Зинаида недоверчиво уставилась на Бориса:

— Могилевский?

Борис Андреевич кивнул.

— Серьёзно, Могилевский?

— Да.

— Ох-ре-нет!

Борис отпил из кружки и надкусил печенье. На стол посыпались крошки. Рогачёв сгрёб их в кучу боковиной ладони. Зина, потрясённая новостью, задавала вопросы о встрече, а он, измельчая крошки большим и указательным пальцами правой руки, односложно отвечал. Не допив чай, поднялся из-за стола. Однако Зине ещё хотелось поговорить.

— Валось с ног, дорогая, давай утречком продолжим. — И Рогачёв, потирая красные глаза, прошёл в спальню.

На следующий день он проснулся почти в одиннадцать. Такое с ним случалось крайне редко. Обычно он вставал ни свет ни заря.

— Столько продряхнуть! — Рогачёв был раздражён. — Зина! — крикнул он. — Зиночка!

Борис встал с кровати, прошёлся по квартире. Зины дома не было. В гостиной возле телефона лежала записка: “Борис! Я вас люблю! Хочу быть стройной и красивой, потому в спортзале”.

Да уж куда ей быть красивее! Рогачёв даже поразился её желанию. Он не встречал девушки красивее Зины, ну, разве только Лета... Борис разглядывал почерк Зины. Какая каллиграфия! А это, между прочим, повод для гордости. “Хочу быть стройной...” Его неожиданно охватило страстное любовное желание.

— А я хочу, — сказал он вслух, — а я хочу, — повторил он:

*Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!*

Тра-та-та- чего-то там... — Рогачёв запомнил середину стиха.

*Пусть будет завтра и мрак, и холод,
Сегодня сердце отдам лучу.
Я буду счастлив! Я буду молод!
Я буду дерзок! Я так хочу!*

— громко скандировал голый Борис. — Эх, Бальмоша! Сорвал ты с моего языка эти строки...

Рогачёв отправился в ванную и долго-долго стоял под прохладным душем. Острое желание слегка притупилось, но не прошло.

Когда Борис пил кофе со вчерашним печеньем, густо намазывая брикетки мёдом, пришла Зина. Рогачёв, едва заслышав, как открылась коридорная дверь, вскочил с места, да так резко, что толкнул стол и расплескал кофе.

— Прости, дорогая, это всё тестостерон! — Борис в коридоре набросился на Зину, срывая с неё все одежды.

После дикого секса им обоим было долго не отдышаться. Лёжа на линолеуме прихожей, Зина, смеясь, взяла огромный рогачёвский ботинок и свой изящный сапожок на остром каблучке и принялась показывать, как ботинок нападает на сапожок. Борис, тоже смеясь, встал и помог Зине подняться. В этот момент в спальне мобильный заиграл Моцарта. Рогачёв, подмигнув Зине, отправился отвечать на звонок.

Разговор был недолгим. Звонила жена с вопросом, правда ли Борис подал заявление на развод?

— Какая оперативность, — усмехнулся он. Но не стал выяснять, откуда Лариса узнала про заявление. — Я тебе сам хотел позвонить сегодня и сказать.

— Боря, одумайся! — Голос Ларисы срывался на истерический крик.

— Успокойся. Пойми, это неизбежно. Поговорим после. Мне сейчас некогда.

Зина тем временем собрала разбросанную по коридору одежду и с комком вещей стояла в проёме двери в спальню.

— Я знаю, откуда ветер дует. С Толиком во время тренировки говорили о нас с тобой. Сарафанное радио сработало. Но чтобы так молниеносно! Борис махнул рукой.

— Рано или поздно она бы узнала. А чем раньше, тем лучше.

Зина кивнула.

— Есть хочу! — зарычал Борис.

Пока Зина облачалась в домашние одежды и разбираала свой спортивный пакет, Рогачёв пожарил яичницу с колбасой, сделал свежесжатый апельсиновый сок.

За едой вновь заговорили о вчерашней встрече.

— Это невероятно. О таком только можно мечтать. — Зина, придерживая жареное яйцо вилкой, отрезала от него небольшие кусочки.

— Угу. — Рогачёв заглатывал еду большими кусками.

— А в итоге-то, о чём вы с ними договорились?

— Я сказал, что подумаю.

— Подумаешь? — Зина, перестав жевать, с удивлением смотрела на Бориса.

— А что, так прямо и соглашаться? Надо показать, что Борис Рогачёв себе цену знает.

— Да, да, правильно. Только недолго думай. А то вдруг уплывёт мещечко. Интересно, а зачем это политику потребовался адвокат по уголовным делам? Хотя нет таких политиков, которым бы не требовались адвокаты. — Зинаида была явно довольна своей шуткой.

— Пойдём погуляем? — неожиданно предложил Рогачёв. — Делать сегодня всё равно ничего не буду. Лень. Вот что значит проспять до полудня... Да и с мыслями надо собраться.

Хрусталики льда сверкали под ярким апрельским солнцем. Посланные на землю лучи растапливали снега и сердца людей. Казалось, всем вокруг хорошо.

— Подумать только, а ещё недавно метели были, — Зина жмурилась от солнечного света, — а уже лёд на пруду тает.

Они стояли на многолюдной площади, влившись в большую туристическую группу, и слушали экскурсовода.

— Существует легенда, дря мои. Триста лет назад на центральной площади был проведён магический ритуал — периметр площади очертили кругом. Считалось, дря мои, что тот, кто хоть раз вступит в этот круг, получит помощь в авантюрах, азартных играх, а переселенцы в новом месте обретут кров, богатство и удачу. Вот так-то, дря мои.

— А ведь куда я сейчас ввязываюсь, чистой воды авантюра. — Рогачёв в задумчивости глазами искал очертания того древнего магического круга.

— Борис-барбарис, слышал? — обрадовано сказала Зина.

— Что именно?

— Что переселенцы обретут в новом месте кров, богатство и удачу.

— Так это, наверное, наоборот, те, кто сюда приехал, — грустно улыбнулся Борис.

— Да почему же?.. И всё равно! Те, кто вступит в круг, получают помощь. А мы стоим в круге! Значит, нас всё равно ждёт удача в рискованных делах.

— Тогда, может, в казино заглянем? — засмеялся Борис, приобняв Зину.

Через несколько дней, в тот момент, когда Рогачёв с Зиной усаживались в машину, чтобы ехать за продуктами, раздался звонок. Номер был засекречен. Звонили от Могилевского с намерениями узнать о решении Бориса Андреевича.

— Вы подумали о нашем предложении?

— Да, подумал.

— И?

Рогачёв на мгновение задумался, а затем выдохнул:

— Согласен.

Договорились встретиться через два часа в адвокатском кабинете Бориса Андреевича. Рогачёв приехал раньше. Осмотрелся. Чисто. Сделал несколько звонков клиентам. Ровно в двенадцать в его кабинет стремительно вошёл человек. Без стука. Кивнув Рогачёву, сел на стул напротив адвоката.

— Вам оказана большая честь работать в команде выдающегося политика.

Борис ухмыльнулся. Это не ускользнуло от гостя.

— Зря вы ухмыляетесь. Мы вас не уговариваем, не упрашиваем. Не хотите — до свидания.

— Отчего же? Я дал согласие. Как я могу к вам обращаться?

Незнакомец пропустил вопрос мимо ушей.

— С вами я лично больше встречаться не буду. В дальнейшем консультировать вас по всем вопросам будет Вячеслав. Вы с ним знакомы, встречались на прошлой неделе.

Рогачёв кивнул.

— Мы навели справки о вас. Как выяснилось, вы разводитесь с женой.

— Да, развожусь. Подал заявление на развод.

— Сегодня же вы его заберёте.

— Это почему ещё?

— Потому. — Властный тон незнакомца стал ещё деспотичнее.

— Это не ответ.

— Потому, что вы только-только поступаете на работу к очень уважаемому в стране человеку. На вас сразу же обратят внимание. Скандалы вокруг вашей персоны ему ни к чему. Ваша репутация должна быть безупречной.

— Но личная жизнь на то она и личная жизнь.

— Я вам всё сказал. Да, и свою любовницу Зину...

— Она не любовница, а моя любимая женщина. И будущая жена.

— Так вот, любовницу свою, пожалуйста, скрывайте от общественности. Или вообще расстаньтесь. Вам запрещено с ней появляться где-либо.

- Сейчас мы с ней собираемся во Вьетнам.
- Пусть летит туда одна. Вы же приступаете к работе.
- Когда? Что я должен делать?
- С вами свяжусь и всё объяснят. И ещё. Выпивки запрещены категорически.

Незнакомец встал и, не прощаясь, так же стремительно вышел, как и вошёл. Мда... Рогачёв в размышлениях откинулся на спинку кресла. А не Ларискины ли это происки? И тем не менее через час заявление о разводе было аннулировано. Зине об этом решил пока не говорить.

Весь вечер Борис пребывал в подавленном состоянии. “Ничего, — утешал он себя, — всё образуется. Наверное, это правильно. Через месяц-другой моя фигура станет никому не интересна, а может, и на второй день уже, вот тогда и подам заново на развод. Зинке скажу, проволочки из-за несовершеннолетнего ребёнка. Во Вьетнам ей всё же придётся лететь одной. Или пусть тоже не едет. Подумаешь, экзотика”.

Зинаида, напротив, находилась в прекрасном расположении духа и щebetала вокруг Бориса. Глаза её горели в предвкушении новой жизни.

— Вот съездив во Вьетнам, отдохнём, а потом и примемся за обустройство в Москве. Знаешь, а во Вьетнаме не любят кошек и вообще слово “мяу”, потому что оно означает “бедность”.

Рогачёв, улыбаясь натужно, кивал головой. “Завтра скажу про Вьетнам”, — думалось ему.

— Знаешь, Боречка, я, когда уволилась с работы, то обошла всех подруг, друзей, родственников, не вылезала из салонов красоты, магазинов, спортзала. Ты-то всё время на работе. Ну, нет, думаю, так жить нельзя. Как-то слишком пусто. Возвращаться на работу? В “воблу” не хочется. Да и вообще вкалывать на какого-то дядю или тётю не вижу смысла. Думала-думала и придумала — открыть бухгалтерский центр сопровождения бизнеса. Не всем по карману нанимать бухгалтера на полную ставку. Я ведь, между прочим, неплохой бухгалтер. Да ещё набрать команду профессионалов. А поднатореть в любом деле можно, было бы желание. Борь, ты меня слушаешь?

Рогачёв сделал удивлённые глаза, мол, а что я ещё делаю? Конечно, слушаю.

— А что входит в так называемое бухгалтерское сопровождение бизнеса? Это актуально? Пользуется спросом на рынке?

— Думаю, да. А что входит... Да много чего. Составление типового договора, выставление счетов. — Зина принялась перечислять, загибая пальцы с причудливым маникюром на ногтях в виде веточек со стразами. — Подготовка и отправление платёжных поручений, помощь в оформлении кредитов, займов, отчёты в налоговую, начисление зарплаты. А трудовые договора, приказы? И это самый минимум.

У Зины не хватало пальцев для дальнейших перечислений.

— А вообще, здорово, что переезжаем в Москву! Лично моему будущему центру это на руку. Там возможностей больше. Да и связями обростём, благодаря тебе. Да ведь, Боречка?

— Гип-гип, ура!

Ночью Зина выпила на Бориса всю свою страсть. Измученная восторгами, с обожанием произнесла:

— Нет, ты не стряпчий.

— Не стряпчий?

— Нет. Знаешь, кто ты?

— Кто?

— Ты — великий стряпчий!

Когда она уснула, Рогачёв ещё долго ворочался с боку на бок. Ему то и дело вспоминался вчерашний визит. Безапелляционные приказы. Забери заявление, не встречайся с любовницей, не пей... Ишь ты! Оказана большая честь работать...

— А послать всё к черту, — сказал он начавшему светлеть окну, — и дело с концом! — Борис прижался к Зине, пахнущей тонким головкружительным ароматом лесных фиалок, и тотчас уснул.

Проснулся он совсем с другими мыслями.

— Как это я поеду одна? — Зина аж поперхнулась соком. Красивая даже в гневе, она задыхалась от возмущения. — Да что мне там одной делать на этом Фукуоке?

— Отдыхать. Знаешь ведь, что это самый уважаемый курорт Вьетнама.

— И что мне делать одной на самом уважаемом курорте страны? — Зина перешла на крик.

— Солнышко, тише!

— Как тише? Как тише? Что это всё значит? Объясни, почему я должна ехать туда одна?

— Дорогая, во-первых, успокойся. Во-вторых, выслушай меня. Я тебе собирался всё объяснить, так ты вопить начала.

Зина села на стул, схватилась обеими руками за стакан с соком.

— Слушаю.

— На днях мне необходимо приступить к работе. Я отправляюсь в Москву, обосновываюсь. Ты отдохнёшь на курорте и приедешь ко мне. Вот и всё. Не вижу повода для истерик.

— А нельзя приступить в работе после Вьетнама?

— Нельзя.

— Да почему же? Можно же договориться выйти на работу, к примеру, первого числа. Сказать, обстоятельства, дела завершить, ну, или ещё что-нибудь. Что за спешка? Как-то же жил без тебя Могилевский.

Зина вновь начала переходить на крик.

“Она становится истеричкой. Портят баб деньги. — Рогачёв разглядывал бутерброд с сыром. — Последние секунды живёшь ты, парень, на земле. Вот съем тебя сейчас и никогда больше не вспомню”.

— Чего молчишь? — Зина свирепела с каждой минутой.

— Я с сыром разговариваю, — ответил Борис на полном серьёзе.

— С сыром? — Зинаида недоумённо посмотрела на тарелку с тремя бутербродами. Они славно покоились на продолговатой тарелке, нежась в листьях зелёного салата.

— С сыром? — переспросила Зина. — А со мной ты не хочешь поговорить?

Рогачёв пожал плечами.

— Ах, так! — Она нервно положила все три бутерброда один на другой и принялась запихивать всю эту бутербродную гору в рот.

Борис молчаливо смотрел, как Зина силится открывать шире рот, как крошится на пол батон, как кусочек сливочного масла упал на шелковый халат цвета морской волны.

— Приятного аппетита! — Рогачёв вышел из-за стола.

Устроившись в кресле гостиной, Борис взял с журнального столика книгу, даже не посмотрев её названия, и открыл наугад:

“... — Чего ты добиваешься от меня, Вера? Чтобы я ожил, как весенняя муха между рамами? Но ведь оживать нужно для какого-то продолжения... А у меня его нет. Ещё недавно я с величайшим облегчением думал о конце: разумеется, с минимумом болезненных ощущений — это самое желательное. Колесо автобуса или удар ножа в пьяной драке...”

— Ещё недавно? — тихо переспросила Вера Юрьевна.

— Подожди! У меня был круг каких-то моральных понятий и какие-то устремления... То есть человеческое лицо... Я принадлежал к обществу, которое называло себя высшим... Вместе с этим обществом меня вышвырнули из России... Но этого мало: моральные понятия и устремления, и мои, и всего этого общества, оказались чистойшей условностью... вздором... грязным тряпьем... И целей — никаких. У других — кровожадные планы и надежды вернуть всё обратно. Но я устал от крови и ненависти и, главное, ни в какие возвраты не верю... Ты понимаешь меня? Неожиданно появляешься ты... Я сопротивляюсь этому... Я сопротивляюсь больше, чем собственному уничтожению...

Призвав подбородок к поднятому колену, Вера Юрьевна прошептала:

— Люблю, люблю...

— Вот это и ужасно. — Он закашлялся и рассеялся дребезжащим смехом. — Значит, предстоит ещё коротенькая дорожка. Весьма извилистая и тёмная... Ну что ж, любовь моя, станем жуликами, бандитами или ещё похуже...

— Хрень какая-то! — Рогачёв захлопнул книгу, глянул на обложку. Ан, нет... Алексей Толстой. “Эмигранты”.

В комнату вошла Зина с зарёванным лицом.

— Зин, ты никак драпать собралась за кордон? — насмешливо спросил Борис, кивнув на книгу классика. — Пособие?

Зина плюхнулась на диван. Полы её шёлкового халата разлетелись, выставив напоказ скрещённые ноги.

— Отныне ты будешь делать всё, что тебе прикажут?

— Ты чего так злостью пылаешь?

— А если тебе прикажут не разводиться с женой?

— Ну, ты уже совсем абсурдные вещи говоришь! — делано вспыхнул Рогачёв. — Я всё-таки не подневольный человек, чтобы мной командовали.

— То есть это ты сам желаешь устроиться как можно быстрее к этому Могилевскому?

— Просят. Зина! Да ты же сама, в конце концов, говорила, что нужно хвататься за это место и ни в коем случае не упускать его.

— Но сейчас речь идёт не только о нашей поездке! О нас с тобой! Ты выбираешь между мной и Могилевским!

— Зина, дорогая, милая, — усталым голосом сказал Борис, — я очень люблю тебя и при этом устраиваюсь на работу к Могилевскому, который попросил немедленно приступить к обязанностям. Я же о нас с тобой забочусь, стараюсь для нас. А на курорты мы ещё не раз съездим. Обещаю!

Но Зина стояла на своём. Она твердила одно и то же, что если он её любит, то они должны поехать во Вьетнам, что нельзя так прогибаться перед кем бы то ни было, пусть хоть это сам Могилевский.

— Ты должен сразу себя поставить, показать, что ты не просто стряпчий, а великий стряпчий!

Рогачёв, слушая её, время от времени брал Толстого, что-то мельком читал, не осознавая написанного, закрывал книгу. Наконец, ему надоел нескончаемый речевой поток Зинаиды.

— Знаешь, что, — сдавленным голосом произнёс Борис, — ты ведь тоже можешь не ехать в этот долбаный Няням! Поехали вместе в Москву или дожидись меня здесь, пока я там всё улажу, и приезжай. Чего ты прёшься на Фукуок? Дался тебе этот остров!

— Представь себе, дался! Там самый респектабельный курорт этого долбаного Няняма!

— Ну и что? Можно и не поехать туда. Ну, ведь можно?

— Нет, нельзя. — И Зина, встав с дивана и кинув презрительный взгляд на Бориса, продефилировала к выходу их гостиной. Рогачёв оделся, взял телефон и вышел из дома. Он знал о пропущенных звонках и в самом начале прогулки перезвонил тем, кто в нём нуждался.

Неожиданно Бориса потянуло зайти к матери, к этой вредной, вечно жалующейся старухе, оставшейся недавно без мужа, но он сдержал свой порыв. Успеется, лучше перед самым отъездом. Уж слишком категорично Татьяна Валентиновна восприняла уход сына из семьи:

— Если ты не вернёшься к Ларисе и Максу, сыном моим можешь не считаться!

— А ты-то чего Васнецова, а не Рогачёва? — парировал Борис. — Потому что от отца ушла. Зачем? Разлюбила или за лучшей долей?

— Представь себе, да, за лучшей долей! Но не для себя, а для тебя старалась! Что мог тебе дать отец-алкоголик?

— Он не был тогда алкоголиком, когда ты ушла от него.

Но мамашу было не переубедить. Татьяна Валентиновна постоянно звонила сыну, обвиняла его в чёрствости, сообщая о новых сердечных приступах, рассказывала о заботе любимой снохи и внука.

Знакомый с детства город сегодня вдруг стал раздражать своей суетой. Колгота мегаполиса, как никогда, действовала на нервы. Постоянное мельтешение живого досаждало и надоедало глазу. Хотелось куда-то спрятаться, зайти, замереть. “Всё пустое, чепуха, выведенного яйца не стоит, — думал Рогачёв, оглядываясь по сторонам. — А сколько я тут говна наелся, вытаскивая весь этот криминалитет из помойных ям?..” Едкий дым воспоминаний бередил душу. Быстрее бы свалить отсюда. Ну, а что, в столице лучше?.. Там хотя бы всё новое. А здесь старое, затёртое и надоевшее.

Вдруг пришла шальная идея: чтобы отвлечься от неприятных мыслей, сходить в зоопарк. Последний раз он был там, когда Макс исполнилось пять.

В кассе Борис Андреевич неожиданно столкнулся с Варей, его племянницей. Она с подругой и маленьким мальчиком, вероятно, сыном подруги, о чём-то увлечённо болтали. Кажется, Варя тоже заметила родственника, поскольку её оживлённость притупилась, и она всю очередь простояла к дядьке спиной. И тем не менее им предстояло общение.

— Привет, Варюха! — Рогачёв как ни в чём не бывало кивнул Варе, когда они встретились случайно глазами.

— Здравствуйте, — сдержанно ответила племянница. Она старалась не смотреть на Бориса Андреевича и вообще держалась неловко. Тот же, напротив, делано искрил радостью и беззаботностью.

— Как жизнь, племяшка?

— Нормально. У вас?

— Прекрасно! В Москву переезжаю. Работать пригласили.

— Я тоже туда скоро поеду.

— По делам или как?

— В Литературный поступать.

— В Литературный? Писателем, что ли, хочешь стать?

Варя усмехнулась:

— Кстати, о вас напишу.

— Обо мне? — опешил Рогачёв.

— Да, о вас. Знаете, у Куприна есть рассказ “Звезда Соломона”...

— Читал.

— Там главный герой взывает к сатане: “Адвоко те, сатана!”

Рогачёв удивлённо смотрел на племянницу:

— Ну и?..

— Это значит: “Приглашаю тебя, сатана!” Слово “адвокат” означает “приглашающий”. Вы из тех адвокатов, которые взывают к сатане. Так вот, книгу о вас я назову “Рогачёрт”. До свиданья! — И Варя отправилась догонять своих спутников.

Встреча с племянницей окончательно испортила и без того никудышное настроение. Борис Андреевич, скомкав билет и бросив его в урну, пошёл к выходу из зоопарка.

В аэропорт Рогачёв приехал рано, за три часа до посадки. Он заметно нервничал. С трудом найдя свободное кресло, от нечего делать принялся читать газету, оставленную кем-то на сиденье. В какой-то момент полосы стали сливаться. Наваливался сон. Рогачёв усиленно потёр глаза.

— Эй, дядя, хорошо сидим?

Презрительно ухмыляясь, какой-то парень в чёрной бейсболке с могучим орлом и надписью “USACALIFORNIA” возвышался над Рогачёвым. В руках он держал открытую банку пива “Holsten” и что-то съестное, завернутое в белую салфетку.

Рогачёв недоуменно пожал плечами. В чём, собственно, дело?

— Пока, значит, я за хавчиком бегал, ты моё местечко облюбовал.

Борис Андреевич окинул “американца” медленным взглядом. Надо же, и эта поросль ему тыкает.

— Почему это место ваше, молодой человек?

— Я застолбил его. Газету кинул.

Рогачёв, чуть выставив вперед нижнюю губу, с досады несколько раз стукнул пальцами по железной трубке подлокотника. Что ж, придётся уступить.

Видно, и вправду это место было занято. Но только он собрался встать, чтобы освободить кресло, как парень пнул его по ботинку.

— Слышь ты, ёжик! Неприятностей захотел?

— Ёжик? Почему ёжик? — Рогачёв огоршенно посмотрел на незнакомца.

— Неприятностей, говорю, захотел на свою жопу? — повторил “калифорниец”, сделав глоток пива.

Борис Андреевич неторопливо вытянул ноги и, скрестив руки на груди, пронзительно посмотрел на молодого наглеца. Такие вот, как он, пачками валялись у него в ногах с просьбой отмазать от судебных обвинений, помочь избежать наказания.

— Шёл бы ты, парнишка, подбру-поздорову. Будем считать, что я ничего не слышал. — Адвокат, стараясь сохранить спокойствие, уткнулся в “Спид-Инфо”. Как дать бы ему по рогам, искренне руки чешутся. Но ведь предупредили: никаких скандалов. Ещё не хватало потерять московское местечко из-за этого сопляка.

— В натуре, ты чо такой борзый? — Парень ударил жёлтым “холестеном” по жёлтой прессе. Пиво выплеснулось, оставив на страницах “Спид-Инфо” мокрый овальный след.

Рогачёв неспешно сложил газету. Поднял голову. Стекланные глаза излучали странный матовый блеск. Ноздри раздулись так, что кончик носа заострился и сильно вытянулся вперёд. Верхняя губа приподнялась, и крепкие зубы, изумлявшие своим здоровьем, казалось, жаждали вонзиться в горло обидчику.

— Ты чо, дядя? — изумлённый парень сделал шаг назад.

— Ш-ш-ш-ш! — Рогачёв резко подался вперёд.

Парень отскочил и выпалил совсем странное:

— Амфибрахий!

— Слушай, дактиль, — рассмеялся Рогачёв, — чеши давай отсюда и газетёнки свои вониючие забирай! — И он кинул в “американца” “Спид-Инфо”, залитое пивом.

Посидев пару минут на отвоеванном кресле, Борис Андреевич встал и отправился на посадку.

В Шереметьево Рогачёва уже поджидал Вячеслав, молодой человек лет тридцати. Собранный и сдержанный, он говорил только по существу, причём короткими фразами.

— Сегодня отдохайте. Завтра приступите к обязанностям.

Вячеслав привёз Рогачёва на квартиру в центре столицы. Жильё оказалось просторным, малообставленным, но со всем необходимым. Борис Андреевич, оставшись один в квартире, быстро разложил свой немногочисленный скарб по местам и отправился гулять по столице.

Москва встретила его довольно приветливо. Чувствовалось апрельское тепло, да и настроение у столицы было весеннее, игривое. Вечер баловал улыбками незнакомок, а также хорошими мыслями и надеждами.

Ровно в восемь утра за Рогачёвым заехал Вячеслав. Он внимательно посмотрел на адвоката. Этот изучающий взгляд не понравился Борису. “Высматривает, пил я вчера или нет. Что, я теперь под контролем у этого сосунка?” Всю дорогу надзиратель, как окрестил его Рогачёв, молчал. На вопросы отвечал односложно: “Да. Нет. Не знаю”. Он привёз Бориса в офис, откланялся, сказав, что через два часа приедет за ним и отвезёт к боссу для знакомства.

Место, где предстояло работать Рогачёву и где находился его кабинет, оказалось огромным. На трёх этажах старого московского здания разместился офис концерна “Нефтемедиа”. Все сотрудники, как на подбор, будто из одного теста вылеплены, одинаково незаметные. Здесь были и адвокаты, и бухгалтерия, и прочие структуры. Как говорится, всё в одном флаконе. С первой минуты знакомства к новому члену команды стали относиться приветливо и подчёркнуто вежливо. Рогачёва сопровождали в его кабинет, познакомили с секретарём. Викторией Августовне было под пятьдесят, но выглядела она неплохо: в сером элегантном костюме, ухоженная, с короткой стрижкой и металлическим взором. Стальная леди намётанным взглядом

проскользила по новому шезлонгу, и, как показалось Рогачёву, взгляд её несколько смягчился.

Кабинет его восхищал. Роскошный, но в то же время без какого-либо чванства. Окна кабинета выходили во двор. “Нешумно — это плюс”, — примерялся Рогачёв к рабочему месту. Вот только стол в углу, а не возле окна, как он любит. Ему нравилось, когда за спиной небо. К тому же, когда наступал в работе ступор, Борис Андреевич непременно подходил к окну и, наблюдая уличную жизнь, отвлекался от дел. И, как ни странно, нужное решение или подсказка находили его именно в таком, отвлечённом состоянии. С интересом разглядывая, как какой-нибудь мужичок возится с мотором в капоте машины или ребячёнок стряпает куличики в песочнице, Рогачёв находил нужную идею.

Он без труда передвинул стол к окну. В этот момент в дверь постучали.

— Войдите, — громко сказал адвокат.

Это была Виктория Августовна с полным мужчиной в двубортном костюме.

— Что это значит? — неожиданно резко спросила секретарша.

— Что значит? — не понял Рогачёв.

— Вы переставили стол.

Полный мягким жестом остановил Викторину Августовну:

— Представьте нас.

— Прошу прощения, Алексей Иванович. Наш новый сотрудник Рогачёв Борис Андреевич. — Она не смотрела на Рогачёва.

— Борис Андреевич, познакомьтесь, Алексей Иванович Кротов, возглавляет коллегия адвокатов. Ваш непосредственный начальник.

Рогачёв подошёл к Кротову и протянул ему руку.

— Что ж, будем знакомы. И, надеюсь, наше знакомство будет добрым и профессиональным. — Кротов пожал руку подчинённому. Рукопожатие с обеих сторон было достаточно крепким, но со стороны Рогачёва крепче.

— Я прошу извинить Викторину Августовну за тон, но она выполняет приказ. Дело в том, что в кабинете, в любом, независимо, кто в нём обитает, строжайше запрещено что-либо переставлять по своему усмотрению.

— Что за дурь? — вырвалось у Рогачёва. — Почему?

— Стальная леди одарила его ледяным взглядом.

— Это приказ. Он не подлежит обсуждению.

— Но почему? Чей приказ?

— Босса.

— Могилевского?

— Да. Переставлять ничего нельзя.

— Странно. Но ведь это моё рабочее место, так?

Секретарша и Кротов кивнули.

— Значит, я могу устроить его, как мне удобно. Как мне для работы будет удобно, — поправился Рогачёв.

— Всё должно оставаться на своих местах. — Секретарша оставалась непреклонна. Кротов кивал.

— Объясните, наконец, почему! Зачем это боссу надо?

— Дело в том, что во всём офисе всё устроено согласно фэншюю. В вашем кабинете, разумеется, тоже.

— А мне какое дело до этого фэншюя?

— Супруга босса серьёзно занимается даосской практикой символического освоения пространства, — пояснил Кротов. — Соответственно, у нас в офисе всё сгармонизированно.

— Но мне нужно, чтобы стол стоял возле окна! Это повышает мою работоспособность. Это мне необходимо для успешного ведения дел. — Рогачёв закипал. Его всегда выводили из себя глупости.

— Ничего не поделаешь, — плаксивым голосом произнёс Кротов. — Виктория Августовна, пригласите рабочих, чтобы они всё расставили по своим местам.

— Нет! — твёрдо сказал Рогачёв. — Нет, — повторил он. — Стол будет стоять, где я его поставил.

— Вы ещё здесь? — Кротов, застёгивая полы пиджака на пуговицы, удивлённо посмотрел на секретаршу.

— В таком случае до свидания. — Рогачёв, взяв в руки портфель, одной рукой надел на шею шёлковое кашне и глазами искал плащ.

— Всего хорошего. — Казалось, Кротов был рад такому итогу.

Сбегая по лестнице, Рогачёв бормотал самому себе в гневе:

— Нет, здесь мне делать нечего. Как-то всё здесь у них... фэншүёво. Права Зинка, надо себе знать цену, ставить себя. Я вам не какой-нибудь там стряпчий. Я великий стряпчий!

Он сбегал по лестнице на первый этаж — к вертушке на выходе. Хотел было крутануть её, но она не подалась. Он попробовал ещё раз. Безрезультатно. Борис Андреевич посмотрел на крепкого парня за стеклом. Охранник нехотя встал и наклонился в небольшое арочное окошко.

— Предъявите ваш пропуск.

— У меня нет его. Мне не давали.

— Ваша фамилия?

— Рогачёв.

— За вами придут, — охранник посмотрел на часы, — через час и пять минут.

— Так, и что?

— Тогда вы сможете выйти из здания.

— Вы что тут, с ума походили? — Рогачёв чувствовал, как наполняется до краёв чаша его терпения. — Выпустите меня отсюда! Вы не имеете права меня удерживать. Я вам не фэншүй какой-нибудь!

— Колганов, уезжая, сказал, что через два часа заедет за вами. Прошло пятьдесят семь минут. — Охранник плюхнулся на место.

— Кто такой Колганов? Это Вячеслав? Мне обязательно ждать его?

— Я не могу вас выпустить. — Кряжистый паренек вновь высунулся в окошко. — Вот, здесь в журнале отмечено, что вы должны выйти из офиса в одиннадцать тридцать. С Колгановым.

— У вас повышенная ко мне внимательность!

— Почему к вам? — Охранник вновь сел на стул. — Ко всем.

Ну, не перемаривать же через этот турникет, как мальчишке. Но на свободу жутко хотелось. Дождаться Вячеслава по фамилии Колганов можно и на улице. Он должен отвезти его к боссу. Но на какой ляд ему встречаться с Могилевским, если у того такая дурь в башке. Фэншүй дурацкий, не разводись, не женись, не пей, не бей морды, не выйди из офиса... Начальников себе надо выбирать хороших, чтобы не было мучительно больно... А вообще Рогачёв привык обходиться без начальства. Ему вольному как-то легче дышится. Вот и сейчас так и тянет сбегать...

Словно услышав адвокатские мысли о побеге, откуда-то появились ещё “двое из ларца, одинаковых с лица”. Подошедшие охранники о чём-то принялись болтать с кряжистым парнем за окошком, строго поглядывая на Рогачёва. Борис Андреевич молча ходил по пустынному коридору первого этажа, обдумывая свою ситуацию. Время текло медленно. Он уселся на квадратный малиновый пуфик возле стены, достал из портфеля книгу со стихами Блока и раскрыл наугад. Но прочитать поэтические строки на ярко-белой мелованной бумаге он не успел, обратил внимание на проходящую девушку. Она, вышагивая по коридору в короткой юбке, даже не посмотрела на Рогачёва. Что с девками делается? Идёт и сама себя хочет. Ты меня должна хотеть, а не себя! Разучились нравиться мужикам. Ни шарма, ни обаяния. Он уткнулся в страницу:

*Бушует снежная весна.
Я отвожу глаза от книги...
О, страшный час, когда она,
Читая по руке Цуниги,
В глаза Хосе метнула взгляд!*

А Кармен эту чего воспевают? Тошнит даже. Произведеньице ведь так себе, написано без особой прелести, и если бы не Бизе, Проспер не поднялся бы

со своей цыганкой на такую высоту. Ну, что в этой Кармен? Мерзкая до невозможности. “Мне надоело убивать твоих любовников; я убью тебя...”

Невольно мысли с Кармен перескочили на Зину. И чего он не послушал её и не поехал с ней на Фукуок? Сейчас бы наслаждался и отдыхом, и теплом её. А вместо этого приходится сидеть здесь взаперти.

Колганов появился вовремя, минута в минуту. Кажется, он уже знал, что здесь произошло, поскольку вид его был ещё надушеннее, чем обычно.

— Босс ждёт вас.

— А зачем мне ехать к вашему боссу? Я сейчас же улетаю домой.

— Нет. Мне приказано вас доставить. И не упрямитесь.

Чёрт с ним! Рогачёв встал с пуфика. Любопытно всё же глянуть на этого политического бизнесмедийца, какое-никакое, а развлечение. А бросить ему: “Нам с вами не по фэншую!” — всегда успеется.

Ехать долго не пришлось. Они вышли возле внушительного здания с зеркальными фасадами. На входе их тщательно проверили. Рогачёва даже попросили открыть рот.

— Что, и медосмотр нужно проходить, чтобы попасть к вашему боссу? — ухмыльнулся адвокат.

Вячеслав и Борис поднялись на стеклянном лифте. У входа на пятый этаж их вновь досмотрели. Они зашли в небольшую комнатку, сняли верхнюю одежду. Остановились возле высоких дубовых дверей с золотой табличкой: “Могилевский”. Без имени-отчества, должности и прочего, просто Могилевский. Здесь их снова тщательно обыскали секьюрити. Наконец, им отворили дверь, и они оказались в большой приёмной.

Секретарь, милая девушка с экзотическим лицом, увидев Вячеслава на пороге, приветливо кивнула, а только потом обратила свой взор на Рогачёва. От Бориса Андреевича не ускользнуло, что у обычно сурового Колганова на мгновение появился блеск в глазах, и что-то трепетное, но едва уловимое, скользнуло по лицу Вячеслава.

— Регина, босс у себя? — спросил он, вновь надев на себя холодные доспехи сдержанности.

— Да, ждёт. Минуту назад спрашивал. Проходите.

Колганов открыл дверь кабинета, пропуская вперёд адвоката. Рогачёв сделал несколько шагов и обомлел. Роскошество кабинета лишило его дара речи. Он словно попал в дворцовую залу. Настолько здесь было помпезно, величественно и по-царски. Даже фонтанчик в углу — обнажённая нимфа лила воду из кувшина себе под точёные ножки. Вот это размах!..

Борис и не сразу увидел, что к нему навстречу идёт обладатель всего это великолепия. Казалось, будто одна из статуй ожила и желает познакомиться.

— Добрый день! — хозяин протянул руку адвокату. — Будем знакомы, Могилевский.

— Рогачёв, очень приятно.

А в жизни он ещё обаятельнее. Эта... модное словечко... харизма — так и зашкаливает.

— Садитесь. — Могилевский указал на внушительные кожаные кресла со столиком между ними.

Пару секунд адвокат колебался, на какое сесть кресло, правое или левое, и интуитивно высл на то, что ближе к двери. Подметил, что Могилевский остался доволен выбором гостя.

— Слава, привет. Как родительница? — Босс протянул огромную ручищу Колганову. Тот обеими руками бережно взял руку босса и осторожно сжал. Сейчас ещё, поди, целовать станет, получит благословение и отпущение грехов. Рогачёв внимательно и с внутренним смехом взирал, как спесивый Колганов тает перед Могилевским.

— Андрей Карлович, если бы не вы, если бы не вы... Всё хорошо!

— Операция успешно прошла?

— Да, более чем!

— Я и не сомневался. Закиров — бог медицины. Столько знакомых к нему под нож отправлено, — засмеялся приятным смехом Могилевский. Следом Колганов. Рогачёв ради приличия тоже улыбнулся.

— Даже не знаю, как вас благодарить. Я ваш вечный должник.

— Помогать друг другу — святая обязанность человек. — Могилевский посмотрел на часы. — Слава, на сегодня и завтра свободен. Иди к матери, ты ей больше нужен, чем здесь. И ещё. Зайди в бухгалтерию, возьми месячное жалование и пусть выпишут материальную помощь. Приказ у Регины, уже подписан.

Казалось, Калганов готов был броситься в ноги боссу и зубами развязать шнурки на его дорогих ботинках, чтобы облобызать ступни. Какое ничтожество! Рогачёва чуть не стошнило от этой сцены.

— Его мать практически с того света достали. — Могилевский будто бы оправдывал поведение Вячеслава, когда тот удалился.

Рогачёв понимающе кивнул. Олигарх сел в свободное кресло, оперся локтем на крутой подлокотник и о чём-то на время задумался. Борис Андреевич молча наблюдал за ним, разглядывая черты лица. Демонстративно красивое лицо без заметных морщинок, высокий, словно отполированный, лоб, выдающийся подбородок с едва видной впадинкой, шапка чёрных, без малейшего намёка на седину волос. Этаким герой-любовник голливудских фильмов.

Сморящий куда-то в никуда Могилевский, наконец, пытливо взглянул на гостя.

— Как вам нынче апрель? — неожиданно спросил он.

Рогачёв всегда был готов к нестандартным вопросам. Он прочёл наизусть:

*— Есть тайная печаль в весне первоначальной,
Когда последний снег нам несказанно жаль...
Когда в пустых лесах негромко и случайно
Из дальнего окна доносится рояль...*

— Любите Визбора? — спросил Могилевский.

— Нет, — честно ответил гость. — Но знаю много стихов и песен, разумеется.

— Я тоже студенческое дитя его времени. Костры, палатки. Эх, где мои семнадцать лет?

— На Большом Каретном? — весело спросил Рогачёв.

— Да, я москвич. Потомственный, так сказать. А вы?

— С Урала. Там родился и жил до сей поры.

— Этим ещё недавно очень гордились. Президент — ваш земляк.

— Это, конечно, да...

Помолчали. Рогачёву захотелось вдруг сказать что-то приятное Могилевскому.

— Андрей Карлович! Признаться, меня очень поразило, что вы так вникаете в жизнь ваших сотрудников. А ведь сколько их у вас...

— Это вы о чём?

— О Вячеславе, к примеру.

— Я обязан знать всё про всех, — дежурно ответил Могилевский.

Они встретились глазами. Но Рогачёв тотчас отвёл взгляд от утопающего в кресле богача.

— О вас я много слышал. — Могилевский перешёл к делу. — Вы, как выяснилось, первоклассный специалист, а я, знаете ли, привык иметь у себя всё самое лучшее.

Рогачёв подёрнул бровью. Привык иметь всё самое лучшее... Он медленно оглядел роскошный кабинет. Нет, милый барин, я тебе не древнегреческая статуя и не голая бесстыжая нимфа с кувшином, и не часы элитные напольные, и не холёный фикус в кадке.

— Андрей Карлович, я вас очень уважаю, цену. И ваше предложение было для меня приятной неожиданностью. Мне хотелось работать в вашей команде. Но дело в том... — Рогачёв выдержал паузу. — Дело в том, что сейчас я вынужден отказаться от предложенной мне работы. Прошу вас извинить за хлопоты.

Ни один мускул не дрогнул на лице Могилевского, он даже не поменял выражения, только глаза замерли. Неподвижные зрачки были нацелены на чуть выпирающий кадык адвоката. Рогачёв сглотнул. Могилевский всё так же непрестанно смотрел в одну точку. Произнёс:

— Впервые кто-то отказывается работать на меня.

— Наверное, мне сразу надо было отказаться, но я...

— Почему же вы передумали?

— Как, вам ещё не доложили? — усмехнулся адвокат. — Тогда знайте: я не привык, чтобы мной владели.

— То есть?

Рогачёв нехотя рассказал про ситуацию с фэншуйем.

— И всё? — расхохотался Могилевский. — Из-за такой ерунды вы хотели отказаться от довольно заманчивого предложения? Вы гораздо глупее, чем я о вас думал.

— Хорошо, что вы смогли оценить уровень моих умственных возможностей до начала нашей с вами совместной работы, — невозмутимо сказал Рогачёв, вставая.

Могилевский тоже встал с кресла. На мягком сером сиденье осталась округлая вмятина. Олигарх подошёл к окну и, скрестив руки на груди, прижался к подоконнику поясницей.

— Знаете, когда я прислушался к жене и позволил ей оборудовать рабочие места согласно её фэншую, уверяю вас, производительность труда моих работников выросла в разы. Соответственно, и мои доходы увеличились.

— Охотно верю, — кивнул Рогачёв, — но моя производительность труда вырастает, когда мне комфортно работать. А мне комфортно, когда рабочее место находится возле окна. Я вообще, может быть, принимаю главные решения, сидя на подоконнике.

Могилевский удивлённо посмотрел на адвоката и, ни слова не говоря, вдруг запрыгнул задом на подоконник, потеснив горшок с цветком.

— Сдаётся мне, что вы просто своенравный человек. — Воротила бизнеса не без интереса разглядывал происходящее за окном. — Но это, пожалуй, мне даже на руку. До вас ни один человек не заявил о своём нежелании работать в кабинете, где обстановка по фэншую. Кто-то сказал, что ему всё равно, кто-то, что это его устраивает, а кто-то - что так даже стало лучше и удобнее. И только вы один высказали недовольство.

— Да даже дело не в этом даосском учении. — Борис Андреевич встал с кресла и подошёл к окну, но не к тому, где сидел Могилевский. Рогачёву вдруг стало крайне необходимо знать, что происходит на улице.

— А за окном был просто апрель, — словно читая мысли адвоката, задумчиво сказал Могилевский.

— Понимаете, я так не привык. Не привык, чтобы посягали на то, что находится в моих личных границах.

— А вы читали у Евгения Замятина рассказ “Апрель”?

“Да что ты привязался ко мне с этим апрелем?” — так и хотелось выпалить это странному богачу.

— У Замятина? — переспросил Рогачёв и внутренне сжался, потому, как на него хлынули чудовищные воспоминания.

“В романе-антиутопии Евгения Замятина “Мы” показан жёсткий тоталитарный контроль над личностью. Имена заменены буквами, номерами. Государство контролирует всё и вся, вплоть до сексуальных отношений. Слава Богу, мы другие и живём в другое время, не в тридцать втором веке, а в двадцатом. И имена, и фамилии у нас есть — Петров Иван Иванович, Никифоров Пётр Наумович, Волошин Игорь Эдуардович...”

Прошло столько лет, но Борис Андреевич наизусть помнил начало того позорного письма, в котором он пытался оклеветать преподавателя Волошина, как позже выяснилось, брата Леты.

— Нет, не читали. — Казалось, в голосе Могилевского сквозили нотки сожаления. — А почему мне вспомнилось? Там девочка Настя тоже любила сидеть на окне и глядеть на первую пыль. Кстати, моя жена Настя — дальняя родственница писателя Замятина. — Богач сказал это с особой гордостью.

Рогачёв отрешённо смотрел в окно. Из него словно выбили сегодняшнее, сиюминутное. Могилевский что-то говорил, но Рогачёв никак не мог настроиться на волну его речи.

— Но мы же с вами не гимназисты, не будем соревноваться, что кто читал! — Олигарх потрогал зелёные листики горшечного растения рядом.

— Верцингеторикс, — произнёс Рогачёв, мотнув головой, словно отбрасывая прошлое.

— Читали! — радостно воскликнул Могилевский.

“Странный он, ей-богу!” — Борис Андреевич покосился на богача.

— Вы что-то начали про личные границы. — Могилевский внимательно посмотрел на адвоката.

— Я хотел сказать, что имею право трудиться там, где мне вздумается, жить, с кем мне вздумается, и выпить, когда мне вздумается. Конечно, если последнее не мешает работе.

— Вот как... А давайте-ка, — Андрей Карлович слез с подоконника, — выпьем за знакомство!

— Я же говорил, стоит только посмотреть в окно, и умные мысли придут! — засмеялся Рогачёв.

Секретарша в два счёта организовала им отменный стол с выпивкой и закусками. Попивая французский коньячок, говорили о многом. В разговоре Могилевский поведал о том, что его адвокаты уже зажрались и оупели, поэтому он привлекает свежую силу. Рогачёв, наконец, согласился быть этой силой, но с условием.

— Вот что сделаем с вашим условием, — напоследок сказал Могилевский, — если вы вытащите из дерьма одного нужного мне человека, причём в короткие сроки, ваше рабочее место будет там, где вам вздумается. Если нет, то фэншуйфорева!

— Я убью тебя, лодочник! — засипело радио, как только Рогачёв сел утром в машину. Вячеслав, кивнув адвокату, завёл мотор.

— Выключи срань эту! — Борис Андреевич накинул ремень безопасности.

Вячеслав то ли не услышал просьбу, то ли проигнорировал ее.

— Выключи, бляха муха! — рявкнул Рогачёв, стукнув ладонью по консоли.

Колганов испуганно глянул на него и молча повиновался.

— Тебя же на два дня освободили от работы, чего ты сегодня-то приехал? — Рогачёв переложил ключ от квартиры из кармана плаща в портфель.

Вячеслав не ответил. “Он со мной доиграется”, — адвокат стиснул зубы. Его бесил этот Вячеслав. Так и хотелось дать по его презрительной морде, но Борис Андреевич сдержался.

Над заданием Могилевского Рогачёв работал, как вол, и больше. Он спал по четыре часа в сутки, не отвлекаясь ни на что, даже на чтение. Для него это было нехарактерно. Борис Андреевич лопатил горы томов в деле Тиграна Аслан-заде. Ситуация казалась безнадежной. Но адвокат методично выискивал мельчайшие несовпадения, зацепки, нелепости, встречался с людьми, вникал, анализировал, наблюдал. Он знал твёрдо: нужно победить. Разумеется, не из-за каких-то там фэншуев. Он считал это делом его профессиональной чести.

Рогачёв так умело выстроил защиту, так был убедителен и так виртуозно выиграл дело, что ему аплодировали все, включая судью.

— Это гений адвокатуры, — потом сказал судья в кулуарах. — Уверен, ему сам сатана помогает. Недаром же адвокат! — он выделил два первых звука в слове.

Аслан-заде отказывался верить случившемуся. Его не только оправдали, но ещё и в кратчайшие сроки. Обнимая Рогачёва, он то и дело вытирал набегающие на глаза слёзы. Этим же вечером Аслан-заде заехал в офис. Рогачёв по обыкновению после суда никого не принимал. Ему необходим был собственный “разбор полётов”, даже если всё прошло удачно.

— Дорогой! — Аслан-заде без стука влетел в кабинет Рогачёва, следом за ним вбежали его телохранители. — Дорогой мой! — Невысокий толстячок подскочил к нахмуренному адвокату и принялся его целовать. — Я дома всех бросил, не могу, говорю, его видеть хочу!

— Тигран, я никого сейчас не намерен принимать, даже вас.

— Подожди, подожди, дорогой! Я вот что принёс. — Он кивнул охранникам, и те принялись ставить на стол пакеты. — Давай отметим. Сегодня скромненько, а на днях пир горой закачу, дай только опомниться.

— Я занят. — Рогачёв смотрел колко и враждебно.

— Почему занят, какой занят? Дорогой! Я же тебе ещё вот что принёс. Вышли отсюда, шакалы! — Аслан-заде легонько помахал рукой в сторону своих телохранителей. Оба парня исчезли в мгновение ока.

Тигран расстегнул объёмную куртку и достал из глубокого кармана увесистый свёрток, похожий на запелёнутый батон колбасы.

— Вот, держи, адвокат, звезда! — он с гордостью протянул свёрток. — Мне не терпится отблагодарить тебя, дорогой!

— Что это? — Рогачёв без интереса смотрел на “колбасу”.

— Ты дурак, что ли, дорогой? — Аслан-заде сам уставился на свёрток. — Деньги!

— Моим заказчиком был другой человек.

— Мы с боссом обо всём договорились. Я сказал, что плачу за себя сам! У нас с ним свои дела. Он в курсе.

— И всё же, давайте все расчёты завтра.

— Ты чего, парень? Какой завтра? Завтра меня могут пиф-паф или снова запереть кое-куда. За мной же следят, дорогой! Кругом шпионы бледнолицых. — Тигран захихикал мелким смешком.

С виду клоун клоуном... Рогачёв живо себе представил его в остром колпаке и с красным шариковым носом. Мда, и не скажешь, что этот человек настолько коварен и беспощаден, что и человеком-то его называют номинально.

Аслан-заде положил свёрток на стол. Рогачёв нехотя взял его и покачал в руке. Задумался. Ему Могилевский давал хороший аванс, и здесь, похоже, немало. Вот ведь, и работа любима, и платят хорошо.

Тигран зорко наблюдал за действиями адвоката.

— Мало, думаешь, мало? Не подумай только, что Тигран жадный. Тиграну ничего не жалко для хорошего человека, — он зло блеснул глазами и снова сунул руку в куртку, но с другой стороны. Через мгновение Аслан-заде вновь держал в руках свёрток — близнеца предыдущего.

— Вот, держи. — Тигран нервно подал свёрток адвокату.

Рогачёв кивнул на стол. Гость положил свёрток рядом с другим, ещё что-то хотел сказать, но его молниеносно прервал Рогачёв.

— И всё же я занят.

Тигран понимающе кивнул и попятился к двери.

— Подождите, — неожиданно остановил его адвокат.

Аслан-заде взглянул на своего спасителя. В его взгляде сквозь подобострастие мелькнула молния ненависти.

— Раскройте. — приказал адвокат.

Тигран проворно разбинтовал свёртки. Там были зелёные долларовые купюры и ничего более.

— Спасибо. До свиданья, — устало произнёс Рогачёв и услышал, как, выходя, Тигран Аслан-заде, полуармянин, полуазербайджанец, выругался не то по-армянски, не то по-азербайджански. Нетрудно догадаться: типа, адвокатшишка, подлец, а что себе позволяет!..

Через два дня Аслан-заде устраивал кутёж по поводу своего освобождения в одном из лучших ресторанов Москвы.

Рогачёв обещал быть, но с опозданием. Он встречал Зину. В тот день, после суда, когда к нему приходил с благодарностями Аслан-заде, Борис изрядно выпил и позвонил ей. Он не мог не похвастаться своим успехом, извинившись, что раньше никак не доводилось позвонить, поскольку был занят круглосуточно работой. По сути, Рогачёв не обманывал Зину. Они не виделись больше месяца, две недели которого Зина провела во Вьетнаме.

— Почему ты мне не звонила... — обиженно бормотал поддатый Рогачёв.
— Потому что я не знала твой номер телефона. — Зина улыбалась вновь свалившемуся на неё счастью.

— А позвонила бы?

— Я звонила. — Зина говорила правду. — Но ты же поменял номер на московский.

— Зинка, я люблю тебя! — Рогачёв тоже говорил правду. — Не могу без тебя. Приезжай немедленно! Навсегда, насовсем, невозвратно!

— Стоит ли? — кокетничала Зина. — Ты же занят постоянно. До меня ли тебе?

Рогачёв, задышавшись от нежности и желания видеть Зину, кричал в телефон Блоковское:

*Одной тебе, тебе одной,
Любви и счастья царице,
Тебе, прекрасной, молодой,
Все жизни лучшие страницы!*

— Ой ли?

— Зинка, приезжай! Приедешь? Если нет, я сам за тобой приеду и укрою тебя. Когда вылетаешь?

— Сейчас, минутку. Загляну в календарь.

— Какой к чёрту календарь!

— Ты действительно хочешь, чтобы я приехала?

— Да! Да! Прямо сейчас!

— Так, сегодня у нас восемнадцатое, нет уже девятнадцатое... Значит, двадцать первого.

— Почему? Нет, я не согласен!

— Нет, Борис Андреевич, дела, и только двадцать первого смогу вылететь, если ещё билеты будут.

— Через два дня. Через два долгих дня... Только двадцать первого...

*Двадцать первое. Ночь Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.*

Эти ахматовские строки больно стучали в мозг после разговора с Зиной, так и не согласившейся приехать раньше.

Через два дня Рогачёв с охапкой роз стоял в толпе встречающих в Домодедово. Все с интересом смотрели на букет, гадая, кто же будет обладательницей такого цветочного сокровища?

В тот момент, когда к Рогачёву с вопросом обратился какой-то мужик, показалась Зина. Она в синих джинсах и розовой курточке уверенной походкой шла к своим, судя по всему, сбывающимся надеждам. Рогачёв аж задохнулся, увидев её. Незнакомец что-то настойчиво спрашивал.

— Да пошёл ты в жопу, козёл! — Борис, отмахнувшись от навязчивого мужика и, распахивая всех букетом, ринулся Зине навстречу.

— Давай никогда не разлучаться, — первое, что сказал ей Рогачёв, протягивая букет.

Она счастливо кивнула:

— Чёрт с тобой!

— Такси, недорого!

— Машинка, пожалуйста!

— Домчу быстрее всех!

— Ребята, садитесь. Куда вам?

С большой сумкой Зининых вещей Рогачёв, морщась, пробирался через приставучих водителей, как бы пробивая дорогу Зине, которая шла позади с гигантским букетом в руках. Борис то и дело оглядывался с тревогой, не исчезла ли она в вихре людей и чемоданов. При встрече он даже забыл

поцеловать её и опомнился только, когда они выбрались из здания аэропорта.

Теперь они неистово целовались в центре стоянки среди спящих машин. Водители бережно объезжали влюблённую парочку. В какой-то момент Рогачёва вдруг обожгло. У неё кто-то был. Нет, не может быть! Это уколы разлуки. И тем не менее она целовалась как-то не так, жёстче, напористее, что ли...

— Борис Андреевич! — откуда-то извне, за пределами счастья, послышался голос. Словно кто-то разбудил Рогачёва. Это Вячеслав, подылав, какое-то время наблюдал за ними, но, поняв, что добровольно с поцелуями они не покончат, вынужден был окликнуть Рогачёва.

Адвокат хмуро покосился на Колганова, ему показалось, что тень злорадности промелькнула на неприятной водительской физиономии.

— Что? — недовольно спросил Рогачёв.

— Ехать нужно. Босс звонил, хочет вас срочно видеть.

— Но я же сказал, что...

— Нет, — настаивал Вячеслав, — он говорит, что перед банкетом срочно должен переговорить о чём-то важном.

— О чём? — задал глупый вопрос Рогачёв. Будто бы босс будет докладывать мелкой сошке, о чём он хочет поговорить.

— О чём-то важном, — занудно повторил Колганов. — Он только сказал, что собирался пообщаться с вами на мероприятии. Но ему нужно срочно уехать. Поэтому он в категоричной форме заявил о своём желании немедленно видеть вас.

— Чёрт! — Рогачёв сжал зубы. Он так рассчитывал на улётный секс, а тут... Страсти в нём полыхали, и затушить их было нечем.

Борис посмотрел на Зину. Она, уткнувшись в букет, опечалилась.

— Солнышко, — начал было Рогачёв.

— Всё хорошо, милый! Посезжай, я всё понимаю.

— Значит, так, — ободрился Борис, — я беру такси и еду в ресторан. Там встречаюсь с боссом. — Он окинул себя взглядом и остался доволен. Ведь встречать Зину Рогачёв надел невероятно дорогой элитный костюм, кстати, его любимый. Она тоже, видать, готовилась к встрече: причёска красивая, — Рогачёв только сейчас обратил внимание на волосы Зины. — Вячеслав, ты отвозишь Зиночку домой.

Колганов кивнул.

— Зинуль, ты там располагайся, хозяйничай. А я постараюсь как можно быстрее вырваться из ежовых лап бизнеса. Переговорю с боссом, а с банкета сбегу, ну, может, пропущу парю рюмок с Тиграном, моим выигранным подзащитным, а то не отстанет ведь.

Вячеслав вышел из машины, положил дорожную сумку в багажник, открыл дверцу автомобиля. Борис, поцеловав Зину долгим поцелуем, взял цветы, помог ей сесть в машину и вернул букет.

На пороге ресторана Рогачёва встречал сам Могилевский. На его статной фигуре хорошо сидел тёмно-серый костюм итальянского дома моды "Бриони" из смеси редчайших волокон в мире — овцебыка, пашмины и викуньи. Таких костюмов в год выпускалось ровно сто, и пошиты они были нитями белого золота.

— Я потрясён! — Могилевский обнял адвоката. — Клянусь, лучшей защиты я не видел. Отлично сработано!

— Старался, — скромно ответил Рогачёв.

— Знаю, что недосыпал. Но выглядишь прекр-р-расно!

— Эх, я бы ещё лучше выглядел, если бы трахнулся! — Рогачёв вздохнул. — Ни позже, ни раньше тебе, Андрей Карлович, приспичило какие-то разговоры затевать".

— И костюм отличный! — Могилевский окинул взглядом Рогачёва с ног до головы. — Знаешь, хорошо одетые люди — моя слабость. Поздравляю, у тебя прекрасный вкус.

Убранство ресторана било в глаза своим роскошеством. Отреставрированный и недавно открытый, он представлял собой произведение интерьерного

искусства. Официанты тонули в этом значном раздолье, были незаметны, казалось, еда сама по волшебству доставляется на столы, покрытые ослепительно белыми скатертями, по краям обшитыми золотыми завитушками. Глаза наедались не теми изысками, что на столе, а теми, что вокруг.

Уже понемногу начинали собираться гости, без исключения все подходили к Могилевскому засвидетельствовать почтение. Он с кем-то расцеловывался, кого-то приветствовал рукопожатием, кого-то покровительственно хлопывал по плечу, женщинам же либо кивал, либо целовал руки. Меж столиков носился Аслан-заде, то и дело натывался на босса с адвокатом и каждый раз обязательно рассыпался в красноречивых комплиментах.

Наконец, Могилевскому всё это надоело.

— Давай-ка удалимся отсюда, а то весь этот цирк скоро переедет к нам за столик.

Они ушли со сцены ресторана — обеденной зоны, однако закулисье тоже впечатляло. Телохранители неотступно следовали за ними, как тени.

— А твой где? — поинтересовался Могилевский. — Отпустил, что ли?

— Кто где? — не понял Борис Андреевич.

Могилевский кивнул на секьюрити.

— Не обзавелся. А надо?

— Чудак-человек! — Могилевский даже остановился. — Я распоряжусь на сей счёт.

— Как вам будет угодно...

Весь остаток коридорного пути Андрей Карлович сокрушался по поводу человеческой безалаберности.

Открыв исполинскую дубовую дверь, один из охранников, зайдя внутрь кабинета, вскоре вышел и кивком дал разрешение входить. В кабинете директора, тёмном и уютном, слышась заставленным антиквариатом, Рогачёв вдруг почувствовал тяжесть веков. После почти дворцового великолепия обеденного зала, от блеска которого резало глаза, они очутились в какой-то мышиной камерке, хоть и напичканной дорогими раритетами. Одна из стен была завешана древними иконами. Другая — дипломами, грамотами.

Сухонький седоватый мужичок поднялся со своего места и, прихрамывая, подошёл к гостям.

— Любезный мой, прогуляйся минут двадцать. Будь добр! — сказал Могилевский, минуя приветствие.

Директор кивнул.

— Андрей Карлович, распорядиться, чай, кофе?

— Да мы сами у тебя тут найдём, если что понадобится.

Директор снова кивнул.

— Раскройте-ка, ребятки, занавески, а то, как в берлоге! Любит же старикан темноту. — Могилевский прошёл к директорскому месту и плюхнулся в кресло. — Да, и форточки откройте. А то тут всё насквозь мешанством пропахло.

Парни расшторили окна, грянул дневной свет, преобразивший комнату. Рогачёв оглядывался по сторонам, скользя взором по обстановке. “Как ещё пальмы не передохли без освещения”, — думал он, глядя на многолетние зелёные деревца в деревянных кадках.

— Итак, — сказал Могилевский, когда охранники оставили их одних, и хлопнул по бархатному подлокотнику кресла. Оттуда вылетела пыль и красивой прозрачностью зависла в воздухе. — Скажи, ты остался доволен суммой?

— Да, вполне.

— Тебе этот спасённый клоун должен был отдать... — Могилевский назвал сумму.

Рогачёв покачал головой.

— Нет? — из глаз босса брызнула злость. — Нет? — проговорил он с ненавистью.

— На двадцать процентов больше названной вами суммы.

Могилевский не сразу понял, что сказал Рогачёв.

— Больше? — переспросил он. — Ты уверен?

— Да, ровно на двадцать процентов больше.

— Ну и Тиграша, — рассмеялся Могилевский так, словно гора упала с плеч, — шутник! Он ещё чаевые оставил... Признаться, не ожидал от него.

Откуда-то из-под стола виновато стала выползать мелодия Моцарта. Могилевский достал из кармана брюк мобильный. Рогачёв ни разу не видел, чтобы босс хоть раз брался за мобилу при разговоре с ним.

— Жена, — возвышенно-иронично произнёс Андрей Карлович.

Босс разговаривал с ней недолго, но нежно. Сказал, что после одного важного разговора улетает в Красноярск, и если они успеют пересечься в дверях, то слава Богу.

Рогачёв, слушая милую боссовскую щебетню, представлял себе его жену. Как её там, Настя? Она, наверное, модель какая-нибудь, с ногами от ушей и прямыми волосами до бёдер. Непременно блондинка. Младше его лет на двадцать. С капризным пухлым ртом, тронутым блеском. Может, глупа, но скорее всего, нет. Такая умная красавица. И стерва фэншуйная.

— Люблю её, — сказал Могилевский, закончив разговор с женой. — Настя, она... забавная!

Забавная? А, ну да... Она же с особой фишкой. Увлекается Востоком. Причём серьёзно. В общем, вся в учениях и течениях.

Наконец босс перешёл к главному. Предстояло ещё одно дело, тоже крепкий орешек, но помельче предыдущего и сроки более гуманные. "Хоть на Зину будет время оставаться", — с облегчением подумал Рогачёв. Он, делая вид, что внимательно слушает Могилевского, с наслаждением представлял Зину. С сегодняшнего банкета он сбежит почти сразу. А потом... Ух, даже страшно представить, что потом.

— Чему это вы так усиленно улыбаетесь? — Андрей Карлович прервал его страстные мысли.

— Радуюсь, что смогу ещё деньжат подзаработать, — с лёгкостью ответил Рогачёв.

— А зачем вам деньги? — неожиданно спросил Могилевский.

"А тебе зачем?" — так и повисло на языке, грозя сорваться.

— Я хотел спросить, финансовые трудности? Долги?

— Вроде нет, Бог миловал. — Рогачёв посмотрел на стену с иконами. — У меня же...

И тут Рогачёв понял, что выпал шанс поговорить о его сердечных делах.

— Андрей Карлович, понимаете, я очень люблю одну женщину.

Могилевский понимающе кивнул.

— Как зовут?

— Зинаида.

— Зинаида? — отчего-то опешил Могилевский, но ничего не пояснил. Может, имя ему показалось редким, немодным.

— Когда мне предложили работу у вас, я уже жил с ней, уйдя из семьи и подав заявление на развод. Но мне поставили жёсткие условия, сказав, что никаких скандалов не допустят, и велели забрать заявление о разводе.

— Забрал? — Могилевский прищурился.

— Пришлось, но это полная фигня, потому как я к своей бывшей не вернусь и Зину не отпущу от себя. Ну, разведёмся мы с Ларисой не сейчас, а через месяц или полгода, год. Это никакой роли не играет. Всё равно же разведёмся. Никто меня насильно не заставит с ней жить. Я люблю другую женщину.

— Та-а-ак. А от меня-то ты чего хочешь?

— Да в общем-то ничего. Вы спросили, зачем мне деньги? Отвечаю: для Зины. Квартиру хочу хорошую для нас купить, ну, и прочее. Понимаете, я хочу с ней жить. Семью хочу.

— Прекрасно!

— Поэтому дайте своё добро на развод. Уверяю вас, никаких скандалов не будет. Лариса — умная женщина, понимает, что давно нас ничего не связывает, к тому же я ей хорошие отступные оставлю, да и вообще, уже всё оставил, — усмехнулся Рогачёв. — Так что не нужно будет переживать за

мою репутацию, никакой газетной шумихи не предвидится. Да и кому я нужен? Журналистам я неинтересен.

— Здравьте! — Могилевский смотрел на своего подчинённого, как на идиота. — Неинтересен! Да о тебе столько за эти два дня понаписано! Во всех новостных программах мелькал, позавчера так точно.

— Я?

— И я тоже. Нет, брат, ты всем интересен. А ты что, телевизор не смотришь, газет не читаешь?

— Да я всё как-то книги больше... — пытался пошутить адвокат.

— Я тоже книгами не брезгую. Но что творится в свете, знать нужно! Считай, что это приказ.

— Конечно, всё я смотрю и читаю. Но эти два дня, честно, не до чего было. Отсыпался, да и к приезду Зины готовился. Поэтому и упустил кое-что.

— Себя упустил, — засмеялся Могилевский.

— В общем, Зина приехала сегодня ко мне. А я сюда, — с сожалением вздохнул Рогачёв. — Пообщаемся с вами, и я сигану домой.

— А как же Тиграша? Он будет в обмороки падать, узнав, что ты собрался дать дёру. И слушать не захочет, что на чаше весов твоя Зина его гораздо перевешивает. Он вообще баб за людей не считает.

Рогачёв развёл руками.

— А почему бы её не пригласить сюда?

— О, как бы я был рад. Но меня же предупредили: “Скрывать свою любовницу от общественности или вообще расстаться с нею”.

— Бесчеловечно, однако! — Могилевский лукаво взглянул на адвоката.

— Так и я о том же. — Рогачёв перехватил взгляд босса.

— Зови её сюда. Я сказал.

Борис Андреевич, подмигнув иконам, схватился за телефон и набрал номер Зины. Новость ей понравилась.

— А теперь всё же к делу. Там очень много неприятных нюансов. — Могилевский встал с кресла и принялся ходить по кабинету.

Минут через сорок Рогачёв, освободившись, прошёл к столикам и решил у окна поджидать Зину. Ему не терпелось увидеть её. Он хотел наблюдать, как она выходит из машины, как идёт по майской земле к входу. Однако Борис Андреевич тотчас же попал в поле зрения Аслан-заде, и тот, взяв его, точно раскалённый металл в кузнечные клещи, не отпустил ни на секунду, знакомя и заставляя восхищаться его адвокатской умелостью. Ему дружелюбно кивали политики, улыбались звёзды, заглядывались обременённые бриллиантами лахудры. Действительно лахудры, ведь все они меркли на фоне внезапно появившейся Зинаиды Тыщенко.

“Посмотрите, сволочи, ведь ей нет равных!” — так и хотелось заорать во всё горло. Он видел, какие взгляды бросали ей вслед деловые политики и бизнесмены. Их спутницы тоже одаривали Зину взглядами, но недовольными и завистливыми.

Борис Андреевич специально не пошёл навстречу Зине, ему хотелось, чтобы все обратили на неё внимание и гадали, к кому подойдёт эта прекрасная дама. Рогачёв даже отвернулся, якобы он не видит Зину, и принялся болтать о чём-то пустом с оказавшимся рядом киноактёришкой, на которого по непонятным причинам в этом году сыпались все роли. Он каждую секунду ожидал, что вот-вот она подойдёт и легонько похлопает его по спине или просто положит руку на плечо. Но прошло какое-то время, а никакого хлопка он не почувствовал. Тогда Рогачёв повернулся и в нескольких шагах от себя увидел растерянную Зину в компании Могилевского и какой-то невероятно жуткой девицы. Зина тоже увидела Бориса и махнула рукой.

Подойдя к троице, Рогачёв кивнул незнакомой девице, обритой почти наголо, — причёсочка “я второй месяц в армии” — и с огромными яркими красными кольцами в ушах, что делало её похожей на Чебурашку.

— Зиночка, слава Богу, добралась! А то я уже переживать начал, — сказал Рогачёв, приобнимая Зину. — Андрей Карлович, познакомьтесь, моя Зина. Зиночка, хочу представить тебе моего босса — Андрея Карловича Могилевского.

Могилевский сухо кивнул.

— Познакомься, Борис Андреевич, и ты с моей дражайшей половиной. Настя, моя жена.

Рогачёв от такого известия аж хмыкнул. Как угораздило Могилевского позволить себя опутать узами Гименея этой, мягко сказать, неадекватной особе, судя по её внешнему виду?

— Хеллоу! — фиолетовыми губами выдавила из себя фэншуёвая Чебурашка.

— Я тебя не могла найти. — Зина смотрела на Бориса, как на спасителя. — Пришлось даже спросить.

Откланявшись, Борис и Зина отошли от четы Могилевских.

— У тебя невероятно красивый наряд! И так идёт тебе! — Рогачёв не мог оторвать от Зины глаз.

Её облегалo вечернее в пол тёмно-синее приталенное платье из полупрозрачного сетчатого текстиля, длинные рукава которого были декорированы разноцветной вышивкой бисером в виде бабочек.

— Нравится? Я сама его сшила, — сказала Зина.

— Да? — удивлению Рогачёва не было предела. — Ну, надо же! Это шедевр!

— Я ещё и не на такое способна.

Рогачёв был искренне изумлён её мастерством и не льстил, когда говорил о платье. Оно не выглядело кустарной самодельщиной. Наоборот, очень изысканно и с фантазией.

На банкете Рогачёв с Зиной как самые почётные гости были усажены за главный столик, поближе к виновнику торжества — Тиграну Аслан-заде. Он, его жена и брат с нескрываемым восторгом и обожанием весь вечер только и произносили тосты за гениального адвоката, весьма утомительно. Несколько раз Тигран заставлял зал пить стоя за драгоценного Бориса Андреевича. Адвокату аплодировали, им восхищались.

Зина поначалу вела себя несколько скованно, вежливо улыбалась, чуть наклоняя голову с крупными кудрями, и время от времени теребила мочку уха. Ела мало и почти ничего не пила. Но её зажатость быстро прошла. К концу вечера Зинаида вовсе веселилась, рассказывала интересные истории, сыпала остротами, показывая своей блестящий ум, помноженный на иронию.

Возле главного столика банкета постоянно толпились богемный люд. Как в калейдоскопе, мелькали знаменитости. Потом Зина призналась: ей казалось, будто переключаются каналы в телевизоре, вынося на экран то одну, то другую известную физиомордию.

В какой-то момент к ним подошёл Могилевский. Он поцеловал руку Зине, несколько задержав взгляд на её пальцах. Видимо, его привлекло крупное плоское кольцо на среднем пальце. Потом он, кивнув Рогачёву, что-то сказал Тиграну и удалился.

“Странно, — думал Рогачёв, глядя вслед боссу, — уже банкет на исходе, а он всё ещё здесь. А говорил, срочно ехать надо. Планы, наверное, поменялись”. Не дожидаясь финальных тостов, Рогачёв шепнул Зине, что ему здесь уже невмоготу, они, стараясь не привлекать к себе внимания, спешно покинули банкет. На выходе вновь повстречали Могилевского. Тот, похлопав по плечу своего адвоката и попрощавшись с ним, даже не взглянул на Зину, будто такими красавицами здесь было всё уставлено. Одни деньги на уме, — ухмыльнулся Рогачёв, накидывая на Зину ярко-жёлтый плащ с большими карманами. Тревогу сменила глуповатая обида, что босс не оценил её восхитительной внешности. Конечно, она классика. А ему-то нравятся выпендрёжные марамойки футуристической направленности! В очередной раз Борис поразился виду жены Могилевского.

Вызывать Вячеслава не стали, а поймали такси. Несмотря на позднее время, пробок в столице хватало, и домой ехали довольно долго. Пожилой таксист всю дорогу жаловался на тяжёлую долю, постоянные наезды, вечные разборки.

— Домчишь быстро, помогу, сделаю так, чтобы тебя не трогали, — сказал Рогачёв. Ему хотелось как можно быстрее снять с Зины бабочковое платье.

Таксист, шмыгнув носом, недоверчиво посмотрел на поддатенького Рогачёва. И ходу не прибавил.

Всю ночь до утра Рогачёву было не насытиться Зиной. Он полыхал, подобно огню, жарко и неуёмно. Встав под утро с постели и сделав пару шагов по направлению к ванной, Борис чуть не рухнул на пол рядом с платьем Зины.

— Зинка, ты соковыжималка. — Рогачёв устало улыбнулся в темноте. — Все соки из меня выжала — и желудочный, и... поджелудочный...

Они оба весело рассмеялись.

В десять Рогачёв уехал на работу. Ему предстояло новое дело: вызволять из железных лап правосудия очередную бестию, крупного воротилу, мошенника сатанинских масштабов.

Зина, проводив Бориса на работу горячим чаем и обжигающими поцелуями, рухнула в кровать и проспала ещё добрых три часа. Проснувшись, подвергла себя упругим струям джакузи и побаловала кофе с ванильным суфле. Неспешно прошлась по квартире. Вчера ей было не до детального изучения жилья, пришлось прихорашиваться к банкету.

— Да, это было великолепно! — сказала Зина вслух, поднимая вечернее платье с пола.

Она отчётливо видела, что произвела фурор на столичную знать. “Никаких измен, — твёрдо сказала себе Зинаида, — кто бы то ни был, хоть хан бахчисарайский”. Во-первых, она любит Бориса. Да, да, любит. Во-вторых, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Рогачёв — умный, толковый, перспективный. Сейчас в её задачу входит помочь ему стать юристом, ну, если уж не мирового значения, то...

Её мысли прервались телефонным звонком. Зина пошла на зов телефона и обнаружила его на столе в студии. Определитель высвечивал цифры, которые ровным счётом ничего не говорили Зине.

— Алло! — она подняла трубку.

— Зинулечка, ну, как ты, милая? — послышалось из телефона. — Я специально не звонил раньше, был уверен, что ты спишь.

— О великий стряпчий! Слушаю и повинуюсь!

— Уже скучаю невероятно!

— И я! И я! И я!

Они мурлыкали ещё минут двадцать, пока к Рогачёву не пришёл посетитель. Зина бережно положила телефонную трубку на рычаг. Какое-то время посидела в кресле, уставившись на синий блестящий цветок на обоях. Тепло приятно изнывало от ночного пиршества. До чего хорош он в постели! — Зинаида сладко потянулась. — Не то, что... Она вспомнила недавний секс с французом в этом долбаном Нямяме.

Рогачёву Зина изменила нарочно, от злости. Ей стало обидно, что он не поехал на Фукуок. Боялся потерять Москву. А её Зину, значит, не боялся потерять? Никуда бы его Москва не делась. Мог бы наврать, что у него во Вьетнаме крупное дело, которое необходимо завершить. И ценили бы ещё больше. А она, Зина, не из тех женщин, которыми разбрасываются.

Когда Тыщенкова прилетела во Вьетнам, на Фукуоке — острове в Сиамском заливе — уже окончательно угасал высокий сезон ноябрь-март, но отдыхающих ещё роилось предостаточно. Огюст, молодежавый представитель галльской нации, проникся лирическими чувствами к прекрасной русской в самые первые дни её приезда. Представитель страны Вольтера, Гюго и Золя ни бельмеса не понимал по-русски, однако Тыщенкова в школе учила французский и потом частенько освежала его, поэтому общение потекло и плавно перетекло в постель. В качестве мести Борису.

Осложнением этой романтической истории стало то, что Огюст не на шутку влюбился. На фоне живописной фукуокской природы с её скалистыми горами, тропическими лесами и роскошными песчаными пляжами так и скакали его непрестанные объяснения: “ля мур пур тужур”, “ля бель рюсс”. И бедняга проплакал весь вечер, когда Зина накануне отъезда поведала ему, что у неё есть жених. Он плакал так трогательно, по-детски, вытирая слёзы кулаками, что Зине искренне стало жаль его.

Встречаясь с парижанином весь вьетнамский период, она пару раз всё же задавалась вопросом: а не бросить ли к чёрту этого русского адвоката с его Москвой и не закадрить ли окончательно и бесповоротно француза с его Парижем?

Может быть, такое бы и случилось, если б не два “но”. Первое — это французская жадность. И Огюст был уличён в ней. Как известно, французы экономят, стоя даже на краю могилы, и Зину отнюдь не радовало подобное жлобство. И второе, а скорее, даже первое: Огюст в подмётки не годился Борису на предмет сексуальных утех. Ну, и где это хвалёное французское постельное мастерство?..

И ещё. У Огюста имелись рудиментарные мышцы! Когда Зина увидела у него связки на запястьях обеих рук, она подумала, что вместе они не будут, это точно. На сей счёт у неё был особый бзик. У большинства обитателей планеты на одной или обеих руках есть рудиментарные мышцы в предплечьях или так называемые длинные ладонные мышцы. Они вспучиваются, когда человек крепко сжимает кулаки. Это отголоски нашего общего звериного прошлого и когда-то отвечали за выпуск когтей. У всех приматов они имеются без исключения для усиления хватки при прыжке. Поэтому Зина считала, что тот, у кого есть эти мышцы, в той или иной степени животное, которое рано или поздно выползет наружу из любого, даже самого воспитанного человека. Она ярко представляла себе, как из кого и кто вылезает. Из кого козёл, из кого свинья, из кого лиса. У всех её ухажёров были рудиментарные мышцы. Кроме Бориса. А это, в её понимании, означало, что Рогачёв — существо высшего порядка, стоящее на верхней ступени человеческой эволюции.

Зина, встав с кресла, вновь прошла по квартире. Большая трёшка в центре Москвы ей понравилась, как только она впервые переступила порог этого жилья. Благородная спальня в шоколадных тонах с молочными акцентами, богатые портьеры с ламбрекенами, мягкий напольный ковёр и огромная кровать с балдахином.

Совмещенную кухню с гостиной освещали три высоких окна, поэтому здесь было светло и прозрачно. И ещё имелась дополнительная комнатка для вещей. Приехав вчера, Зина закинула туда свою дорожную сумку. Когда же собиралась на банкет, она нагишом, каждый раз пригибаясь, бегала к ней за той или иной вещью.

Немного постояв в пустой комнате, Зинаида принялась дораспаковывать сумку, которую частично распотрошила вчера, лихорадочно ища платье, туфли, косметику. Она расставила и разложила по местам своё немногочисленное барахлишко, взятое на первое время, и стала думать, чем бы ей заняться дальше.

Прошла неделя. Рогачёв целиком и полностью ушёл в работу. Дело оказалось достаточно сложным. “Неприятные нюансы”, как выразился Могилевский, высывались из каждой строки следователя.

Зинаида тоже не теряла времени даром. Ходила в театры, на выставки, в музеи. То, что приходилось идти туда одной, её несколько не смущало. Она понимала: чтобы жить в столице, да на широкую ногу, нужны приличные средства. А Борис как раз сейчас тем и занимался, что добывал их. Зина воочию видела, насколько тяжёл его труд, поэтому даже не помышляла о каких-то капризах, нытье типа “ты меня не видишь из-за своей работы”.

— Борис Андреевич, — секретарша со стуком вошла в кабинет адвоката, — вас просил босс срочно приехать. Кстати, у вас почему-то телефон выключен, что недопустимо. — И стальная леди вышла, стуча каблучками.

Рогачёв спешил на встречу с Могилевским, слушая по пути радио. После информационных новостей Борис Андреевич попросил Вячеслава выключить музыку.

Итак, что мы имеем. Провалился аукцион по продаже семидесяти пяти процентов акций “Роснефти”, за счёт которой правительство планировало закрыть часть долговых проблем. Мда, новый обвал финансовых рынков.

Доходность государственных краткосрочных облигаций за сутки выросла на тридцать процентов. Глава ЦБ обвиняет во всём спекулянтов. Забавно.

— Салют, — Могилевский кивнул из-за стола. Не встал, руки не подал.

— День добрый! — ответил Рогачёв. Он внимательно гляделся в лицо босса. Озабоченное, и глаза тусклые, как лампочки на сорок ватт.

“Что-то не так. Может, по его меркам, я медленно работаю?”

Босс жестом указал на стул за длинным овальным столом справа от его кресла. Борис Андреевич с некоторым трудом выдвинул высокий тяжёлый стул с зелёным бархатным сидением. Сел и стал ждать, что скажет ему босс. Тот некоторое время молчал, смотрел какие-то бумаги, что-то подчёркивал. Рогачёв пристально наблюдал за его действиями.

— Тут вот какое дело. — Могилевский откинулся на спинку кресла. И вновь замолчал.

“Да говори же!” — Рогачёву не терпелось услышать, для чего его сюда вызвали. Адвокат перебирал в уме все встречи за последнюю неделю, вспоминал разговоры. Что он мог не так сделать, не то сказать?

— Тебе нравится Бетховен? — неожиданно спросил Могилевский.

Опять нестандартные вопросы.

— Смотря что, — уклончиво ответил Рогачёв. — Есть и у него хорошая музыка.

— К примеру, Девятая симфония. Та-та-та-та-та-та-та, — пропел Могилевский.

— Да, нравится. — Рогачёв был искренен. — Считается, Бетховен создал её, будучи глухим.

— А вот Лев Толстой в своём “Что такое искусство?” дурно отзывался о ней.

Адвокат пожал плечами, мол, имеет право.

— И тем не менее она является гимном Евросоюза. “Ода к радости”. И плевать они хотели на высказывания нашего гения.

“Что ему надо? — Рогачёв пребывал в недоумении. — При чём тут Бетховен, Девятая симфония?..”

— А в “Заводном апельсине”, смотрели, наверное... Стэнли Кубрик режиссёр.

— Ещё бы! — усмехнулся адвокат. — Там как раз многое по моей части. Изнасилования, тюрьмы... Я и роман читал.

— Ведь и там Бетховен. Алекс, главный герой, стимулирует свою агрессию, слушая Девятую симфонию Бетховена. Хотите послушать?

— Чтобы агрессию стимулировать? — засмеялся адвокат. Но Могилевский не оценил его шутку.

— Не хотите — не надо. Тогда к делу.

Рогачёв ещё какое-то время обдумывал разговор о Бетховене и не сразу включился в новую тему. Могилевский нёс какую-то чушь про устройство браков, про статистику разводов. Борис Андреевич, слушая совершенно не нужные рассуждения, думал о том, как это всё ему может пригодиться и забивать ли голову могилевской ерундой.

— Я не привык к отказам. — Андрей Карлович жёстко смотрел на Рогачёва.

Адвокат напряжённо ждал.

— Максимум через две недели Зина будет со мной.

— Простите, я не расслышал. О чём вы?

— Не о чём, а о ком. О Зине. О Зинаиде Тыщенко.

— О Зине? О моей Зине? А при чём тут она? Не понимаю.

— А что тут понимать, старик... Влюбился я, — сказал Могилевский таким жалостливым тоном, будто у него исчезло что-то очень важное и дорогое. — Влюбился, — повторил он так же грустно.

— В кого? В Зину? — Рогачёв никак не мог поверить в услышанное. — Это что, опять какая-то проверка? Очередной стёб?

— Нет, не стёб... А ты, Борис Андреевич, слетай-ка в Монте-Карло, поплавай на моей яхточке. Не всё же ей простаивать. Отдохни, развлекись. Я тебе деньжонок подкину на казино, девочек...

Рогачёв от непонимания происходящего усиленно перебирал в памяти весь сегодняшний недолгий разговор. Бетховен, Девятая симфония с её “Одой к радости”, Толстой, “Заводной апельсин”, Евросоюз, нет, сначала Евросоюз с гимном, потом “Заводной апельсин”. Браки, разводы. Какая связь?

— Итак, ещё раз, — сказал Рогачёв твёрдым голосом. — Чего вы хотите?

Могилевский поднял одну бровь и недоумённо посмотрел на адвоката.

— Я, кажется, всё объяснил, — проговорил он холодно.

Борис Андреевич, слегка наклонив голову вперёд, смотрел исподлобья. Они встретились с Могилевским глазами. И, как показалось адвокату, босс смотрел на него с обидой.

— Вам понравилась Зина? — спросил Рогачёв как можно спокойнее.

— Да, — уверенно ответил Могилевский. — Да. Мало того, не просто понравилась. Повторяю, я влюбился в неё.

— И чего вы хотите?

— Хочу забрать её у вас. — Андрей Карлович, частенько тыкавший, снова перешёл на “вы”.

Рогачёв достал платок из кармана пиджака и вытер лоб.

— Так просто, забрать?

— Я предлагаю вам многое взамен. Работу у меня, деньги...

— Ну, предположим, у вас я и так работаю. Причём, заметьте, неплохо. А деньги у меня есть. Нам хватает, чтобы жить достойно.

— Достойно? — вспыхнул Могилевский. — Да ты нищесброд по всем представлениям. Что ты можешь дать этой невероятной женщине?

— Слушай, ты, богач сраный! — Рогачёв так сдерживался, чтобы не начистить физиономию босу, что стало сводить сжатые кулаки. — Я не нищесброд, ясно? И деньги зарабатываю, в отличие от вас всех, моих клиентов, не убийствами, не грабежами и не отмыванием! Я великий стряпчий! Что я могу дать? Всё, что нужно. Всё, что необходимо. И даже больше. А ты — излишества, без которых можно прекрасно обойтись. Зачем сорок комнат, если можно жить в пяти, трёх, даже двух?

— Ещё скажи, в шалаше.

Рогачёв, пылая ненавистью, посмотрел на Могилевского. Он, насмехавшись, сидел валяжно в кресле. Вся его натура источала презрение.

— Я всё сказал. Зина будет со мной. Если будешь артачиться, выкину за порог жизни. Как хочешь, так и понимай. Великий стряпчий... ишь ты!

— Прощай. — Рогачёв встал со стула. — Мы уезжаем. — И адвокат вышел из кабинета.

Он быстро спускался по мраморным лестницам, думая о билетах на самолёт. Как всё печально закончилось, едва успев начаться. Зину ему подавай! Хрена лысого тебе! И Рогачёв, резко согнув левую руку с кулаком, ударил по ней правой.

— Борис Андреевич! — кто-то окликнул его со спины, но великий стряпчий даже не повёл ухом, спеша к выходу.

Молодой человек, забежав вперёд, встал на пути адвоката.

— Борис Андреевич! Вас просят вернуться.

— Нет.

— Вас просят вернуться.

— Нет, непонятно, что ли? — Рогачёв попытался обойти парня.

— Босс просил передать, что вы его неправильно поняли. И ещё он хочет сделать вам кое-какое предложение.

Рогачёв задумался. Немного поколебавшись, он решил вернуться в кабинет Могилевского.

На сей раз Андрей Карлович улыбался, но с такой старательностью, что подлетали вверх бровные дуги. Рогачёв без приглашения сел на стул, но в конце стола. Он мрачно смотрел на босса, скрестив руки на груди.

— Не кипятись, дорогой Борис Андреевич, — миролюбиво произнёс Могилевский.

— Давайте к делу. В чём я вас неправильно понял и какое предложение?

— Ух ты, деловой какой! — рассмеялся Андрей Карлович каким-то скользким смехом. — Расслабься, Боря! — Могилевский быстро подошёл к сидящему Рогачёву и, схватив его со спины за плечи обеими руками, легко потряс. — Ну, что ты такой напряжённый, ей-богу! Кому говорят, расслабься! Будь легче.

— Нет ничего тяжелее, чем стать легче. — Рогачёв нервно дёрнул плечами, высвобождаясь от Могилевского.

— Хочешь коньячку? — предложил босс.

Рогачев неуверенно мотнул головой. Могилевский открыл величественный раритетный буфет с золотой фурнитурой и достал две изысканные серебряные стопочки. Посмотрел на них, покрутил, стукнул одну о другую. Стопки издали тонкий лирический звон. Могилевский, глядя с восхищением на музыкальные стопки, ударил их друг о друга ещё пару раз.

— Нет, не наш размерчик! — сказал он, убирая их на место, достал стеклянные sniffтеры и поставил их на стол перед Рогачёвым. Ни слова не говоря, скрылся в одной из дверей кабинета, но вскоре вышел с бутылкой коньяка.

— В ларёк сбегал, — весело сказал он.

Могилевский взял стул рядом с Рогачёвым, развернул его к адвокату и уселся. Сначала он наполнил коньяком дно своего sniffтера, взболтнул, понюхал и залпом заглотив.

— Недурно, — сказал он, наполняя наполовину свой бокал и бокал Рогачёва. — За понимание!

И выпил коньяк махом.

Рогачёв, вдохнув запах, задержал его пару секунд и только потом выпил. Андрей Карлович уже налил себе по новой и занёс бутылку над бокалом адвоката, но тот отодвинул его.

— Давайте всё же сначала уладим все вопросы. А то я не понимаю, с кем пью, так сказать, с другом или с врагом.

— Не знаю, какой я друг, но враг я хороший, — хищно засмеялся Могилевский.

Выпив, Андрей Карлович откинулся на спинку стула и хотел покачаться на нём, но не тут-то было: мощный стул не поддавался натиску босса и ни на йоту не оторвался от пола.

— Сколько спинок сломал в школе... Ещё любил на перилах кататься, — сказал он грустно, — а теперь вот приходится на машинах.

— Бедняжка, — Рогачёв устало вздохнул.

— Не понравился коньяк? — спросил Могилевский, будто не слыша проничного вдоха Бориса Андреевича. Он повертел в руках бутылку. — Закусончика бы ещё... Сейчас Регинка лимон нашинкует, колбаску. Мне с марсельского рынка привезли мою любимую — “язык дракона” называется — “la langue du dragon”.

Андрей Карлович вызвал секретаршу и приказал сервировать стол. Та, покорно выслушав задание, отправилась его исполнять.

— Борис, подойди к окну, — неожиданно сказал босс.

— Зачем?

— Тебе там решения лучше даются, так ведь?

“Ёрничает, сука!” — Рогачёв злобно посмотрел на Могилевского, но у того на лице — ни намёка на юмор. Борис Андреевич нехотя встал, прошёл к одному из окон. Шёл нарочно медленно. Было приятно ступать по мягкому ковру. Что происходило на улице, Рогачёва совершенно не интересовало. Обычная майская возня. Поэтому он развернулся спиной к окну и внимательно посмотрел на Могилевского.

— Ты только сначала выслушай до конца, а то выскочил, как гончая за косулей. — Могилевский встал со стула.

— Слушаю. Я весь ухо, как говорят в Марселе.

— Я тебе предлагаю сделку. — Андрей Карлович обогнул стол и встал напротив адвоката. — Я тебе даю много-много денег. Хватит, чтобы хорошо развлечься где-нибудь и по приезде, возможно, купить роскошную квартиру.

— А взамен?

— Взамен Зину. Но дослушай! — вскрикнул Могилевский, увидев, как нервно дёрнулся Рогачёв. — Пойми, у тебя появилась отличная возможность проверить её. Можно сказать, моя влюблённость в Зину тебе на руку. Проверив её, тебе не надо будет ежесекундно подсознательно мониторить: верна она тебе или нет? Я буду за ней ухаживать все дни, пока ты в отъезде. Обещаю, никто её насильно ни к чему не будет принуждать. Если она даст мне от ворот поворот, то, значит, так тому и быть. Хотя, признаюсь тебе, — прищурился босс, — такого прежде не бывало. Верить?

Рогачёв закрыл глаза, но тотчас открыл и внимательно посмотрел на Могилевского. Их взгляды пересеклись. И будто впервые увидевшись, они с до-тошным любопытством вглядывались друг в друга.

“А ведь ты, Андрей Карлович, блефуешь, — подумал Рогачёв, — переоцениваешь себя. Уж слишком смазлив. — Ему стал отвратителен влажный рот босса. — Правда, умён, зараза, но это и мой козырь”.

“Я все соки выжму из себя, чтобы её увести. — Могилевский буравил Рогачёва взглядом. — Да, бабам ты определённо нравишься. В тебе есть сила. Хорошая самцовая сила. Но кто ты такой, чтобы со мной тягаться? Простой адвокатишка”.

В этот момент в дверь робко постучали. Рогачёв и Могилевский одновременно посмотрели на вход. Это Регина принесла разные закуски на большом овальном подносе.

“Ну, а что, — рассуждал Рогачёв, выпивая и закусывая с боссом, — действительно, стоит посмотреть, падкая ли Зинка на деньжища. Если да, то и скатертью ей дорога. Не думаю, что у Карловича она долго засидится. Глянется ему вновь какая-нибудь, и — последний звонок, прощай, Зинок! А после Могилевского она мне даром не нужна. Ещё чего! А если устоит перед этой богатой мордой... — адвокат посмотрел на Могилевского. Тот тоже о чём-то иступленно думал, покусывая косточку указательного пальца... — То и быть нам с Зинулей вместе. Да ещё в собственной московской квартире с видом на...”

Первая мысль, которая всплыла наутро, была, разумеется, о сделке с боссом. И если физически Рогачёв чувствовал себя бодрячком, а выпили они с Карловичем вчера изрядно, то морально очень подавлено. Надо ли затевать всё это? Но другого выхода нет. Откажется он от предложения, Могилевский его в два счёта выставит за дверь, а это босс, будучи подшофе, озвучил вчера, ещё добавил, что постарается, чтобы от Рогачёва шарахались, как от чумы, всюду, в любом юридическом сообществе. И куда ему, бедному адвокату, податься, что он ещё умеет, кроме того как... юриствовать? Идти в сантехники, таксисты? И позорно, и безденежно, и попробуй ещё устройся с этим всплеском безработицы. Но главное — без Зины. Ну, помучается она вместе с ним какое-то время, а потом махнёт хвостом, и только её и видели. И он сам будет виноват. Кому нужен неудачник? Даже к Шейнис не прибьёшься.

Рассказать всё Зине? Пусть клеится к ней босс, а она, подготовленная к его денежной бомбардировке, пойдёт этого самодовольного воротилу куда подальше. Но ведь она и впрямь, зная всё, может переметнуться к Могилевскому. А не зная? А не зная, может, и нет. Вдруг всё же совесть не позволит. Он ведь наврёт ей, что уезжает в срочную командировку в Чечню по приказу босса побеседовать кое с кем для невероятно важных сведений, правда, сам в Монте-Карло умчится, ну, не в Чечню же, ёшкин-матрёшкин.

А если уж Зина устоит перед человеческими и денежными чарами Могилевского, жить им в роскошной квартире.

Если нет, что ж, босс выйдет победителем с Зиной на шею. Но, как говорится, баба с возу, кобыле легче. Босс сказал, что ничего не изменится, Рогачёв как работал, так и будет работать у него, к тому же получит хорошую компенсацию за моральный ущерб и найдёт себе в два счёта приличную кралю. Вот такой расклад.

Зина выглядела очень подавленной, когда Борис Андреевич заявил ей о своём внезапном отъезде. Она даже проронила ровно по одной слезе из

каждого глаза. Подобно декабристам, хотела было разделить участь Рогачёва в столь страшной поездке. Но Борис Андреевич сказал, что это категорически запрещено. На неё нет пропусков и всего остального.

— Но разве именно тебе нужно ехать в эту Чечню? Это же всё равно, что прыгать в воронку кратера! — От волнения Зина дрожала. Её красивое лицо покрывлось пятнами. Она непрерывно ходила по комнате, повторяя: “Боже мой!”

— Зиночка, зато, если всё сложится удачно, у нас будет большая хорошая квартира.

Зина остановилась. Сжала пальцами виски.

— Подвергать свою жизнь опасности из-за какой-то квартиры? Нет, не пушу! — И она бросилась на шею Борису. — Не надо нам никакой квартиры. Давай уедем, Боречка, давай уедем обратно. У меня есть жильё. Нам хватит. А нет, так заработаем. Я чувствовала, что эта Москва нас до добра не доведёт. Боря, не пушу! — Она крепко прижала к себе Рогачёва и нервно впиалась ему в губы.

Такого секса у Рогачёва не было никогда. Что-то на грани помешательства. Зина будто бы и впрямь отправляла мужа на фронт, вообразив, что станет вдовой и что это их последнее любовное соитие.

“А она меня и впрямь любит. — Рогачёв с нежностью посмотрел на румяную Зину, раскинувшуюся поперёк постели. — Тем хуже для тебя, босс”.

Добравшись до Монте-Карло, Рогачёв отправил Могилевскому открытку с двумя гоночными машинами на трассе формулы-один: “Привет Андрею Карловичу от Монте Карловича”. После этого наступила неделя, сделавшая Бориса Андреевича очередной, пусть и мимолётной, легендой знаменитого игорного дома. О Зине и Могилевском он изо всех сил старался не думать.

Стояли первые летние деньки. Причём холодные. Поэтому и Москва встретила Рогачёва прохладцей. “Дурной знак”, — ёжась, подумал Рогачёв, стоя на платформе домодедовского экспресса. Такси брать ему не хотелось, наоборот, он старался как можно больше оттянуть приезд домой. Рогачёв нарочно не стал сообщать о своём прибытии. Он чувствовал себя мужем, раньше срока приехавшим из командировки для установления факта неверности жены. Чтобы скоротать дорогу домой, купил журнальчик с анекдотами, в котором почти каждый анекдот был про жену-изменщицу и мужа-рогоносца. Вдруг мелькнуло в памяти, как Варюха пообещала написать о нём книгу “Рогачёрт”...

С тяжёлым сердцем Борис медленно поднимался по ступеням домой. Сейчас он позвонит в дверь. Зина откроет не сразу. Они с Могилевским слишком зарезвились и забыли про время. Кстати, он и Могилевскому не обозначил время прилёта. Зина, услышав неприятную трель звонка, похолодеет от ужаса и прошепчет: “Это Борис. Я знаю. Мы пропали!” — и начнёт судорожно уничтожать улики их с Могилевским любовных утех: застилать постель, срочно прятать невероятной красоты новое нижнее бельё... Любовник будет спешно одеваться, не попадая пуговицами в петли рубашки, обязательно одну из петелек пропустит, и на груди рубашка будет стоять пузырярём. Потом усядется на кресло в угол и возьмёт газету. Тем временем раздастся ещё один звонок. Зина громко прокричит: “Минуточку!” — бросится в ванну, намочит волосы и обернёт их полотенцем. Надевая на ходу халат и повязывая пояс, стремглав полетит открывать дверь.

Он, отстранив Зину и минуя приветственные поцелуи, пройдёт в квартиру. В коридоре будут лежать недавно купленные красивые босоножки и сумочка в тон им. Женщины в новом себя чувствуют гораздо увереннее.

Он, не мешкая, завернёт в спальню и увидит в кресле Могилевского, одетого, но без носков и с газетой в руках. Да, трахаться обязательно нужно было именно здесь, в этой квартире, на этой кровати. Это же ещё больнее ранит. Он подойдёт достаточно близко, посмотрит презрительно в глаза сопернику. Могилевский сожмётся под его взглядом или же, наоборот, будет нахально взирать.

— Боречка, я сейчас тебе всё объясню, — взволнованно скажет Зина. — Ты всё не так понял. Дело в том, что Андрей Карлович...

Он занесёт над Могилевским руку, на которой повиснет Зинаида с истеричными воплями:

— Боря, не надо! Умоляю, Боря!

Рогачёв откинёт её, как ненужный элемент, и, осторожно выдернув газету из рук Могилевского, перевернёт и отдаст обратно.

— Вы умеете читать шрифтом наоборот? — усмехаясь, спросит он.

— Чёрт знает что, — пробормочет Андрей Карлович.

Рогачёв бросит взгляд на идеально натянутое покрывало на любовном ложе, на мгновение представит, что там происходило, но его затошнит, станет трудно дышать.

— Всё кончено, — скажет он и выйдет из спальни.

Зина, плача, побежит за ним следом. В коридоре она бросится к нему на шею со словами: “Прости!” Он сурово отстранит её и выйдет за дверь. В подъезде он встанет у открытого окна и долго-долго будет поочередно смотреть на небо и на землю.

— Вот, к примеру, у этого. — Борис Андреевич, не доходя до своей площадки, остановился у открытого окна. Он поднял голову и посмотрел на железную дверь своей квартиры с номером двадцать два.

— Двадцать два, — медленно произнёс он.

“На лебедей похожи, — подумал Рогачёв, глядя на циферные головки и тонкие шейные изгибы. — Ага, на леблядей!” — Его резко обожгло жаром, и он, перепрыгивая ступени, в два счёта оказался возле своей квартиры и так сильно нажал на звонок, что казалось, палец выйдет из обратной стороны стены.

Дверь не открывали, и Рогачёв безостановочно давил на кнопку.

— Вы там уснули на звонке, что ли? — крикнула Зина, открывая ключом внутреннюю дверь.

Рогачёв не убрал палец с кнопки и по-прежнему неистово жал на неё.

— Сейчас! — нервно крикнула Зина. — Кто там? — она посмотрела в глазок второй, железной двери. — Ой, — вскрикнула радостно и тотчас же повернула ключ в замке.

Рогачёв, услышав обороты ключа, резко дёрнул дверь на себя. Зина, в халатике и с тюрбаном из полотенца на голове, выглядела немного растерянной.

Борис внимательно посмотрел ей в глаза. В её взгляде сквозило что-то жалобное и потаённое. Сердце его заскакало, как шарик монте-карловской рулетки. Молча отстранив Зину, Рогачёв вошёл в квартиру.

В коридоре небрежно лежали лазоревого цвета туфельки на высокой шпильке. Новые, как и сумка на зеркале. Спальня встретила приятным ароматом хороших мужских духов. Он кинул взгляд на постель. Как у солдат в казарме, натянута по струнке. Мол, мы даже не садились на неё, не то что...

Борис тупо смотрел на кроватьную сень — балдахин, на отблески солнца на нём, боясь повернуть голову в сторону уютного закутка с креслом. Он отчётливо понимал, что произойдёт в следующий момент: он просто убьёт Могилевского. А потом Зину. И никакого аффекта. Он убьёт их, находясь в самом здравом уме и такой же здоровой памяти.

Рогачёв краем глаза увидел ножицы на трюмо. “Два конца, два кольца, посередине гвоздик”... “У тебя был выбор, — мысленно сказал он Зине. — Кольцо или конец”. И явственно услышал, как забивают гвоздики в крышку гроба.

Нет, это вошла в комнату Зина в своих сексуальных домашних шлёпках на каблукках. Рогачёв невольно обернулся, но тут же перевёл взгляд на кресло.

— А где Могилевский? — спросил он ошарашенно.

Зина, стоя в проёме двери, как показалось Рогачёву, изобразила недоумение.

— Кто? Могилевский?

— Где он? — Рогачёв подошёл к креслу и осторожно заглянул в угол за креслом, хотя там не могла бы поместиться даже удочка, не то, что человек.

— А при чём тут Могилевский? — нахмурилась Зина.

Рогачёв быстро обошёл квартиру, но не обнаружил следов пребывания постороннего человека.

— Ты Могилевского ищешь? — Зина выглядела растерянной. Она сняла с головы полотенце, и мокрые волосы спускались по плечам, оставляя на халате следы.

Рогачёв не ответил.

— Тебя там в своей Чечне в голову ранило? — Зина опёрлась локтем на косяк.

— Почему у нас так воняет мужским одеколоном? — сквозь зубы выдавил Рогачёв.

— Это не одеколон, — обиженно произнесла Зина. — Это... Не понравился запах? Странно, по-моему, очень приятный. Это я тебе купила. Что ж, ладно, не буду дарить, раз так...

Рогачёв вышел из квартиры и, пробежав по лестнице мимо открытого окна и даже не взглянув в него, выскочил из подъезда.

Через полчаса он стоял у дверей офиса Могилевского. Но охранники не собирались пускать его. “Вам не назначено, — твердили они. — На вас нет пропуска”. Адвокат звонил боссу, но тот не отвечал. Спустя какое-то время Могилевский сам перезвонил ему.

— Ты где? В Москве? — спросил он.

— Да. Прилетел сегодня.

— Приезжай ко мне в офис. Поговорим.

— Так я и так стою здесь уже битый час. Не пускают.

— Сейчас пустят.

Рогачёв, не ответив ни на одно приветствие служащих, буквально влетел в кабинет босса.

— Ну? — рявкнул он с порога.

— Привет, Борис Андреевич. Как отдохнул? — Могилевский отложил в сторону ручку.

— Было? — хрипло спросил Рогачёв.

— Ну, что тебе сказать... — Босс посерьёзней, выпрямил спину и вытянул губы трубочкой. — Мда...

Рогачёв прикрыл глаза, мгновенно представил их с Зиной, кровать с балдахином, и ему тотчас в нос ударил запах одеколона, якобы купленного ему. Рогачёва вновь затошнило.

— Понятно, — только и сказал он.

Андрей Карлович в ответ зло произнёс:

— Ха-ха-ха.

— Ну, и что означает это “ха-ха-ха”?

— Поздравляю, старик, ты выиграл. — Андрей Карлович встал со своего рабочего места. — Горько мне осознать, что ты победитель, но так оно и есть.

Рогачёв усиленно перемальвал услышанное.

— Зина — мо-ло-дец! — по слогам произнёс Андрей Карлович. — Не баба, а твердолит какой-то, — сказал он с горечью. — Эх... Повезло тебе, Андреич, ох, как повезло. — Босс плюхнулся назад в кресло и взял ручку. — Слушай, Рогачёв, некогда мне сейчас, проваливай, а? Дел по горло, а тут ты со своей стервой! Вали, давай, — непонятно, то ли в шутку, то ли в серьёз произнёс Могилевский. — Вали к своей Зине, — повторил он и ударил по столу ладонью, — ну!

Рогачёв повернулся было к выходу, но вспомнил ещё кое о чём.

— А как там у нас насчёт жилья? — нахально спросил он.

— Я слово держу, — сказал босс.

“Охренеть!” — Рогачёв со слезами счастья на душе вышел за дверь. Секретарша Регина, завидев Бориса Андреевича, опустила глаза, в уголках которых таилась обида.

— Региночка-рябиночка, отчего вы так склонили свои ветви?

Она холодно взглянула на него, радостного и возбуждённого.

— А почему вы со мной не поздоровались? — На её гладком экзотическом лице не угадывалась ни одна эмоция.

— Разве? — округлил глаза Рогачёв. — За это вот вам, — и он звонко чмокнул Регину в правую щёку.

По пути домой Борис Андреевич заскочил в продуктовый. Он кидал в тележку всё, что попадалось под руку. Выбивая чек, молоденькая продавщица уважительно смотрела на человека, выложившего, по её меркам, “гастрономическую” сумму за еду.

Градус рогачёвского настроения зашкаливал. Ему хотелось кричать от восторга, но он, едва сдерживая себя, пел под нос модное: “Ту-ту-ту, ла-ла-ла, снова вместе, снова рядом...”

Всё его радовало, всё вдохновляло. Да и погода оттаяла, разгорячилась. Солнце выжгло прохладу, и остаток дня выдался по-настоящему тёплым, ласковым. Борис спешил домой, к Зине, но извечные пробки тормозили его стремление. Ему хотелось вылететь через открытое окно машины и нестись по небу к Зине. Он принялся декламировать во весь голос:

*Как радостно птицей лететь домой,
Любовь и нежность тая,
И знать, что спросят тебя: “Ты мой?”
И скажут тебе: “Я твоя!”*

Водитель повернулся к Рогачёву, сидящему на заднем сиденье. Он пристально посмотрел на своего пассажира, обвешанного покупками, пытаясь вспомнить, где он его видел. Отчего-то решив, что перед ним киноактёр, таксист, поковырявшись в бардачке волосатыми руками с наколками на пухлых пальцах, вытянул оттуда какой-то мятый листочек, исписанный с одной стороны, и подал его Рогачёву.

— Напишите мне, пожалуйста... — Но тут нервно стали сигналить со всех сторон, поскольку их машина стояла первой на светофоре, а зелёный уже загорелся, поэтому окончание фразы водитель произнёс под рёв сигналов: — Автограф.

Рогачёв, не расслышав просьбы, подумал, что нужно написать фамилию того, чьи стихи. Он пожал плечами, хотел было похулиганить, как в молодости, и написать: “Валдис Пенис”, но вывел на потрёпанном листке: “Лебедь-Кумач” — и передал водителю.

— Ух ты! — выдохнул тот. Такую фамилию он явно слышал.

Заплатив таксисту гораздо больше положенного, чем окончательно осчастливил его, Рогачёв, выйдя из машины, у подъезда столкнулся с Зиной. Она, в белом сарафане и с распущенными волосами, выглядела умопомрачительно. Рогачёв, поставив на землю пакеты, бросился к ней.

— Зинка! — Он крепко обнял её. — Ты самая прекрасная на свете, самая-самая... понимаешь? — Рогачёв, матёрый и хищный адвокатище, всегда умеющий молниеносно подбирать нужные слова, теперь не знал, что сказать, как выразить всю полноту чувств. — Как тебе идёт этот сарафан! — Он окинул её полным вожделения взглядом и вдруг, встав на одно колено, тожественно произнёс: — Зинаида Петровна! Гражданка Тыщенкова! Выходите за меня замуж!

Зина в недоумении смотрела на Бориса.

— Гражданин Рогачёв, что за цирк? — устало спросила она.

К подъезду прошагал Петька Куркин, паренёк, живший над ними.

— О! Романтики с большой дороги, — сказал он, косясь на коленопреклонённого Бориса и Зину в белом. — На свадьбу позовёте?

— Привет, Петруччо! — Рогачёв поднялся с земли. — Как житуха?

— Нормуль, — ответил парень. — Помочь? — Он кивнул на пакеты и тут же подхватил два из них.

Остальные взял Борис. Зина, открыв подъездную дверь, пропустила вперёд соседа и Рогачёва с поклажей. Лифт, как назло, не работал, поэтому пришлось тащиться на четвёртый этаж пешком. В то время как сосед, изнемогая, пытался, Рогачёв же, наоборот, не испытывал никаких сложностей, хотя сегодня же, ещё совсем недавно, этот же самый ступенчатый путь был для него труден, как никогда.

Возле дверей своей квартиры Борис Андреевич отблагодарил Куркина упаковкой охотничьих колбасок. Тот, смущаясь, взял съедобную благодарность и, попросившись, отправился на свой этаж. Через несколько ступеней он обернулся и увидел всюю целующихся Бориса и Зину.

— Ну-ну! — весело сказал Куркин.

Упившись сексом под балдахином, Борис вне себя от счастья, лёжа на кровати, громко пел привязавшуюся сегодня к нему “Ту-ту-ту, ла-ла-ла...” Зина тем временем ушла в душ. Вдоволь напевшись, Рогачёв встал с постели и отправился в ванную. Он приоткрыл шторку, но его тотчас же обрызгали водой. Смеясь, Борис отправился разбирать пакеты. И когда Зина, влажная и довольная, вышла из ванной, стол уже ломился от выпивки и закуски.

— Давай сегодня напѐмся! — предложил Рогачёв. — Столько поводов...

— А давай! — махнула рукой Зина.

Первый громокипящий тост был, конечно, за любовь. Рогачёв распинался, как в зале суда:

— Это чувство, граждане судьи, не подвластно никаким юридическим законам. С древнейших времѐн оно умело ловко выскальзывать из цепких лап правосудия, кто бы ни пытался упрятать его в места лишения свободы...

Запѐм выпив по бокалу шампанского, они жадно набросились на еду. Потом были ещё тосты и ещё. Борис напропалую врал про Чечню:

— Вот представь себе: тѐмная ночь, ни хрена не видно, только пули свистят по горам, только ветер гудит в проводах, а я сижу в окопе и верю в тебя, дорогую подругу мою! Эта вера от пули меня тѐмной ночью хранила.

— Это лирика, а результата ты добился?

— Ещё какого результата, дон! Меня теперь наградят званием великого стряпчего Чеченской республики!

— Ты не просто великий стряпчий, ты самый великий стряпчий всех времѐн и народов! — кричала Зина.

Они ели, пили, веселились. И не могли наговориться, как будто не виделись не неделю, а год или больше. Узнав о том, что у них в скором времени будет собственная квартира, Зина, вскочив на диван, стала прыгать на нём и хлопать в ладоши.

Окончание этого замечательного вечера решили провести в каком-нибудь ресторанчике. Зина, слегка подкрасившись, нарядилась в приталенное сиреневое платье. Волосы собрала на затылке, выпустив прядку возле левого уха. Борис надел тѐмные брюки и ярко-синюю рубашку, которую очень любил и считал счастливой. Наскоро собравшись, они вышли на улицу, поймали машину и поехали кутить.

— Куда ехать? — спросил водитель, едва парочка разместились на заднем сиденье автомобиля.

— Хоть куда, — ответила весело Зина, — на ваше усмотрение.

— В смысле — хоть куда?

— А куда хотите!

— Я ведь и на кладбище могу увезти, — взбрыкнул водитель.

— Возле кладбища мы уже жили.

— Я сейчас никуда вообще не поеду.

— Мужик, ты чѐ такой нудный? — Рогачёва несколько задел тон дядьки за рулѐм. — Хотим беззаботно отдохнуть, выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить. Вот и вези нас туда. Только чтоб не забегаловка.

— Ну, хоть какие-то ориентиры, — пробурчал бомбила.

Ресторанчик оказался небольшим, но довольно приличным, с живой музыкой. Столики почти все заняты. Их проводили к пустующему перед сценой. Его только-только покинули, и поэтому он был ещё не убран. Им принесли меню, одно на двоих.

— Я не голодна. Давай десерт и вина. Или коктейль.

Борис кивнул. Он и сам хорошо поел дома, поэтому сейчас хотелось только бухать и радоваться жизни.

Они танцевали танец за танцем в зеркальных отблесках крутящегося шара, не ведая усталости. Зинаида прекрасно владела телом, хорошо чувствуя

музыку, но и Борис не отставал в мастерстве. Они станцевали бесчётное количество медленных танцев, особенно часто включали Селин Дион “Myheartwillgoon”, песню, совсем недавно выплывшую в мир из недр затонувшего “Титаника”.

Как хорошо, нет ни одной знакомой физиономии, и не будет. Ни коллег, ни одноклассников, ни клиентов, ни друзей-приятелей, их жён, любовниц, ни моих бывших, будущих... Словно всё сначала.

Время от времени звучала живая музыка в исполнении двух певцов — молодой девицы с визгливым голосом и пожилого степенного усача-баритона. Пели они попеременно и пару раз дуэтом. Ни Зину, ни Бориса их пение не впечатлило. Да и репертуар никакой: у него в основном шансон, а у неё откровенно дешёвая попса типа “Ксюша, юбочка из плюша”.

Когда усач запел очередную блатоту: “Вези, меня, извозчик, по гулкой мостовой, а если я усну, шмонать меня не надо...” — Зина, окинув взглядом зал и увидев проникновенно пригорюнившиеся лица, заметила:

— В последнее время складывается ощущение, что в нашей стране все сидели, да не по разу.

Борис усмехнулся. Его тошнило от всей этой тюремной и околотюремной романтики. Уж он-то знал изнанку “лирических историй”, а на самом деле бесчеловечных преступлений, о которых возвышенно время от времени пел усач в микрофон.

— Пойдём подышим, — предложила Зина.

Они вышли на свежий воздух. Июньская ночь предстала им во всей красе. Звёзды россыпью украшали небо, тёплый ветерок теребил листву. Зина подняла руку и помахала.

— Ты это кому? — спросил Борис.

— Когда ты был в Чечне, мне не спалось по ночам. Я выходила на балкон и смотрела на звёзды, думая о тебе. Думала, а вдруг тебе сейчас тоже не спится, и ты смотришь на ту же звезду, что и я. — Зина помолчала. — А зачем ты ездил, в Чечню-то эту? Я так и не поняла, для чего.

— Потом, всё потом. — И Борис притянул Зину к себе.

И снова понеслись танцы, захлопотала музыка, приходили всё новые и новые коктейли, всё ярче крутился зеркальный шар, сыпля звёздочками. Звёзды на небе тоже крутились, а раскрутившись, падали, Рогачёв только успевал их ловить и забрасывать обратно на небо.

Борис открыл глаза, поморгал, но ресницы, казалось, так громко хлопают, что звенит в ушах от их грохота.

— Зина, — простонал Рогачёв и похлопал ладонью рядом с собой. — Я сейчас схохну, а ты?

Никто ему не ответил. Борис вытянул руку и пошарил ей по кровати. Не нащупав Зину, подумал: “Надо же, у неё ещё есть силы встать”.

— Зина, ты где? — спросил он вполголоса, сильнее издавать звуки у него не получалось. — Спаси меня! Медсестра, пи-и-и-ить!

Рогачёв, не открывая глаз, немного подождал. Зина не откликнулась. Борис, пытаясь собрать себя воедино, еле-еле поднялся на локтях и тут же рухнул.

— Всё. Я труп, — уверенно сказал он.

Сколько времени Борис лежал в одиночестве, он не знал. В голове ездило по кругу: “Шансоньетка, заведённая юла...”

— Зина! — выкрикнул он. — Ну, где ты? Живая хоть?

Внезапно ему стало жутко от этих слов. Он сел на кровати, откинул одеяло. Удивился, что в брюках. Перед лицом маячил какой-то листок, прицеплённый к балдахину.

— О! — Рогачёв дёрнул листок. — Хоть бы за пивом пошла...

“И всё-таки ты проиграл”, — чёрным по белому. Очень чёрным по очень белому.

Что за хрень? — Рогачёв не мог оторвать взгляд от этого мене-текел-фареса.

“И всё-таки ты проиграл”, — заезженно скрипела записка.

Борис перевернул листок, ища там ещё какое-нибудь послание, но больше не увидел ни единой буквы. “А мы что, во что-то играли?” — Он в недоумении поскрёб правым указательным пальцем левую щеку.

Рогачёв прошёлся по квартире, восстанавливая в памяти вчерашний вечер. В студии на столе стояло раскупоренное шампанское, подзасохшие бутерброды. Он допил из горла игристое, и хотя пузырьков в нём совсем не осталось, смачно отрыгнул.

“Пойло, а не шампанское”, — сморщился он, поставив пустую бутылку на стол.

— Зинка, — крикнул он. — Кончай валять дурака, то есть дурочку. “Шансоньетка. Не до углей, не дотла — выгорает до окурочка. Дурочка”. — Вот привязалось!

Надо умыться. Он прошёл в ванную. Посмотрел на себя в зеркало, вздохнул. Протянул руку к стаканчику и замер. В прозрачном зелёном стакане, сиротливо прислонившись к тюбику зубной пасты, в одиночестве стояла его зубная щетка.

— Что за чёрт! — Рогачёв как ошпаренный выскочил из ванной.

Он бросился к телефону. Его звонка будто ждали, потому как ответили сразу.

— Аллю.

Это была не Зина. Голос мужской.

— Мне нужна Зина, — произнес Рогачёв.

— Андреич, привет! — по-свойски сказали в телефоне. Рогачёв только сейчас понял, что это его босс. — Зинаида Петровна занята. Передать чего?

Рогачёв продолжал работать над начатым делом. Некоторую часть работы он провернул ещё до Монте-Карло, однако впереди выросли основные препоны. Поэтому Борис Андреевич со свойственным ему трудоголизмом ушёл в работу. Иногда его беспокоил босс, узнавал подробности дела, но всегда по телефону. Лично они предпочитали не встречаться. Рогачёв видел Могилевского из окон два раза и всё время с Зиной. На работе судачили, что у босса новая пассия — красивая провинциалка, в которую он дико влюблён, и что из-за этого его жена вскрыла себе вены, но чудом осталась жива. Должно быть, не строго по фэншую вскрывала.

О Зине Рогачёв не думал вообще. Во-первых, он вычёркивал из жизни предателей, а во-вторых, ему было совершенно некогда. Он знал, что его подзащитный — важный для босса человек. И что если докажут виновность его клиента, арестуют счета, активы, то Могилевский лишится не только своего хорошего зама, но и денег, да и репутация его ой как пошатнётся. Поэтому суд нужно было оставить в дураках.

Рогачёв заверил босса, что так оно и будет. У него есть такие аргументы защиты, что любые факты обвинения бегут, как шведы под Полтавой.

Незадолго до дня суда Борис Андреевич, одеваясь на работу, уронил в спальне запонку. Она покатилась и привела его под кровать, где, кроме запонки, он увидел лазоревые туфли на высоком каблучке. Борис достал и туфли, и запонку. Эти туфли и сумку такого же цвета Зина купила, когда он развлекался в Монте-Карло.

Рогачёв сел на кровать с туфлями в руках. Он увидел их впервые, когда вернулся домой. Ему казалось, что женщина, заведя себе любовника, непременно захочет обновить свой гардероб. Причём у Зины за неделю появились не одни туфли, а много новых вещей. А потом, когда он вернулся от Могилевского с уверениями, что Зина — твердолит, встретил её у подъезда, она тоже была в этих туфлях и белом сарафане. И хотя тот наряд был ей к лицу, и она хотела поехать так в ресторанчик вечером, Рогачёв воспротивился. Ему совершенно не понравились туфли, и он закинул их под кровать, заставив Зину надеть сиреневое платье, которое не сочеталось с лазоревыми туфлями и сумкой.

Сквозь его нынешнее ледяное состояние пробивалась мысль о том, как они подло обошлись с ним. Очевидно, Могилевский сумел охмурить Зинку, но она при этом уговорила его позволить ей последнюю ночь с Рогачёвым. Какое паскудство!

Борис вспомнил, как Зина рассказывала ему тем вечером в ресторане, что Могилевский её всячески домогался, заваливал подарками, сюрпризами, не давал шагу ступить. Правда, из-за постоянно орущей музыки он не всё мог слышать, но, по словам Зины, выходило, что она дала его крутому начальничку крутой от ворот поворот.

— Сволочи! — Рогачёв с остервенением бросил туфли. — Издеваться надо мной вздумали, сукины дети. Не выйдет, голубчики!

И адвокат стал думать, как бы им отомстить. Сначала Могилевскому, потому что он главный виновник всех бед, а потом уж Зинке, этой шлюхе, падкой до денег. Рогачёв знал, что суд он выиграет. У него есть неопровержимые доказательства якобы невиновности его подзащитного, после чего дело развалится, как Советский Союз.

— А вот возьму и проиграю. И в самом деле. Что мне, этого мошенника жалко? Или я буду переживать, что у Могилевского дела пойдут хуже? Да плевать я на них обоих хотел.

— Я нашёл его, — заявил Орешников спокойным и деловым тоном, расположившись в кабинете Бориса Андреевича.

Через несколько лет после гибели Леты Рогачёв нашёл того следователя Орешникова и посулил огромную сумму, если тот отыщет уголовного, превратившего двух цветущих женщин в обугленные кости. И вот теперь следак вдруг выплыл из-под обугленного прошлого. Выплыл, собака, когда Рогачёва уже не столь горячо интересовала история гибели Виолетты Виноградовой. Все его устремления теперь направились в сторону Зинки и Могилевского.

— Нашли, стало быть, — вяло откликнулся он на сообщение, которого так ждал на протяжении стольких лет. Ему не хотелось теперь влезать в мысли о том, как он станет расправляться с тем уродом. — Слушаю вас.

— Как вы знаете, в нашей стране всё большие обороты набирает участие Православной Церкви в судьбах осуждённых заключённых.

Рогачёв поморщился. Если ты произносишь “осуждённые” без “ё” и с ударением на “у”, то и “заключённые” произноси с ударением на “ю”.

— И что же?

— По долгу службы я теперь много занимаюсь со священниками, взявшими на себя бремя работы с осуждёнными заключёнными. Недавно один из них поведал мне, что исповедовал одного такого, вставшего на путь исправления. И тот признался ему, что именно он совершил то самое злодеяние. На улице Пламенных Революционеров. Приготовьтесь к тяжёлой информации, Борис Андреевич.

— Детей отвести от экранов телевизоров? — цинично спросил Рогачёв, на что следователь никак не отреагировал и продолжил:

— Этот человек, будучи любовником подруги Виолетты Виноградовой, в тот роковой вечер стал показывать Виолетте свои татуировки, и она имела неосторожность жестоко высмеять его. Между ними вспыхнула перепалка, он грубо толкнул её, и она ударилась виском об угол стола. Погибла мгновенно. Тогда он, чтобы избавиться от свидетельницы, убил и подругу. Хладнокровно собрал дорогие вещи и украшения и подпалил дом. Уходя, по пути выбрасывал ненужное. Благодаря этому, собственно, я тогда нашёл студенческий билет Виноградовой.

— Где он и кто он? — Борис сжал кулаки, пытаясь воскресить в себе память о Лете и жажду мщения. Но тех прежних чувств он не испытал. Сейчас ему хотелось мстить Тыщенковой и Могилевскому, а не тому ублюдку.

— Прошу вас, успокойтесь.

— Я спокоен. Вот гнида, встал на путь исправления, про Боженку вспомнил! Но его путь исправления — несколько дней самых жестоких мучений.

— К сожалению или к счастью, но, Борис Андреевич, этого человека уже нет на белом свете. Он исповедался и сознался в том страшном преступлении, будучи смертельно болен, и вскоре скончался. Иначе бы и священник

не мог нарушить тайну исповеди. Я без опасения теперь могу назвать вам его имя, отчество и фамилию.

— Не надо.

— Вы не желаете?

— Нет. У таких выроdkов не должно быть ни имени, ни отчества, ни фамилии.

— Возможно, вы правы.

— Не возможно, а прав. Сколько я вам тогда обещал?.. В пересчёте на нынешние деньги... Словом, я сейчас заплачу вам вдвое больше.

Когда завертелось колесо судебного разбирательства, Рогачёв изначально слабо защищал своего клиента. Было очевидным, что подсудимому не избежать наказания. Но в последний день в зале суда неожиданно появился Могилевский с Зиной. Она выглядела какой-то новой, хотя всё такой же красивой и — вот зараза! — желанной.

Выиграть почти проигранное дело стало для адвоката Рогачёва делом чести. Он блестяще провёл защиту, вытащив на свет всё то наработанное, доказательное, что по первоначальному замыслу мести вовсе не собирался выкладывать суду. Он же хотел напакостить Могилевскому, проиграв. А получилась бомба. Как будто Рогачёв нарочно до последнего приберегал важные доказательства невиновности своего подзащитного. Он выступил с такой убедительной речью, прямо как присяжный поверенный Смоковников в “Хождениях по мукам”, выигравший шумный процесс об убийстве девицей своего богатого любовника. В итоге подсудимого оправдали.

Зина смотрела на Рогачёва так, что всё её существо говорило: кого я потеряла!.. И когда все поздравляли Бориса Андреевича, в том числе и Могилевский, она, подойдя с ним под руку, как-то по-особому улыбнулась Рогачёву. В её улыбке он вдруг отчётливо увидел всё: и страсть, и восхищение. Это не ускользнуло от Могилевского. Он, сухо пожав руку адвокату, сказал, чтобы тот заехал к нему.

— Не сегодня, — ответил Рогачёв. — Вы, наверное, знаете, сегодня я, по своему обычаю, анализирую суд и расслабляюсь.

Могилевский кивнул. Когда они отошли, Рогачёв видел, как Зина дважды обернулась на него.

Всю обратную дорогу Зина не проронила ни слова. Могилевский тоже молчал, только изредка отдавал приказы водителю и охраннику на переднем сиденье.

— Я уж думал, этот мерзавец проиграет дело. Всё шло к тому, — наконец, сказал Андрей Карлович, когда они приехали к его роскошному особняку. Он внимательно посмотрел на Зину.

— Нет, он не мог проиграть. Он рождён быть победителем. Великий стряпчий! — И Зина, подав руку прислуге, вышла из машины.

Могилевский догнал её, повернул к себе.

— Ты его любишь?

Зина сделала шаг назад.

— Я уничтожу его. — Могилевский мрачно смотрел на Зину. — Слышишь! Я уничтожу его! Сотру, как пыль со стола. Я могу!

— Банально, Андрей Карлович, банально.

В тот же вечер Могилевский сделал Зине сюрприз. Да такой, что та, ахнув, бросилась на шею Андрею Карловичу. А всего-то надо было устроить концерт Криса Норманна для одного-единственного зрителя. Так, пустячок. Будто Могилевский с Крисом вместе жили двадцать лет на одной площадке с Элис.

После выступления Нормана Зина долгое время пребывала в задумчивости. Могилевский нервничал. Он никак не мог понять, осталась довольна она его сюрпризом или нет.

— Вот что, — наконец сказала Зина, — у меня к тебе есть одна просьба. Пообещай, что выполнишь.

На следующий день с утра босс приехал в контору, где сидели все его служащие. Он сразу же прошёл в кабинет к Рогачёву, зная, что тот со вчерашнего дня там. Борис Андреевич после суда поехал в офис, наразмышлялся, напился и завалился спать. Правда, когда приехал босс, Рогачёв был уже активен, но мешочки под глазами выдавали его вчерашнее возлияние.

— Поздравляю, — сказал Могилевский, здороваясь за руку с адвокатом.

— Собирался уже уходить, вовремя вы меня застали.

— Куда, если не секрет?

— Секрет.

— Понимаю, — кивнул Андрей Карлович. — Но секрет, думаю, подождёт, не обидится. У меня разговор к тебе.

— Как, опять? — вскинул бровь Борис Андреевич. — Дайте от этого дела остыть.

— И всё-таки ты молодец, мне будет жаль с тобой расставаться. Молодец, ей-богу, молодец. Как умело выстроил защиту! Шайка завистников с прокурором во главе руки потирали, думая, что дело у них в кармане. Я тоже было уже струхнул, что ты завалишься. А ты взял и такой ход применил — в конце все доказательства на стол. Мол, получите и распишитесь. Я наблюдал за присутствующими... — Могилевский кашлянул. — Видел, как они реагируют. Обвинителя можно было выносить на носилках. Как ты их всех сделал!

— Ещё потреплют нервы своими апелляциями.

— Ерунда.

— Я тоже так думаю, — сказал адвокат и посмотрел на босса. Они оба рассмеялись.

— Ты непредсказуем, чес слово. — Могилевский подошёл к двери и заглянул за неё. — Чай сделайте, Виктория Августовна. Два.

— Почему?

— Это дело проигрывал, а потом выиграл. Предыдущее наоборот.

Рогачёв нахмурился. С Тиграном всё было понятно сразу. Да и не проиграл он то дело, выиграл, причём с лёгкостью, можно сказать.

— Мне казалось, что я очень помог Аслан-заде. Кстати, мы оба его вчера видели, и не за решёткой, — усмехнулся Борис Андреевич.

— А при чём тут Тиграша? Я про Зину говорю.

— А что про Зину? — нахмурился Рогачёв. Про Зину ему вовсе не хотелось разговаривать.

Вошла секретарша. Принесла чай.

— Здесь наоборот. Проиграл выигранное дело. — Могилевский сделал глоток из чашки и, обжигаясь, широко открыл глаза

— Странная формулировка: “Проиграл выигранное дело”. Это как?

— Ну, ты и древесина ценной породы! — Могилевский уставился на Рогачёва. — Дуб ты, Рогачёв. Я таких дураков никогда не встречал. Нет, это надо же! — он так резко отодвинул кружку, что чай выплеснулся на блюдечко. — Это надо же, — повторил он.

— Ничего не понимаю, — признался адвокат.

— Зачем ты ей сначала наплёл про Чечню, а потом про Монте-Карло рассказал?

— Кто? Я? — опешил Рогачёв.

— Ну, не я же!

— И что я ей рассказал?.. — упавшим голосом спросил Борис Андреевич. — Когда?..

Могилевский с прищуром посмотрел на адвоката.

— Ты что, ничего не помнишь?

Рогачёв покачал головой.

— Ах, ну да, ты же был вдребезги. Ты чего, правда, ничего не помнишь?

— Нет.

— Меня там не было, разумеется. Я всё знаю из рассказа Зиночки. Она сказала, что вы были в каком-то кабаке, там нажрались, ты особенно, и выложил ей всю правду-матку. Сначала похвастался визиткой, которую тебе

подарил Березович. Кстати, держись подальше от этого проходимца, вокруг него смерть ходит. Она спросила: “Что, Березович тоже в Чечне был?” Ну, а ты: “В какой Чечне, Зиночка!” И всё выболтал, болван! Про Монте-Карло, про наш договор, про то, что... Одним словом, про всё. Ну, не дурак ли?

У Рогачёва, как в тот вечер, перед глазами закружились зеркальные звёзды. Он взял в руки кружку с чаем и отхлебнул из неё, кипятком обжигая рот, но даже не почувствовал это.

— А я к тебе вообще-то по делу. Награда нашла героя. — Могилевский протянул Рогачёву портфель. — В одном отделении за вчерашнее. В другом за Зину. — Видя, что адвокат не понимает сказанного, пояснил: — Деньги на квартиру я тебе обещал? Вот, исполняю обещание. Вторая сумма за наше пари. Ты ведь, как ни крути, выиграл. Зина и вправду...

— Твердолит... — машинально произнёс Рогачёв.

— И вот ещё что. Спасибо тебе за всё, Борис Андреевич, но я вынужден с тобой расстаться. Хоть и обещал оставить всё как есть. Обстоятельства... Моё главное пожелание — больше не видеть тебя никогда. В Москве тебе делать нечего. Прощай!

И Могилевский вышел из кабинета.

— Ты? — Лариса не поверила своим глазам, когда, вернувшись домой, увидела мужа, лежащего на диване перед телевизором. — Ты? — переспросила она.

— Нет, дон Кихот Ламанчский, — пробурчал Рогачёв.

После возвращения в родной Юровск, ныне вновь Елизаветинск, а в простонародье Ёлку, он сильно изменился. Стал равнодушным ко всему, серым, безрадостным. Ничто не вдохновляло его. Работа не приносила удовольствия. От заказов отказывался:

— Я из Москвы баблиця привёз столько, что до конца жизни можно не работать.

В августе грянул дефолт, значительно усиливший долларовые сбережения Рогачёвых.

Квартиру умерших родителей Ларисы они сдавали. Татьяна Валентиновна, мать Бориса, часто болела, жить одной ей становилось всё трудней и трудней, поэтому Рогачёвы взяли её к себе, а женившийся со временем Макс обосновался в бабушкином многометровом жилье. Сам Борис по-прежнему оставался прописанным в квартире своего отца, доставшейся ему в те далёкие семидесятые. Раньше он водил туда любовниц, а жену не пускал, говорил, что там живут друзья, то одни, то другие. Теперь он снова водил туда баб, напивался с ними, а потом всё чаще пил в одиночестве.

Деньги, заработанные в Москве, с годами таяли, но возвращаться к прежней деятельности Рогачёв не намеревался:

— Да гори оно всё синим пламенем!

Когда накопления стали подходить к концу, Лариса завела разговоры о продаже отцовской квартиры Рогачёва, но Борис Андреевич и слышать не хотел об этом, орал, оскорблял жену по-всякому:

— Вам, Шейнисам, дай волю, вы всю Россию продадите!

Тогда Лариса нацелилась на продажу дачи. Работать там ей было некогда, она ухаживала за привередливой свекровью, разрываясь между ней и внуками, двумя погодками. Сын Макс и его жена не тяготели к земле и на дачу ездили разве только на шашлычок.

Рогачёв и тут упёрся рогом:

— Россией не торгую! Не дам продавать дачу, и точка! Это моя вотчина, моё загородное спасение. От всяких Шейнисов.

Нарочно стал чаще бывать на даче и там тоже квасил. Напившись, бродил между знамён иностранных государств, от которых осталось одно название. Флаги превратились в тряпки, отпугивающие непрошенных птиц.

А ещё он перебил на даче все зеркала. Ведь стоило ему изрядно выпить, как он подходил к зеркалу и, увидев в нём лоснящегося Могилевского, начинал разговор.

— Что вы хотите?

— Хочу, кать, забрать её у вас.

— Так просто, забрать?

— Я предлагаю вам, кать, многое взамен. Работу у меня, деньги...

— Ну, предположим, у вас я и так работаю. Причём, заметьте, неплохо. А деньги у меня есть. Нам хватает, чтобы жить достойно.

— Достойно? — кричал Могилевский из зеркала, и на его отполированном лбу появлялись длинные продольные морщины. — Да ты, кать, нищерброд по всем представлениям.

— Слушай, ты, богач сраный! Я не нищерброд, ясно? И деньги зарабатываю не убийствами, не грабежами и не отмыванием! Что я могу дать? Всё, что нужно. Всё, что необходимо. И даже больше. А ты — излишества, без которых можно прекрасно обойтись. Зачем сорок комнат, если можно жить в пяти, трёх и даже двух? Даже в одной!

— Даже в шалаше! — Могилевский начинал противно хохотать.

— Я не принимаю ваши условия, — бормотал Рогачёв. — Они для меня неприемлемы. До свидания! Мы уезжаем.

Босс надрылся от смеха, за что и получал по своей зеркальной физиономии.

Однажды Лариса наблюдала подобный разговор с зеркалом, правда, не слышала, что из зеркальных глубин говорил мужу незримый собеседник. Когда муж вышел из очередного запоя, она стала уговаривать его обратиться к врачу, ведь налицо белая горячка. Рогачёв малость очухался и даже решил продать дачу, ведь туда надо тащиться, а отцова квартира рядом, как говорится, в шаговой доступности.

Некоторое время он не пил и даже согласился взяться за одно дело, которое, по единому мнению юристов Елизаветинска, по плечу только одному человеку — Борису Рогачёву. Он вёл защиту в своей любимой манере, то есть позволяя обвинению наступать по всем фронтам, чтобы в последний день выложить чудовищные доказательства невиновности своего подзащитного. Однако в последний день ничего такого не случилось, Борис Андреевич с треском проиграл дело, и подсудимому впяли по всем статьям!

Когда его спросили, что же это такое, Рогачёв подмигнул в ответ:

— А вы что думали, вам вечно будет сплошное Монте-Карло?

И Борис Андреевич снова запил. Теперь перебил все зеркала в отцовой квартире и стал воровать зеркальца у жены, брал её коробочку с тенями и пудрой, отрывал зеркальце и прятал в карман. Лариса горестно усмехалась над зеркаломанией мужа и снова настаивала на визите к врачу. А потом он стал покупать зеркальца в магазине, круглые, овальные, квадратные, все их ждала одна и та же участь — вдребезги.

Однажды, в очередной раз разговаривая с Могилевским по зеркалу, Борис Андреевич, сокрушаясь, сказал:

— Чёрт дернул меня помчаться в эту Москву, сидели бы Зиной на своём Урале.

— Чёрт? — переспросил Могилевский.

— А кто же? Чёрт, конечно. Сам бы я, может...

Босс скривился в усмешке.

— А Зину подставить мне, кать, а самому уехать развлекаться в Монте-Карло, крутить рулеточку, кать, тоже чёрт тебя заставил? Нет, милый! У тебя был выбор. Был. Но ты выбрал то, что ты выбрал. А чёрт, кать, тут ни при чём. Вы, люди, набедакурите, а всё на чёрта сваливаете. Разочаровался я в тебе. Лишаю тебя звания великого стряпчего. Настоящий великий стряпчий даже мертвецки пьяный не прокололся бы так, как ты с этим Монте-Карло.

— Не Могилевский ты. Я узнал тебя, — тихо прошептал Рогачёв. — Где же твой клетчатый пиджачок, крашенный?

В зеркале замельтешило.

— Куда ты? Ну, куда? Иди сюда, сука, поговорим! — кричал пьяный Рогачёв. — Нет? Брезгуешь? Ну, и пошёл ты! — И он, схватив зеркальце, ударил им об пол.

Ночью ему снился сон, что нужно умножить 666 на 666, но шестёрки кривлялись, переворачивались в другую сторону, становились прописными

“б”. И получалось, что ббб надо было умножить на ббб. “Б...ди, б...ди, б...ди!” — кричал во сне Рогачёв. А кругом рулетки — колеса фортуны, залы казино в Монте-Карло.

Прошло почти два десятка лет. Варя Смородина, племянница Бориса Андреевича, уехавшая в Москву поступать в институт, осталась жить в столице. Вышла замуж за хорошего человека, родила. Время от времени она с семьёй приезжала на родину. Родители, слава Богу, были живы, хоть и не совсем здоровы.

Слушая рассказы матери о жите-бытье бесчисленных родственников, Варвара пропускала мимо ушей всё, что та рассказывала о своём двоюродном брате. В ней по-прежнему хранилась обида на дядьку за то, что он когда-то защищал тех подонков.

— Не так давно его положили в больницу в предынфарктном состоянии. — Елена Михайловна вздохнула. — Я, конечно, пошла навестить.

— Конечно, — съязвила Варя.

— Сидим мы с ним на стульчиках в зале посетителей, это внизу, на первом этаже. Разговариваем. У него упала какая-то бумажка, направление, что ли... Я полезла поднимать, она под стул упала. Представляешь, Варвара, наклонилась и вдруг чувствую, лицо перекосило. — Елена Сергеевна показала, как перекосило лицо. — И, главное, не отпускает.

— Смахни! — тотчас приказала суеверная Варя.

— Вот сижу я так в наклоне, перекошенная, а сбоку зеркало. Посмотрела на себя, и меня такой смех разобрал. Думаю, Борьке волноваться нельзя, предынфаркт у него, а увидит меня такую красавицу и вовсе инфаркт схлопочет.

— Бедный Боренька! А то, что у тебя микроинсульт, как оказалось, был... Да что там говорить, — Варя махнула рукой, — как тряслись с молодости со своим Боренькой, так и продолжается.

— Да чего мы тряслись, ничего мы не тряслись... — обиженно сказала Елена Сергеевна. — А ты не забывай! Он мне брат всё-таки. Двоюродный. У нас отцы — родные братья. Не какая-нибудь вода на киселе.

Варя рассмеялась, припомнив матери слова, что сказал когда-то дядька незадолго до суда: “Да какая она мне родственница! Так, с боку припёка. Седьмая вода на киселе”.

— Ну, вот что! — Мать резко оборвала смех дочери. — Нельзя множить зло. Негатива и так на земле хватает. Гаси его в себе. Если ты к людям со злостью, они тебе тем же отвечают. С родными точно так же, как и с чужими. Всё всегда возвращается. Как ты — так и к тебе...

Варя, не дослушав мать, встала с табурета и ушла из кухни.

На следующий день бабушка с дедушкой ушли погулять с московской внучкой. Варя, созвонившись с мужем, стала готовить обед. Когда она чистила картошку, в дверь громко постучали. Вернулись, что ли? А чего так рано? — Варя устремилась в коридор.

Она, не спрашивая, резко открыла дверь и опешила. На пороге стоял Борис Андреевич, которого Варя не видела много-много лет.

— Привет, Варюха, — как ни в чём не бывало сказал ей дядька. — Погостить приехала?

Варя кивнула.

— А сеструха где?

— Ушла по делам, — сухо ответила Варя и добавила: — Придёт нескоро.

— Жаль... Мне-то она как раз нужна. — С этими словами Рогачёв, отстранив племянницу, вошёл в квартиру.

— Чай, кофе? — дежурно спросила Варя из вежливости. Но тут же и не сдержалась: — Может, омаров под соусом из чёрной икры? Или седло барашка в трюфелях? В нашем ресторане повар француз его изумительно готовит.

— Слушай, племяшка, тут вот какое дело... — Рогачёв снял с себя шапку, мокрую от снега, и, открыв дверь, вытряхнул её на лестничную площадку. — Мне бы денегат немного.

Варя замерла от такой наглости. Она брезгливо смотрела на дядьку, на его сметанные волосы, прорези морщин на отчего-то загорелом лице. На его щеке ещё красивые дольчатые глаза.

— Понимаешь, мы тут неподалёку с мужиками... — Он показал характерный жест на горле. — В гараже у одного. А всё кончилось. Выручи, а? Подкинь денжат. Понимаешь, у меня ведь день рождения. Мужики пришли, а Ларка выгнала их. А я мужикам обещал. Пошли в гараж к одному, а деньжонка кончилась. Не по-людски как-то получается. — Борис Андреевич, переступая с ноги на ногу, мял в руках мокрую шапку. — Да и кто знает, сколько их осталось-то, дней рождений... — тихо сказал он. — Неудобно мне, конечно. Ну, нет, так нет. Бывай, племяшка. — И Рогачёв дёрнул за дверную ручку.

И вдруг Варя стало его так жаль, что она, не раздумывая, схватила сумку с вешалки, открыла кошелёк, взяла, сколько там было, денег.

— Вот, сколько есть, — испытывая вину, что мало, сказала Варя, протягивая дядьке купюры. — Остальные на карточке. Извините. С днём рождения! Может, купите себе чего... От нас. От мамы, то есть...

— О, племяшка! Да тут целое состояние! — Борис Андреевич взял две тысячи и, поцеловав руку Варваре, собрался уходить, но вдруг подмигнул:

— Книжку-то дашь почитать?

— Какую?

— Которую про меня написать собиралась.

— Она сейчас в журнале “Наш современник” публикуется. Самый солидный журнал в России. Только что в двенадцатом номере окончание напечатано.

— Я журналы не читаю. Несолидно как-то.

— Постойте. — Варя сходила в комнату и принесла книжку в мягком переплёте. — А вот и отдельное издание, в издательстве “Российский писатель” вышло.

— А название? “Рогачёрт”? — Борис Андреевич с усмешкой взял книгу, глянул на название и изменился в лице: — “Великий стряпчий”?! Ёханый бабай! Варька!.. Да как ты узнала, что меня так одна бабенция называла?

— Мы, писатели, всё про всех знаем, — с презрением усмехнулась племянница.

За обедом Варя сообщила, какой гость заходил.

— Повадился этот Борька, — вздохнула Елена Михайловна, — киряет тут с мужиками в гаражах, а за догнаться к нам бегаёт.

— Да, повадился, — подтвердил Варин отец. — К нам, бедным родственничкам. А у самих закрома не закрываются от богатств.

— Так Ларка не даёт ему ни денег, ни выпивки, — с осуждением покачала головой Елена Михайловна. — Противная она всё-таки баба.

— Но сегодня сам Бог велел ему денег дать. — Варя подпила отцу своего фирменного рассольника, в который добавляла ояпта.

— Чего так?

— День рождения справляет. Сколько, кстати, ему стукнуло? Шестьдесят пять, шесть?

Елена Михайловна оторвалась от еды и бросила взгляд на календарь.

— Так это, — сказала она, — день рождения-то у него летом. В августе.

— Ну да, — подтвердил отец. — Четырнадцатого.

Все трое посмотрели в окно. Приближался Новый год, и на улице густо валил снег.

ВАЛЕНТИН ГОЛУБЕВ



ЗЕМЛИ ЕДВА КАСАЯСЬ

* * *

Русским солдатам, погибшим в плену

Лишь за то, что мы крещёные,
По законам Божиим жили,
Нам удавочки кручёные
Заготовят в псовом мыле.

Казнь страшна не пыткой вычурной,
Не топорной смертью близкой,
Жалко, батюшка нас вычеркнет
Из своих заздравных списков.

Снеговой водой обмытые,
На полу лежим бетонном.

ГОЛУБЕВ Валентин Павлович родился 25 ноября 1948 года в посёлке Сосновая Поляна под Ленинградом в семье плотника. Учился в Ленинградском университете (ЛГУ). Участник 6-го Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1975). Публиковался в периодике Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда), других регионов, за рубежом. Автор многих поэтических книг. Лауреат первых премий: “Ладога” им. А. Прокофьева (2001), им. Св. князя Александра Невского (2005), им. А. К. Толстого (2013), победитель конкурса им. Николая Клюева (2019). Награждён серебряной медалью князя Александра Невского (2005), медалью “За заслуги перед отечественной культурой” (2013) и другими наградами. Член Союза писателей России с 1990 года. Живёт в г. Санкт-Петербург.

Притомились наши мытари,
В уголочке курят томно.

Мы уходим в небо.
— Вот они! —
Закричат псари вдогонку.
И по следу псы да вороны —
Наш эскорт до алой кромки.

Я не плачу, мне не плачется —
Запою у края тверди.
Исполать тебе, палачество,
За моё презренье к смерти.

* * *

Налетят к полудню птичьи стаи,
хорошо воронам, да и прочим
галкам суматошным здесь раздолье.
Снег пожух, жнивье раскрыв, растаял.
Где журавль должен быть — лишь прочерк
следа самолётного над полем.

В перелеске проходимец ёжик
в травах застарелых ищет брод свой.
И бежит, земли едва касаясь,
сонное пространство растревожив,
зимнее оставив нищевродство,
к вешним злакам перебежчик заяц.

На дорожку в поле за посёлком
занесли и нас с тобою страсти
век назад весны отбушевавшей.
Так давай же впрок мы запасёмся
солнцем, что морщины наши ластит.
...Где там ёжик, заяц, птицы наши?

ЗИМОЙ В ТОЛМАЧЁВО

Татиане Чусловой

Как нынче хмуро над рекою Лугой!
Нет солнца,
снег лишь из небесных рам.
Лопатою алтарник, словно плугом,
сугробы режет, чтоб пройти во Храм.

А за подворьем баньки и сараи,
крик петуха и блеянье ягнят.
Свечным огарком быстро день сгорает,
один лишь луч на куполе распят.

Преданий древних шелестит пергамент...
Благою вестью будет твой приезд.
Согреют словом, и за пирогами
чаёвничать и петь не надоест.

Ты в Храм спешишь, забрезжит день едва лишь,
к заутрени, где ладана юдоль.
За всех ушедших свечечку поставишь,
свечной слезою обожжёшь ладонь.

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Татьяне Царьковой

Где протока Шкиперская тужит
под завалом времени обломков,
под дождём идёшь, ступая в лужи,
с зонтиком и трапезной котомкой.

Дождь ослабил вожжи и подпруги,
скачет по Большому и Наличной.
Взял тебя с рождения в подруги
остров твой Васильевский навечно.

Сумерки давно ушли под арки,
в глубину дворов, в свои пещеры,
там, где кошки ждут твои подарки
и к тебе на ласки тоже щедры.

Если жизнь оставит только остов
лет, в которых ты была счастливой,
не грусти — есть в мире этот остров,
окружённый вечности разливом.

ДМИТРИЙ ЛАГУТИН



СВЕТОМ И ПРОХЛАДОЙ

ДВА РАССКАЗА

САША

Саша Смирнова, до замужества — Камушкина, бежала вниз по ступеням собственного подъезда, дрожащими от волнения руками заматываясь в колючий шарф. Щеки ее горели, глаза сверкали, прическа растрепалась. Саша перескакивала через две ступени за раз, оступалась, бормотала что-то возмущенно.

— Скатертью дорога! — услышала она сквозь грохот сердца и стук каблучков далекий голос мужа.

Она запрокинула голову, всмотрелась в щель между пролетами, но разглядеть ничего не смогла — на глаза навернулись слезы, подъезд задрожал и поплыл. Саша что было сил закусил губу, одолела последние ступени и ударилась плечом в темную, пахнущую краской дверь.

Тут же на нее обрушился всей своей белизной снегопад — волосы взметнулись, в рукава, под шарф хлынул ледяной воздух. Саша зажмурилась, запахнула пальто, на ощупь застегнула пуговицы и заспешила по узкому скользкому тротуару к арке.

Стоял густой декабрьский вечер — снегопад разыгрался не на шутку, кружился, рассыпал во все стороны крупные пушистые хлопья, искрился в свете фонарей. Снег лип к волосам, колот щеки, цеплялся за ресницы, Саша почти бежала — не поднимая головы, глядя под ноги, на то, как вспенивают

ЛАГУТИН Дмитрий Александрович родился в Брянске в 1990 году. Окончил юридический факультет БГУ имени академика И. Г. Петровского. Работает юристом в сфере строительства. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах "Нева", "Волга", "Знамя", "Урал" и других. Лауреат литературной премии журнала "Нева", премии "Русские рифмы. Русское слово". Живет в Брянске.

близну тротуара блестящие носы ее сапожек. Она не могла отдышаться, в горле стоял ком.

У самой арки она обернулась и разглядела сквозь белое марево светящийся прямоугольник — дверь в подъезд была открыта — а на фоне прямоугольника силуэт мужа. Он был без куртки, но почему-то в шапке — стоял, подперев дверь рукой, и всматривался в метель.

Саша развернулась и побежала. Миновав соседний двор, поскользнувшись и с трудом удержав равновесие, она остановилась под сводами очередной арки, чтобы перевести дух. Сердце громыхало, заходило, и даже в затылок коротко стреляло болью. Саша с минуту стояла, закрыв глаза, стараясь ни о чем не думать, потом отряхнула пальто, провела ладонью по мокрому от снега волосам, пожалела, что не успела схватить со столика перчатки. Глубоко вздохнула и выпрямилась, глядя перед собой.

Арка сияла, по обе стороны мельтешил в темных проемах снег, сквозь него проступали цветные квадратики окон. Во многих квартирах уже мигали гирлянды. Саша достала из кармана телефон.

— Раньше надо было думать, — бормотала она, одно за другим смахивая сообщения с экрана. — Лопнуло мое терпение.

Горячая волна негодования пробежала по ее телу от пяток до макушки, и последнее сообщение она едва не смахнула вместе с телефоном.

В арке гудел ветер — низким, трубным звуком. Снег влетал под самый свод и долго рисовал вензеля, не опускаясь. Саша подышала на успевшие замерзнуть руки, подтянула шарф к носу, шагнула из арки в снежную круговерть.

Со всех сторон ее обступали новостройки — от девяти до шестнадцати этажей — людей во дворах было мало, а те, кто был, спешили к подъездам с огромными продуктовыми пакетами. Плотными рядами стояли автомобили — и у каждого на крыше красовалось по сугробу.

В углах свистел ветер. Саша шла, спрятав руки в карманы, но они все равно мерзли. “Сколько гирлянд”, — думала она, оглядывая дома. Вокруг окон с гирляндами клубились облака разноцветного снега. В глубине одного из них Саша рассмотрела макушку елки в мишуре — и ей стало обидно за себя.

Затанцевал в кармане телефон. Саша нацупала кнопку, сбросила. Через секунду телефон танцевал снова. Саша остановилась, выудила его, приложила — ледяной! — к щеке и проговорила, выдерживая после каждого слова паузу:

— Оставь. Меня. В покое.

И всю дорогу, пока она шла дворами — маленькая, совсем крошечная по сравнению с вытягивающимися до облаков домами — пока ныряла из одной арки в другую, перешагивала пятна белого света под фонарями — все это время телефон в ее кармане выделял кульбиты и дрожал, а она раз за разом сбрасывала на ощупь. Лицо ее горело от возмущения.

— Ты подумай... — бормотала она. — Хватает совести...

В последнем дворе она увидела мужа — тот сидел в “Опеле”, купленном в прошлом году в кредит, держался за руль обеими руками и медленно катился вдоль тротуара, вытягивая шею и осматриваясь. Саша дернулась в сторону, пригнулась, спряталась за взобравшимся на бордюр внедорожником, осторожно выглянула и сквозь затемненные окна смотрела, как “Опель” делает по двору круг и исчезает в арке. Тогда она выпрямилась, зашпорила в противоположную сторону, обогнула дом — и прорвалась к проспекту, за которым темнел сквер.

В сквере оказалось удивительно тихо — еще мелькали позади огни фар, но рев моторов превратился в мягкий ровный гул, путающийся в ветвях и тающий в снегу. И ветра совсем не было — мерцающая стена снегопада медленно текла сверху вниз. Каждый Сашин шаг отзывался приятным скрипом.

Телефон перестал трепыхаться и оттягивал карман холодным безжизненным бруском.

В этом году зима долго не наступала — все стояло серое, угрюмое, ветер таскал по тротуарам и газонам слипшуюся бесцветную листву. Высыпал

вдруг сухонький снежок, жался к обочинам, прятался под кустами — и тут же таял, а на смену ему приходили совсем уж неуместные косые дожди, дороги размокали, повсюду хлопала грязь; и вдруг упал на город настоящий декабрь, и мелко, заметало уже с неделю, и казалось, что не перестанет мести никогда. Как из-под земли встали разом пухлые сугробы, все заискрилось и задышало.

Вдоль дорожки, рассекавшей сквер надвое, стояли фонари — и казалось, что сквозь снегопад плывут одна за другой дюжина сияющих лун.

Саша шла от луны к луне и невольно любовалась сквером — и даже обидно как будто отступила, осталась позади, у ревущего проспекта, а ее место заняла тихая молчаливая грусть. Темно-фиолетовое, почти черное, небо уходило ввысь, рябило, смешивалось со снегом. Под каждым фонарем стояло по скамейке — и все пустовали. Саша огляделась — кроме нее в сквере никого не было. Долетел издали, проскользил по белым кронам, растворился гудок поезда. У очередной скамейки Саша остановилась, долго стряхивала с краешка снег, но присесть так и не решилась — опустила влажный от дыхания шарф к подбородку и дышала на руки, окутывая их теплыми облачками. Потом вернула шарф к носу, втянула голову в плечи и зашагала вперед. В кармане коротко пискнуло, Саша достала телефон — на экране тут же заблестели снежинки — прочла сообщение и фыркнула.

— Камушек! Хватает наглости!

Она ускорила шаг. Впереди, за деревьями, светилась уже центральная улица, тишина отступала, гул усиливался. Саша шла и бормотала в шарф:

— Камушек! Камушек ему! Хватает же наглости.

Последняя луна нырнула за плечо, сквер расступился, и Саша оказалась в хороводе огней и музыки. Горели, переливаясь, витрины, сновали взад-вперед автомобили, моргали светофоры. Повсюду сверкали гирлянды, елки — от каждого крыльца играла музыка. Люди шли навстречу по двое, по трое, семьями, то и дело щебетали тоненько звонки — двери открывались и закрывались, выпуская наружу клубы ароматного пара.

Саша прошла улицу от начала до конца, свернула, срезала через двор — здесь уже не было высоток, дворы были тихие, уютные, не выше пяти этажей — свернула еще раз и оказалась у родительского подъезда.

И у родителей в каждом окне горело по гирлянде.

Саша ввела не менявшийся уже лет десять код, домофон крикнул, дверь отклеилась от замка. Саша потянула на себя холодную, круглую, в забитых снегом трещинах, ручку и шагнула внутрь. Она поднялась, остановилась перед дверью и прислушалась — у родителей, как всегда, кричал что есть мочи телевизор. Пахло ужином.

Стремительно таяли снежинки на волосах, волосы тяжелели, на пальто блестели капли. Саша стояла перед дверью, но звонить не решалась. Вместо этого она встряхнула волосами — во все стороны полетели брызги — поправила шарф и спустилась на первый этаж.

Под потолком горела круглая белая лампа, от нее тянулась сияющая паутинка. Побелка в некоторых местах растрескалась и топорщилась лоскутами. Саша вынула руки из карманов — руки были красные, ледяные — и положила ладони на пыльную трубу, выгибающуюся английской S на стене, в метре от входной двери.

По рукам побежало сладкое тепло. Саша, только сейчас осознавшая, как сильно на самом деле замерзла, закрыла глаза от удовольствия и какое-то время не могла думать ни о чем, кроме восхитительного, давно забытого ощущения. А потом — именно определив ощущение как давно забытое — вспомнила, как грелась у этой самой трубы в детстве, совсем ребенком, как вбегала в подъезд вся в снегу — снег был и за шиворотом, и в сапогах, и в рукавах — стягивала мохнатые, мокрые насквозь варежки и обхватывала трубу красными ладонками. Как вбегали следом за ней подружки — хохочущие, визжащие, толпились у трубы, тянули руки, толкались. А в медленно закрывающуюся дверь продолжали лететь снежки. Вокруг сапог натекали лужи, щеки у всех были точно свеклой натерты, под носами блестело, глаза горели. Звонкий смех эхом рассыпался от первого этажа до

четвертого — дробился, переливался. Щелкали замки, из квартир выглядывали встревоженные соседи.

Обогревшись, девочки осторожно приоткрывали дверь — а потом распахивали во всю ширь и с визгом бежали на площадку в центре двора, увораживаясь от снежков и на бегу загребая варежками податливый липкий снег. Все окна горели, над двором вставало чистое вечернее небо — звездное, глубокое — над площадкой клонил голову фонарь. Дети устраивали “кучу-малу”. Вспомнив это слово, Саша улыбнулась — сбивали друг друга с ног, катались в сугробах, и не разобрать было кто где — стоял невообразимый гвалт, шум, крик. А потом опять в подъезд — к трубе. И так до позднего вечера, почти ночи — пока не откроется на третьем этаже окно и не позовет домой мама. Но и перед тем как подняться, надо обязательно задержаться у трубы и согреть руки.

Вспомнив все это, Саша почувствовала, как в груди разливается пронзительная щемящая тоска, нестерпимо захотелось заплакать; и в то же время откуда-то из глубины зазвенело тоненько, озорным колокольчиком, веселье — захотелось приоткрыть дверь и посмотреть в щелочку: не стоит ли у подъезда купленный в кредит “Опель”? не тянутся ли по снегу узкие полосы света от фар?

“Какая глупость”, — думала Саша, не в силах сдержать улыбку.

Ладоням было совсем горячо — до покалывания — но отпускать трубу Саша не хотела, словно боялась, что вместе с ощущением тепла исчезнет и удивительное переполнявшее ее чувство. “Камушек! — вспомнила она и фыркнула. — Набрался же наглости! И шарф этот... — Она замотала головой, позволяя шарфу ослабить хватку. — Сколько он в него одеколona льет? Это задохнуться можно...”

Она осторожно освободила одну руку и развязала шарф. Потом освободила вторую, прислушалась к ощущениям — ничего не исчезло. “Точно, приехал, — думала она, подходя к двери и прикладывая к ней ухо. — Вот и двигатель шумит”.

И она не знала — правда ли шумит двигатель или ей только кажется? Не терпелось убедиться — но как? не открывать же в самом-то деле дверь? не выглядывать же?

Она на цыпочках поднялась на второй этаж, к почтовым ящикам. Вытянула шею, посмотрела в широкое, витражом, окно, но стекло было толстое, выгибалось волнами, и сквозь него ничего нельзя было разглядеть. Тогда она поднялась на третий и осторожно приблизилась к балконной двери.

Перед подъездом “Опеля” не было. На двор сыпался по-прежнему снег, несколько автомобилей сонно моргали огоньками сигнализации, ровная белоснежная площадка сияла под фонарем.

Озорной колокольчик зазвенел тише — едва слышно. Саша повернула ручку, приоткрыла дверь — в подъезд посыпался снег.

Саша высунулась, посмотрела в сторону, вглубь двора, и тут же со смехом спряталась, хлопнула дверью — но “Опель” уже снялся с укромного места, зажег фары и покатился к подъезду.

За Сашинной спиной щелкнул замок, скрипнула, открываясь, дверь.

— Саша, — позвал отец, выглядывая в подъезд. — Это ты? Ты чего здесь?

Саша обернулась, прижала руку к сердцу.

— Папа! Нельзя так пугать!

Отец смотрел удивленно, из квартиры пел телевизор.

— Мы мимо ехали, — сказала Саша, косясь на “Опель”. — Подумали, вдруг вы не спите еще... Чаю, может, попить...

Отец обернулся, позвал через плечо:

— Нина, сделай потише! Саша с Андреем приехали!

Телевизор смолк, послышался мамин голос:

— А чего не заходят-то?

Отец посмотрел на Сашу.

— Заходите, конечно! А где Андрей?

— Паркуется.

Саша дернула балконную дверь и крикнула сквозь ворвавшийся вихрь:

— Андрей, ты чего там возишься?

И замахала вышедшему из “Опеля” мужу — без куртки, но в шапке — изображая на лице крайнее негодование — чтобы не решил, что она отступила.

— Поднимайся уже!

СВЕТОМ И ПРОХЛАДОЙ

Москва встретила его светом и прохладой. Прохладу — утреннюю, приятную, когда понимаешь, что еще час-другой, и она начнет рассеиваться — он почувствовал сразу, едва вышел из вагона, а свет появился, когда высокий свод, накрывающий перрон, оборвался и остался позади, уступив место ясному прозрачно-голубому небу.

К редким облачкам тянулись башни со шпилями, крыши высоток — близких и далеких — как и всё под этим небом, светлые, точно акварельные.

Он обогнул вокзал, слушая, как стучат по тротуару каблучки его туфель, и чувствуя, как отступает, тает в прохладе и свете бессонная ночь, душное купе с мутной лампой под потолком, храп в несколько голосов и короткая, узкая, неудобная полка, на которой не спать, а только ворочаться и поджимать ноги. Скользнул в метро, расплатился за поездки, прикинув, сколько их должно быть, постоял на ступеньке эскалатора, рассматривая лица поднимающихся и ощущая под ладонью тугую резину бортика, какое-то время потратил на изучение паукообразной схемы и построение оптимального маршрута и сразу поехал к Красной площади — и уже поднявшись на поверхность, обнаружив, что и свет, и прохлада никуда не делись, и удостоверившись в том, что до начала форума еще достаточно времени, пошел искать какое-нибудь кафе.

Центр Москвы оказался ожидаемо богат на кафе — поиски не заняли много времени. И с час или около того он сидел за столиком у самого окна, пил кофе и жевал блинчики, вытягивая шею, чтобы не капнуть на рубашку джемом, смотрел на то, как шагают по тротуарам пешеходы, как задерживаются у светофоров, а потом ускоряются и исчезают из поля зрения автомобили, как катается у бордюров редкая мелкая листва — бледно-желтая — как горят, отражая поднимающееся над домами солнце, прямоугольники окон — далеких и близких — и вспоминал все свои приезды в Москву, которых выходило у него не так уж и много. Потом он отвлекался от окна и доставал из портфеля ежедневник, листал, делал какие-то пометки, поглядывая, сдвигая краешек рукава, на часы, и вилкой собирал джем к центру тарелки. В кафе кроме него было два-три посетителя, девушка за барной стойкой протирала и расставляла по полочкам чашки, играла негромко какая-то чудная музыка — похоже было на то, как гудит, переливаясь в узких деревянных дудочках, и колышет эти же дудочки так, что они негромко стучаются боками, ветер, — кофе был терпкий, вкусный — блинчики и того вкуснее, сиделось удобно и уютно, и свет из окна ложился на разворот ежедневника, на мелованные, чуть желтоватые страницы так, что на них было приятно писать и хотелось писать красиво, выводя каждую букву, забыв про привычные сокращения.

Он подумал, что дома в это время еще только разлеплял бы глаза, переставлял будильник, выигрывая еще десять минут, а потом еще десять — чтобы в итоге мчаться на работу заспанным и помятым — и ему вспомнились слова из рассказа, который он прочел в сборнике месяц или два назад: “Почему люди спят, когда рань так хороша?”

Запив блинчики еще одной чашкой кофе, он прикинул время, благодарно кивнул девушке за стойкой и вышел из кафе. Спокойно, точно прогуливаясь, вернулся к площади, прошагал по блестящей от света брусчатке и свернул к Кремлевскому дворцу — и чем ближе ко дворцу он подходил,

тем чаще стук его каблуков склеивался со стуком чужих, а стук чужих становился все плотнее и многозвучнее.

Он огляделся — со всех сторон ко дворцу спешили такие же, как он: строго, с иголочки, одетые, в начищенных туфлях, рубашках или блузках в зависимости от пола, пиджаках, брюках, с портфелями, папками, саквояжами и сумочками в руках. Одни шли по двое или по трое, встречались даже целые компании, и тогда слышно было обрывки разговоров, но в основном все были как он — то есть сами по себе. В высоких окнах дворца, вытянутых от брусчатки до самой крыши, отражалось небо, отражались силуэты домов и фигурки сбредаяющихся на форум юристов — и подходя к крыльцу, он ловил взглядом свое отражение и отмечал, что выглядит в высшей степени респектабельно, что пиджак сидит как влитой, и главное не сутулиться, не суетиться и не тушеваться — и тогда он без труда в строгой толпе прибывших будет выглядеть совсем своим, и неважно, что юристом он работает не в холдинге или корпорации, а в маленькой компании, и компания эта даже не в Москве находится, и опыта у него всего ничего, а в суде он вообще был только единожды и так разволновался, что путал номера статей и арендодателя с арендатором.

Заходя во дворец, он галантно придержал дверь и пропустил вперед себя стройную, строгого вида, но совсем еще юную, даже, наверное, младше его, девушку в узкой юбке, стягивающей колени так, что странно было, как вообще можно в ней передвигаться. Девушка выдохнула короткое “спасибо” и улыбнулась уголками губ, тут же растеряв всю строгость, и он подумал, заходя следом, изворачиваясь и придерживая для нее и следующую дверь, что и она, быть может, живет где-нибудь далеко от Москвы, еще дальше, чем он, и вообще еще, может быть, не работает, а только выпустилась из университета и приехала за свои деньги, и в суде вообще не была ни разу, а если была, подрабатывая в какой-нибудь консультации под начальством преподавателя, то волновалась так, что путала не только номера статей, но и названия кодексов.

На вторую дверь девушка, не оборачиваясь, ответила тем же “спасибо” — может быть, и улыбнулась так же — он шагнул через порог, локтем придержал на всякий случай дверь идущему следом, и перед ним зашумел сотнями голосов, развернувшись, ушел вверх, выгнувшись лестницами высокий холл.

— Здравствуйте! — окликнули то ли его, то ли идущего следом, то ли исчезнувшую уже девушку. — Подходите регистрироваться!

Он влез в толпу, пробрался, наступая кому-то на ноги и чувствуя, как наступают на ноги ему, к столикам, у которых полагалось регистрироваться, дождался своей очереди, назвал место работы, фамилию и получил пакет, в котором, выбравшись из толпы и устроившись у одной из лестниц, обнаружил программу форума, ручку, бейджик и блокнот с логотипами организатора.

Он вынул из кармана брюк носовой платок, наклонился, стараясь, чтобы рубашка по возможности не выправлялась из-за пояса, и протер истоптанные туфли. А потом он ходил по холлу, поднимался и спускался по лестницам, рассматривал стенды, читал программу, прислушивался к разговорам и глазами выискивал хоть одно знакомое лицо. Знакомых лиц не было, и выходило вполне вероятным, что он, быть может, из всего курса — что там, со всего факультета! — один приехал на крупнейший юридический форум в стране и ждет сейчас, пока начнут пускать в зал. От этой мысли ему становилось весело, он держался еще прямее, расправлял плечи до хруста и подмигивал отражению в зеркале, мимо которого проходил.

Потом на одно знакомое лицо он все же взглядом наткнулся, но откуда оно — курносое, в веснушках, его тоже, кажется, узнавшее — ему было знакомо, он сказать не мог, на факультете его точно за все годы обучения не видел, а потому решил, что и в статистику его включать смысла нет.

Он подумал, что за два года, что прошли с его выпускного, факультет наполнился новыми лицами, мимо которых он мог теперь запросто пройти, но, подумав получше, понял, что студентам первого и второго курсов на таком форуме делать явно нечего.

Во время своих блужданий по холлу — блуждания в том числе оправдывались отсутствием свободных банкетов, на каждой из которых, выставленных тут и там вдоль стен, жалась строгого вида девушка в узких юбках — во время блужданий он забрел и в гардероб, прошелся вдоль ужасно длинной стойки, за которой рядами тянулись пустые вешалки и за которой на равном расстоянии друг от друга стояли тетушки с номерками, удивился тому, что на руках тетушек красуются ослепительно белые перчатки, и поздоровался с теми из тетушек, с которыми встретился случайно глазами.

Наконец, распахнули двери зала, и холл стал пустеть — юристы заспешили по лестницам, столпились у темных проемов, прикрытых портьерами, устремились внутрь. Он тоже заспешил, и тоже устремился — снова чувствуя, как ходят по его ногам в отместку за то, что он ходит по чужим — и увернувшись от портьера и оказавшись в огромном темном зале, в дальнем конце которого светилась сцена, а на ней — несколько сдвинутых столов с бутылками минералки и усиками микрофонов, он сразу свернул и приставными шагами стал протискиваться вдоль кресел с тем, чтобы занять место по лучше. Место по лучше в его понимании должно было находиться по центру зала, напротив сцены, не близко к ней, но и не совсем уж далеко, где-то между серединой и последними рядами.

Заняв место, он выдохнул, вытянул ноги и даже сполз в кресле — глобоком, ожидаемо мягком, с готовностью поддерживающем затылок на манер подушки, сползи только — но потом выпрямился, уперся в подлокотники, устроил на коленях портфель, а на него положил блокнот с логотипом, но передумал и поменял на свой ежедневник — и только потом стал разглядывать зал.

Отсюда, из середины, из занятого кресла зал казался совсем уж огромным, своды его уходили далеко вверх, выгибались на манер грота, терялись во мраке. Тут тоже было прохладно, и пахло преимущественно тканью от кресел, пахло, как в театре, если прислушаться, но прохлада стремительно таяла по мере заполнения зала — а света, да, света было совсем мало, и он либо спускался из-под сводов какими-то рассеивающимися, расплетающимися и не достигающими кресел пучками, либо куполом накрывал сцену со столами и микрофонами. Юристы пробирались между рядов, высоко поднимая руки и извиняясь перед теми, через чьи ноги приходилось перешагивать, рассаживались, щелкали замками портфелей, авторучками, договаривали по мобильным, сообщая, что будут перезванивать позже, перешучивались между собой, надевали или, наоборот, снимали и прятали в футляры очки, оборачивались, вытягивая шеи и всматривались озабоченно — то ли искали знакомых, то ли оценивали обстановку — и мест в зале становилось всё меньше, а потом вдруг как-то они совсем почти закончились.

Слева и справа от него сели какие-то мужики — один постарше, один помладше — оба суровые, с до синевы выбритыми подбородками, холодными взглядами и глубокими вертикальными морщинами от переносицы к середине лба — от обоих резко пахло одеколоном, и так как сели они почти одновременно, нельзя было сказать с уверенностью, разный у них одеколон или один и тот же, только посложнее.

Вышел на сцену ведущий, прошелся вдоль столов, постукивая ногтем по микрофонам — каждое прикосновение отзывалось глухо и упруго во всех углах — заглянул в таблички с фамилиями выступающих, помахал кому-то за последними рядами, и экран за его спиной моргнул логотипом форума. Ведущий скрылся за сценой, потом вышел снова и объявил в ближайший микрофон, придерживая очки, чтобы они не упали:

— Коллеги, у нас пятиминутная готовность, прошу занимать свободные места.

А юристы все продолжали и продолжали прибывать — вертеть головами в поисках кресел, протискиваться в самую гущу, опираясь на спинки и смущенно улыбаясь — и казалось, что, если не захопнуть двери зала, не бросить на них по засову, это будет продолжаться бесконечно. Но вот поток иссяк, все расселись, и только несколько бедолаг продолжали, пригнувшись, рыскать в поисках места — продолжали даже тогда, когда вышли под

аплодисменты и расселись по столам выступающие — но потом и они один за другим воткнулись куда-то, и зал замер.

— Дорогие друзья! — объявил ведущий, помолчав. — Третий всероссийский юридический форум для практиков объявляется открытым и начинается свою работу!

Зал взорвался аплодисментами, ведущий с благодушной улыбкой дождался их окончания.

— Коллеги, мы будем двигаться сообразно повестке, я надеюсь, все ознакомилась с программой. После первого блока выступлений, ровно в одиннадцать, нас ждет кофе-брейк, я попрошу каждого, кто будет выходить, запомнить ряд и место, чтобы по возвращении избежать путаницы.

Юристы заворочались в креслах. Он тоже обернулся, посмотрел на овальную плашку с номером, хотел свериться с кем-нибудь из мужиков касательно ряда, но потом подумал, что сверится сам, без чьей-либо помощи, когда будет выбираться.

— А сейчас позвольте мне дать слово первому спикеру, кандидату юридических наук, разработчику разъяснений Высшего арбитражного суда, доценту факультета права...

За длинным перечнем регалий прозвучала фамилия выступающего, выступающий привстал со своего места, коротко поклонился залу, прижав к груди галстук. Зал снова взорвался аплодисментами, ведущий удалился за кулисы, а выступающий сел и, кашлянув в микрофон, пошуршав записями, стал не то говорить, не то читать с листка — глаза он во всяком случае от записей не поднимал.

По экрану побежали слайды с диаграммами.

Мужики по обе стороны слушали, не записывая, подперев кулаками подбородки, а он стал конспектировать выступление — действительно интересное — присматриваясь к слайдам.

Выступающий говорил монотонно, то замедляясь, то ускоряясь, голос его, чрезвычайно усиленный колонками, звучал со всех сторон. Слайды сменяли друг друга в нужный момент и замирали ровно на то время, какое требовалось для их изучения — он писал весело, с энтузиазмом, ухитряясь примерять записываемое на свою работу, прикидывать, что и как можно применить, и к концу выступления исписал мелкой вязью два разворота.

— ...и я думаю, что в компетенцию вышестоящих инстанций подобные вопросы входить не должны, — закончил выступающий. — Спасибо за внимание.

Аплодисменты.

На сцену вышел ведущий, объявил следующее выступление, и слово взяла пожилая дама в массивном пиджаке с квадратными плечами, похожем на грузинскую бурку — и ее выступление тоже было интересным, и с теоретической, и с практической точек зрения, но говорила она очень быстро, и слайды мелькали, как угорелье, и он, оборвав несколько строк на полуслове, решил не мучать ежедневник и просто слушать.

Слушая, он смотрел то на даму, то на экран со слайдами, то на бесконечные ряды макушек и затылков — проборов, вихров, кудряшек, ежиков, лысин, кос, хвостов и пучков — то на черные, совсем погасшие, своды и думал тогда, что зал похож на огромную пещеру, прорубленную в недрах какой-нибудь горы.

Временами он отвлекался и, спохватившись, ругал себя, пытался нагнать, понять, о чем идет речь, и тогда напрягал внимание, подавался вперед и сидел, почти не дыша.

Вслед за дамой выступал старичок, похожий на Бердяева.

— Я вижу, что многие из вас еще совсем молоды, — начал старичок торжественно. — У вас все еще впереди. Пройдет двадцать, тридцать лет, и вы станете, — старичок потянул кулачком, — серьезными, маститыми юристами, и тогда вам предстоит...

Он представил себя серьезным, маститым юристом — с животиком и залысиной, вылезавшим из дорогого автомобиля, — и ему стало смешно. Ему представился мельком кабинет, увешанный дипломами и сертификатами,

массивные часы в углу — он видел такие в кабинете одного адвоката — широченный стол, дутое кожаное кресло, подрагивающие от ветра жалюзи. Представился голос секретаря, позвякивание чайного сервиза, сплелся даже какой-то диалог — и он понял, что представляется всё так живо не просто так, а потому что вернулась, подкралась и навалилась вдруг отброшенная, опрокинутая было прохладой и светом, воодушевлением и кофе сонливость.

Он встрепенулся, хрустнул плечами, сел ровнее, прислушался — но старичок говорил хоть и благодушно, но о чем-то совсем не интересном, скучном, и говорил то и дело мимо микрофона или вообще повторял уже сказанное, только другими словами.

Мужики по обе стороны стали зевать: один в кулак, широко раскрывая рот, другой — стиснув челюсти, морща лицо и сопя носом. И он тоже стал зевать — то в кулак, то в ладонь, то сцепив зубы, до слез в уголках глаз.

— То есть, я, конечно, не имею в виду, что нынешняя редакция отменила или видоизменила практику, — говорил старичок, — практика суть вещь в себе, ее еще попробуй отмени, если, — он говорил что-то мимо микрофона, — и потом, если сейчас бросить все силы на...

За старичком выступала ещё одна дама, и она говорила интереснее — и о более интересном, — но потом настала очередь молодой девушки с тоненьким, едва слышным даже в колонках голоском, и зал перед его глазами время от времени начинал качаться, а кулак от губ он уже и не убирал, потому что зевал почти непрерывно. Девушка время от времени смотрела в сторону и, видимо, поймав взгляд ведущего из-за кулис, начинала говорить громче, но потом опять стихала, и голос её баюкал, укачивал, и казалось временами, что делает она это специально.

Когда объявили кофе-брейк, и он, потягиваясь, встал со своего места, оказалось, что мужик, мимо которого он собирался пробираться к выходу, спит, повесив голову на грудь и нахмурившись. Он замер, раздумывая, и двинулся в противоположную сторону — вслед за вторым мужиком, протискивающимся вдоль кресел с неожиданной для его комплекции скоростью. Зазевавшиеся — в прямом, возможно, смысле — слушатели стреляли укоризненными взглядами.

Кофе ожидаемо на всех не хватило — он послушался по холлу, постоял то в одной очереди, то в другой, спустился к гардеробу, зашёл в уборную и умылся холодной водой — помогло — а потом до самого звонка мерял шагами площадку перед входом в зал, уворачиваясь от таких же, как он, томящихся.

Вернувшись со звонком с кофе-брейка, он обнаружил, что в зале появились свободные места — причём одно обосновалось по соседству с ним: мужик, вслед за которым он уходил на перерыв, с перерыва решил не возвращаться. Второй сидел, подперев челюсть кулаком, и равнодушно смотрел на сцену.

Лампы под сводами погасли, но по залу ещё долго катался туда-сюда шёпот, шелест бумаг, смешки. Потом вышел на сцену ведущий, объявил второй блок, представил выступающих — за столами сидели теперь какие-то новые люди — пригласил поаплодировать первому, и всё началось сначала: выступающие выступали, слайды на экране сменяли друг друга, в зале хлопали то тише, то громче.

Он попытался было записывать, но бросил, сконцентрировался на том, чтобы хотя бы слушать со вниманием, и первое выступление так и прослушал, но к середине второго стал уплывать куда-то, маяться и клевать носом.

Бросил короткий взгляд на соседа — тот спал, обмякнув в кресле и устроив подбородок на груди. Улыбнулся, повеселел и стал, по возможности незаметно, шарить взглядом по рядам, выискивая спящих — попутно заметив затылок девушки, которой придержал дверь на крыльце — и насчитал восьмерых.

К концу третьего выступления спящих было около пятнадцати — причём четверо спали, запрокинув головы и открыв рты, и над ними посмеивались соседи, на них оборачивались, пряча улыбки, сидящие спереди. Кто-то смотрел строго, хмурился, тянулся и тряс бедняг за пиджаки, а ему подумалось с удивлением, что, наверное, почти у всех здесь ночь сегодня была бессонной,

что почти все ехали в столицу поездом, причём кто-то мог ехать куда дольше, чем он, и соседи по купе — купе! кто-то, вероятно, тряся в плацкарте, а кто-то вообще сидел — соседи могли храпеть ещё громче, чем у него.

В середине четвёртого выступления ему уже неинтересно было считать спящих. Со всей определённостью он понимал, что вот-вот пополнит их ряды, и боялся лишь запрокинуть ненароком голову. Поэтому он наклонился вперёд, согнулся как мог над ежедневником и подпёр лоб и виски пальцами — чтобы со стороны выглядеть увлеченно изучающим собственные записи — закрыл глаза, и тут же его повлекло куда-то, потянуло, размеренные голоса выступающих стали завиваться в спираль, проваливаться и таять, а голова его, вроде бы так уверенно устроенная на пальцах, начала то и дело соскальзывать с них, и приходилось вздрагивать и выныривать из дремоты, возвращать утерянный баланс, и когда он в очередной раз вздрогнул так и даже приоткрыл глаза, то понял, что выступление посвящено отдельным видам концессии, а не способам выращивания комнатных растений, как казалось ему сквозь сонную пелену.

Осознав в какой-то момент, что полноценно уснуть, сохранив при этом лицо, не получится, он собрал волю в кулак, сел ровно, вытянул ноги так, что носки его туфель ткнулись в пятки сидящего впереди — сидящий впереди недовольно заёрзал — закусил губу и вонзил внимательный взгляд в экран со слайдами — и сидел так, почти не моргая, до тех пор, пока ведущий не объявил перерыв на обед.

— Через час мы ждём вас в этом зале, коллеги! — кричал ведущий в спины толпящихся у выходов. — Нам предстоит самое интересное!

Оказавшись в холле, он спустился по одной лестнице, по другой, прошагал к дверям и вышел на улицу — и почувствовал, совсем как утром, как соскальзывает с него, отступает, остается позади сонное оцепенение.

Прохлады уже не было, но воздух был свеж и душист — а света больше, чем утром, и брусчатка площади, ступени крыльца, стены, там, где они смыкаются с окнами, мягко светились, точно позолоченные.

Он постоял немного, чувствуя, как работают лёгкие, как наполняются воздухом и пустеют, чтобы наполниться снова, посмотрел на выходящих из дверей юристов, на то, как они зевают и трут глаза, увидел сквозь двери изгиб лестницы, подумал и развернулся, зашагал ко входу в метро — но не напрямую, а делая крюк, чтобы подышать и размять ноги, — а спустившись на полный шума и холодного резинового, точно из огромного насосного шланга вырывающегося, ветра перрон, постоял перед схемой, определяя направление, и поехал к Сретенскому монастырю, о котором читал неделю назад объёмную статью.

Через несколько минут он уже поднимался по лестнице в сколах, слыша, как за спиной гудит, удаляясь, поезд, а ещё через несколько огибал закрывающие половину неба и набрасывающие на него холодную вытянутую тень дома — с тем, чтобы выйти на широкую светлую улицу.

Улица уходила вперёд, чуть запрокидываясь, в гору — дома же, стоящие по обе её стороны, были чем дальше, тем ниже, и к середине могли закрыть полнеба только для того, кто идёт, касаясь плечом стены.

Он шагал, чувствуя в ногах приятное напряжение, и ему хотелось, чтобы улица уходила вверх ещё круче, чтобы нужно было наклоняться вперёд и прикладывать усилие, и удивлялся тому, с каким невозмутимым видом шагают мимо него или навстречу ему редкие прохожие — что уж говорить о водителях автомобилей? Улица чуть изгибалась, и по мере восхождения перспектива менялась, разворачиваясь и углубляясь, и он издалека увидел за одним из поворотов вытягивающуюся белой лентой вдоль тротуара монастырскую стену, а за ней — ворота и фигурки выходящих из них.

Очень скоро стена приблизилась, выросла и застыла, тяжёлая и каменная, накрытая зелёным скатом, и он шёл вдоль неё, рассматривая изразцы — издали казавшиеся тёмными квадратиками — и думал, что стена, напоминающая стенку выбеленной печи, озарённая и согретая наполняющим улицу светом, должна быть тёплой на ощупь, и раздумывал, не приложить ли к ней ладонь, чтобы проверить.

Перед воротами он остановился и перекрестился, а потом шагнул через невысокий порожек, сделал несколько шагов — и ему показалось, что Москва, с её станциями и эскалаторами, вокзалами, кремлёвскими дворцами, светофорами, двойными сплошными, подземными парковками и небоскрёбами — близкими и далекими — осталась где-то позади, за какой-то чертой, а его перенесло в один миг, ветром перебросило куда-то в другое место, в котором вдруг тихо и тенисто, и возвышаются над мощёной дорожкой кроны в янтарной листве, а за ними белеют снова, светятся мягко стены, уходят вверх, и над ними угадываются купола.

Он даже обернулся — и увидел в проём ворот, как проехал мимо автомобиля, как на той стороне улицы прошла, сверкая солнцезащитными очками, компания подростков, да и над воротами, над стеной видны были крыши домов. Отвернулся, посмотрел вперёд — и увидел только кроны над дорожкой, спокойную какую-то, неподвижную тень от них, вертикали фонарей, жёлто-зелёные клумбы, край белой стены и разливающееся надо всем, заполняющее пустоты между ветвями, бледно-синее небо в барашках облаков.

Тихо прошагал он до храма, обогнул его и оказался на краю широкой площади — и тут уже не было тени, но переливалось по-прежнему, обнимало силуэты крыши небо, и ложился на всё, таял бликами свет — какой-то бело-золотой, прозрачный, какой бывает только в самом начале октября, если сентябрь был тёплым и солнечным, и тянулось, не желая заканчиваться, оставляя и после себя свет и тепло, бабье лето.

По площади кувыркались редкие листочки, на другом её краю возвышался закрытый строительными лесами собор, перед ним прохаживались, запрокидывая головы и глядя из-под ладони на купола, люди. Катила через площадь пёструю детскую коляску, чуть покачивая, подавая колесами то вперёд, то назад, молодая девушка. В дальнем углу площади толпилась группа с фотоаппаратами, озирающихся любопытно — по-видимому, туристов — перед ними размахивал руками, показывая на здания, рисуя в воздухе круги и волны, гид.

За площадью светились скаты крыши, иглы шпилей, казалось, что площадь расположена на вершине горы — и Москва обнимает её, рассыпаясь по склонам, поддерживает.

Двери храма, у которого он стоял — невысокого, приземистого, строгой какой-то формы с прямыми углами и пологой, плоской почти крышей — двери храма открывались и закрывались — и через них входили и выходили, крестясь. Он тоже перекрестился и потянул дверь — тяжёлую, открывающуюся беззвучно — на себя, вошёл, вдохнул сладкий запах ладана и воска, сделал несколько шагов и оказался под высокими, в росписях, сводами.

И здесь снова было прохладно — и прохлада была особой, душистой — а свет широкими рукавами тянулся от окон, разводил полумрак, гладил стены, поблёскивал на окладах и стеклах. Людей было мало, и они тихо ходили от иконы к иконе со свечками в руках, останавливались, замирали. Хозяйственного вида женщина в платке “стоймя” негромко скребла дальний подсвечник деревянной лопаткой — убирала воск.

Он постоял у одной иконы, у другой, вернулся к выходу за свечками, поставил несколько, глядя, как разворачивается, застывает вокруг огонька пушистый ореол света, сквозь который ничего не видно, поцеловал, склонившись, уголок ковчега с мощами — священномученик Илларион, архиепископ Верейский — приложился лбом к тёплому дереву. Потом бесшумно прошагал к одной из лавочек — у стены, рядом с узким, глубоким окном — сел и выдохнул. Запрокинул голову, рассматривая.

Своды храма уходили вверх, терялись в сумраке, вместе с ними уходили и терялись росписи — древние по виду, неяркие, точно тихие. Он пристроил рядом с собой портфель, сел поудобнее, оглянулся и робко прислонился спиной к стене. Закрыл глаза и сидел так, слыша сквозь непроницаемую черноту тихие, деликатные шаги, чей-то шёпот, постукивание лопатки по подсвечнику — уже другому, поближе — голоса у свечной лавки, сидел и думал о том, что ему хорошо, о том, что ему, быть может, действительно, стать монахом, бросить всю эту юриспруденцию и уйти в монастырь? Ему вспомнился монастырь, в который их школьниками водили на экскурсию, на окраине

города, за высокими белыми стенами — совсем крепостными — над склоном, с которого видно утекающую к горизонту даль. Вспомнилась эта даль, изгибающаяся, убегающая лентой река, изумрудные пятна перелесков, врастающие в равномерно-темную массу лесов. Вспомнилось, что к монастырю можно подъехать через город, а можно кружным путём, по шоссе, и шоссе это видно из его офиса...

Он вспомнил про офис, и его точно водой окатили, так вдруг ему стало стыдно: забронировали место на форуме — которое могло достаться кому-то более усердному, — оплатили дорогу — купе! — а он сбежал с половины и уехал по своим делам, руки в карманы. Получалось, если посмотреть юридически, что-то близкое к воровству — и особенно горьким ему казалось, что воровство это связано с благородным ведь делом, положительным, с поездкой в монастырь, и связь эта как будто обесценивала пребывание в монастыре, бросала на него тень, и не только на него, но и на воспоминания о белых стенах, о дали с рекой, на всё бросала тень и всё выворачивала какой-то не той стороной.

“Вот уж праведник, — думал он. — Украл полдня и ходит философом”.

Он даже глаза открыл — и заёрзал на лавочке. Он даже привстал было, но потом сел обратно, скривился в досаде и сидел так, пока не нашупал чисто юридически более или менее удовлетворительное решение: через неделю-полторы форум будет доступен в трансляции, и тогда он сядет, вечером или на выходных, и честно дослушает те блоки, с которых ушёл — и не только дослушает, но и законспектирует, если материалы будут касаться его сферы. Решение показалось ему разумным, и на душе у него сразу стало легче — он даже сел прямее, расправив плечи, и снова стал думать про монастырь и монашество, но ни к чему в своих мыслях не пришёл.

По храму продолжали перемещаться люди — одни уходили, другие приходили — некоторые садились на лавочки и сидели, кто-то озирался, рассматривая росписи. Были тут и молодые люди — парни и девушки — и взрослые, и пожилые, были и с чемоданами и дорожными рюкзаками, были и без них — видимо, местные, москвичи.

— Служба? — донесся до него обрывок негромкого разговора, кто-то кого-то о чём-то спрашивал. — В четыре, кажется.

— Спасибо.

Он посмотрел на часы и представил, как через каких-нибудь полтора часа храм озарится огнями, и запоёт хор, и людей, наверное, будет очень много, и все будут стоять тесно, задевая друг друга локтями, крестясь, и кто-то будет стоять у самых дверей, чувствуя, как веет в них прохладой — он представил всё это и пожалел, что не застанет всего этого, что нужно уже собираться, чтобы успеть пообедать где-нибудь, а потом спокойно добраться до вокзала.

Вошёл и двинулся, припадая на правую ногу, через храм старенький священник с длинными белыми локонами — к нему тут же зашевелились со всех сторон за благословением, и даже тётушка с лопаткой оставила свой труд. И он тоже встал с лавочки и подошёл, потоптался за чьей-то спиной, сложив руки, а потом, когда спина исчезла, наклонил голову и почувствовал, как коснулась его макушки лёгкая, почти невесомая ладонь.

Священник скрылся в алтаре, и в храме снова стало тихо, и снова все переходили с места на место осторожно, стараясь не шуметь, а тетушка с лопаткой снова занялась подсвечниками. Он вернулся к лавочке, но садиться не стал — постоял немного, подхватил портфель и вышел, прикрыл за собой тяжёлую дверь.

По площади гулял ветерок, туристы куда-то делись, перед закрытым строительными лесами собором стояли два монаха, разговаривали о чём-то, показывая друг другу на собор, на выглядывающие из-за площади шпили. Небо было по-прежнему ясным, и на всём по-прежнему лежал бело-золотой октябрьский свет.

В зените точками рассыпалась и собиралась в горсть птичья стая.

Он перехватил поудобнее портфель и вернулся к воротам, пройдя в тени крон, обратил внимание на густые заросли не то плюща, не то винограда,

спускающиеся, свешивающиеся со стен, кивнул охраннику, прощаясь, и перешагнул металлический порожек, обернулся, уже на улице, на тротуаре, увидел вдалеке, за зарослями, краешек белой стены. Решил подняться вверх по улице и пообедать там — в животе откровенно урчало — но заглянул в книжную лавку при монастыре, тут же, с отдельным входом, и долго бродил между стеллажами, дышал бумагой и типографской краской, листал, выискивал то, чего не купить дома, выбирал, приценивался, а приценившись и выбрав, отстояв очередь к кассе и спрятав книгу в портфель, посмотрел на часы и понял, что надо торопиться — иначе есть придётся в поезде, втридорога, что-то наверняка не особенно вкусное.

На счастье, приличное кафе обнаружилось совсем рядом, в нескольких минутах ходьбы — и ещё с улицы почувствовал он, как пахнет оглушительно пиццей, а когда вошёл, то над головой его звякнул колокольчик, и бармен, и официантка, и все посетители — а их было совсем немного — обернулись и посмотрели на него. Он выбрал столик, сел, проехался пальцем по предложенному меню и попросил вот эту, с пепперони, и чашечку кофе, и, пожалуй, стакан колы — и официантка ушла, подхватив меню, а он посидел, оглядываясь, чувствуя, как дует в спину кондиционер, и встал, знаками объяснил официантке, что съедет снаружи, вышел — звон колокольчика — и сел за один из летних столиков, выставленных прямо на тротуаре, под окнами кафе. И пока не принесли горячую, шипящую ещё пиццу, пока не поставили перед ним запотевший стакан с колой и шершавую чашку с кофе, он сидел, подперев щеку ладонью, смотрел, как кольшется под ветерком угол клетчатой, красно-белой скатерти и как с тихим шуршанием катятся сверху вниз по улице пожухлые листья — при отсутствии поблизости деревьев — и не мог думать ни о чём, кроме еды. Когда же все это перед ним поставили, когда он, обжигаясь, подхватывая вилкой растягивающийся сыр, почти не жуя проглотил первый кусок, второй, когда отпил колы и почувствовал, как она ударила, щекоча, в нос, он выдохнул, успокоился, откинулся на спинку плетёного кресла и забросил ногу за ногу, покачал ей, спрятав петельку шнура за бортик, к носку.

И потом он сидел и спокойно доедал пиццу, запивая её колой, а когда и то, и другое кончилось, приступил к кофе — который уже остыл, но всё ещё оставался вкусным — и рассматривал улицу. Улица, выгибаясь, уходила вниз, и по ней проезжали туда-сюда сверкающие автомобили, по тротуару проходили редкие пешеходы — почти все в наушниках, он отметил — и по московским меркам, вероятно, улица была тихой, даже пустынной. В окнах напротив — дома невысокие, в два, максимум три этажа — отражалось солнце, и окна светились, над домами виднелись те же кончики спиц, что и над площадью у монастыря, последние этажи далеких высоток. И на них, на улицу, на дома и окна, на тротуар, проезжую часть, шершавые бордюры и половину столика, накрытого красно-белой скатертью в складках — на всё это ложился всё тот же удивительный свет, прозрачный, тихий, едва тёплый, придающий всему какой-то особенный, песочный, всё делающий лёгким и полупрозрачным оттенок, и казалось, что свет этот совсем не изменился с той поры, как взошло солнце — разве что загустел немного.

И ему, уставшему за день, но приятно уставшему, намолчавшемуся, надумавшемуся, казалось, что и он сам — лёгкий и прозрачный, невесомый, вроде осеннего листа, что дунет ветер сильнее — и подхватит его вот так, вместе со столиком и креслом и в той же позе, даже кофе не выльется из чашки, понесёт над Москвой, над всеми этими небоскрёбами и башнями, и хотелось сидеть неподвижно, тихо, чуть дыша, и если двигаться, то без единого звука — и поэтому он беззвучно отпивал из чашки, а чашку беззвучно ставил не на блюдце, а прямо на скатерть, оставляя против воли след в виде полумесяца.

Ему вдруг вспомнилась музыка, которая играла утром в кафе возле Красной площади — деревянные дудочки, ветер, легкий звонкий перестук, — прямо заиграла в мыслях, и он подумал, что дома надо найти её, вслушаться как следует.

Позвонил отец, спросил, во сколько приходит поезд, предложил встретить.

— Нет, пап, спасибо, я сам, я у вокзала машину оставил, — ответил он, удивившись звуку собственного голоса. — Да, на платную. Форум? Хорошо форум... — Он осторожно, пальцем, разгладил складку на скатерти. — Народу столько, ух... Погода отличная, а у вас? Да ладно? — Он присвистнул. — Да зачем мне зонт, до машины добежать... Портфелем закроюсь, если что, не сахарный.

Договорив, он посидел ещё, наслаждаясь, придерживая за тонкую ручку уже пустую чашку, а потом, как это водится, спохватился, побежал внутрь расплачиваться, а, расплатившись, заспешил к метро, вход в которое венчал подъём по улице. В шумном, переполненном вагоне он ругал свою привычку тянуть до последнего и считал станции, уворачиваясь от туристических рюкзаков, вытягивал шею и смотрел в своё отражение в противоположных дверях. Потом был вокзал, лента металлоискателя, голуби, перепархивающие с балки на балку прямо над залом ожидания, полупустой в это время перрон. Все уже, кажется, зашли — и вдоль поезда стояли одни только проводницы, и то не везде, да курящие. Он ускорился, почти побежал, добрался до своего вагона, показал паспорт, влез внутрь, прошёл по узкому коридорчику к своему купе, дёрнул дверь в сторону и присвистнул: купе было пустым, ему вполне могло повезти ехать одному.

Он тихо вошёл, тихо, точно боясь спугнуть, прикрыл дверь, сел за столик, положив портфель на верхнюю полку — и пока поезд не тронулся, пока не потянулся мимо окна перрон, а за перроном — залитая удивительным светом Москва, он сидел, почти не дыша, ожидая, что вот-вот кто-нибудь ввалится в купе, займет все полки, поднимет шум, и сразу, ещё не засыпая, начнет храпеть. Когда же этого не произошло, он расплылся в улыбке и навалился локтями на столик, а когда зашла проводница — перепроверить документы, — он не удержался и спросил, правда ли больше никого?

— Должен был ещё быть... — сказала проводница, пощелкав по экрану телефона. — Опоздал, наверное, — она пожала плечами. — Наслаждайтесь!

Он выдохнул и всю дорогу и впрямь наслаждался: читал или записывал что-то в ежедневник, или дремал — причём ложился то на одну полку, то на другую, не расстилаясь, подкладывая под голову портфель — или смотрел, как горит оранжевым, рыжим закат, накрывает поля и моргает сквозь перелески, заливая купе вязкими, как смола, лучами.

Закат он несколько раз попытался сфотографировать, приоткрывал даже окно, чтобы в кадр не попало отражение в стекле — но телефон искажал цвета и не передавал их такими, какие они есть.

НИКОЛАЙ РАЧКОВ



“ЗОЛОТЫЕ ДОЖДИ”

У ПАМЯТНИКА “РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО”

Это здесь каждый день
был подобием страшному аду,
Сколько смелых сердец
здесь сгорело в горниле атак.
Это здесь, это здесь
в январе прорывали блокаду,
Здесь на штурм по Неве
вёл полки генерал Симоняк.
Сколько рот в небеса
уходило из Невской Дубровки,
Сколько пуль и осколков
лежит в каждом метре земли...
Только острый осот
прорастает из ржавой винтовки,
Только крики “ура!”
стылый ветер несёт издали.
Здесь как будто на нас
смотрят всюду незримые тени,

РАЧКОВ Николай Борисович родился в 1941 году в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического института. Секретарь правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России, литературных премий им. А. Твардовского и “Ладога” им. А. Прокофьева. Живёт в г. Тосно Ленинградской области.

Здесь проходит незримо
героев победный парад...
...Положите цветы,
перед павшими встав на колени.
Здесь сломали врага,
чтоб вздохнул наконец Ленинград.

ЗОЛОТЫЕ ДОЖДИ

Полюбил он совсем не на шутку,
Как весёлое солнце — апрель.
Ах, как сладко ему и как жутко
Вспоминать этот праздничный хмель.

Но решил он, что многого стоит,
Что в плену пропадает — шалишь!
Осмелел и прошёлся с другою,
Словно месяц по лезвию крыш.

А она лишь взглянула печально,
Горько губы скривила — не жди...
Даже имя его неслучайно
Замели золотые дожди.

Жизнь его замелькала по кругу,
Безнадёжно сгорали лета.
Кто ему ни протягивал руку,
“Всё не та, — понимал он, — не та...”

Есть в судьбе и загадка, и тайна.
Сколько раз нам о том говорят.
Вдруг в толпе мимолётно, случайно
Взгляд его уловил её взгляд.

Побледнела и вздрогнула разом,
Прежней встречи туманом дыша.
“Всё забыла!” — противился разум.
“Здравствуй, милый!” — кричала душа.

Но ушла. Ничего не простила.
Головой лишь качнула — не жди...
Разве грусть от любви этой в силах
Замести золотые дожди?

* * *

Весна! Ещё и нет грозы,
Ещё и речка не взбурлила...
Приникни к веточке лозы:
Какая в ней таится сила!
Весна в зелёном вихре дней
Полна такого цвета, света.
Она со всем, что зреет в ней,
Беспечно переходит в лето...

А осень ясная мудра.
Дни сочтены — ей всё известно.
Как пламя быстрого костра,

Она печальна и прелестна.
И стоя у глухих ворот,
Под тихий шелест листопада
Всё, всё до нитки раздаёт.
Ей ничего уже не надо...

* * *

Осень уходит.
Пустынно и голо.
Холодно, ветрено... Но всё равно
Дождик шумит,
Словно арфа Эола,
Звуки серебряно льются в окно.

Грустная музыка падает с неба.
Ей в унисон — предвечерняя тьма.
Осень уходит...
На клавишах снега
Что нам назавтра сыграет Зима?

ВАЛЕРИЙ РЫЖЕНКО



МИМОЛЁТ

РАССКАЗ

Везде поперек каким бы ни было печалям, из которых плетётся жизнь наша, весело промчится блистающая радость...

Гоголь. “Мёртвые души”.

Проскочив по мосту через Дон возле города Серафимович, глотнув свежего, бодрящего воздуха, а потом, окунувшись в удушающий запах бензина автозаправочной станции, расположенной примерно в метрах ста от Дона, я выезжаю на самую верхушку невысокого бугра: летом с опалённой травой, зимой оголённого, осенью, покрытого грязью, весной обсыпанного одуванчиками...

Остановив машину, выхожу и смотрю не на Дон: могучая река, но мелькает, островки в середине появляются, а на дорогу, ведущую к Суровикину. Пустая. По сторонам хилые низкорослые посадки, запустевшая и заглохнувшая степь. Вдали горизонт. А то, что мне хочется увидеть — не видится. И так каждый раз, когда я еду в Обливскую.

Я останавливаюсь не потому, что меня измотала почти в тыщу вёрст дорога, забитая тяжеловесными фурами, я наловчился проскакать между ними, а воспоминания.

Постояв немного, я сажусь в машину. До Суровикино сотка вёрст. Они кажутся мне бесконечными. А ведь был день, когда эти километры пролетали, как секундная стрелка по кругу. Иногда я притормаживаю и ползу,

РЫЖЕНКО Валерий Андреевич родился 10 июля 1944 года в посёлке Фрунзе Луганской области. Закончил Высшую краснознамённую школу КГБ при Совете Министров СССР имени Ф. Э. Дзержинского. Работал в органах. В настоящее время на пенсии.

словно черепаха, а порой срываюсь так, что стрелка на спидометре зашкаливает: не надейся, это был сон, это была мечта.

В тот раз, в июльский распаренный день, я тормознул, увидев на верхушке бугра женщину лет двадцати пяти — тридцати, которая махала рукой. Стоп машина. Добыча в руки плывёт! Эта мысль, что греха таить, исполнилась от желания.

— Куда?

— А тебе это нужно знать? — отрезала, как бритвой перед лицом махнула.

Я оторопел. Как говорят: просел одновременно в чувствах удивления и злости.

— Зачем тогда махала, чтоб я остановился?

— Я не тебе махала, просталась с Серафимовичем. А вообще мне нужно в Суровикино.

— Садись, — успокоившись и распахнув дверцу, сказал я. — Подвезу.

Она, внимательно осмотрев меня, бросила:

— Только я в твои игры не играю. Понятно?

— Какие игры?

— А те, что выше коленочек.

— Это как понимать?

— А так, — насмешливо ответила она. — Приглашают, а потом говорят: расплачиваться как будешь? Деньгами или натурой. Мол, предпочитаем натурой брать. Это твёрдая валюта. Всегда в цене.

— Я не такой, — быстро бросил я.

— Предупреждаю. — Она сжала сочные губы, блеснула не глазами, а глазами. — Я одному даже дверку снесла, когда вырвалась.

— А дальше?

— Интересно стало? Бросилась бежать. Он — за мной. Мне-то легче. Я бегу без мата, а он с матом, да ещё с дверкой. Почему с дверкой, до сих пор не пойму. Подарить, что ли хотел мне? Или в качестве памятника на мою могилку поставить? Чуть не задохнулся, бедняжка. Попрощались прилично. Он мне кулак показал, а я ему язык.

— Я выдержанный мужик, к женщинам отношусь с особым уважением и вольностей не допускаю.

Я вышел из машины и направился к ней, она попятилась, потом, быстро нагнувшись, ухватила увесистый булыжник.

— Хочешь силой взять. Смотри. У меня каменюка и когти стальные. Ух. Порву и пискнуть не дам.

— Это... Как бы тебе попонятней сказать... Каменюку для других сохрани. Машины легковые можешь водить?

— Могу.

— Тогда садись за руль, а я на место пассажира. И топи.

— Ты что — сбрендил? — удивлённо вздёрнулась она и выбросила булыжник.

— А почему бы и нет. Я устал, из Москвы качусь, малость вздремну, а ты вместо меня порулишь.

— А если я врежусь? Машину побью?

— От этого никто не застрахован.

— Ладно. Даже как-то интересно стало, — сказала она, приняв моё предложение. — А куда едешь? — спросила, выводя машину на узкую, поклеванную дорогу.

— В Обливскую. Тестя и тещу проведать.

— Выходит, что женат, — улыбнулась она. — А жаль. Я бы тебя сонного к церкви в Суровикино подвезла, обвенчались бы.

— Вот так. Сразу.

— А зачем ждать?

— Выходит, что ты не замужем.

— Какой догадливый. Была. Ушла от мужа. Любил закладывать.

Через час показалась суровикинская телевизионная вышка.

— Лихо едешь. Сто вёрст за час взяла.

— Это я от страха, чтоб ты не передумал и не начал приставать. Ты же не сумасшедший, — ввинтила она, — чтобы на скорости сто километров в час, шарить руками по мне, хотя твоя авантюра посадить за руль совершенно незнакомого человека говорит об обратном. Слушай, — она повернулась лицом ко мне. — У меня хорошее предложение. Просто отличное. Соглашайся.

У меня ёкнуло в сердце, что задумала, но не давать же задний ход.

— Выкладывай.

— У тебя машина, а не поезд. По расписанию не ходит. Давай махнём назад к Серафимовичу. Покупаемся в Дону. Как ты на это смотришь?

— Просто, — облегчённо вздохнул я. — Разворачивайся. Только внимательно. Сади фура.

— Послушай. Я водитель или ты? — сердито сказала она.

— Ты.

— Вот тогда и помолчи, — осадил меня.

Часа два мы купались в Дону. Загорали. Она неожиданно схватывалась с места, мчалась во всю прыть к воде, отталкивалась ногами и, блеснув телом на солнце, обрушивалась в воду. Фонтан брызг, и она среди них. Выйдя на берег, падала на спину, раскинув руки в сторону и, прищурившись, смотрела на солнце.

— Дразнилка, — говорил я. — Ляг на живот.

— А ты не на меня смотри, а на солнце. И вообще, что здесь такого, если женщина после купания ложится на песок спиной, чтобы её погреть. Может быть, у меня радикулит.

— И давно он у тебя прорезался?

— Да только сейчас. Год молчал,

— Давай массаж сделаю.

— Спасибо, не мешай мне. Дай полюбиться солнцем.

Она немного поднялась и оперлась на локти.

— Ух, ты. Какое яркое и сочное.

— Как у тебя губы, — подбрисил я. — А знаешь?

— Не знаю.

— Да ты послушай. Может быть, вспомнишь. Мы с тобой уже виделись. В монастыре, который в Серафимовиче, на Пасху. И целовались. Христос воскрес! Воистину воскрес! Может, представим, что сегодня Пасха?

— Так и стараешься подобраться поближе, — сказала она. — А знаешь, что поближе — это действительность чурбанов, а подальше друг от друга — это мечта. Смотри на солнце. Я впервые вижу его таким.

Она перешла на шепот и поманила меня пальцем.

— Ползи ко мне. Я знаю тайну проклятого места. Оно напротив монастыря на берегу Дона находится. Видишь монастырь?

— Тебя вижу, монастырь нет.

— Послушай мой добрый совет. Я ведь могу и оплеуху влепить. Так вот, — не сбавляя шепот, понеслась она. — Монашки беременели и когда рожали детей, то топили их в Дону. Люди, которые ходили к проклятому месту, говорили, что слышали плач новорождённых. В монастыре и чудесный камень Пресвятой Богородицы есть. Его ещё называют Монашкин камень или камень Арсенин. Я одно время собиралась уйти в монашки, да услышав о проклятом месте, отказалась. Интересный монастырь. Я тебе многое могу рассказать о нём.

— Не нужно, — ответил я. — Был там. А о проклятом месте впервые слышу.

— А ещё ходила я к камню Пресвятой Богородицы. Молилась, чтоб муж бросил пить, но видишь, ушла, возвращаюсь домой. Не думаю, что это наказание для меня. Скорее всего, спасение, потому что с пьющим мужиком тяжело жить. Самой можно запить. Да и разлюбила я его. А, может быть, и не любила. Выскочила в восемнадцать лет. А зачем ты ходил в монастырь? Ради интереса, любопытства?

— Нет. Счастье там искал.

— Ого. Если искал, значит, знаешь, как оно выглядит.

- Знаю.
- Тогда расскажи.
- Оно похоже на тебя.
- Я серьёзно спрашиваю, а ты.

Она вскочила, отломив веточку от куста и стала чертить на песке.

- Что чертишь?

— Пищу, что такое счастье. Жаль, что на песке, ну, ничего. Сойдёт и на песке...

Я поднялся и направился к ней, чтобы посмотреть, но она быстро стёрла ногой.

- Зачем?

Она не ответила, посмотрела на монастырь, Дон, меня и стала одеваться.

— И откуда ты свалилась на мою голову, — не выдержал я. — Ехал спокойно и — на тебе.

— А я знала, что ты едешь, поэтому и вышла на бугор, чтоб тебя встретить.

- Если вышла встретить меня, зачем тогда за каменюку хваталась?

— Ты не об этом думай, а скажи Богу и мне спасибо, что я не запустила её в тебя. А ведь могла от радости и шарахнуть.

Мне пришлось только развести руками.

Время мчалось с бешеной скоростью. Я никогда не испытывал такую жгучую ненависть к нему, но время, как вода. Ни то, ни другое в кулаке не сожмёшь и не удержишь.

— Пора ехать, — сказала она. — Тебе ещё нужно до Обливской добираться.

- А может, заедем к тебе, — бросил я, когда сели в машину.

- Не надо, — вздохнула она. — Мы всё испортим.

Она, оставив руль, потянулась. Я перехватил:

- Ты рули, рули! А то в кювет завалимся.

- Ты точно ненормальный. Я и так рулю. Нога на тормозе.

- А если в кювет кувыркнёмся, где твоя нога будет?

- А куда Бог положит, — равнодушно бросила она, — там и будет.

А если в кювет попадем, то нужно делать вот так.

Она резко тормознула. Хорошо, что я был пристёгнут. Иначе полёт через лобовое стекло стал бы неминуем.

— Не сердись. Это жизнь. Кто-то рулит, кто-то тормозит, но все мы попадаем... Понимаешь, я никак не могу узнать, куда мы попадаем. На небеса или, извини, в собственные ароматные изделия. Не подсказывай, хотя ты и сам толком не знаешь. Я сама должна догадаться.

Половину дороги назад она молчала.

- Что молчишь, — спросил я.

— Да, как-то на душе нехорошо. Садись за руль. Голова закружилась. Наверное, перекупалась и перегрелась.

Я посмотрел на её лицо и вздрогнул внутри. Это было лицо женщины, словно шагнувшей в шестидесятилетний возраст. Она перехватила мои мысли, то ли интуитивно, то ли каким-то другим образом. Не понятно.

- Не удивляйся, — сказала она. — Это мимолёт.

- Это что? Болезнь такая?

- Нет, — она засмеялась. — Не пытай меня. Не скажу.

Недалеко от поста ГИБДД я остановился, как велела она.

— Вот и всё, — вздохнула она. — Простенько без обнималок и коленочек. Покатались, покатались и расстались.

Она потянулась ко мне, слегка поцеловала в щёку и нажала на сигнал. Полосонуло.

- Суровикино! — закричала она. — Встречай свою дочь.

- Ну, и выходки у тебя.

- Нормальные выходки.

— Я тебе номер мобильного дам, — сказал я. — Позванивай. Сообщу, когда в следующий раз ехать буду.

- Хорошо, — ответила она.

— Свой номер оставь мне.

— У меня пока мобильного нет.

Она ушла, не оборачиваясь.

Я проехал по центральной улице городка, чтобы выскочить на федеральную трассу, но передумал и стал кружить по улочкам и переулочкам в надежде увидеть её. От этой затеи пришлось отказаться, когда стало темнеть. Я нацелился уже на Обливскую, но передумал. Позвонил теще и сказал, что сломался возле поворота на Михайловку. Машину загнал в сервис. В ней и переночую, а где-то к обеду выеду.

Ночью я почти не спал. Изредка меня охватывала дрема, и я, как наяву, видел Дон, брызги фонтана и её среди них, поднимающуюся вверх. Я даже бормотал: протяни руку, чтоб я смог ухватиться за неё, но она отрицательно качала головой.

Утром я подумал, а где собирается больше всего людей в воскресный день? На рынке. Я направился к нему. Гремела оглушающая музыка. Из палаток, забитых одеждой, доносились голоса: дешево, недорого. На прилавках торговали свининой, телятиной... На одном конце рынка продавали цыплят, утят, кроликов... На другом — автомобильные запчасти, ковры, картины... Этот многоголосый копошившийся ком давил на меня. В воздухе носились запахи пота, пива... Я исходил весь рынок. Запахла она мне в душу. Мне хотелось увидеть её, услышать голос, сказать, а что сказать, если в голове моей хаос. Моя жена и она... Подходя к палаткам, я намеревался спросить, но что я мог спросить? Я не знал даже её имени. Мчаться по песку и, сверкнув телом в солнечных лучах, бултыхнуться в воду, а, вынырнув, закричать: здорово! — Вот её имя.

Я дошёл направился к мужикам, выпивавшим на скамье в сквере.

— Мужики, можете?

— Конечно. Что за вопрос.

— Я ищу одного человека.

— Это хорошо, что ищешь.

— Но я о нём мало, что знаю.

— Это тоже хорошо, что мало. Мы знаем больше, потому что коренные. Информация стоит сейчас дорого. Бизнес. Понимаешь?

— Понимаю.

— Это тоже хорошо. Купи нам бутылку, потом обрисуй человека, скажи фамилию, улицу, номер дома, и мы отведём тебя.

Ничего не вышло. Уходил я уже с опустевшего рынка. Дорогой купил чекушку “Парламент”. Выехав из Суровикина, проехал по мосту через Чир, высыхающий и зарастающей густым, почти трехметровым камышом, свернул на степную дорожку, остановился и выпил. Гаишников я не боялся, так как знал немало дорожек в степи, ведущих к Обливской. Суровикино постепенно уходило из вида, я оглядывался, пока оно совсем не скрылось.

Я ждал её звонка, но она не звонила. Несколько раз я собирался ехать в Обливскую, говорил жене, что хочу проведать её отца и мать, но поездки откладывались.

Позвонила она через год.

— Почему год ни одного слова?

— Да это, ну времени не было. Это...

Она замолчала.

— Врать ты не умеешь, — сказал я.

Длинная пауза. Только прерывистое дыхание.

— Я боялась, сам понимаешь, чего. — И тут же быстро добавила: — Выхожу замуж через неделю. Поздравить или как?

Я поздравил её, но меня охватило ощущение, что я потерял очень близкого мне человека, который промелькнул передо мной и должен был исчезнуть, но не исчез.

Иногда я сажусь в машину и выезжаю на трассу и мне чудится, что я вижу, как она идёт по дороге.

Дорога, дорога! Ты единственное спасение и надежда для меня, когда в душу накатывается грусть, перемешанная с тоской, когда я чувствую, что

задыхаюсь среди людей, и мне хочется вырваться на машине в неизвестность.

Колёса наматывают вёрсты с бешеной скоростью. По сторонам мелькают посадки, подлески, бескрайняя степь с полыхающим над ней солнцем, проскакивают мимо деревни, кладбища, городишки, церквушки с позолоченными колоколами, одинокие могилки с деревянными крестами, почти такие же, как и были на Руси, переходящие из века в век. А дорога всё вьётся и вьётся, и уводит в бесконечную даль.

О чём мечтал, то не сбылось.

О чём не думал, то случилось.

Как хороша ты, прекрасна и пьянящая в яркий солнечный день. Блестить, словно отполированное зеркало. Не раз ты уводила меня в густые, рослые, тенистые леса, где я, останавливаясь, находил тропинки, протоптанные охотниками за грибами. Я выходил из машины и шёл по этим тропинкам: прямым и петляющим с чувством ожидания и мечты увидеть что-то необыкновенное, неземное, но напрасны были мои мечты, они обрушивались под тяжестью захлестнувшей меня обыденной жизни. Чаще всего я не выбирал тропинки, а шёл напрямик, продираясь сквозь мелкорослые кусты, колючие заросли, ощущая себя иногда одиноким и забытым, иногда свободным, и тогда в порыве свободы и восторга я, заложив два пальца в рот, издавал пронзительный, мальчишеский свист, который срывал с деревьев птиц. Порой я скатывался в крутой овраг, родниковую балку или натыкался на небольшие лесные озерца, речушки, но не манили они меня, и я недолго бродил в незнакомом месте и снова возвращался назад. И ты опять расстилалась передо мной сверкающим, отливающим солнечным светом, полотном.

Ты становилась жестокой и опасной и не щадила меня, когда попадала в темень, когда покрывалась густым туманом, когда начинал хлестать ливневый дождь, когда леденела, и мне думалось, что ты заберешь меня к себе, и страх наваливался на меня, но проходило время, и ты, вырвавшись из непогоды, снова открывалась передо мной своей свежестью, чистотой.

Нет у тебя ни начала, ни конца. Как много у тебя таинственного, непознанного и скрытого. Ты, словно время, бежишь без устали по земле.

Попадались попутчики молодые, постаревшие, и в их глазах, как казалось мне, я видел ту же страсть и любовь к дороге. Мчаться мимо суетной жизни, наполненной и радостями, и горестями, не останавливаться, и пусть сама судьба решит, где сделать последнюю остановку.

АННА ЗОРИНА



ДО ПЕРВЫХ СЛЁЗ

ДОЛГАЯ НОЧЬ

Когда вдруг выключили свет,
Всё стало страшно незнакомым.
Блуждали страхи в голове
И застревали в горле комом.

Нашлась последняя свеча
В углу на полке, у графина.
И дом дремотно заворчал,
Храня огонь над парафином.

Понятно стало всё кругом,
И мир в отчаянье не рухнул,
Запахло вкусно пирогом
Из вентиляции на кухне.

И чудо делалось полней
От изумления на лицах:
В театре маленьких теней
Под потолком кружили птицы...

ЗОРИНА Анна Владимировна родилась и выросла в городе Петропавловске на севере Казахстана. Окончила Северо-Казахстанский университет им. Манаша Козыбаева. Пять лет назад переехала в Новосибирск, где и начала писать стихи и сказки. Участник различных литературных фестивалей и семинаров.

Наутро снова из окна
Плыл запах кофе, было рано.
Сияла бликами стена
От граней старого стакана.

Давно растаял в горле ком,
Как вкус остывшей манной каши.
Лишь блик метался огоньком
Над фитилём свечи погасшей.

* * *

Муссон разбудит,
завывая, как длиннохвостые дети Бастет,
стуча во все окна и двери сразу.

Нищета Каира отвращает.

Красота Луксора возносит, а крыши — нет.

Среди многих иероглифов чаще других я встречаю
утку и солнце — Сын Ра.

Безжалостны сухие слёзы Красного моря.
Бедуины ищут новый источник
за три года до того,
как покинут обжитое место.
Свободен здесь только ветер.

* * *

Летние дни летят клином, куда ни кинь.
Маки на рёбрах шпал — встречные огоньки.
Сплавится стук колёс в морок дорожных снов,
Скатится в горизонт пыльное полотно,

Мягко в степи встряхнёт домики-муляжи.
Сколько ему петлять, сколько ещё кружить?
Переплетут пути полозья-поезда.
Сколько же нас таких, выпавших из гнезда?

Что не умеют жить да наживать добра —
Только б суметь слова верные подобрать?
Там, где на склоне дня поезд протяжно выл,
Терпкую тишину сонно метёт ковыль.

* * *

А вы клялись и в радости, и в горе.
Клялись всерьёз.
Легко любить, когда никто не спорит.
До первых слёз.

И был любовью обрисован ясно
Любой предмет.

Легко любить, когда со всем согласна,
А если нет?

Неосторожно многое сказали.
Да сгоряча.
Спина к спине, бессонными глазами
Рассвет встречать.

Задавлен стон: “Мне больно, я живая!”
И в горле ком.
Легко любить. Но разве так бывает,
Что всё легко?

* * *

Заплетаю венок:
С колоском колосок.
На губах не вино —
Просто яблочный сок,
Позолоченный звон
С отпечатком вины.
Выйди злом, выйди вон,
Возвращайся иным!

Поцелуй в висок:
Только перец и соль.
Голос мой — колосок,
Невысок, невесом.
Наш оставленный мир
На пороге зимы.
Мы немые. Мы не мы.
Обними, обними!
Суть сомнения — страх.
Весь по капле лови
Вкус вины на губах.
По любви? По любви.

* * *

Провожали июль. Плыли улицы, солнцем оплавлены.
Медным куполом маленький город накрыла жара.
У разбитых дорог на рябинах рыжели подпалины,
Отражаясь в оконных пределах ободренных рам.

Провожали июль потаёнными летними тропами.
Завернулся янтарный закат в тёмный облачный плащ.
И прощания с губ облетали горячечным шёпотом,
И срывались на плач.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Где звёздный свет пунктиром путь нарисовал,
Закрыв глаза, чтоб не глядеть куда попало,
Летела сонная полярная сова
И нежным пухом всё на свете засыпала.

Парила, крыльями почти не шевеля,
Прикрыв глаза от ярких звёзд, чтоб не мешали.
А между тем внизу озябшая земля
Уже вывязывала край узорной шали.

Смотри! Смотри! Но неподъёмна тяжесть век.
Всё закачалось в белоснежной колыбели,
А может, попусту привиделось сове:
И белый свет, и белый пух, и город белый.

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ



ТВОЁ СОЗДАНИЕ — ТВОЙ ДОМ

* * *

Мама стряпает вареники,
Лист присыпала мукой,
Я еще совсем манененький,
Да почти что никакой.

А она так ловко лепит их —
Сами пальчики летят.
На листе, как гуси-лебеди,
Тихо крылышки лежат.

ДОНБАЙ Сергей Лаврентьевич родился 22 сентября 1942 года в городе Кемерово. Автор четырнадцати книг стихотворений, вышедших в Кемерово, Москве, Красноярске. Публиковался в литературных журналах: "Сибирские огни", "Огни Кузбасса", "Наш современник", "Москва", "Всероссийский соборъ", "Сибирь", "День и ночь", "Сибирские Афины", "Начало века", "Врата Сибири", "Алтай", "Барнаул", "Родная Ладога", "Бийский вестник", "Сибирячок", "Литературный меридиан", "Подъём", "Форум", "Роман-журнал XXI век", "Север", "Родная Кубань", "Образ", "Юность", "Петровский мост", "Русское эхо", "Литературная Феодосия". Лауреат литературных премий им. В. Д. Фёдорова, святого благоверного великого князя Александра Невского, "Белуха", Николая Клюева, Виктора Баянова и др. Заслуженный работник культуры России, имеет почётную грамоту Президента России. Секретарь правления и член приёмной Коллегии Союза писателей России, Главный редактор журнала "Огни Кузбасса". Живёт в Кемерово.

Призадумалась, болезная,
Кем я буду, Боже мой?
Перед ней, как будто тесто я,
Перепаханный мукой.

ТВОЙ ДОМ

Когда закат нас тьмой оближет,
Как мать телёнка языком,
Во тьме ночной — дорожке, ближе —
Звездой тебе засветит дом;

Когда лукавое отродье
Тебя ведет не по прямой,
Но словно лошадь без поводьев,
Ты всё-таки идёшь домой;

Когда за дальнею дорожкой
Иль за небесною верстой
Ты вспоминаешь осторожно
Дом, не какой-нибудь, а твой;

К тебе он всюду тянет нити,
Не прерываются оне.
Он, словно ангел, твой хранитель —
И света крылья на стене.

Когда тебе по воле Божьей
Последний, тихий грянет гром,
Проводит в вечность из прихожей
Твоё создание — твой дом.

* * *

Памяти Крекова

В жизни тягу к благородству
Не терял он никогда.
Прятала его в юродство
С детства бедная среда.

Мама, словно понимала,
Что поэт растёт при ней,
И Ахматову читала
Сыну с молодых ногтей.

— Я люблю, чтоб всё красиво
Было!.. — часто говорил.
После смены горделиво
Шляпу с бабочкой носил.

— Я ходил по храму чинно,
Я иконы созерцал.
— Здесь вам не музей, мужчина, —
Батюшка мне подсказал.

К благородству в жизни тягу
Чистым помыслом держал.
Слову русскому присягу
Отродясь не нарушал!



К 90-летию выдающегося русского прозаика Василия Ивановича Белова его родная и воспитанная им Вологда провела масштабный творческий конкурс под названием “Всё впереди!” Солидное жюри во главе с председателем Союза писателей России Н. Ф. Ивановым рассмотрело отобранные 243 рукописи, отметило лучшие и выбрало трёх лауреатов.

Следует отметить, что уровень представленных сочинений оказался весьма высоким, более половины рукописей читались с интересом, несли в себе свет той прозы, какую оставил нам в наследие Василий Иванович. Оценка велась по тридцатибалльной шкале, и треть произведений получили от двадцати баллов и выше. Рассказы, повести и романы в основном наполнены любовью к нашей могучей Родине, к людям, они рассказывают о непростых и интересных судьбах наших соотечественников, заставляют задуматься о простой истине, что смысл жизни в том, чтобы помочь ближним, любить их и спасать. Едва ли не каждое третье произведение рассказывает о жизни современной деревни, и не всегда умирающей.

Первое место занял молодой калужский прозаик Максим Васюнов с повестью “Кутига”, что особенно лестно для нашего журнала, поскольку эта повесть опубликована в “Нашем современнике” (№ 8 за 2021 год). Второе место заняла москвичка Анастасия Коваленкова. Третье — воркутинский прозаик Виталий Лозович. Премии вручались в конце октября на торжественных мероприятиях в Вологде, посвящённых юбилею Белова.

А в декабре исполнилось десять лет с того дня, как Василия Ивановича с нами не стало. В память о нашем незабвенном авторе мы публикуем произведения лауреатов премии “Всё впереди!”, а также тех авторов, которых, будучи членом жюри премии, отметил редактор отдела прозы “Нашего современника” А. Ю. Сегень. Предлагаем подборку под общей рубрикой “Всё впереди!”

МАКСИМ ВАСЮНОВ



ПУШКИН, ПРОЩАЙ!

РАССКАЗЫ

ЗАРА

— Вставай, я так больше не могу.

Мы с Зарой жили уже полгода — никогда до этого среди ночи она меня не будила.

— Ты чего?

— А что, если сейчас херакнет бомба?

Я хотел отделаться какой-нибудь шуткой, но вовремя посмотрел на Зару. В её глазах блеснули слёзы — и надо же: именно эти слёзы ловил сейчас лунный свет.

Я ничего не ответил. На секунду залюбовался — в лунном свете девушки всегда прекрасны. Даже когда плачут.

— А что, если ракета? — опять двадцать пять. — Ты хоть знаешь, где у тебя тут бомбоубежище, куда вообще бежать, если начнётся?

Тут я уже понял, что отмолчаться не получится.

ВАСЮНОВ Максим Александрович родился в 1988 году в Нижнем Тагиле. Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета им. М. Горького. Телевизионный журналист, автор и режиссёр документальных фильмов (в том числе о писателях — “Чехов Интерстеллар”, “Доктор Пауст”, “Деревенский Данте”), публицист (“Православие. Ру”, “Российская газета”, “Год литературы”), главный редактор издания “Вера молодых”. Лауреат и призёр литературных конкурсов, участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и Европы (Ульяновск, 2018). Публиковался в журналах “Урал” и “Крым”. В 2019 году вышел дебютный сборник его стихотворений “От стрекозы до луны”. Живёт и работает в Калужской области.

— Ну, какие ракеты, зай, мы же в Калуге. Это не Украина, даже не Донбасс.

— Ты видел вообще, что происходит? — Зара уже говорила на том надрыве, после которого девушки обычно скатываются в истерику. Это я знаю по сценам ревности.

Но среди ночи меня ещё никто не будил, чтобы поистерить о ракетах.

— Так, Зар, — я сел рядом, укутался в её простыню, положил руку на её живот — она любила, когда я касался живота, — всё, что ты читаешь, — это не про реальность. Это всё надо делить на двадцать, никто на нас нападать не собирается. Всё хорошо.

— На Украине тоже говорили, что никто не собирается. А в итоге... Ты сам видишь! Мне страшно, ты можешь это понять? — Зара уже кричала. Грань пройдена. И если бы то была сцена ревности, я бы не сдержался, но здесь другое. Совсем другое.

— Хочешь, пойдём попьём чаю, того, что мы привезли с гор? — Бог его знает, почему я предложил чай и почему именно вспомнил про чабрец. Мы собирали его, когда гостили у родителей Зары в армянской деревушке.

На кухне мы зажгли только розовую подсветку над газовой плитой и посудомойкой. На краю стола горел голубой огонёк электрочайника.

Мы сидели напротив друг друга и молчали. Слёзы в её глазах переливались разноцветными огоньками.

— Я так больше не могу, это какой-то ад, — вдруг скovyрнула она тишину и резко провела по своим густым чёрным волосам. — Я так больше не могу.

— Блин, зай, ты понимаешь, как это глупо? Ты начиталась опять какой-то ереси в блогах и теперь в это веришь? Ты в панике из-за каких-то урогов, которым платят бабло, чтоб...

— Да при чём тут блогеры! — закричала она. — Я же не дура. Я же вижу, к чему всё идёт! Куда мы денемся, если война? Куда? Они там все в вашем Кремле спасутся, а мы как? — Каждое слово она произносила всё громче, руки её дрожали.

Закипел чайник, я медленно заливал воду в кружки, сначала наблюдая, как кипяток скручивает мелкие лепестки чабреца, потом — как вода поднимается выше, выше. Я не знал, что говорить, поэтому всё, что мне оставалось, — делать вид, что я озабочен чаем.

— Ты поедешь со мной в Ереван? — спросила она.

У меня зажгло внутри, как будто я уже выпил весь чай. Залпом.

— Зай, ты реально хочешь об этом сейчас поговорить?

Какой глупый вопрос. Никогда ничего подобного не спрашивайте у девушек.

— Ясно, спокойной ночи.

В её глазах снова замелькали голубые и розовые огонёчки. Обе кружки чабреца в итоге выпил я один. Утром, когда Зара уходила на работу, я спал. Но точно помню, перед тем как закрыть двери в спальню, она меня поцеловала. Она всегда меня целовала.

В обед я обновлял какой-то очередной договор, за последний месяц все заказчики рекламы на нашем телеканале попросили пересмотреть условия работы. Никто не хотел заказывать рекламу дольше, чем на месяц вперёд. Перепечатка, как и любая механическая хрень, меня доставала, я от такой работы всегда бесился.

Зара позвонила, когда я уже был на взводе.

— Нам надо встретиться! — сказала она. Голос её был взволнованным.

— Что? Кто-то умер?

— Ты дурак?

— Ты хочешь встретиться сейчас? Вот прямо сейчас?

— Да, давай у театра. — И она замолчала. Нет, не бросила трубку, она молчала. Ждала, что я отвечу.

Я не ответил, отключился. Но к театру пришёл. Зара была в своей толстовке с большим капюшоном — я её ненавидел, гребаный панкстайл.

— Я тебе всё объясню, только ты не перебивай, пожалуйста, выслушай, — начала она с ходу, не “привет”, не “люблю тебя”, даже не поцеловала. Я приготовился к самому жесточайшему выносу мозга, стал вспоминать, не осталось ли у меня в телефоне каких-то переписок, которые я забыл удалить.

Но дело было не в переписках. Не в ревности. Зара говорила, что надо подумать о будущем, и причём как можно быстрее, что многие из её фейсбучной ленты уехали в Армению, даже русские, которые там никогда не бывали, она твердила, что в России ловить больше нечего и что здесь скоро будет война. Лучше бы она нашла в моём телефоне переписку.

Она что-то говорила ещё, а потом спросила: “Ты меня любишь?” Она знала ответ — ради нас я прикончил свою холостяцкую жизнь и ни разу ещё об этом не пожалел. А все её последние закидоны на тему будущего воспринимал как панику. Лёгкую такую панику. Почитай соцсети во время войны — ещё не так застрессуешь.

— Я тебя люблю, ты же знаешь. — Я обнял её, снял кашошон, чтобы погладить волосы, — она любила, когда я её гладил.

Зара резко отдёргнулась, снова напялила на себя этот дурацкий колпак. Потом вдруг ударила мне в грудь ладошками.

— Ты понимаешь, что происходит, — опять удар, — ну, ты же не дурак! У тебя воруют жизнь. У тебя украли детство, потом украли юность, потом в молодости тебя то поднимали, то опускали... Чертовы американские горки... Кризисы, бандиты, войны, Крым, пандемия, теперь вот это всё, а когда жить? — Зара выбирала каждое слово, она будто их поднимала с земли, тяжёлые, горячие... Неудивительно, что она быстро выдохлась.

Я прекрасно понимал, о чём она говорит. Что ей, что мне не повезло родиться в то время, которое называли застоём. Или — “оттепелью”. Нас родила “перестройка”.

Многие из нашего поколения до сих пор не понимают, кто и что переживал. Но слово это у всех без исключения вызывает отвращение. Как горячее тёмное пиво. Или прокисший томатный сок.

Но я никогда всерьёз не думал куда-то уезжать. До этого момента.

— Куда мы поедem? Ну, куда? — заводился я. — У тебя там родители, о’кей, ты найдёшь работу, ты своя, а я что там буду делать? Кому я там нужен? Да и зачем нам ехать?

— Ты думаешь, ты здесь кому-то нужен? Ты тут давно никому не нужен. Ни разу никому не нужен. Ты ноль для всех. Тут даже не спрашивают, объявлять ли кому-то войну...

— У вас, можно подумать, спрашивают, — огрызнулся я.

Зря я напомнил про Карабах — для неё это была такая же большая тема, как землетрясение.

— Да пошел ты! — она отвернулась, и по тому, как дрожали ее плечи, я понял, что она заплакала.

— Ладно, зай, извини, ну, просто ты говоришь что-то страшное. Я могу тут или психануть, или сделать вид, что я растерян. Ну, то есть, я хотел сказать...

— Хватит мямлить! — она резко повернулась ко мне, наши глаза встретились и друг друга испугались. — Ты можешь принять решение хоть раз в жизни как мужик?

— Решение, которое хочешь ты? — снова завелся я.

Психологи говорят: когда вы ссоритесь, смотрите друг другу в глаза. Врут психологи.

— Ты узнал, где бомбоубежище?

— Ты о чём вообще?

— Ты можешь хоть одну мою просьбу выполнить? Что за человек ты, а?

— Давай не будем.

— Ты нормальный? Давай твоя страна не будет бомбы кидать на города, давай вы не будете вмешиваться в чужие войны, а? Давай вы не будете смотреть молча, как вас гипнотизируют?

— Короче, я понял. — Я уже был готов развернуться и уйти, надо было так и сделать. — Фейсбук забанили, поэтому теперь ты всю эту хрень на меня скидываешь!

Будь проклят Роскомнадзор — столько семей могли бы сохраниться, если бы у людей не отняли возможность поумничать и сбросить свой пар.

— Ты придурок, идиот, я тебя ненавижу, я вас всех ненавижу, вы только всем гадите... — Зара кричала так, что прохожие невольно оборачивались, а стаи голубей так и замерли у лужи, боясь вспорхнуть.

Но даже в тот момент я не ушёл.

— Я тебя люблю, я не хочу слушать про Путина, про Армению, про Украину, я вообще не хочу обо всём этом думать....

Я ещё раз сказал, что люблю её и что счастлив с ней, как ни с кем, я попытался её обнять, я даже крепко сжал её, шептал ей все нежные слова, что тогда приходили на ум...

Но нежность внутри меня не побеждала мою же злость.

Когда Зара вырвалась и побежала вниз по Театралке, я не кинулся её догонять. За ней полетели только голуби, и те вскоре вернулись к своим лужам.

Уже издалека, будто бы из другого города, она крикнула:

— Ну, и пошёл ты, пошёл ты, понял! Проснись уже, ты!

Мы познакомились на моей работе — Зара пришла давать рекламу своего салона, мне очень быстро захотелось ей позвонить. Через два часа мы уже гуляли по узким калужским улицам, не замечая ни пыли, ни грязи, ни ветхости, ни безвкусицы.

Для влюблённого человека не бывает плохих городов.

На выходных я позвал Зару в небо. Полетать на воздушном шаре. Она быстро согласилась, сказала: “Я об этом так давно мечтала”.

Ветер быстро расправился с её заколками и теперь то поднимал всю копну её тёмных волос, будто пытался проверить, просматривается ли сквозь них солнце, то безуспешно плёл косу, как любящий, но ничего не умеющий отец, то наоборот — пригвождал всю её взъерошенную роскошь к лицу, к шее, к полуоткрытой груди. Ветер играл за меня — он будил мои фантазии и провоцировал сдвигать волосы с её загорелой кожи. Ей это нравилось. И, кажется, тоже будило те чувства, волнения и страсти, которые девушки обычно стараются заболтать.

— Ты очень хороший, — сказала она и взяла меня за шею. Я почувствовал шёлк её ладоней. — Я давно хочу полюбить, и я сразу поняла, что ты мой.

Потом мы целовались. Потом говорили снова. Осыпали друг друга обещаниями. Она была, как маленькая девочка, которая давно не видела своего взрослого брата и боялась, что он снова надолго от неё уедет.

— Я дура, да? Разоткровенничалась тут!

Я хотел что-то ответить, но на ум шло только бесполезное и пустое. К счастью, Зара не дала мне ничего сказать.

— А хорошо, что мы поговорили в небе. Тут, наверху. На земле правды нет. На земле нельзя в любви признаваться. — И она засмеялась, она боялась, что я её не пойму.

Но я понял и влюбился в неё ещё больше.

Под нами медленно сползал к узкой полоске Оки небольшой город. Дома и дороги, скверы и церквушки, машинки и человечки. И это их тяготение к реке — единственное, что придавало Калуге стройности. Потому что, если смотреть не сквозь нежную пелену, то высокий холм, на котором стоит город, можно принять за плешивую голову непугёвого старика-великана, склонившегося над рекой, чтобы попить воды.

От театра я на работу не пошёл, домой тоже не хотелось. Пошёл куда глаза глядят. К телевизионной башне. Недавно её разукрасили подсветкой и частенько зажигали даже днём. Разноцветные линии, полоски, крути, капли носились по железной махине с бешеной скоростью, сводя с ума местное вороньё.

Я шёл и ловил себя на странной мысли, что единственный выход сейчас для меня — стать птицей. Летать над городом. Не думать о войне. Не думать о людях. Не думать о том, что человеку никогда не понять другого человека. А попытки понять так же глупы, как попытки подсчитать световые кубики, что сейчас падают с верхушки башни к её подножью.

За башней начиналось старинное кладбище, это там жило вороньё. Я вспомнил, что был однажды на кладбище с отцом. И я повернул туда.

У входа встречала тёмно-жёлтая церквушка. За ней косыми рядами шли могилы. Некоторым было по сто с лишним лет. Из сырой весенней земли дряблые серые плиты выглядывали, как призраки. И не отпускали тебя, цеплялись ятями и вязью, они приглашали примоститься где-нибудь на сгнившей скамеечке, поговорить с ними о том о сём.

Я присел на одну из обновлённых лавочек, долго всматривался в нелепую яркость искусственных цветов, вдыхал сырость земли, влушивался в похожий на хохот или молитву крик воронья и пытался поймать мысль, что крутилась у меня где-то внутри, щекотала под лопатками, жгла в груди, подкатывала жёлчью к горлу. Пытался поймать, сформулировать, выговорить. Но не мог.

В стороне за свежескрашенной оградкой убиралась женщина в красном плаще. Она что-то напевала, что-то говорила. И ей так давалось легко это — говорить с умершими.

Мне же, кажется, нечего было им сказать. Мне даже живым нечего было сказать. Даже Заре.

Женщина вышла из оградки, подошла ко мне, протянула круглую жёлтую конфетку. “Помяни, сынок”, — сказала она. И улыбнулась.

Не знаю, сколько я просидел на кладбище, но вечерний сырой туман уже накрывал своим рваным одеялом вороньё и души умерших. Где-то за туманом светилась бледно-голубым телебашня. Пришёл к могилам и ветер. Стало совсем неудобно, но и домой идти не хотелось. Всё ещё то, что жгло изнутри, не могло облечься в слова. Или это слова и жгли, просились наружу?

Я достал телефон, набрал сообщение в “телеге”: “Ты всё это серьёзно? Насчёт уехать?” Через минуту пришёл ответ: “Ты где?” Ещё через минуту: “Я всё решила. Ты со мной?”

Экспресс до Москвы шёл два с половиной часа. Я порывался задать тысячи вопросов. Я их повторял Заре всё утро и весь вчерашний день. Но сейчас я молчал.

Когда рушится мир, надо молчать.

Экспресс из Калуги приходит на Киевский вокзал, пятнадцать минут нервных скитаний под шуховским дебаркадером, и вот мы снова мчим, молчим, сидим в телефонах и боимся посмотреть даже в окно — в нём отражаются наши глаза.

Аэропорт. Диктор объявляет, что рейс на Ереван задерживается на час. Зара сдаёт свой багаж, но в зону вылета не уходит. Мы сидим на железных стульях, пытаемся говорить.

— Ты приедешь ко мне? Когда ты приедешь?

— Я не знаю, у меня работа, у меня сын, ты же знаешь.

— Приезжай с сыном. Здесь же все умрут.

— Перестань. Никто не умрёт.

— Ты не голодай. Ты хоть что-то ешь.

— Зачем, если мы все умрём?

— Я люблю тебя, ты же мой, мой, понимаешь? — Она осторожно, как в первый раз, целует меня. И снова напяливает свой колпак. — Мне страшно за тебя.

Капюшон дрожит, и колени плотно жмутся друг к другу.

Рейс снова задерживается. По панорамным окнам аэропорта хлещет дождь. В частых каплях отражаются голубые буквы табло и вывески кафешек.

Моё сердцебиение подсказывает, что надо её обнять, успокоить, но я без сил.

— Будешь чай? — Когда идёт дождь, Зара пьёт чай. — Попрошу, чтобы сделали с чабрецом.

Она кивает.

Я знаю, что, когда вернусь, Зары в зале ожидания уже не будет.

МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ

На панели загорается “48”. Стеклопакеты бесшумно разъезжаются. Я вижу её. Она бежит ко мне по длинному коридору и очаровательно улыбается. Как в том кино.

— Привет, Макс, быстро меня нашёл? — она, наконец, добегает до меня и протягивает руку.

— Ну вот, это бизнес-центр, мой офис на том конце, на самом деле можно было бы доехать на другом лифте, но я подумала — так ты больше будешь меня искать, — говорит быстро, но чётко, интонация такая, будто она хочет продать мне квартиру.

Её зовут Надя, она была звездой перестроечного кино. В девяностые эмигрировала в США, теперь она продаёт недвижимость на Манхэттене.

Мы идём по длинному коридору параллельно панорамному окну — за ним, над крышами краснокирпичных зданий, летит голубой поезд.

— “Голубой вагон бежит, качается”, — вспоминаю я вслух, но на самом деле — дико волнуюсь и не знаю, с чего начать.

Я приехал в Америку уговорить Надю сняться в моей программе. О забытых звёздах нашего кино.

Надя дружелюбно смеётся:

— Ой, тут много волшебного всего, а у меня в кабинете даже есть свой Чебурашка, один клиент подарил, американец.

Чебурашка пылится на подоконнике просторного, заваленного бумажным хламом кабинета.

— Почему нынче земля на Манхэттене?

— Ой, смотря, где и зачем, тут всё сложно, но если захочешь купить — своим скидка! Я пока сделаю кофе.

Надя скрывается за стеклянной перегородкой, суетится у кофе-машины. Тут я впервые позволяю себе рассмотреть её. Она в узком чёрном платье, грудь обтянута, как у выпускницы, маленький живот и вполне девичьи бедра. Тонкие чёрные колготки и аккуратные тёмные же туфельки. Ей хорошо за сорок, но я ловлю себя на мысли, что возраст лишь придаёт женщине эротичности.

Мне около двадцати, я работаю на одном из центральных каналов. Надю в героиню программы я предложил продюсерам сам. Если честно — очень хотелось побывать в Америке. И вот я здесь. А Надя, красотка из кино, варит мне кофе.

— У меня журналисты были только недавно, — кричит она мне из-за перегородки, — израильский какой-то канал, но русскоговорящий. Я им отказала, я давно не снимаюсь, всё это там осталось, в прошлой жизни. — Аппарат свистит, фыркает, я слышу, как в кружку льётся вода.

— Но это же Израиль, — кричу я, не догадываясь подойти ближе, на самом деле мне страшно — её девичья попка так волнующе качается за бликами офисного стекла, — а мы-то свои, и столько зрителей хотят узнать, что стало с той самой Надей.

Она выглядывает из кухни с кружкой кофе в руках. Она улыбается ещё шире, чем минуту назад.

— Вот-вот, и Израиль меня так же убалтывал. Столько, говорит, эмигрантов вас помнят, вы даже не представляете. Но почему же я не представляю! Ещё бы не помнить, — и Надя звонко хохочет.

Мне было лет двенадцать, я впервые тогда оказался в квартире своего родного отца. Он куда-то ушёл, разрешив мне побаловаться видеком. Я по очереди втыкал в него всю библиотеку кассет. Мне не важно было кино,

завораживал сам процесс. И это волшебное действо — когда ты можешь управлять картинкой в телевизоре, хоть отматывай, хоть останавливай, хоть совсем выключи, — кажется, сделало мою жизнь. Я сам стал картинкой.

На одной из кассет не было обложки. Это не остановило меня, я вогнал её в видик. На экране девушка в одних трусах рассказывала по белой комнате и что-то напевала. Её упругая грудь смотрела на меня — я вам кланусь, смотрела на меня и даже колдовала надо мной, — я не мог от нее оторваться, я даже пошевелиться не мог. До этого момента я выписывал фотки полуголых женщин в старых советских журналах и, кстати, — спасибо соиздату! — находил; а тут прямо в кино, и только для меня! Я, кажется, тут же влюбился в эту грудь. Но раздался звонок — за экраном — девушка открыла дверь, и на пороге нарисовался мой соперник. И ему до неё было ближе. То, что происходило дальше, я посмотрел только недавно, когда готовился к интервью. Я вообще пересмотрел почти все её фильмы, в том числе те, что сделали Надю знаменитостью на закате СССР. В те годы она ещё снималась у великих режиссёров.

— Надежда, я вам должен сказать сразу: я здесь только ради вас, и без интервью с вами меня в Москву не пустят, надо будет просить убежища, — шучу я, но с такой интонацией, чтобы Надя поняла, что ей от меня никуда не деться, — и тогда, извините, мне придётся на вас жениться.

— О, я там была три раза, спасибо, больше не хочу, — и она снова смеётся, так по-молодому смеётся, будто и не было у неё всей этой тяжёлой жизни — с порно, эмиграцией, замужествами, борьбой за детей, которых у неё отсудили местные воротилы.

— Тогда выход один — стать моей героиней, — предлагаю ей спасение от меня же.

— Так, давай вот что сделаем! — Надя тоже умеет играть интонациями и сейчас включает режим бизнес-леди, — ты иди пока погуляй по городу или отдохни в отеле, а часа через три встретимся на площади у суда, тут недалеко, и обо всём поговорим.

— Сразу с оператором?

— Нет, нет, это дело серьёзное, я не снималась столько лет, мама дорогая, сначала вдвоём всё обговорим, а там посмотрим. — И она снова улыбается, солнечный зайчик подсвечивает её помаду.

Через три часа мы встречаемся на площади. Она в лёгком плаще и кажется мне ещё моложе. Теперь её чёрные волосы не собраны в косичку, ими вовсю забавляется ветер. Тот же ветер, что до появления Нади накатывал на меня горы нью-йоркской пыли.

— Свернём в парк, — предлагает Надя.

Через минуту мы уже гуляем по зелёному ухоженному скверу, взятому на века в плен ясенем и клёном. На втором рубеже обороны пленный парк окружают еле просматриваемые сквозь листву бетонные офисы. Все эти машины обороняют парк от солнца, оно в Нью-Йорке, как нелегал-эмигрант, осторожно выглядывает то из-за крыш, то из переулка, заставленного невысокими домами, то из арки, то из живота моста, то скользит по рельсам, то испуганно смотрит в стёкла, то ныряет в фонтан и тут же скрывается за поворотом.

Солнце в Америке всегда на правах чужака и всегда ходит по краю. Это бросается в глаза сразу, едва ты сходишь с трапа самолёта.

— Как вам здесь, привыкли? — спрашиваю Надю, подавив свои солнечные размышления.

— Здесь хорошо!

— Здесь же даже солнцу неловко!

— А ты любишь солнце? Откуда ты? Ведь не москвич, я слышу поговору.

— Да, я с Урала. Актрису не обманешь!

— На Урале разве солнца больше?

— Оно там как-то не прячется, чувствует себя свободнее.

— Ты просто не в то время приехал, — почти шепчет она, и так спокойно становится вдруг от её слов, от её голоса.

— Значит, вам хорошо здесь?

— Я счастлива, что я здесь! — всё с таким же нежным спокойствием отвечает Надя. — У меня есть любимая работа, машина, домик, у меня есть друзья, я могу поехать, куда я хочу и когда хочу...

— А по Родине не скучаете? Я помню, когда переехал в Москву, два года по Уралу тосковал, а тут вы в тысячах километров.

— Ну, вот два года тосковал, а потом привык? А я уже здесь двадцать лет почти. Я дома. И кстати, в этом доме я пока совсем одна. — И Надя улыбается мне снова, но совсем по-другому. Внутри у меня всё дрожит, как будто под нами проносится поезд метро.

— Ох, ты бы знал, как я ненавижу сниматься! — Надя громко и эмоционально меняет тему. — Это же вставать в пять утра, мыть голову, идти на укладку, макияж...

— Камера вас и так любит, вы же знаете, — вворачиваю я рабочую фразу любого телевизионщика.

— Думаешь, я ещё хороша для своих лет? — И зачем она это спрашивает? Я трясусь, как на первом свидании.

— Богиня, говорю же вам, — отвечаю я, скорее, на автомате ещё одной заготовкой — бывшие актрисы всегда задают одни и те же вопросы.

— У меня есть для тебя сюрприз, — и снова эта улыбка. — Пойдём.

Мы заходим в кофейню с названием “Санкт-Петербург”.

— Двести лет не была в Питере, а здесь так романтично, — Надя поворачивается ко мне спиной, я принимаю пальто, не упустив возможности ещё раз скользнуть глазами по её фигуре.

Надю здесь знают, нам улыбаются, официантка — афроамериканка — лезет к ней обниматься, потом провожает нас до столика и подаёт меню.

— А давай, Макс, напьемся! Мне тут за Россию даже выпить не с кем, все работают с утра до вечера! — Решение выпить, похоже, было принято давно, и ответа от меня никто не ждёт. Дальше Надя рассказывает мне, что мы пьем и чем будем закусывать. Она говорит о коктейлях, как о старых любовниках.

И снова резкий переход на деловой серьёзный тон.

— Так, Максим, о чём ты собираешься меня спрашивать?

Мы довольно быстро напиваемся. Надя предлагает погулять по русским кварталам. Солнце уже окончательно проиграло битву и укатилось к другим берегам, остался только ветер, он носится вслед за машинами, велосипедистами, самокатчиками и то и дело врывается в пешеходов. Временами он так увлечается, что всей мощью хлещет по лицам, — вероятно, ветер уже тоже набрался в одном из Нью-Йоркских баров.

— Ты такой хороший, такой молодой, — ласкает Надя моё самолюбие. — Не могу поверить, что ты прилетел сюда из-за старой артистки. Кому я нужна?

Надя уверенно флиртует, вопрос только в том — игра это или её настоящее? Как разобраться, она ведь актриса...

Мы идём по широкой улице, залитой ночным светом, идём параллельно красно-белой реке автомобильных фар, Надя держит меня под руку, она всё о чём-то вспоминает, что-то говорит, её голос обволакивает всю эту нескончаемую улицу, весь город, всю планету.

— А вот здесь снималась сцена из фильма “Осень в Нью-Йорке”, и я тогда уже была в Америке, сама видела, как они снимают. Как же они, заразы, снимают! Всё чётко, выверено и нет этого режиссёрского диктата, когда я тут главный и, хоть режьте, будет так. Здесь всё свободно, даже на съёмочной площадке.

— Вы снимались в местных фильмах?

— А ты думал, на что я открыла свою компанию? Четыре роли и всё, прощай, кино.

— И не скучаете?

— Да ну, это же не мужик, это всего лишь кино... Да я и по мужикам, если честно, не скучаю. Вообще ни по ком не тоскую и ничего не чувствую.

Мы огибаем высокое круглое здание, сворачиваем с широкой улицы на бульвар, он прокалывает небольшую площадь. На ней толпа, мы подходим ближе и видим, что люди на площади держат какие-то плакаты, все что-то кричат или поют, но шум машин заглушает голоса, люди смотрятся рыбами в большом аквариуме с подсветкой.

— Давай не будем подходить, обойдём, тут сутками протестуют, — просит Надя.

— У нас тоже нынче это в моде, день и ночь — на бульварах.

— Дураки! — неожиданно кричит она. — Что эти дураки, что те — в России. Людишки никогда не сокрушат империю. И никогда империя не пойдёт на уступки людям. Мы в Советском Союзе это понимали. Потому всё было ок. — Надя краснеет, будто сейчас говорит о чём-то личном.

— А кому под силу... Ну, сокрушить?

Она останавливается, смотрит на меня, как бы оценивая, можно ли мне доверять.

— Ну, кому, кому, ясно — кому. — Надя поднимает глаза куда-то за крыши многоэтажек. И прибавляет шаг. Но вскоре опять встаёт как вкопанная. И снова смотрит на меня, как на резидента КГБ.

Из кармана плаща достаёт маленькую бутылку виски.

— Макс, я хочу выпить за тебя. И за всех молодых! — Её улыбка в эту секунду способна остановить всю улицу, по крайней мере, всех ньюйоркцев мужского пола. Моё дыхание она останавливает точно.

— Вам жить в этих городах, вам любить, вам сходить с ума, вам пить и вам нежиться под этими вот фонарями, вам... — Она смотрит в сторону площади с протестующими. — Хрен с ним, пусть вам даже борются, пусть вам даже воевать... И вам помнить о родителях. Вам помнить о родителях, — повторяет она медленно и делает несколько тяжёлых глотков.

Мы проходим ещё одну улицу.

— Как тебе город, Макс?

— Я хотел давно здесь побывать, думал — вау, а это город, обычный город, со своей атмосферой, но не другой космос.

— Когда я приехала, это был космос, это был Марс, теперь да, всё сравнялось: что Москва, что Рим, что Нью-Йорк — везде одно и то же всё, и люди везде одни, все будто в песке.

— Кин-дза-дза?

— Ку! — вспоминает она и хохочет! — Ты классный, Макс. Жаль, что я такая старая... — Надя берёт мою руку и крепко сжимает.

— Так я не понял: вам тут нравится или всё-таки нет?

— Нравится? Нравится ли? — Надя будто первый раз слышит это слово, повторяет его медленно и тихо, пробуя каждую букву, и наконец, вспоминает. — Ты знаешь, здесь проще, легче, но не лучше. Как-то так.

Я только сейчас начинаю понимать смысл той формулы, услышанной от Нади на Манхэттене: проще — не лучше. А тогда же я, кажется, завис, как светофор над авеню.

— Ну, чё ты загрузился-то? Дай Бог тебе этого никогда не понять — это наши эмигрантские тараканы. — И ещё через несколько шагов: — Говорю тебе, не заморачивайся, это я пытаюсь казаться умнее, чтобы тебе понравиться, — мы опять останавливаемся, и я чувствую, как она смотрит на меня. Город выключается, пропадают звуки, уходят в расфокус фонари, фары, окна, блики, ударяет в жар, земля дрожит — и это опять не поезда в нью-йоркской подземке.

Клянусь, если бы она в тот миг поцеловала меня, я бы ответил тем же. Просто бы повернулся к ней и зацеловал, как в плохом постсоветском кино. Но она вдруг засмеялась и уж совсем не по сценарию спросила:

— Давай я тебе лучше расскажу, как стала порнозвездой. Давай? Я никому не рассказывала, это же эксклюзив, тебе же он нужен, ну, скажи честно? Или рассказать, как меня бил второй муж? А может, ты просто меня пожалеешь?

И я поворачиваюсь.

Она тут же замолкает. Гудят машины, и ветер, как неистовый священник, окропляет нас пылью.

— О, Господи! — смеётся она громче прежнего. — Ты что? Ты боишься? Какой же ты маленький, я же тебе в матери гождусь!

Страх и волнение будят мою трезвость, и чем больше нью-йоркский воздух прочищает мою голову, тем больше мне становится стыдно. Неужели я хотел её? Ну, ладно, я хотел её сейчас, когда мы напились, но тогда, в офисе, откуда вдруг это во мне проснулось?

Мы долго идём молча, она по-прежнему держит меня за руку.

— Моему сыну — как тебе, — прерывает она паузу, когда мы проходим какую-то протестантскую церковь. На её ступеньках афроамериканские подростки что-то нервно покуривают, — и я с ним никогда не поговорю порусски, представляешь? Я его даже не вижу, он живёт с отцом. — Надя достаёт очередную порцию виски, но не пьёт, крутит пальцами бутылку и предлагает мне. Я качаю головой.

— Ну, вышей, вышей за маму, за папу.

Когда женщина кормит мужчину “ложечкой каши”, отказать ей невозможно. Виски заливает последние попытки совести вызвать меня на серьёзный разговор. Пока я пью, она грустно и внимательно смотрит на меня. Я догадываюсь, что поминаю сейчас её материнское чувство.

— Ладно, Макс, мне пора. — Я в очередной раз убеждаюсь, что Надя не из тех женщин, кто любит плавные переходы. В конце концов, она не обязана выгуливать меня по Нью-Йорку до утра и быть со мной откровенной до самой Таймс-сквер.

Надя уезжает на такси, пообещав завтра прийти на интервью “в абсолютной форме”. А я остаюсь один на один с холодным светом Манхэттена. Откуда-то из космоса, из той узкой дыры, к которой тянутся небоскрёбы, до меня долетают тёплые и нежные воспоминания детства — Урал, мне четыре, мы гуляем с мамой по парку, одной рукой я держусь за её руку, в другой осторожно несу шар сладкой ваты...

Мы сняли историю про Надю и в тот же вечер улетели в Москву. Я мечтал скорее приступить к монтажу сюжета и уже точно решил: он будет последним, четвёртым в часовой программе.

Я старался. Как я старался, чтобы сюжет получился смотрибельным, чтобы одна перипетия накрывала другую, чтобы эмоции перехлёстывали откровения, чтобы, в конце концов, зрители увидели в Наде не ту самую порнозвезду, а сильную и счастливую русскую, способную продать и перепродать весь Манхэттен!

Одна из сцен была про сына. Тяжёлый эпизод. В нём всё время чего-то не хватало, в истории царил то недосказанность, то редактор говорил: “Ну, это слишком, давайте полегче”. Наконец, я попросил монтажёра перебить драму о сыне планом, снятым во время нашей прогулки по Центральному парку — мальчик ест сахарную вату, мальчик просто ест её.

— За фига это тут? — не понял монтажёр.

— Просто поставь.

Мальчик с ватой сделал своё дело. Такие образы превращают мыльные оперы в настоящее кино.

В общем, я гордился тем, как получилась эта история. И редактор согласился, что она должна завершать передачу — самое сладкое под конец.

Мы смонтировали, отправили на канал, и в субботу вечером я сел у телевизора ждать свою программу в эфире. Обычно я не смотрел наш “контент” по телевизору — да и ни один нормальный телевизионщик не смотрит. Но всегда бывают исключения. На телевидении они даже приравнены к привычке.

Помню как сейчас, за окном шёл дождь, но форточку я не закрывал, оставив тюль мокнуть. Первые три блока прошли, началась реклама. Потом должна была начаться история про Надю.

Тюль продолжает мокнуть, дождь скатывается с подоконника на пол. Я сижу и волнуюсь — хотя, казалось бы, чего волноваться, это не прямой

эфир, и я лично всё перепроверил перед тем, как файл программы был отправлен на выпуск.

Но вот реклама заканчивается, сердце стучит, дождь хлещет по подоконнику. И тут начинаются финальные титры моей программы. Без истории про Надю, без моего мальчика со сладкой ватой. Просто идёт барабан — белые буквы на черной рябе.

Я тут же звоню шеф-редактору.

— Ты это видел? — кричу я в трубку. — Что за хрень?

— Старик, давай встретимся на работе. Прямо сейчас.

До Останкино я ехал минут сорок, за это время уже и дождь прошёл. Шеф сидел в кабинете не один, там же пил кофе редактор выпуска.

— Старик, тут такое дело, — начали они, переглядываясь, — в общем, у нас ввели стоп-листы, ну, ты знаешь. И вот новые правила пришли буквально перед эфиром. Теперь нельзя показывать эмигрантов, которые чувствуют себя хорошо. А твоя говорила, что счастлива там. В общем, они решили всю её историю убрать.

Шеф говорил об этом так спокойно, так обыденно, будто бы мы сделали незаметную ошибку в титрах.

— То есть это цензура? — переспросил я.

— Это стоп-листы и дяденьки в костюмах на выпуске, ты же знаешь.

Ещё шеф спросил:

— А ты чё так приуныл, подумаешь, прогу порезали, первый раз, что ли?

Весь кофе в автомате у закрытого бара я выпил за час, потом слонялся по долгим полутёмным коридорам воскресного телецентра, курил между этажами. Я искал силы выйти на улицу. Мне казалось, что улица уже не примет меня, выплюнет, мне даже казалось, что и улицы стали другими. С каким-то красным оттенком, что ли.

И всё-таки я вышел из телецентра. Всё было как обычно. Плыли машины, монорельсы и церковь отражались в Останкинском пруду, солнце робко выглядывало из-за башни. Кажется, ему было за что-то стыдно.

ПУШКИН, ПРОЩАЙ!

В тот вечер я утопил Пушкина.

Потом я долго себя винил, что именно поэтому всё рухнуло. Теперь-то я понимаю, что это лишь совпадение. Но в раннем детстве мы ещё ничего не знаем о вышивках судьбы.

Мы с бабушкой вышли из яслей, когда на улице уже стемнело. Я был укутан в махровый платок и в клетчатое одеяло, для меня ещё предназначались санки, но от них я почему-то отказался, хотя до сих пор помню, как стылый воздух сбивал моё дыхание.

Бабушка, конечно, рассердилась. Она вела меня, везла санки, вязла со всей этой ношей в снежной трухе.

Каждый раз после яслей мы заходили с бабушкой в книжный, он был примерно на середине пути до нашего дома. Зимой там можно было ещё хорошо отогреться. Большой зал с огромными деревянными стеллажами за широкими витринами — в них, под стеклом, обычно выставлялись детские новинки. Мне нравилось рассматривать цветные обложки, потом я просил продавцов достать книжки из плена, я открывал их, водил пальцем по рисункам и подолгу вдыхал запах типографской краски.

Покупали книги мы не всегда. Но в тот вечер счастье было на моей стороне — кассиру, что пряталась за стеклянным саркофагом в углу зала, я поддал “Сказку о рыбаке и рыбке”. Маленькое издание с яркими картинками.

— Ну, будем читать тебе сегодня в ванной! — пообещала бабушка. Она всегда читала мне.

Жили мы в панельной пятиэтажке на улице Черноморской. Затерянная в снегах улица из двух наших домин и старых барачков.

Едва мы заходили домой, бабушка сразу же ставила на газ гигантские кастрюли с водой — минут через двадцать они выливались в ванну. Уже не помню, как бабушка объясняла, зачем нужно было греть воду, если она шла из крана. Скорее всего, я и не спрашивал. Теперь мне очевидно — так разогревалось чугунное дно, чтобы, пока ванна наполнялась, мне было не холодно в ней сидеть.

Стены ванной были выкрашены в голубой свет, потолок побелен. Помимо сантехники, в этой комнатке два на два метра ещё помещались стиральная машина и стул.

В ванной я мог сидеть часами. И каждый раз за этим блаженством — среди пара и шума льющейся воды — бабушка читала. Каждый раз. Читала много и с удовольствием. Она даже как-то преображалась, когда брала в руку книжку, — с волос исчезала седина; голос, обычно волевой и строгий, становился мягким, как её шаль, и таким чутким к прочитанным словам, что я, половину из них даже не понимавший, влюблялся в них, грелся о них и нежился; а из глаз пропадала вся её грустная судьба, о которой бабушка тоже рассказывала мне, но перед сном.

Зоя пошла работать в двенадцать лет, потому что началась война и надо было кормить мать и сестёр, их было чуть ли не десять. Отец, он служил в уголовном розыске, пропал без вести в 43-м. Семья пережила нищету и голод. Всех девочек рано выдали замуж. Первый брак бабушки оказался неудачным. Второй — ещё хуже. Приходилось вкалывать и растить дочь самой. Всегда — на мужских работах. В тресте, на овощебазе, где нередко вместо пьяных грузчиков таскала ящики. Так и надорвалась. Бабушке было, о чём рассказать внуку, которому сотрудники роддома в первые же минуты его жизни предрекли: любопытным будет.

В тот вечер бабушка раскрыла мою новую книжку.

*“Жил старик со своей старухой
У самого синего моря”.*

Сколько раз я потом просил бабушку прочитать эту сказку, сколько раз она потом рассказывала её наизусть. Всегда я чувствовал одно: будто кто-то подхватывал меня и поднимал над морем, откуда я жалел старика, — и это, пожалуй, были мои первые уроки человеколюбия — и отсюда же ненавидел старуху. Пушкин разделил мой мир на добрых и жалких. И лишь когда в дело вступала Рыбка, я окунался вместе с ней в синее море, ласкающее меня своей грудью и успокаивающее, и убаюкивающее.

В первый раз я на море приехал спустя лишь лет двадцать после пушкинских чтений в ванной, но море я узнал, я его таким себе и запомнил.

Бабушка часто плакала, когда читала сказку. Я думал — от жалости к старику, поэтому даже не спрашивал. Но теперь-то я вырос, и я знаю, что жалела она что-то совсем другое.

Почему книжка в тот вечер оказалась в моих руках? Этого я не помню. Но раз этот момент зафиксировался в памяти, значит, это было нечто необыкновенное — мне доверили в ванне подержать “картинки”! Именно с той минуты я запомнил и старика в белой подвязанной рубашке. И Золотую Рыбку-волшебницу. И ветхую землянку. И море. А старуху — нет, на неё мне глядеть совсем не хотелось.

Следующий кадр моих воспоминаний уже трагичный. Пушкин тонет в горячей воде.

Как? Почему? Да и какая разница! Не в ответах смысл...

Я, кажется, сразу почувствовал, что случилось непоправимое. И, как все дети в таких ситуациях, начал рыдать.

Как я рыдал! Мне стало обидно и за себя, и за бабушку, и за старика, и за самого Пушкина. И конечно, я был уверен тогда, что не обошлось здесь без козней старухи, а значит, что-то плохое, то, что против добра, всё-таки проникло из сказки в нашу жизнь.

И попробуй его теперь отсюда выгони.

Мне казалось, что я, мальчик в далёком уральском городе, сижу в ванной, как в разбитом корыте, и что изменить это уже нельзя.

Тот момент, когда ребёнок понимает, что зло есть не только в сказках, случается первая в его жизни катастрофа. Мир рушится. И, пожалуй, дальше человек живёт только для того, чтобы захлопнуть зло обратно в книжку.

Я рыдал и никак не хотел успокаиваться. Бабушка вытащила из ванной сказку, стряхнула со страниц воду, побежала в зал, она говорила: “Ничего, ничего, высохнет, ну-ка не реви, а то зальёшь соседей, у меня нет денег платить за ремонт”. Она говорила что-то ещё, потом вдруг сказала, что Пушкин на меня не обидится. И тут я зарыдал пуще прежнего. Ведь если до этого мне было страшно и обидно, то теперь я почувствовал, как на меня обижается Пушкин. Как же он мог простить меня за то, что я сделал!

Бабушка завернула меня в полотенце, прижала к себе, она шептала мне нежности, гладила по голове, она повторяла: “Маковка, высохнет твоя книжка, вон на батарее она лежит, пойдём посмотрим”.

Потом бабушка одела меня — двое штанов, две кофты — и отнесла на кухню. “Вот и всё, не печалься, ступай себе с Богом”, — пошутила бабушка, и именно тогда, точно помню и это, я впервые сообразил, что тот мужчина, который стоит на кухонном шкафу, и есть Бог.

Я, конечно, попросил бабушку рассказать мне о Боге. Но она лишь снова прижала меня к себе, поцеловала в макушку и начала свой ритуал, без которого не обходился ни один будний вечер.

Бабушка снова брала две гигантские кастрюли, литров по тридцать, наполняла их, бросала в них мою детсадовскую одежду: в одной тонули рубашка и майка, в другой — всё остальное. Когда вода поднималась где-то наполовину, бабушка перетаскивала кастрюли на газ.

Вода в столь огромных сосудах закипала не быстро, мы с бабушкой успевали попить чаю, но когда крышки начинали подпрыгивать, уже было не до отдыха: бабуля вооружалась деревянной рейкой. С её помощью она снимала крышки, а затем перемешивала трусы, носки, колготки, штаны. В другой кастрюле в это время раздувались рубашки — клетчатые и в полоску, с маленькими львами и просто одноцветные.

Пар шёл по всей кухне, полированный шкаф и окрашенные в голубой цвет стены покрывались испариной, потели окна, стекло на старинной иконе заволакивалось белой дымкой.

А запах! Запах кипящей одежды! Кому довелось его узнать, тому легче возвращаться в детство. Ты закрываешь глаза и влетаешь в кухню с кипящей водой, как в тёпкое озеро, как в объятия мамы или бабушки, как в стог душистой травы. Нос твой щиплет и становится душно, но ты знаешь: это скоро пройдёт. Бабушка откроет форточку, на минуту подует свежий ветер, а потом останется лишь запах подмокшей извёстки — тоже знакомый тебе до слёз. Так пахнет чёртовое печенье, когда погружаешь его в кипяток.

Одежда “варилась” минут двадцать-тридцать. “Чтобы все микробы убить”, — говорили серьёзная бабушка. Потом она доставала огромный таз, ставила его на стол рядом с газом и с помощью ещё одного изобретения — деревянных щупальцев — доставала прокипячённую одежду. Причём сначала всегда извлекалось бельё, шорты, штаны... Все это уносилось в ванну и там прополаскивалось.

Минут через пятнадцать рубашки возвращались на кухню; бабушка развешивала их над газом. Сушиться. Я любил смотреть, как они надуваются и дышат; иногда казалось, что ещё чуть-чуть, и они полетят. Если бы так случилось, я бы прыгнул на стол, с него на подоконник, открыл бы окно и проводил бы свою рубашку — жёлтую или полосатую — в свободный полёт...

Я тогда не знал, что рубашки не летают.

После стирки мы садились ужинать. Иногда я отказывался от еды, откасался и в тот вечер. Будем честны — вы бы тоже отказались от макарон, если бы вас ждала банка персикового сока с мятными пряниками. Это был мой вечерний десерт. Сегодня я вспоминаю церемонию его поедания и не могу отличить сказку от яви. Сладкое я ел в большой комнате — прямо на ковре, а чтобы я не замёрз, бабушка стелила на ковер свою старую шубу из

какого-то искусственного тёмного меха. На шубу ставилась банка, из банки торчала трубочка, а рядом в мешке поблескивали ароматные пряники. На них падал свет от высокого торшера с пластиковыми висюльками.

Свет от торшера падал и на первые секции чугунной батареи, как раз на них сейчас просыхал Пушкин, я смотрел на книжку с чувством вины, но не с таким, надо признаться, чтобы кусок в горло не лез.

Пока я поедал пряники, бабушка на кухне молилась. Навсегда запомнил почему-то, что в тот день она пошла молиться вечером, обычно она делала это по утрам. На коленях, с зажжённой у образов свечкой, как полагается.

— Сегодня праздник был Спиридона Тримифунтского, а я утром не успела даже молитву прочитать, — сказала бабушка. Я тогда, конечно, второе слово в имени святого выговорить не мог, но Спиридона уже знал — в доме, помимо Спаса, было всего три иконы: Николая Чудотворца, Спиридона и мученицы Зои. Бабушка часто рассказывала мне об этих святых.

Бабуля была из тех советских верующих, что после молитвы сразу садились гадать на картах. По кухонному столу скользили короли, валеты, дамы, тузы... Наблюдать за магией мне не позволялось, и это была ещё одна причина моего переезда с кухни на шубу.

Когда я наедался, бабушка прятала карты в колонку, и мы шли расправлять постель. В тот вечер торопились — время уже почти девять, а ещё даже не чистил зубы. Но мы успели.

В 21:00 час по уральскому времени началась программа “Время”, диван, на котором я спал, стоял недалеко от телевизора, я помню, бабушка, суетившаяся возле меня, как-то быстро села перед экраном. Да так там и осталась — сидела неподвижно, забыв даже обо мне.

Тот вечер стал единственным, когда она меня не поцеловала и не пожелала доброй ночи.

Торшер был выключен, но чёрно-белый “Рекорд” справлялся с освещением — мне с подушки по-прежнему был хорошо виден Пушкин, он лежал в тени между подоконником и батареей, от горячего воздуха книжка разбухла и дышала, будто кто-то невидимый дул между страниц.

Или это Рыбка выпрыгнула из моря?

Время от времени верхние страницы шуршали, резко открывались до самого подоконника и тихо возвращались на место — так всхлипывают взрослые.

Пушкин плакал. Пушкин плакал на моей батарее. Но что я мог с этим сделать? От обиды и бессилия я нырнул под одеяло.

Так и уснул.

ИГОРЬ ТЕРЕХОВ



ВАНЯ, РУССКИЙ СОЛДАТ

РАССКАЗ

Сначала позвонила Мила, сказала, что пацанов выписывают из госпиталя. Надо шесть комплектов зимней формы. Они попали в госпиталь в начале лета, в самый разгар боёв. Их подлатали и сейчас выписывают. А на них только тапочки и больничные халаты. На улице, как ты знаешь, дубняк. Солдатское обмундирование им не полагается: ополченцы, члены незаконных вооружённых формирований. Там вообще с юрисдикцией полный гитлер капут. Как их долечивать, тоже неизвестно. Никому они теперь не нужны. Теперь мирное соглашение, режим тишины. Она уже решила: к себе их возмёт, и даже деньги им на проезд нашла. Там, где десять человек кормятся, ещё шесть с голоду не помрут. Вчера приезжал мужик, кабардинец, офицер в отставке, привёз мешок муки, мешок сахара и большой бидон подсолнечного масла. Фамилию свою не назвал, сказал: по-братски, по-солдатски, чем могу. Люди кругом добрые, к беженцам относятся с пониманием. Одежды

ТЕРЕХОВ Игорь Николаевич родился в 1951 году в городе Темиртау Карагандинской области Казахстана. Через год вместе с родителями переехал в город Ангарск Иркутской области, а в 1964 году семья переехала в город Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Закончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальности “математика” и ВГИК по специальности “кинодраматургия”. Служил в военной контрразведке Бакинского округа ПВО. Работал в различных вычислительных центрах и конструкторских бюро. С 1989 года профессиональный журналист, работал в “Кабардино-Балкарской правде”, газете “Северный Кавказ”, “Независимой газете” (Москва), был собкором информационного агентства “Интерфакс”, редактором РИА “Кабардино-Балкария”. Ныне пенсионер. Автор 13 книг прозы, поэзии, публицистики, кинодраматургии, изданных в Нальчике, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, киносценариев художественных и документальных фильмов. Живёт в Нальчике.

вот зимней найти не могу. Ты уж, Ваня, помоги, пожалуйста. Знаю, ты всегда помогаешь, стараюсь не напрягать. Но тут — крайняк. Помоги, Ваня, Христа ради! “Не бей на жалость, не на паперти, диктуй размеры”, — сказал Ваня.

Потом позвонил Аслан. Сказал, что завтра заседание совета при главе республики. Сам он не может пойти: третий день не встаёт, уколы, капельницы, все дела. А Ваня всё же его зам и представительный мужчина. Там будут все ветеранские организации, правоохранители, силовики и, естественно, муниципалы. И пусть наденет Звезду, чтобы все видели, что они хоть в отставке, а некоторые и по инвалидности, но всё же боевые офицеры. А не какие-нибудь штатские носороги. Вопросы какие? Да всё те же — противодействие, сохранение согласия, консолидация. Выступать специально не надо, там соберётся достаточно балаболов. Главное, чтобы Ваня не залупился. Он его знает. Им сейчас никак нельзя залупаться. Надо пробить реабилитационный центр. Для ветеранов локальных войн. Его строительство должны включить в федеральную программу. Это сейчас главное. А залупаться, между прочим, мы все умеем! “Уговорил, буду молчать, как партизан”, — сказал Ваня.

Тут ещё некстати позвонила Инга. Стала рассказывать о новом магазине. Там есть совершенно обалденные кровати и матрацы. В матрацах наполнители из кокосовой койры. Это вам не полиуретан, товарищ полковник, всё натуральное. Более пятисот пружин на одно спальное место. Ночью спина будет просто блаженствовать. Она же не для себя старается. Она о нём, прежде всего, думает. И цены, кстати, божеские! “Закругляйся, дома расскажешь”, — сказал Иван.

И вот сидит Иван по фамилии Сирота на президентском совете. Вокруг чиновники в дорогих костюмах, рано поседевшие военные, пузатые полицейские, накрашенные, как шалавы, общественницы, попы разных конфессий. Тут же педагоги, спортсмены, партийные деятели, как из далёкого прошлого, и новоявленные тимуровцы — волонтеры. Он не залупается, ни в коем разе, только желваками поигрывает. Все смотрят на главу республики, как на земное воплощение небесного божества. Ловят каждую его фразу, что-то чиркают в блокнотиках, подхихикивают шуткам с трибуны, одобритительно кивают в конце каждого раздела доклада. В общем, по-своему демонстрируют единство и сплочённость, разве что только хвостиками не машут. А босс воспринимает происходящее как должное. Подыгрывает собравшейся публике, в нужных местах снимает с носа очки и широким жестом проводит ими невидимую, но всеми отчётливо воспринимаемую красную линию. Иван помнит его по группировке милицейским генералом. Взаимодействовали несколько раз при проведении специальных операций. Звёзд с неба не хватал, но поставленные задачи понимал, чётко доводил их до подчинённых и одеяло на себя не тянул. Что с человеком делается на административной работе, непонятно.

В зале фланируют журналисты, подносят диктофоны к выступающим, фотографируют. Телевизионщики маются: снимать практически нечего, одни говорящие головы. Кто-то решил для перебивки пустить Золотую Звезду на пиджаке у Вани. А у него есть такой фирменный взгляд, когда на лице появляется то ли улыбка, то ли оскал, глаза немного выпучиваются, а усы при этом становятся дыбом. Посмотрит так бывало Ваня на своих солдат и офицеров, и на плацу отдельной десантно-штурмовой бригады мгновенно устанавливается гробовая тишина. И каждый военнослужащий, вне зависимости от воинского звания и занимаемой должности, готов выполнить любой приказ своего комбрига. А теперь глянул так Иван на подкравшегося к нему сбоку лысоватого мужичка с бэйджилом на жилете-разгрузке, а у того камера неожиданно из рук выпала. Только чудом он успел поймать её чуть ли не у самого пола. Больше никто из медийной братии к Ивану не подкрадывался.

В прениях началось чудеса. В целом ситуация клиническая — каждую неделю два-три покушения на ментов или на сотрудников федеральных ведомств. Начальника УВД называют даже командиром похоронной команды, когда он приходит в семьи погибших правоохранителей с соболезнованиями.

А в отчётах всё в высшей степени благопристойно: проведено столько-то мероприятий, предотвращено, не допущено, ликвидировано, выявлено и проч. Положение чуть ли не в разы лучше, чем за отчётный период прошлого года. Муниципалы стараются решить свои проблемы: новый стадион или Дом культуры позволит отвлечь молодёжь от увлечения идеями религиозных экстремистов. Строительство новых дорог или хотя бы реконструкция имеющихся позволит спецслужбам оперативнее реагировать на случающиеся порой ЧП. Не отстают от них и общественники. Партии просят увеличить квоты для своих представителей в местных советах. Организации — включить их проекты в республиканские и федеральные программы. Движения — оказать помощь в увеличении своих рядов за счёт бюджетников. И всё это с серьёзным видом красиво упаковывается в тему борьбы с экстремизмом и терроризмом. Слушает Ваня и диву даётся, сколь, оказывается, многообразна и насыщена бывает борьба с главным злом нашего времени. Но слово дал, не залушается, только временами усы пальцем приглаживает, чтобы дыбом не вставали.

А тут глава республики возьми, да и спроси, что по этому поводу думают наши ветераны. Непонятно, кого он имел в виду: республиканский совет ветеранов войны и труда, Союз ветеранов Афганистана, Совет старейшин, объединение ветеранов комсомола или их — ветеранов локальных войн и вооружённых конфликтов. Но все повернули головы в сторону Ивана — вот она, притягательная сила Золотой Звезды. Спасибо, Аслан, удружил! И кто-то уже беспроводной микрофон ему протянул, можно, мол, с места говорить. С места так с места. Встал Иван, одёрнул полы пиджака, прокашлялся для проверки микрофона. И хорошо поставленным командирским голосом стал говорить, как, по его мнению, надо бороться с терроризмом. И, естественно, залушился. Поскольку тема горячая. А он не привык кривить душой.

Прозвучало, что в федеральном розыске более полусотни молодых людей. Считай, целая рота. И нам говорят, что большинство скрывается в горно-лесистой местности. Посему задержать их невозможно. Это во время Великой Отечественной войны люди могли месяцами и годами жить в блиндажах и землянках. Современный человек избалован: ему нужен душ, чистое бельё, дезодоранты. Только специально подготовленные бойцы выживут несколько недель в лесу без плодов цивилизации. Тем более в холодное время года. А по установочным данным, все лица из розыска — вчерашние школьники, студенты, малоквалифицированные рабочие, торговцы и начинающие предприниматели. Специальную подготовку не проходили. Значит, скрываются у себя дома — в подвалах, тайно оборудованных комнатах, зинданах. Либо у своих родственников, в аналогичных помещениях. Почему участковые полиция не отслеживают их передвижения, вопрос, как говорится, интересный. Пусть этим озадачивается собственная безопасность. Но где оперативные службы? Где работа с негласными сотрудниками? Оперативные игры и провокации? Можно допустить, что в небольшом селении живут одни родственники и своих не сдают. Но разве нет технических средств? Мы умудрялись устанавливать технику на территориях, контролируемых противником. А здесь вы дома, на своей территории. В чём трудности?

Однако главная проблема в другом. До сих пор нет юридического определения религиозного экстремизма. Ещё в начале нулевых мы просили политиков из Госдумы, Совета Федерации, субъектов кавказского региона: разработайте закон об экстремизме. Дайте правовое определение. Чтобы любой полицейский мог сказать: этот — экстремист, тот — просто верующий и ходит в мечеть, а этот — обычный бандит, прикрывающийся исламом. И при этом опирался бы на нормы закона, а не на собственную чуйку. Прошло более десятка лет, ничего не изменилось. Мы продолжаем бороться с тем, чего де-юре не существует. Правовая неопределённость порождает произвол правоохранителей и агрессию со стороны верующих. В кровавую мясорубку втягиваются молодые люди с той и другой стороны, под корень вырезается грибница нации. Усиливаются протестные настроения. Когда они выплескиваются на улицы, их локализует ОМОН. Если не справляется ОМОН, призывают на помощь армию. Таким образом, армия вынуждена силой исправлять ошибки политиков. Как региональных, так и федерального уровня.

А потом та же армия становится виновницей всех бед малых, но свободолюбивых народов России! Не превращайте армию в репрессивную силу. Исторически так сложилось у нас в стране, что армия является единственным реальным институтом формирования у молодого человека гражданского чувства. Понимания сопричастности своему Отечеству. Не забывайте об этом! Спасибо за внимание! Честь имею!

Глава республики первым похлопал в ладоши. Хорошо, мол, сказал, по-солдатски! И предложил участникам совещания высказываться по поднятым вопросам. И тут многие проснулись и захотели выступить. Одни — чтобы напомнить о своём личном вкладе в борьбу с экстремизмом, другие — чтобы отвести возникшие подозрения в бездеятельности возглавляемых ими структур. Третьи — отметить на предмет того, что тоже являются профессионалами своего дела (не стоит учить отца, как мамку по вечерам обрабатывать). Иные — по политическим мотивам (внесённые нашей фракцией поправки), другие — из корпоративных соображений, а прочие — за компанию, из полемического азарта, любви к словоговорению или из неодолимого желания продемонстрировать новый костюм. В общем, оживил Ваня честное собрание. Один даже оживился до такой степени, что стал говорить, что военные специальные потокают экстремистам. Устраивают в горной местности тренировочные лагеря и поставляют туда различное вооружение. Мол, мы помним, как на военную базу в Моздоке по чётным дням за оружием приезжали дудаевцы, а по нечётным — оппозиция из Знаменки. А потом вояки проводят массовые зачистки и получают высокие государственные награды. Тут даже глава не выдержал, одёрнул оратора. Посоветовал не бросаться необоснованными обвинениями в чужой адрес. Он напомнил собранию, что Иван Леонидович Сирота был удостоен звания Героя России не за истребление братского нам чеченского народа, а за то, что вошёл лично в прямой контакт с ичкерийскими бригадными генералами и добился их перехода на сторону федеральных сил. В результате без единого выстрела был освобождён крупный укрепрайон сепаратистов. Сохранена вся инфраструктура, жилищный фонд и производственная база населённых пунктов. А главное, были спасены тысячи жизней — как российских солдат, так и ослеплённых фальшивыми лозунгами боевиков и мирных жителей.

Правда, после завершения совещания, когда все уже потянулись к выходу из зала заседаний и чиновные организовали живой коридор, чтобы первыми могли выйти на свежий воздух члены президиума, тот же глава региона тихо сказал руководителю своей администрации, чтобы этого контуженного на совещания больше не приглашали. А то опять превратит мероприятие в собрание жилищного кооператива. Руководитель администрации понимающе хмыкнул и сделал соответствующую пометку в своём ежедневнике. Но Ваня, отставной полковник Иван Леонидович Сирота, этого не слышал и услышать не мог, потому что был где-то на периферии зала. А услышал тот, кому по службе положено слушать все разговоры и знать настроение разных слоёв населения. Но услышал не по службе, а автоматически, по многолетней привычке прислушиваться к разного рода случайным разговорам. И опять же, по привычке сделал вид, что ничего такого не слышал, не заметил, и вообще его больше всего сейчас интересует Иван, и только Иван.

Они с Иваном отошли в дальний угол коридора, где их никто не мог услышать ни по служебной обязанности, ни из чиновничьей склонности к сифофанству, и тем более из обывательского любопытства, или даже случайного. После обмена впечатлениями о состоявшемся совещании, взаимных расспросов о здоровье и успехах деток, собеседник прямо спросил у Вани, что он думает о ситуации на Донбассе. “Политической?” — переспросил с невинным видом Иван. “Да там всё понятно, — сказал собеседник, — Порошенко — американская марионетка. Сделает всё, что ему продиктует Госдеп. Военная обстановка сейчас нас беспокоит. Ополченцам не хватает командиров, способных планировать и осуществлять тактические специальные операции, таких как Иван. Есть указание подтянуть туда резервистов, запасников и даже контрактников. Разумеется, официально мы не участвуем, осуществляем только гуманитарную помощь. Но никто ведь не может запретить офицерам

или контрактникам, руководствуясь патриотическими чувствами, провести отпуск в Донбассе. И прийти на помощь гражданскому населению региона, ставшего заложником агрессивной политики украинских силовиков, поддерживаемых Западом. А для тех, кто отправляется по нашей линии, разработаны каналы перехода границы, способы легализации на чужой территории, легенды прикрытия и так далее”. “Не надо мне этого рассказывать, — сказал Ваня, — меньше знаешь — крепче спишь”. — “Тебя, что, работа в Донбассе совсем не интересует? Мне казалось, что это как раз то, что тебе сейчас надо, чтобы встряхнуться! Разве это твоё — совещания, общественная работа, встречи со школьниками? Ты прав, как граф, с тебя пол-литра!” — “Ну, так пойдём. Угощаю!” — “Это я пошутил”. — “Старая шутка! А если серьёзно: с меня хватит! Навоевался!” — “Ты же русский офицер! А там гибнут русские люди!” — “Русские погибают в Донбассе с двух сторон!” — “Ты что же, считаешь бандеровцев русскими?” — “Я считаю это великой провокацией! Уничтожением русского мира! И хватит об этом!”

Пока они говорили в уголке, зал опустел. Ушёл и командир военной части, у которого Ваня хотел попросить несколько комплектов обмундирования для ополченцев. Пришлось потом звонить ему по телефону. Тот сразу взял трубку, словно ждал звонка. Сказал, что полностью поддерживает выступление Ивана на совещании. Сам точно так же думает: политики привыкли исправлять свои ошибки за счёт зелёных человечков, будь то наводнение, массовые волнения населения или необычайно высокий урожай сельхозкультур. Даже хотел сказать об этом с трибуны, но Иван Леонидович его опередил. Надо чаще встречаться и выработать совместную позицию людей в погонах и представителей общественных организаций патриотического блока. Что касается обмундирования для нашей пятой колонны на Украине, то он с дорогой душой. И даже охотно сам бы завёз его, но сейчас порядки в армии иные, не такие, как при мебельщике были. Всюду контроль, отчётность, военная прокуратура активизировалась. Да и любителей настучать на командира в нарушение субординации сейчас развелось немерено. Все надеются на быстрое повышение. “Это как всегда”, — сказал Ваня и нажал отбой на телефоне.

Насчёт обмундирования для пацанов можно было ещё обратиться к начальнику главка гражданской обороны, но связываться с ним не хотелось. Очень своеобразный товарищ: никогда ни в чём не откажет, не скажет “нет”, но и никогда ничего не делает, если не почувствует своего корыстного интереса. Разве что прельстить его медалью “За сотрудничество”, утверждённой центральным советом ветеранской организации. Но неизвестно, подпишется ли Аслан на такой бартер. Да и пока медаль поступит из Москвы, пройдёт немало суток, а пацанов выписывают буквально на днях. Получается фальстарт. И что же теперь делать? И тут его осенило: Комаров!

Это был журналист из того города, в военном госпитале которого лечили раненых донбасских ополченцев. Города, в последние годы ставшего центром федерального округа. Когда-то этот журналист Комаров чуть ли не каждый день звонил Ване, чтобы узнать оперативную обстановку во Временной группировке. И Иван по согласованию с командованием иногда вбрасывал ему горячую информацию. В основном для того, чтобы через СМИ упредить активность московских стратегов, в открытую подыгрывавших дудаевцам. Комаров всегда говорил, что он Ванин должник по гроб жизни. В старой записной книжке нашёлся телефон журналиста. Особой радости от Ванино звонка Комаров не выказал. Но Ивана узнал, что было уже неплохо. На вопрос, как жизнь молодая, ответил, что уже далеко не молод, руководит северо-кавказским бюро своей газеты, пользующейся известным уважением в деловых кругах. Замечательно, значит, достиг такого положения, которое позволит разрешить сложившуюся коллизию. И Ваня доступным языком стал излагать ситуацию с предстоящей выпиской из госпиталя ополченцев. Но Комаров его остановил, у него скоро планёрка, потом интервью с вице-губернатором, встреча с представителями торгово-промышленной палаты, подготовка текущего номера. Впрочем, если Иван Леонидович перезвонит ему, скажем, через часок, то он к этому времени выяснит телефоны волонтеров. Возможно, они заинтересуются его предложением. “Каким предложением, окстись, родной?

Речь идёт о простой человеческой взаимопомощи”. — “Не скажите, в наше время любая помощь предполагает определённые вложения. И волонтеры должны оценить собственные риски и предпочтения”. — “Человече, что-то не пойму: ты мне вместо тимуровцев бизнесменов подогнать хочешь?” — “А тимуровцы кончились, вместе с советской властью кончились. Теперь благотворительность — бизнес, как медицина или образование. И хорошо, что мы, в смысле, наша газета, поняли это много раньше других”. — “И тоже стали бизнесменами?” — “Если хотите, то да”. — “Выходит, акулы пера стали акулами бизнеса, кинофильм “Челюсти по-русски?” — “А вы шутник, Иван Леонидович!” — “Не помри со смеху”, — сказал Ваня.

И отправился в магазин с симпатичным названием “Полигон”. Там нашлось необходимое обмундирование и берцы нужных размеров. Но стоило всё намного дороже, чем рассчитывал Иван. Пришлось расплачиваться пластиковой карточкой, хорошо, что заначивал часть военной пенсии. Продавцы погрузили покупки в Ванину машину, и он поехал на междугородний автовокзал. Там довольно быстро нашёл нужную “Газель”, отправлявшуюся через два часа. Договорился с шофёром, и они вместе перегрузили вещи в багажный отсек маршрутки. Продиктовал телефон, по которому надо связаться с ополченцами. Поинтересовался, сколько должен будет за услугу. Водитель сказал, что не надо его обижать. Сам был солдатом, тоже лежал в военном госпитале, знает, каково там. А с доставкой всё будет нормализде, можно не беспокоиться: трасса известная, машина недавно прошла ТО, совершенно исправна. Завтра утром будет на вокзале, высадит пассажиров и сразу рванёт в госпиталь. “Как тебя зовут”, — спросил Ваня. “Хадис”, — сказал водитель. “Держи лапу, Хадис, спасибо тебе, брат!”

Дома Инга сказала, что Ваня — не инвалид по военной травме, а инвалид на всю голову. Чужие люди ему всегда ближе, чем собственные детки. В чём они будут ходить зимой на лекции в своей Северной Пальмире, Ваню совсем не волнует. И то, что она договорилась насчёт ортопедической кровати, а теперь надо будет отменять заказ, извиняться, врать, что передумала. Как это будет выглядеть со стороны, его тоже совершенно не волнует. Ему вообще на неё наплевать. И на семью наплевать! Не просто Сирота ты, Ваня, а Сирота кавказская, не нужна тебе семья! Нужен только плац, общее построение, боевые задачи и армейское товарищество. И кто эта Мила-бегенка, надо ещё разобратся. Не та ли это планшестистка, что ходила на службу в юбке почти до трусов? Нет?! Значит, её сестра! Такая же лярва, не стесняющаяся с женатыми мужиками обнюхиваться. “Отставить разговорчики!” — стукнул кулаком по кухонному столу Ваня. И вытащил из холодильника литровую бутылку народного антидепрессанта.

Вообще-то Иван выпивает редко, но, когда выпьет, ему обязательно надо действовать. Поднять бойцов по тревоге, чтобы проверить боеготовность подразделения. Начистить рожу оборзевшему чиновнику, дать поджопника наглому охраннику в торговом центре, прикопаться к молодому хльщику в ресторане, почему тот не в армии, или хотя бы уестествить супругу. Но поскольку с Ингой они, считай, поругались, последнее сейчас исключалось. Оставалось только сесть в машину и поехать в небольшой городок в ста километрах отсюда. Пыльный летом и продуваемый злыми ветрами зимой, степной городок вырос из казачьей станицы и стал крупнейшим железнодорожным узлом. Отсюда в южном направлении уходили на войну солдаты и в XIX веке, и в XX, и в нынешнем XXI столетии. В этом городке на старом кладбище покоилась вся Ванина родня — мама, отец, дедушки, бабушки, тётки и дядья, а также их супруги. Русские, украинцы, сербы и примкнувшие к ним татары, мордва (мокша), чувашин и бурятка.

Когда Иван ехал по припорошённой снежком дороге, машину слегка занесло у поворота перед большим селом. Тут же раздался милицейский свисток. Из притаившейся за кустами гаишной тачки вышел стройный офицер, в канареечном жилете похожий на спортсмена-марафонца. Он спортивным шагом направился к автомобилю Вани. Пришлось приоткрыть окно. Представился старлеем таким-то, потребовал документки. Иван протянул права. Старлей унюхал запах. “А, так вы ещё и выпимши!” — “В смысле?” —

“Сколько принял на грудь, дядя?” — “А это не твоё дело, сынок!” — “Так!.. Как разговариваете с офицером полиции? Выходите из машины! Будем разбираться!” Иван вышел. Тут же к ним подошёл второй автоинспектор по старшему званию. “Что тут у вас?” — спросил старлея. Тот ответил, что, мол, нетрезвый водитель чуть не врезался в дерево и теперь пытается дебоширить. Инспектор передал старшему права Ивана. Майор взглянул на них и вернул Ване. “Счастливого пути, товарищ полковник! Будьте, пожалуйста, внимательны. За Чёрным лесом крутой поворот, а дорога сейчас скользкая”. — “Спасибо, майор! Откуда меня знаете?” — “Под Аргуном ваши вытащили меня на себе. И на вертушке отправили во Владик, в госпиталь. Врачи потом сказали, что ещё час-другой — и можно было уже не спешить. В общем, в день рождения с женой поднимаем тост за десантуру!” Они по-кавказски обнялись с майором. Иван пожал даже протянутую руку старлея. Дальше поехал без приключений.

А когда был уже на кладбище, прошёл звонок с неизвестного номера. Человек представился помощником министра обороны. Фамилия его ничего Ване не говорила. Поэтому вместо приветствия он пробурчал что-то нечленораздельное. Закралось подозрение, что так вот лохов и разводят по телефону. Хулиганят, издеваются над отставниками и пенсионерами. А лишённые совести работники телевидения записывают разговор. Потом будут смеяться в эфире: “Новые шутки пранкера Вована”. Но человек назвал код, известный лишь тем, кто имел доступ к его засекреченному личному делу. И Ваня понял, что разговор будет серьёзный. Помощник сказал, что готовит совещание у министра, и они намерены пригласить на него Ивана Леонидовича. “Вы, вероятно, не в курсе, — сказал Иван, — я комиссован из вооружённых сил. Подчистую!” Помощник сказал, что им это известно, но известно также и то, что полковник Сирота восстановил здоровье. А мысль пригласить его на совещание исходила от главкома ВДВ. “Что, помнит ещё...” — невольно вырвалось у Вани. “Так точно”, — сказал собеседник. Он сказал, что совещание планируется провести числа 2–4 следующего месяца. И, если Иван Леонидович согласен... Конечно, согласен! Тогда проездные документы и подъёмные будут направлены через администрацию региона. Для всех: официально он приглашается в столицу на встречу ветеранов спецподразделений. “Понятно!” — “Тогда до встречи в Москве!”

Что там обсуждалось на совещании у министра, мы, конечно, не знаем. И в прессе о нём ничего не сообщалось. Знаем только, что после того совещания полковник Иван Сирота покинул ряды нашей ветеранской организации. Сказал, что пригласили в центр на преподавательскую работу. А последний раз мы его увидели случайно, по телевизору. Это когда уже в Сирийской Арабской Республике наметился реальный перелом ситуации. В Кремле награждали группу особо отличившихся российских военнослужащих. Помните знаменитую резолюцию президента на представлении Минобороны: “Согласен. Вручу лично”? Лица героев, естественно, не показывали, но Ванин подбритый квадратный затылок не узнать было невозможно. А то, как на несколько секунд задрожала камера в руках телеоператора, только убедило нас всех в правильности нашей догадки.

ВИТАЛИЙ ЛОЗОВИЧ



“ЗА ДУХОВ НЕБА И ТУНДРЫ!..”

ПОВЕСТЬ

В феврале-месяце, в середине десятых годов нашего века под Воркутой случилась беда. В полусотне километров южнее города бригада оленеводов перегоняла стадо оленей через железнодорожный путь. Стадо большое — сотни голов. Выходили животные на насыпь не спеша, озирались по сторонам, хоркали носами да приноживались к земле, выскивая корм. Олени, в отличие от тех же коров, идут сами, подгонять их невозможно. Кнутом здесь не пощёлкаешь. С юга в это время на полном ходу шёл товарный порожняк — шестьдесят вагонов под уголь на обогатительную фабрику Воркуты. Утро было мглистым, светало медленно, видимость метров пятьсот...

Когда машинист тепловоза заметил на путях стадо оленей, вначале даже не понял, что происходит, потом понадеялся, что оленеводы отгонят оленей с путей, потом решил тормозить... Время было потеряно.

Олени переходят дорогу не по одиночке, не волчьей вереницей, а широким ходом, бок о бок, гурьбой. На свистящих тормозах, на скорости

ЛОЗОВИЧ Виталий Васильевич родился в 1957 году в Воркуте. Работал на Воркутинском телевидении осветителем, кинооператором, главным оператором операторского цеха. Под руководством режиссёра Жукова работал над десятисерийным документальным фильмом “Город на мысу” об истории Салехарда. Летал часто в Арктику, от Карских Ворот на острове Вайгач до мыса Челюскин на Таймыре. Публиковался в журналах: “Север” (Петрозаводск), “Автограф” (Донецк), “Дальний Восток” (Хабаровск), “Союз писателей” (Новокузнецк), “Аврора” (Санкт-Петербург), “Урал” (Екатеринбург), “Огни Кузбасса” (Кемерово), “Сибирские огни” (Новосибирск), “Нижний Новгород” “Молодая гвардия”. Лауреат международного литературного конкурса “Золотое перо Руси — 2015”, Всероссийского конкурса им. В. И. Белова “Всё впереди!” и других. Член Союза журналистов и Союза писателей России. Живёт в Воркуте.

километров в семьдесят, тепловоз, за которым тянулось более полусотни вагонов, врезался в стадо, словно грузовик в курятник. Первый десяток оленей тут же взвились в воздух и, пролетев метров сорок над тундрой в разные стороны, упали бездыханно в снег, хоркая горлом, дрыгая ногами да истекая кровью. За ними последовала другая партия оленей, что переходила дорогу чуть в стороне и была ещё больше, выстроившись в ряд, словно на убой. Тепловоз прошёлся по ним, словно на пути и не было никого, словно мягкие игрушки взлетали вверх и там уже разрывались на части, окрашивая снег красными кровавыми пятнами. Когда состав, наконец, остановился, в тундре стоял лишь один сплошной хрип умиравших животных. Погибло около сотни оленей, десятая часть стада.

На место происшествия прибыли представители прокуратуры, следственный комитет, полиция. Ходили по путям, по целине снежной, считали убитых животных, определяли вероятность столкновения, что там ещё... На другой день оленеводы стали собирать остатки туш животных, которые могли пойти в пищу, но уже к вечеру в тундре пошёл снег, подул ветер, и в кутерьме метели подбирать оленей стало невозможно.

А через сутки с Баренцева моря в Воркуту пришла пурга. Настоящая пурга с оттепелью. Снег валил крупный, мягкий и влажный, прилипал ко всему, до чего мог добраться. Город жил пару дней в одном белоснежном хаосе. Потом утихло. На пару часов вышло солнце. В воскресенье проснувшись воркутинцы увидели довольно привычную картину — город завалило снегом. Вместо дорог и тротуаров образовались сугробы, на которых уже темнели глубокие проторённые тропинки, а вместо автомобильных парковок во дворах — снежные холмики из частных автомашин.

Савелий Гирский, сорокалетний мигрант с Украины, работал в Воркуте водителем грузового “КамАЗа”. Возил шахтную породу на отсыжку, где прокладывали трубы газопровода, что тянулся с полуострова Ямал через Байдаракскую губу, а потом через Воркуту, через всю Большеземельскую тундру на юг и там уже далее на запад. В Воркуте Савелий жил десять лет. Купил квартиру, благо что здесь это недорого. Поначалу сменил несколько профессий: работал шахтёром, экспедитором, штукатуром-маляром, каменщиком... Шахтёром долго не выдержал — хоть и парни там что надо, но темно внизу, под землёй. Тесно в шахтных выработках. Не для него. Экспедитором просто не смог — побоялся, что воровать начнёт. На всякие малярные краски аллергия пошла. Вернулся к шофёрской работе. На своей Украине, в Полтаве, водителем тяжёлого грузовика проработал не один год, потому и взяли без особых вопросов.

Через пару лет Савелий съездил в родную Полтаву, женился на раскрасавице местной Наташке, увёз её на север дальний, в Россию. Наташка вначале ершилась, но потом, взвесив по-женски все “за” и “против”, быстро поняла, что будущим детям лучше в пурге да накормленным, чем в украинском раю, да с перебоями, с регулярной неизвестностью: а что там завтра? А тут дочка родилась. Назвали Оксаной. В квартире стало тепло, уютно. Ещё через два года родился сын Володька. Наташка намеревалась его в метрике записать по-украински, как Володимир, но Савелий сразу отрезал все попытки, заявив:

— Вот ещё! Будешь здесь дурью маяться! Чтоб смеялись над хлопцем? В России живём.

Жить в Воркуте непросто. Частных домов и частных дворов здесь нет. Куры не квохтали, как на родной Украине, петухи по утрам не пели, собаки по ночам не брехали на чужих. Так... орут да визжат иногда под окном девки молодые, да бранная речь изредка рвётся снизу до его третьего этажа в стоквартирном доме. Зимой темно три месяца, с ноября по февраль, мороз под сорок, метели такие, что соседнего дома не видно в тридцати метрах. В воздухе кислорода не хватает, деревья не растут...

2014 год с новостями из Украины Савелий встретил холодно. На работе своим сказал лишь один раз по пьянке и больше не возвращался:

— Дурачьё тупое, на дармовую дешёвку подались! Нашли себе героя!.. Бандера! Это же надо так людей оболванить?

Сам по себе Савелий по-хохляцки прижимистый, накопительный. Возмущался на эту тему мило, словно оправдывался:

— Шо вы хотите? Я — хохол, южнорусский человек с примесью турецкой крови. У меня прадед, как у Шолохова там один у романе... сто лет назад дивчину себе приволок из Турции... Из Кабулети! Теперь Грузия. На кой мы её, Грузию эту, от турок спасали? Людей своих клали, русских, на закланье?.. Дурачьё!

Пару лет назад Гирский купил себе старенький снегоход, который то работал, то не работал. Прав на управление снегоходом не занимал, да и ездить ему, в сущности, на нём было некуда. Так... катался на авось в тундре возле города. Всё ждал, что случится первым в этих прогулках: снегоход сдохнет или гаишник нарисуетя? Зачем купил? Сам не знал. Продавали за дешёво, вот и купил.

После случая на железной дороге со стадом оленей потянулись по Воркуте слухи: туш этих зарезанных в тундре сейчас столько валяется бесхозных, что можно весь город накормить.

Бесхозно? Как же так? Разве можно, чтоб бесхозно валялось мясо? Если бесхозно, надо прибрать... к рукам прибрать. По-хозяйски. И засобирался тут же Савелий в тундру на своём снегоходе. Быстро собирался. Только пурга стихла, сразу и покати. Даже выходной внеочередной выпросил у начальства, пообещав тому кусок оленьей вырезки. Утром только пятилетнему Володьке и сказал:

— Папа в магазин... далёкий магазин за мясом... будем сегодня строганину есть.

День выдался так себе. Пурга только-только угомонила, намело много снега. Он простирался новыми, белыми языками по тундре от одного скопления кустов тальника до другого. Снегоход Савелия шёл легко. Солнца не наблюдалось. Ветер практически отсутствовал. Небо было хоть и в тучах, но не такое хмурое, как обычно перед непогодой.

На месте трагедии туш зарезанных тепловозом оленей не оказалось. Коегде валялись ломанные рога да оторванные копыта. А так — пусто, снежно и не более. Пурга ещё присыпала. Однако Гирский не сдался и долго тарахтел снегоходом вначале с одной стороны железнодорожных путей, потом с другой. Это же просто дар небесный — поезд задавил сотню оленей! Вряд ли все туши оленеводы могли собрать. Пурга два дня шла, присыпало оленьим снегом!

С собой Савелий прихватил собственноручно изготовленные санки-салазки в полтора метра длинной, с откидной задней частью. Конечно, вид такого прицепа явно наведёт местных полицейских на всякие мысли... Но, как говорится: не пойман — не вор! А на обратном пути он пройдёт до речки Воркута и там по её руслу выйдет к городу со стороны ТЭЦ... Если ехать вечером, то народу там не так и много. Проскочит. Дом у него на окраине города стоит.

Тушу своего оленя Гирский нашёл метрах в ста от места трагедии. Олень был уже приморожен, пурга его закидала снегом так, что сверху торчали лишь копыта в разные стороны, рога были обломаны напрочь, голова разбита. Савелий на всякий случай оглянулся вокруг себя, тут же достал лопатку небольшую, за три минуты откопал тушу, уложил её на санки. Ноги оленя нелепо торчали по сторонам. Савелий достал топор и прямо на санях обрубил голяшки с копытами. Развернул заранее приготовленный брезент, перетянул им тушу, перевязал её капроновым шпагатом, осмотрел со стороны — на что похоже? Долго смотрел, пытаюсь придумать, на что могло быть всё это похоже... На тушу оленя только и похоже, вынужденно согласился он.

Едва тронулся в обратный путь, как задул ветер, поднимая снег. Началась низовая метель. Низовая метель — это не страшно. Дует ветер, подхватывает снег, крутит его, но видно всё на километр вперёд. Ветер дул с запада. С запада — это в бок, когда по железке возвращаешься в город. Неудобно, но терпимо. А сейчас это даже Савелию выгодно — поменьше в тундру вылезет таких же любителей пожить оленью, да и всяких охранителей порядка будет поменьше. А может, позвонить своему напарнику Сашке,

чтоб к оленьсовхозу подскочил на грузовичке? Прямо в тундру, в районе кладбища? Спрятали бы оленя за борта... Нет. Тогда придётся напарнику полтуши отдавать, или четверть... Обойдётся. О!.. Савелий похлопал себя по карманам. А телефон-то сотовый он дома в спешке позабыл. Вот дела! И ладно. Меньше будет соблазна напарникам всяким звонить. Главное — добраться до дома тихо. Довезти тушу без приключений и лишних встреч с кем угодно. Мама дорогая, это же теперь у него полцентнера мяса дармового!.. Пятьдесят кило! Это если перемножить? Рублей четыреста за каждый килограмм?.. Двадцать тысяч выручки!

Через минут тридцать Гирский вышел на ручей с обрывистыми берегами, по ручью надо было пройти до речки Воркуты. На ручье мело поменьше, русло извилисто петляло, и ветру негде разогнаться. На речке тоже будет потише, нежели в открытой тундре, там руслом пройдем до ТЭЦ, мимо трубы, до стадиона “Юбилейный”, а от него триста метров и — дома! Дворами. В пурге и проскачу.

На очередном повороте ручья Савелий остановился. Остановился и замер. Ему даже показалось, что его “Буран” сам заглох от увиденного. Прямо перед ним метрах в пятидесяти из снега ручья торчал гусеницами вверх вездеход... Большой, мятый, грязно-зелёный. Лежал он здесь уже около суток, если судить по снегу, осевшему на гусеницы сверху. Высокий, обрывистый берег над ним весь изрыт и вспахан от его падения, словно там бомбу взорвали.

— Это как же тебя?.. — застыл от страха да изумления Савелий. — Прямо со скалы кувыркнулся?

Он подкатил ближе, сошёл с “Бурана”, осторожно прошёл к перевернутой машине. Только чтобы без людей, вдруг заколотило от страха в голове, только чтобы без людей! Вездеход перевернулся, люди вышли и ушли в город за помощью... Только чтобы без людей. Он склонился к водительской двери и крикнул:

— Живые есть?..

Никто не ответил. Слава богу! Савелий открыл дверцу — пусто. Заглянул глубже — в полусумраке вездеходного салона увидел торчащие в разные стороны оленьи копыта... А-а... вот как? Ещё один любитель поживиться дармовым мясом! Савелий усмехнулся. Сколько ж здесь туш? Штуки три? Только он уже хотел влезть внутрь кабины, как откуда-то из полумрака вездехода раздался слабый хрип со стоном. Савелий вздрогнул, словно ему туша оленя копытом под дых ударила. Всмотрелся вглубь и увидел там скрюченного человека с намотанной на голове тряпкой.

— Ох, ты ё-о-о-о! — вырвалось у него. — Ты кто? Эй, слышишь меня?

Мозг пронзила страшная и холодная мысль — раненый! Уж лучше мёртвый!

Быстро забравшись внутрь, Савелий увидел человека — парень как парень, лет тридцати, тряпка на голове насквозь промочена кровью. К обоим ногам в районе голени привязаны по две небольших доски, похоже, выполнявших роль медицинских шин — значит, сломаны ноги. Не удивительно, такой кульбит на вездеходе сделать с обрыва. Стоя на четвереньках, Савелий аккуратно подхватил парня под мышки, потянул на себя к выходу, топчась по оленьим тушам коленями.

— По мясу ходим, мать твою! — выругался он.

Парень опять застонал. Матерясь от всей души, Гирский рывками вытащил парня наружу, усадил на снег, прислонил головой к вездеходу. Парень открыл глаза, губы его дрогнули, и он спросил совсем тихо:

— Ты что тут делаешь?..

— Живой, собака! — тяжело дышал Савелий. — Ещё есть кто?

Парень мотнул головой и вскрикнул от боли.

— Кто будешь? — спросил Савелий, оглядываясь. Снег начинал крутить сильнее, вихри его рождались ниоткуда, столбиками, похожими на ёлочку, поднимались вверх. Когда низовая метель начинает мести лёгкими завихрениями, поднимая снег в небо, а ветер меняет направление — это лёгкое предвестие пурги на севере.

— Лёха, — ответил парень через силу, словно тяжёлый груз одновременно поднимал, — обрыв я не заметил, снег навалил, а дворники сломаны, зацепило стекло... а тут ручей... перевернулся я.

— Ноги что?

— Поломаны... я очнулся — в крови весь... перевязать себя успел... кровь остановить не мог... может, вена? Или, как её — артерия?.. Встать не могу... пробовал. Холодно.

— Вездеход чей? Искать будут?

— Личный вездеход... списанный он... не будут.

— Телефон есть? Позвоним в МЧС.

— Телефон тут, — кивнул Лёха себе на грудь, на внешний карман куртки. — Пробовал. Не берёт. Далеко.

Савелий выругался ещё раз себе под нос, вновь оглянулся. А что оглядываться? Ручей как ручей, что тут смотреть? Что смотреть, что смотреть! А что делать?.. Как вот тут теперь? Куда его? За собой, на "Буря" не посадишь, ноги сломаны, голова висит. А место на санках занято. Ну да, занято. Эти санки... они вообще тут случайно, понимаете? Не раненых же брал перевозить? Это вообще для мяса. Для оленя, так сказать...

"А вот и твой олень, так сказать", — проговорил кто-то ему в голове. Тихо так проговорил, внятно. Савелия ещё раз пронзила жуткая мысль, можно даже сказать не пронзила, она без разрешения поселилась у него в голове и теперь никуда не выходила — тушу оленя придётся оставить здесь! Выбросить!.. Да что ж ты будешь делать-то, а?! От этой мысли заньло где-то под горлом. Так заньло сильно, что перехватило дыхание. На пару секунд у Савелия мелькнуло: а может, положить парня поверх туши оленя? А что? Шкура от человека нагреется в минуты! И Лёхе тепло, и олень останется.

Глупо. Шкура не нагреется в минуты, потому что это не шкура, а туша. Замороженная туша. Ну да, оно и понятно, что туша, что глупо всё... просто... мясо жалко. И что это я, придурок, прямо вот не поехал? Вдоль железки. Поехал бы прямо, никого бы не встретил, не мучился бы вопросом. И этот Лёха тоже сволочь, не мог оказаться мёртвым!

Мда... хреново. О чём это ты, Савелий Гирский? Ты же не скот.

— Пуржить начинает, — выговорил Лёха, — делать что будем? — Глянул на Савелия и предложил, чтобы не навязываться: — Если что... не можешь... так езжай. В городе МЧС скажи, где я сижу... идёт?

— Да нет, не идёт, — тихо выговорил Савелий, проклиная себя за доброту. Ведь Лёха сам предлагает... — Куда тут езжай?

Он в который раз злощими глазами глянул на раненого парня, который сейчас просто воровал у него таким трудом добытую оленину! Который сейчас просто обокрал его в одну секунду на полцентнера мяса! Который... А может?.. Или... Нет, не может. Вот он твой олень — просвистело чьим-то неуловимым голосом в голове Савелия, и глаза его вновь уткнулись в парня.

Тушу придётся бросить здесь. От этой мысли внутри него всё перевернулось ещё раз от негодования и возмущения. О боже! Цель была достигнута так просто, так быстро. Полцентнера мяса... полцентнера мяса надо было сейчас просто вышвырнуть на снег! А может, Лёха сумеет на заднем сиденье? Может, сумеет удержаться? Да куда ему держаться со сломанными ногами да с головой, которая и так висит, вона, как колбаса домашняя, когда свинку заколешь. Да что ж ты будешь делать-то, а?! Ну, что за жизнь?! Только нашёл! Только нашёл и тут же потерял! И не потерял, а выбросил даже! Тьфу!

Последние слова как-то злобно вышли. С шипением. Он вздохнул тяжело и стал отвязывать тушу от санок. Когда отвязал, поволок её в сторону, под обрыв, где намело много снега и оленя можно просто зарыть.

— Ты лучше её в вездеход забрось! — из последних сил хрипло сказал Лёха. — Там пещи не дастанут.

— Ага, — кивнул Савелий, припорошивая снегом своё мясо, — потом эмчээсовцы вместе с твоим вездеходом и твоими тушами себе заберут. Куда там! Нашли дураков!

Санки он разложил полностью, откинув площадку сзади. Ростом бог Лёху не обидел, да и весил он килограммов под девяносто. Вытянет его “Буран”?

Но “Буран”, сволочь такая, вытянул. Он даже вначале как-то излишне легко потащил за собой санки с Лёхой, замотанным в брезент. Прятаться теперь нет необходимости, и Савелий решил ехать в город по прямой. Теперь получалось — чем они быстрее выедут на людей, тем лучше. А если встретят вездеход в тундре — вообще красота! Тогда можно будет Лёху им, а самому назад за оленем... а?

На подъёме из русла ручья “Буран” забуксовал, вырвав из-под себя вихрь пережёванного гусеницей наста, да и выполз на равнину тундры. Время подошло к полудню. Посыпался мелкий снег. Ветер не стихал, а поднимался. Низовая метель стала переходить в обычную пургу. Переходила она быстро, захватывая клочьями и плетями снега всё пространство перед Савелием. Ветер попытался пару раз прорвать снежную завесу, да не получилось. Снегом обдал, да и только. Но в этом небольшом прорыве пурги Савелий увидел далеко впереди себя чёрную полосу неба. Это город дымит. Ветер переменялся, ветер теперь в спину, южный. Так теперь и держим курс. Савелий обернулся, глянул на Лёху — тот лежал на санках, замотанный брезентом, как мумия, как покойник... А вот поехал бы Савелий прямо — тут же хихикнуло ему то ли сознание, то ли подсознание — так лежало бы на санках оленьё мясо! Пятьдесят килограммов свежего мяса! А ещё не поздно вернуться за тушей, а? А Лёхе эмчээс. Не вытянешь ты его. Не вытянешь. Тут же сверху снег обрушился так плотно и вязко, что пространство всё померкло в молоке. Мумия Лёхи стала ещё больше напоминать волочащегося сзади покойника.

— В страшном сне не увидишь, — пробормотал Савелий, сразу зачем-то прикидывая: если бы он тушу оленя привязал за санками, волочил бы её по снегу, вытянул бы его “Буран”? Мерзко, да? А что мерзко? — вспыхнуло его сознание. Почему мерзко? Ещё неизвестно, что и кто важнее — этот парень чужой или мясо в дом родной? Его же дома с оленевой ждут, а не с этим москалём! Савелия вообще здесь могло не оказаться. Он случайно проезжал. И на кой ляд дёрнуло его заглянуть в перевёрнутый вездеход. Ехал бы себе мимо и ехал... Ладно, молчу.

“Буран” шёл ровно, мотор гудел монотонно. Тундра расстилалась перед ними плоская, снежная, без кустов. На пустыню похожа. Дорогу впереди, точнее, направление впереди почти не видно. Очень скоро пошёл жёсткий ледяной снег. Он осыпал лицо Савелия мелкими иголками, налипал на глаза и стекал по щекам вниз. Снегоход шёл медленно, словно пробирался вперёд, высматривая дорогу, стараясь не сбиться с пути. Пути этого Савелий как раз и не знал, знал лишь направление. Лёшка этот тоже, наверное, знал лишь направление, вот и кувыркнулся, собака!

В пургу жизнь в тундре замирает. В пургу вы не встретите на пути своём ни куропапок, что трещат клювами при любой опасности, словно деревянными трещотками; ни мохноногих канюков, что парят в вышине неба, выискивая зазевавшегося лемминга на снегу да изредка оглашая белые просторы ледяной пустыни своим клёкотом и канючаньем. Не будут мелькать меж кустов осторожные, но любопытные песцы с пушистыми хвостами, прижимаясь носами к насту, выносивая норки мышей. Да и вся прочая живность будет сидеть где-то под кустом, свернувшись клубком от непогоды, и ждать затишья в тундре. Причём совсем рядом, под похожим кустом, в десятке метров от какого-нибудь зайца может сидеть его хитрый враг — белая сова, моргать своими глазами, крутить головой и не двигаться с места. Но если ветер стихнет, зайцу конец.

Пурга — это в лучшем случае буря или шторм, в худшем — ураган. Сносит всё живое. Снегоход шёл в пурге тихо, едва-едва перекрывая своим урчанием завывания ветра. Хорошо хоть снег мелкий, колючий, холодный. Такой не липнет сразу на наст, а собирается в ложбинках и трещинах, не мешая движению. Снегоход и сани по жёсткому насту идут свободно, легко. Главное — выбраться.

Савелий Гирский старался держать направление так, чтобы ветер постоянно как бы подгонял его в спину, вторично ветер не мог так быстро сменить направление, а значит, идут ровно на город, хоть в десяти метрах и не видно уже ничего. Молоко вокруг.

Почему-то в голове постоянно прокручивался путь от железной дороги до обрыва и почему-то постоянно после этого кино в голове стояла картинка, где под обрывом тушу закопал. Потом куда, в каком направлении поехал, а потом — как можно проехать обратно к этому месту... Всё правильно — тушу ведь надо будет забрать потом?

Снегоход шёл ровно, неторопливо, пурга мела протяжно. Видимости на десяток метров впереди — это ровно столько, сколько при такой скорости надо, чтобы остановиться и не кувырнуться с обрыва вниз, как Лёха. Савелий изредка оборачивался назад, смотрел на раненого парня. Да на кой же леший ты, Савелий, поехал к реке Воркуте?.. Эх, Савелий, Савелий! Поехал бы напрямик по железке в город... Лёха бы сдох, да? Ну да, скотство. Но оленя так жалко! Теперь кто его знает — найдёт он оленя потом? Да и сможет ли привезти обратно? А так бы сейчас под покровом пурги спокойненько по городу прошмыгнул, и всё!.. Ах, ты же напасть! И надо же было Лёхе за этими тушами поехать?! Мяса ему подавай! Мародёр хренов. Вот же ж москали поганые! Вечно из-за них добычу теряешь.

Ветер бил сзади своими порывами так, что снег залетал Савелию за воротник, где плотно был уложен шарф. Ветер бил своими порывами так, что насквозь продувал и зимнюю куртку, и кожанку под ней, и свитер шерстяной, холодя спину. Савелий поднял кашпошон, застегнул замок под самое горло. В голове мелькнуло: может Лёху посмотреть, снег и ему залетает, нет?

Он остановился, сошёл со своего вездехода. Порыв ветра так ударил в лицо, что едва не опрокинул его навзничь. Савелий устоял, склонился над раненым Лёхой — снег запылил того уже полностью, тело в брезенте стало напоминать замотанный труп. Щёки у Лёхи мокрые, это снег тает. Ленинград блокадный — почему-то мелькнуло в голове у Савелия.

— Живой? — крикнул он громко.

Лёха открыл глаза. Тяжело как-то открыл, посмотрел куда-то вверх, попытался прошептать что-то. Не получилось. Собрался с силами, прохрипел:

— Живой. Где мы? Я, кажется, отключился... Где мы?

— Не знаю. По дороге в город, будем надеяться. Может, надо чего? Вон как тебя снегом замело всего... Может, перевернуть? Ногами вперёд покачим? Меньше будет...

— Сдурел? Ногами вперёд!..

Савелий вывернул кусок брезента у его головы, немного прикрыл лицо, чтобы не порошило лишний раз. “Буря” покатила дальше.

Пурга выла, пурга кружилась. Ветер бил в спину, продувая куртку, заметал глаза так, что от налипания на ресницы снега они не закрывались полностью и моргали как-то наполовину. Савелий хватал ресницы пальцами и держал их, пока снег не стаивал. Снег оседал на щеках, таял на щеках, капельками стекал вниз и щекотал там горло. Снег залетал в рот, потому что хоть ветер и дул в спину, но при сильных напорах каким-то образом залетал впереди человека, сдавливал там воздух, становилось трудно дышать носом, человек дышал ртом. Снег плясал перед глазами, сверкал искрами и строил перед Савелием какие-то неведомые, призрачные картинки нереальности. Крайний Север. Заполярье. Территория Арктики. Обычное ненастье.

Сколько часов шёл старенький снегоход в пурге, Савелий уже не знал. Он потерял связь со временем и только ежеминутно ждал одного: что из пурги вырастет город... Здание... забор... дорога... Он ушёл из города на юг, с южной стороны что у нас в городе? Вокзал, оленьсовхоз, кладбище... ещё вояки какие-то были... Может, на воинскую часть выйдет? Когда темнеет в феврале? Когда приходит вечер? Часов в пять или шесть? Никогда об этом не думал. Темнеет себе и темнеет. Начнёт темнеть — это пять или шесть часов... Что это даёт? Ничего. Это даёт то, что дальше надо будет идти в темноте ночи, в ночной пурге, что ещё хуже и тяжелее. Почему идти, мы же едем? Ехать надо будет в темноте... Ехать надо будет в темноте... Савелий

вздрагнул. Засыпает... Он засыпает. Ветер убаюкивает. Монотонность кружащего снега перед глазами, словно метроном, снижает внимание, и человек погружается в сон. Спать нельзя! Кувыркнись, как Лёха! Впереди образовалась прореха, снегоход резко встал... Ручей. Простой заметённый ручей, русло в низине. Перекатим.

Когда начало темнеть, Савелий не заметил. Просто совсем внезапно снег стал серым, пурга мутной, а снегоход ни с того ни с сего вдруг заглох и остановился. Савелий дёрнул за стартёр. Мотор чавкнул и смолчал. Савелий дёрнул ещё раз. Потом ещё. Он сошёл с машины. Разбирался в технике Гирский прекрасно. Неисправность нашёл мигом — бензин на нуле. Достаточно, чтобы съездить за полсотни километров в тундру и вернуться обратно в город, но не для того, чтобы на скорости пешехода кружить по тундре целые сутки. Савелий сел на сиденье, руки положил на колени. Приехали!..

— Что там? — донеслось от Лёхи.

— Сдох коняка. Бензин вышел. Не рассчитывал я на такую прогулку.

Разговор на этом закончился. Лёха ничего предложить не мог, Савелий, что предложить — не знал. Пурга стонала и выла. Ветер стал визжать так, словно радовался беспомощности человека. И визжал, паразит такой, главное именно в закоулках мотора снегохода, летал там и визжал от радости! Савелий взял горсть жёсткого, холодного снега, протёр им лицо. Стало легче. Да нет, легче не стало.

Варианты? Остаться здесь до конца и ждать, вдруг пурга закончится так же внезапно, как и началась? Сколько Лёха протянет без помощи врачей? Сутки, двое или, может, несколько часов? А если бросить Лёху одного, добраться до города и организовать спасательную операцию... Где искать потом? Заметёт полностью его, не найдёшь под снегом. Если только по снегоходу найти? Так и снегоход может замести в одну ночь. В низине стоят, в низине всегда заметает.

— Есть мысли? — докатился до него голос Лёхи.

— Есть одна, — отозвался Савелий.

Он сошёл на снег, подошёл к Лёхе, не торопясь отцепил санки от своего “Бурана”. Потом залез в багажник своей заглохшей техники, нашёл там пакет с НЗ: хлеб, сало, спички, зажигалка, спирт сухой, что-то ещё. Отцепил трос, которым прицеплены санки к снегоходу, впрягся в него — лямка легла поперёк груди — и потащил их вместе с Лёхой куда-то в темноту ночи.

Лёха, похоже, всё понял и застонал из последних сил:

— Да не надо это!..

В первые минуты Савелий даже как-то порадовался и за себя, и за Лёху, что идти по снежному и твёрдому насту оказалось не столь и тяжело. Лямка упиралась в плечи и грудь чуть ниже горла, Савелий тут же рядом, по бокам, поддерживал её руками, немного оттягивая перед собой. По старому насту санки с Лёхой катили легко, словно по льду, на новых белых языках только что наметённого снега, тормозили. Хорошо, намело его не так и много. Одно нехорошо — тундра не бывает ровная, потому, когда катились вниз, приходилось санки поддерживать, а когда вверх, тогда Савелий упирался так, что, казалось, глаза из орбит вылезают потихоньку.

Полной ночи как таковой в тундре зимой не бывает. Даже в безлунную ночь что-то да видно вокруг, хоть какие очертания местности. Снег отражает всё, вплоть до света звёзд. Сегодня явно на небе сидела луна, правда, за тучами не видно её, но тучи были светлые, а потому и света немного давали.

Савелий шёл, куда ветер дул. Он давно уже потерялся в пурге и единственным ориентиром оставался ветер, что дул в спину. Но ветер в пурге не дует однообразно и монотонно. Ветер в пургу рвёт порывами. Причём порывы могут быть такими, что в один порыв вы и глазом не моргнёте, а в другой хлестанёт так, что свалит с ног и десяток метров прокатит по снегу.

В низинах ветра меньше. Здесь Савелий терялся — куда идти? Вроде только что дуло туда, а теперь в обратную сторону? Куда из низины выходить? Ужасно стало натирать плечи. Савелий перехватывал лямку от саней наподобие хомута, пропустив её под мышками, но очень быстро стало натирать шею через шарф, да и под мышками давило нестерпимо.

Сил оставалось всё меньше, хотелось завалиться на снег и уснуть... Нет, поспать немного, хоть полчаса. Он опустился на снег, встал на колени. От тюка брезента донеслось слабым голосом:

— Савелий! Телефон возьми, может, уже...

Вот дурак! Гирский себя даже по голове хлопнул. Заигрался в герои! Телефон же есть! Он быстро отвернул брезент, пошарил рукой по груди Лёхи, нашёл в кармане телефон. Включил. Телефон вспыхнул в ночи яркими, цветными огоньками. Цивилизация. Савелий глянул на дисплей. Ноль. Полный, тихий, неопознаваемый ноль.

— Себе возьму, — сказал он, — буду проверять, может, где поймаем сеть.

Вставать со снега не то, что не хотелось, а просто не моглось. Они сидели в низине, ветер здесь больше кружил снег, чем рвал порывами. В низине хорошо, относительно тихо. Здесь можно спокойно сидеть и даже спокойно дышать, не ловя воздух ртом, как там — наверху, в пурге. Но всё равно надо выбираться наверх, всё равно надо идти вперёд, в город, к людям. Лёха долго не протянет. Эта мысль занозой сидела в голове у Савелия.

— О чём думаешь? — вдруг спросил Лёха.

— Ни о чём, — прерывисто ответил Савелий.

— Скажи. Легче будет...

— Легче не будет, “Буран” сдох, мясо потерял, пурга усилилась, а идти надо... дойти надо.

— У тебя семья есть? — спросил Лёха.

— Есть. Для них и корячился.

— Может, один дойдёшь? Может, так быстрее будет? Там объяснишь всё... МЧС там...

— Один не дойду, — ответил Гирский, — ветром сдует.

Он поднялся, подхватил лямку, впрягся и потащил сани наверх из низины. Наверху ветер рвал и бил своими хлыстами так, что иногда даже помогал двигаться вперёд, особенно на спусках. Подгонял так, что Савелий санки придерживал ногой. Потом опять вверх, опять: то поперёк лямку, то сверху на шею, то поперёк, то сверху...

В какое-то время Савелию показалось, что мозг у него больше ничего не воспринимает, кроме снега, ветра и ломящей боли в плечах. Вначале он по минутно смотрел на дисплей телефона, надеясь, что тот обнаружит сеть, потом забыл... Телефон стал бесполезной игрушкой в руках природы. Савелий спускался в низины, поднимался наверх, падал, поднимался, хватал летящий снег ртом, подхватывал его рукавицей с наста, жевал до ломоты в зубах и голове. Ужасно хотелось пить, а воды ни капли. Про хлеб да сало Савелий ни разу и не вспомнил. Хлеба не хотелось. Хотелось спать, пить, закрыть глаза и уснуть. Уснуть стоя, уснуть на ходу, уснуть на минуту, секунду, но уснуть, забыть... Всё забыть, поверить, что всё это — кошмарный сон. Хотелось упасть и не вставать. Никогда больше не вставать!

Гирский шёл, бездумно передвигая ноги, ничего не соображая, ничего не понимая, ничего вокруг себя не видя. Просто надо идти и тащить за собой санки с человеком. Почему? Потому что надо идти в город, в тепло, к людям. Почему надо тащить на себе эти санки с человеком? Потому что ему тоже надо к людям, а сам он идти не может... А к людям ему надо... А Савелию надо домой, у него хлопчик Володька, у него дочь, жена... В пурге он увидел сына... Тот играл на снегу с большой машинкой, снег возил...

Ночь оказалась длинной. Ночь оказалась холодной, потому что Савелий вспотел, а... нет, он не вспотел, пот просто катил с него крупными каплями по всему телу, потому тело стало мокрым от пота, и иногда его охлаждал этот жуткий, страшный ветер, продувая куртку, проникая внутрь, морозя тело.

Пару раз Савелий крикнул что-то Лёхе. Просто так крикнул, без дела, без нужды особой. Чтоб ответил. На голос тоже силы надо. Сил не осталось совсем. Гирский остановился, подумал: может, Лёха умер? Скончался так вот тихо человек, никому ничего не сказав. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, можно его здесь оставить, труп же, что ему будет? А с другой? Песцы всякие могут лицо обгрызть, всякая живность тут начнёт

человека есть. Нет, так нельзя, тащить надо и труп... труп же этот человеческий, правильно? Это не по-человечески — бросать тело человека на произвол. Не по-русски это.

Хватит рассуждать. Надо тащить. А куда тащить? Савелий остановился, ноги подкосились, и он упал на колени. Так стоял какое-то время. Какое? Не заметил. Ему показалось, что глаза его закрылись, и он уснул. На секунду? Минуту?.. Он что-то увидел во сне? Не помнил. Просто чёрная дыра. Дыра в сознании. Дыра отдыха.

— Сава! — крикнул кто-то женским голосом.

Гирский очнулся, как по голове ударили. Голова раскалывалась от боли.

— Савелий! — услышал он голос Лёхи, очнулся, увидел, что стоит на коленях. Поднялся. Подошёл к Лёхе. На колени уже не опустился — бухнулся.

— Сава, — сказал тот из-под брезента, — я забыл... у меня в кармане, во внутреннем... спирт на лимонном соке... с золотым корнем... в дорогу... попробуй. Золотой корень силы даёт.

Гирский минуту молчал, не понимая, чего от него хочет Лёха? Какой спирт, какой ещё лимонный сок?.. Сок?.. Сок — вода!

— Где? — нехорошим голосом спросил он, шаря по груди у Лёхи. — Где сок?..

— Не сок, Савелий. Спирт, разбавленный соком лимонным.

— Спирт? — Что-то далёкое, цивилизованное, подходило к Савелию со своими глупостями и шалостями. — Зачем спирт? Делать что?

— Хлебани глоток, — сказал ему Лёха уже твёрдым голосом, — он на золотом корне. Поможет. Силы даст на время. Только много нельзя... опьянеешь — уснёшь.

Савелий нащупал тонкую, выгнутую фляжку во внутреннем кармане Лёхи, вытащил, в потёмках отвинтил крышку и сделал глоток. Потом ещё глоток. Потом третий... Захотелось сразу есть. Он достал пакет НЗ — хлеб и сало нарезанное.

— Что ж ты молчал? — уже пришёл в себя Савелий. — Спирт тебе нужен в первую очередь. Ты же много крови потерял. Когда доноры крови сдают много, им всегда то вино сухое, красное, а то и спирту медицинского... Это какой спирт? Медицинский?

— Да нет, Савелий, — пробормотал Лёха, — гидролизный это спирт... сушит от него по утрам сильно, если переборщить. Но не отравишься, не бойся.

— Спирта бояться, скажешь тоже, — жевал сало Савелий, мгновенно ощущая, как приходит в себя и как по венам струится кровь, как неведомо откуда вместе с кровью бежит по жилам сила.

— Холодно, — прошептал Лёха, — спину не чувствую. Помираю, что ли? Сдохну — ты брось меня. Потом найдут. Весной. Знаешь, под погибшими людьми снег не тает, и весной в тундре появляется гриб снежный, а сверху тело человека... Хреново, правда? Пошевелиться бы мне... не могу... холодно под спиной...

Гирский стянул с себя куртку, свернул её в три полосы, как это делают в магазинах, когда упаковывают, быстро развернул брезент, Лёху резко приподнял с краю и засунул куртку под него.

— Дурак, — сказал Лёха благодарно, — тебе важнее, ты же тащишь нас... Савелий, какой же ты человек хороший!

— Не знал, — буркнул в ответ Гирский. — У меня ещё кожанка, — он показал во тьме короткую, тёртую кожаную куртку в пояс, — и свитер там, шерсть чистая. Вытащу. Ну-ка, давай!

Савелий приподнял Лёху за спину, поднёс фляжку. Лёха руку одну вытащил, ухватил как-то слабо фляжку, отпил пару глотков, поморщился, попросил:

— Зажевать дашь?

Савелий быстро достал кусок хлеба с салом. Лёха откусил вместе с залетевшим в рот снегом, чуть прожевав, молвил чуть окрепшим голосом:

— Ну да... сдохнуть всегда легче навеселе.

Гирский уложил его обратно, подоткнул брезент, поднялся на ноги, впрягся в лямку, ухватив её перед собой руками, и потащил сани дальше.

Что всегда визжит в пурге — неизвестно, но завывания ветра со снегом бывают такие пронзительные, что давит на уши и мозги. Ночная пурга рвёт человека сильнее. Ночная пурга крутит человеком так, словно он попал в мясорубку, но никак на шнек мясорубки намотаться не может. Бывает, что даже посмотреть впереди себя — большая проблема, потому что едва лицо поднимешь — отхлещет снежными плетьюми так, что начнёшь плевать и ругаться, отмахиваться неизвестно от чего. А бывает, что вроде и несильно снегом обдаёт, да тот же ветер так напирает на тебя, что хоть носом, хоть ртом ухватить воздуха невозможно, а потому опять — голову вниз.

На одном из подъёмов тундры Савелий достал телефон Лёхи. Сети нет, часы показывали два часа ночи.

Силы, что даёт алкоголь на непродолжительное время, заканчиваются очень быстро, если их расходовать неразумно. Например, если тащить сани с человеком. Здесь никакого алкоголя не напасёшься. Похмелье придёт в момент, дурь пьяная через пот выйдет за полчаса, а отравление останется. Поэтому человек прикладывается вновь и вновь, что заканчивается весьма плачевно, бывает даже и трагически.

Шёл Гирский теперь не столь автоматически, как раньше. Теперь он соображал, что вокруг творится и что он делает. Поставил цель — если начнёт сдавать, если начнёт засыпать, если глаза станут смыкаться... только тогда, только тогда можно ещё... Пить можно только для поддержки, а не для расслабления. Потому что, если он грохнется и уснёт, Лёшка ведь даже и помочь ничем не сможет. Картина! Один будет замерзать во сне, другой наяву... Тьфу, зараза! Надо думать о чём-то хорошем. Надо думать... о бабах, например. А может, стихи читать или песни петь?

Он уже давно стёр ноги в своих ботинках, давно промёрз весь, насквозь, до самой макушки головы, обморозил руки, потому что на ветру, в мороз, держать кулаки сжатыми нельзя... кровь не ходит по ним. А как их держать, если надо лямку перед собой удерживать? Иначе не потянешь. Как их держать, если лямку под мышками проденешь, и там так режет потом, что не выбираешь, что больнее, что правильнее... что... Савелий уже привык к темноте, под ногами снег просматривался — и слава богу! Иногда в глазах вспыхивали какие-то молнии, которые были похожи на круги белого света, причём круги были на снегу, на настe, там, где он и видеть их не мог, потому что стена снега... перед ним стояла стена бушующего снега... наст виден лишь под ногами.

Савелий обтирал лицо ладонью от облепивших его снежинок, сжимал холодными пальцами ресницы, чтобы глаза хоть как освободить от налипших ледышек, рука мёрзла ещё сильнее, он быстро прятал её в рукавицу, сжимал в кулак, чтобы пальцы хоть немного друг о друга согрелись — ничего не помогало. Он делал “зарядку” внутри рукавиц, сжимая и разжимая пальцы, тогда слетала лямка троса, падала ему на грудь... Гирский останавливался, какое-то время стоял беспомощной фигурой в ночи, потом, словно бурлак на Волге, поднимал лямку и опять шёл, тянул за собой сани с Лёхой...

А кто этот Лёха?... Да нет, не ему кто, а вообще — кто? Вообще, Лёха этот есть или это всё мираж, видение, наваждение, как его там?... Привидение.

И вдруг Савелия просто ухнуло по голове сверху. Он даже удар физически почувствовал, будто тяжёлой, набитой крупным пером подушкой по голове дали и сказали прямо в уши: это не привидение, это наказание, дружок. За жадность твою, за скупердяйство! Или мяса дома не было? А может, с голодухи помирал? Что в тундру понёлся? На дармовщинку поживиться? Может, эти олени твои? Может, ты их растил, от волков охранял, пас в тундре, на перегонах, в реках ледяных спасал, из-под льда вытаскивал?..

Дармод ты, Савелий!

— А Лёху за что? — не выдержал Гирский такой откровенности от самого себя и даже вслух произнёс это. И тут же услышал: а за то же! Потом секунды стояла тишина, такая жуткая неземная тишина, ветер умолк, но не

стих, пурга била во все стороны, а звуки её пропали. Савелий головой тряхнул и услышал вой ветра. Тут же вперёд рванулся с ещё большим рвением и скоростью, под нос себе сказал:

— Ну так, а мы же мясо оставили там... олени-то там, а мы здесь, чего теперь-то?

Пурга провьяла что-то в ответ. Она как-то совсем внезапно усилилась. Мало того, что усилился ветер, так ещё и тучи, очевидно, стали более плотными и света уменьшилось. Стало и в самом деле темно. Савелий оглянулся затравленно, не понимая, зачем он это делает в пустоте и темноте? Лямку снял с себя, хотел под мышками пропустить, чтоб кулаки немного отогрелись, чтобы руки немного отдохнули, да здесь ветер так хлопнул его порывом, что Савелия бросило на снег и прокатило валиком по насту. Он встал и... сани не увидел...

— Лёха! — крикнул он во тьму. Ответа не услышал. Ветер, вой, свист, какой-то издевательский свист. — Лёха!! — крикнул он что было силы.

Здесь же подумал: а что так орать, Лёха ведь крикнуть в ответ не может. Гирский достал фляжку, сделал один глоток, второй... хватит. Думаем. Что думаем? Думаем, как найти человека.

Он быстро, буквально не соображая, зачем и что делает, вытоптал поглубже в насте маленькую площадку, разбивая его рёбрами подошвы ботинок, чтоб было видно, где сейчас стоит, тут же мелкими шагами, твёрдо ступая по снегу так, чтобы в насте оставались насечки, сделал десять шагов в одну сторону — пусто. Вернулся по следам, всматриваясь чуть ли не в полусогнутом положении. Площадку нашёл, сделал также несколько шагов в другом направлении — пусто. Крикнул — не ответили. Вернулся. Пошёл в третьем направлении — пусто. В четвёртом — пусто. Может, не доходит? Может, укатило ветром много дальше, чем кажется? Савелий поправил площадку с изломанным снегом, вытоптав её ещё больше, пошёл опять, шаги мерил, ноги вдавливал. Куда его катануло? По ветру? По ветру, конечно. Что ж тогда не находит сани? Он вернулся. Постоял, спиной ветер почувствовал, ровно по ветру стоит?..

Здесь порыв ударил так, что Савелия вначале согнуло пополам, он упёрся руками в снег, ветер ударил вторично и Савелия прокатило по снегу дальше... куда дальше? Он поднялся на колени, стал искать площадку, проломы в снегу — ничего. Снег здесь был ровный, чистый. Теперь и ту площадку потерял.

— Эй, — сказал он куда-то вверх, — вы чего там? Лёха как...

Ветер попробовал ударить в третий раз, но Савелий удержался, потом плюхнулся на снег ничком и так лежал какое-то время. Когда порывы прошли, он поднялся, стал оглядываться. А что оглядываться? По привычке? Куда идти? Надо искать ту площадку, что вытоптал, надо искать её быстрее, иначе заметёт её, а не найдёшь площадку эту, и Лёхе конец.

Савелий достал таблетку сухого спирта. Как поджечь спирт, чтоб не потух на ветру? Надо ему какую-то защиту, совсем маленькую, лёгкую защиту, чтобы порывом пламя не сорвало... надо... Савелий похлопал себя по карманам... А что хлопать-то? Что там может быть такого в карманах, чем можно уберечь пламя от ветра?

Выход нашёлся сам. Легко и просто. Савелий просто выкопал перочинным ножом маленькое углубление в насте снега, положил внутрь таблетку, поджёг её от зажигалки. Пламя огня заколыхалось, стало разгораться. Савелий хотел руки обогреть, да времени не было, пурга мела, следы заматало. Он выждал пару мгновений, когда порывы ветра вновь спали, поднялся и пошёл обратно, против ветра ровно. Где-то здесь... где-то здесь... Обернулся пару раз — горелка его в ночи пуржиной сияла неземным огнём тепла и жизни. Где-то здесь... Савелий встал на четвереньки, стал искать, словно пёс, чуть ли не вплотную к насту лицом. Вот!.. Вот пролом от его ботинок! Куда? Сделал пару шагов в сторону и нашёл то, что уже осталось от его вытопанной площадки — лишь штрихи от ударов подошвы ботинок. Теперь от неё дальше против ветра... Стоп! Савелий вновь выкопал ножом углубление в насте, поджёг ещё одну таблетку спирта, опустил её в снег.

Озираясь чуть ли не ежесекундно, пошёл на ветер. Сделал свои десять-пятнадцать шагов. Пусто. Посмотрел назад — огонь прорывался светом сквозь месиво пурги слабо, но видно его было. Савелий плонул и пошёл дальше. Через пять шагов наткнулся на сани... Есть! Вот он, друг Лёха, вот его друг Лёха! Никогда бы Савелий не подумал, что может обрадоваться чужому человеку, да ещё в той ситуации, когда этот чужой человек вполне может его погубить своим беспомощным присутствием рядом. Что ж за жизнь такая?.. А? И главное — мясо ведь потерял!..

Он упал перед Лёхой на колени, откинул брезент, Лёха на это открыл глаза.

— Ага, — сказал Савелий, — ну да... Я тут это... Нельзя одному никак, понимаешь?

Он тащил сани дальше с упорством человека, который знает, что делает. Он тащил сани, опять ничего не соображая, не понимая, не чувствуя даже боли в плечах, не чувствуя холода, усталости, не видя перед собой ничего, кроме наста под ногами... только под ногами и не дальше. Савелий шёл. Сани обречённо и безвольно тащились за ним. На санях безвольно лежал человек, жизнь которого стоила сейчас ровно столько, сколько Савелий мог сейчас вытянуть, сколько мог выдерживать.

Он достал телефон, глянул на дисплей — три часа ночи. Сети нет. Светает где-то в шесть... ещё три часа, три часа... А что — три часа, что ему даст рассвет?.. Похоже, сейчас будет спуск, слишком долго пришлось упираться, выходя на верх подъёма тундры. В темноте это не видно, в пурге это не видно, но тащить было тяжело и, наконец, сани свободно заскользили следом.

— Что, не видно города? — услышал он едва-едва от тюка на санях.

Быстро подошёл, откинул брезент. Лёха был живой, в сумраке ночи моргал глазами.

— Метёт, собака, — ругнулся Савелий, — пять метров, дальше — стена.

— С пути не могли сбиться?

— Ветер в спину был. Перемениться не мог. Рановато ему... Да ты не гоношись... вытяну.

— Савелий, — как-то вкрадчиво, слабым голосом спросил Лёха, — ты русский, да?

— Почему? — удивился Савелий и даже как-то глазами, запылёнными снегом, заморгал.

— Русские своих не бросают.

— А-а, — промычал он, — ну да... Тогда русский. — Помолчал и добавил: — А так я хохол... украинец, вроде. С Полтавы.

— Спирт как?

— Берегу.

— Пьёшь как?

— Глотками.

— Да нет... Помощи просишь?

— Что? — Савелию показалось вначале, что он ослышался, потом подумалось, что Лёха начал бредить.

— Когда пьёшь, у духов неба и тундры надо помощи попросить, — сказал Лёха.

— К-как это? — запнулся Савелий.

— Так. На полном серьёзе.

Савелий смолчал, чтобы не обидеть Лёху ненароком. Состояние у обоих всё же было не очень здоровое. Потом глянул вокруг себя, ничего не увидел, чуть насмешливо спросил:

— И что просить надо? Вездеход, вертолёт или машину “скорой помощи”?

— Да то, что они тебе дать могут, — сказал Лёха.

Савелий сел на снег рядом с Лёхой, достал фляжку, самому себе так и сказал — сейчас, что ни делай, хуже не станет. Отвинтил пробку, фляжкой на вытянутой руке чуть взмахнул, как в приветствии, и крикнул, что было мочи вверх:

— За духов неба и тундры! За духов неба и тундры, слышите?! За вас! Дорогу покажите? Город мне покажите? Город!!!

Встал на ноги, глянул по ветру, куда шли. В темноту полную, в крошечную темноту, в стену снежную.

— Город!!!

— Тучи сносит, — донеслось от Лёхи.

И внезапно стихло. Как-то по-сказочному стихло на мгновение, словно кто-то дунул и снег сошёл. Снег сошёл вместе с ветром куда-то вниз, темнота осталась, а снег растворился. Это длилось мгновение, это было неестественно красиво. Пурга мела, а перед ними вспыхнул огнями город Воркута. Вспыхнул так, словно Савелий на горе стоял, а город под ним расстился. Вспыхнул на секунду в просветлении пурги, вспыхнул, как оазис в пустыне снега, холода и мрака и пропал тут же.

— Город! — заорал Савелий, безумно смотря перед собой в стену снежную бушующей пурги. — Город, мать вашу!

Ухватил сани и побежал вниз с подъёма.

Бежал Савелий так, что сани дёргались от его рывков, словно лодочка, привязанная за большим кораблём. Иногда сани, срываясь с места, догоняли его и били по ногам. Савелий ничего не чувствовал, ничего не соображал. В голове сидела картинка светящегося перед ним города, картинка жизни и спасения. Ветер выл ещё сильнее, стегал порывами резче, крутил снег ещё гуще, беспросветнее, словно испугался, что Савелий убежит сейчас от него.

Город! Савелий видел город! Тот самый город, в котором прожил уже столько лет и никогда даже подумать не мог, что этот город так красив и привлекателен, так уютен и удобен для жизни. Он светился в ночи, как самый очаровательный и неповторимый город на Земле. Он вспыхнул в ночи, словно звезда на тёмном небе, словно яркий месяц после чёрной и непроглядной грозы в поле, как это было у него в Полтаве... далёкой Полтаве, где ночью без месяца на небе никуда...

Савелий достал фляжку, приложился ещё на пару глотков, закусывать не стал, не до закуски сейчас... Дойти! Надо дойти! Они уже рядом, уже вот-вот...

Савелий упал... Упал не потому, что запылся. Устал. Организм выдохся, сердце заходило, стучало так, словно выскочить хотело. Секунды он лежал, шептал тихо — не спать, не спать, не... Что-то толкнуло его в ноги, Савелий очнулся, открыл глаза, повернулся... Сани стояли рядом, уткнувшись ему своим носом в ботинки. Сани, что... ехали до него три метра столько времени?

— Сава! — позвал Лёха. — Не спи! Я звуки слышу...

— Что? — Савелия кто-то стеганул плетью, он поднялся, тут же склонился над Лёхой, отвернул брезент. — Какие звуки? Где?

— По металлу стучат, — сказал Лёха, тихо шевеля бескровными губами, — это вокзал, Савелий, это путейцы по колёсам... своими молотками... Вот, слышишь?

Савелий не слышал, но Лёхе он поверил. Он бы не поверил, если бы не видел перед собой в низине город, светящийся огнями город. А так — поверил. Город был, они идут с юга, с юга у города находится вокзал. Город, город... Темно как. Быстрее бы рассвет, темнота давит, сознание работать не хочет, быстрее бы рассвет!

Через полчаса город не появился. Савелий достал телефон, проверил сеть — сети не было, телефон показал ему четыре часа утра.

Снежная кутерьма под утро не утомилась. Савелий отчего-то вспомнил море... Чёрное море, где он обычно отдыхал с семьёй летом. На море как-то утром всегда тихо, спокойно, штиль... почему море?... В Полтаве тоже есть снег, даже метель может быть, но такого снега, как здесь, нет... Если сейчас снег убрать, то окажется, что Савелий висит в воздухе метрах в пяти от земли... Наметает в Большеземельской тундре около пяти метров снега за зиму, — вспомнилось ему. Откуда это? Читал? Слышал по радио? Телевизор? Интернет? Да нет же — обычная газета.

Пот катил ручьём по лицу, по телу. Савелий опять внезапно ощутил, что ему жутко холодно, что он идёт вперёд с закрытыми глазами, что он где-то потерял свой шарф, потому что на груди подбородком не чувствовал его узел... он ведь завязал его так вот на груди... завязал и узел этот постоянно задевал его подбородок... теперь нет... потерял шарф... шарф жалко... он денег стоит...

Если сейчас бросить сани — он дойдёт точно! У него сил ровно на двадцать две минуты, дальше всё! Сон. Холод. Забытьё.

Если сейчас бросить сани — он выживет и дойдёт до города, а там он расскажет, где сани... Найдут? А леший их знает, как они ищут?

Если сейчас бросить сани — город станет реальностью. Он увидит свет, он выйдет в город, на город, к городу... он достигнет... дети, жена... да нет же... русские своих не бросают. Это откуда такие слова? Не помню. Ничего не помню. А Лёха русский? Свой?.. А разница?

Савелий упал носом в снег, упал носом в такой жёсткий наст, что от боли даже очнулся. Сел на колени. Смотрел бездумно, безучастно перед собой. Снежное молоко, больше ничего. Снежное молоко. То есть?.. Савелий вздрогнул, всмотрелся в даль. В голове застучала мысль — как молоко? Значит, белое? Значит... светает?... Достал телефон — сети нет как нет, часы показывают шесть утра... утро! Как это он не заметил? Пока размышлял, как он будет здесь сани бросать, рассвет пришёл?

Его била лихорадка от боязни, что свет сейчас исчезнет, что ему показалось, что часы врут, что он просто уже уснул и это предсмертный бред... Но свет не исчезал. Стали проглядываться вихри снега на метры перед ним. Рассвет. И здесь, словно возглашая рассвет, где-то не так и далеко ударил колокол... Колокол ударил тонким звуком, словно колокол был маленький и звук был тоненький, короткий такой... А разве у колокола может быть короткий звук? Савелий замер. Вновь ударил колокол... Он поднялся и пошёл на звук колокола. “Как так, — думал он, — мы что, уже в городе, возле церкви?..”

Сил не было никаких. Он пошёл без сил. Организм уже давно сдох, потому Савелий шёл на сдохшем организме. Глаза ничего не видели, он шёл на звук. Мозг сейчас мог выполнять только одну работу — переставлять ноги. Он и переставлял ноги.

Третий раз колокол ударил совсем рядом, Савелий поднял голову, всмотрелся и в прорывах пурги, в десяти метрах от себя увидел... тепловоз. Тепловоз... тёплое слово. За ним вагоны. Рядом стоял путеец и молотком на длинной ручке стучал по колёсам... И что ему пурга?..

Какие-то мужики тащили Савелия под руки куда-то через пути, какие-то мужики, охая и ахая, тащили за ними сани с Лёхой, как-то быстро наплась машина, большая какая-то машина — грузовик, автобус?.. Какой-то голос слева молвил:

— Тихо, тихо тащи, телефон у него выпал, подыми вона... сунь в карман.

Голос справа молвил в ответ:

— А что ж он МЧС не набрал?..

Голос слева:

— Так вышка же грохнулась у сотового?.. Забыл?

Только погрузились, только сели куда-то на лавку, только глаза Савелий закрыл — надо выходить. Где мы? Куда приехали? Домой? Савелий сам спуститься с машины не мог. Помогли, повели куда-то... коридор... Он закрыл глаза, его посадили в кресло в коридоре, он что-то постоянно им всем говорил: “Я в порядке, устал очень... Лёха... Лёху гляньте, у него голова...”

Лёху унесли на носилках. Брезент и куртка Савелия остались лежать на санках, которые внесли с Лёхой в приёмный покой. Савелий остался один. Совсем один. Он достал фляжку, отвинтил крышку, хлебнул крепко. Достал сало и хлеб, закусил прилично. Сознание вернулось мгновенно.

Он был в городской больнице номер один. Он сидел в коридоре приёмного покоя. Напротив него лежали его санки с брезентом, на них куртка. Савелий хлебнул ещё раз спирта, ещё раз закусил, лёг на санки и через секунду спал беспробудным сном.

ИРИНА ВИНОГРАДОВА



КРИВАЯ ДОРОГА ЖИЗНЬ

РАССКАЗ

— У-у-у, мамаша, что ж так затынула-то? Тазовый у тебя, давно ехать надо было! Чего орёшь теперь? Тужься давай! Оп, оп, и — р-раз, и — р-раз, пошла, бабочка, пошла, родимая!

В больнице пахло хлоркой и чем-то неуловимо сладким; лицо сельского фельдшера, похожее на ноздреватый блин с очками, расплывалось пятном; сознание то отключалось, то снова прояснялось, и тогда через грязное оконное стекло считывались буквы вывески напротив: “Ногликская поселковая больница”. Срываясь то на визг, то на рык, вошла Маня. Наконец охрипла и замолчала. Безразлично жужжала муха.

— Ну, мамаш, мальчик у тебя. Чего ты?

— Чтоб он сдох!

— Дура! У него и так всё через задом наперёд началось!

— Чтоб он сдох, — упрямо повторила Маня.

Зудел тихий писк — переживший три вытравки ребёнок здоровался с миром. Жизнь, скривившись, глянула на склизкий комок. Словно обидевшись на то, что в неё вошли задом наперёд, достала из-под полы кривую дорожку. Вот ты как? Ну, гляди, недотыкомка, я в долгу не останусь.

Сына назвали Валерий, по-свойски Валя. Младший из трёх братьев получился маленьким, слабым и косым на один глаз. “Живучий, чёрт”, —

ВИНОГРАДОВА Ирина Геннадьевна родилась в Орехово-Зуево в 1973 году. Окончила Орехово-Зуевский педагогический институт (филолог) и Российский государственный гуманитарный университет (искусствовед). Живёт в Москве. Методист, экскурсовод. Автор серии путеводителей “Взгляд с теплохода”. Печаталась в журнале “Пашня”, сборниках “Вы Долматов? — Приблизительно!”, “Крымское приключение 2021”. Дипломант премии “ДИАС-2022”, победитель межрегионального конкурса (проза) “Золото русской литературы-2022”.

не скрывая злости, шипела мать. А он виновато улыбался. С малых лет ухаживал за скотиной, ходил в ночное, учился и мечтал. Мечтал строить большие города и давать людям свет. Но началась война. Друг за другом ушли на фронт отец и богатыри-братья.

— Держись, Валька! На тебе мать и дом. Головой отвечаешь!

Слабые руки последыша стали на вес золота. Кабан Борька, корова Зорька, мамка Манька, дом, двор — всё вытащил на себе младший сын. В 1945-м вернулись домой мужчины. Все вернулись. То-то голосила Маня от счастья!

— Красавцы мои! Намучилась я без вас, всё сама, всё на себе!

Валя молчал и виновато улыбался...

— Ну что, малец, не передумал города строить? — отец раскурил трубочку. — Дом я затеял новый ставить. Братья разлетелись, так что нам с тобой придётся. Как думаешь, осилим?

— Думаю, осилим, — сын примостился рядом на крылечке. Урчал старый кот, пахло навозом, скошенной травой, табаком и поднявшейся влагой. Последний добрый вечер лета. На следующий день Валя неудачно поднял ведро с цементным раствором и, охнув, медленно осел. Старик фельдшер, как мог, вправил грыжу, но на ноги парень встал только через год...

— Никуда не пуцу! Старшие далеко, отец старый. Дома останешься, невесту сыщем, — подбоченясь, наступала мать. — Хозяйство надо держать, а учёба твоя — тьфу, баловство одно.

Вступились братья. Приехали и решили: быть младшему учёным человеком, не зря же он в школе за них задачи решал. Маня сдалась.

— Да ну вас, черти окаянные! Пусть едет.

Валя счастливо улыбнулся...

Женское общежитие Южно-Сахалинского техникума возмущённо гудело:

— Совсем ополоумела! На кой тебе этот косой? Ещё и маленький! Каблуки не наденешь!

Нина молчала, без нужды переплетала толстую косу и уходила вечером на свидание. А немного погодя и совсем ушла.

Ради неё Валя решился на операцию — под местным наркозом выровнял глаз у районного эскулапа.

— Красавец мой! — только и выдохнула Ниночка.

Для счастья было всё: работа, наивные планы и свой угол в бараке, построенном ещё японцами. Но в 1953-м дальневосточный городок наводнили уголовники. Валя с Ниночкой уже подходили к дому, когда на пути встал расхристаный громила с мутными глазами.

— Ох ты, какая! — Он притянул девушку. Откуда взялись силы в хилом Вале? Как этот недотыкомка смог справиться с матёрым уркой? Как поднялся после удара?

— Не место нам тут! — Ниночка металась, лихорадочно собирая пожитки: пальто, туфли, сковородка, чашки — не забыть бы чего! Вскоре с двумя чемоданами и годовалой дочкой Леночкой они уже тряслись по узкоколейке, потом плыли морем, опять тряслись; проехали через всю страну и осели в Подмоскowie...

— Видала, какие примачи у нас тут?

— Ага! А этот каков! Мой ему по-соседски: пойдём мол, чекушку раздавим! Так ни в какую! “Не пью”, — говорит.

— Ничё, запьёт, ещё и за опохмелом побежит, — лужгая семечки, лениво переговаривались соседки.

— Ну, почему они такие злые? — у Нины тряслись губы. Валера ласково улыбался и гладил её округлившийся животик...

— Дорогие товарищи! Перед нами поставлена ответственная задача помочь трудовому народу Египта в запуске энергетического комплекса! Есть решение

отправить в дружественную страну товарища Разживина! — партсекретарь рубил ладонью воздух и отчаянно брызгал слюной; обведя глазами зал, первым захопал. Волна одобрения пошла по рядам. Только один человек тихо сидел, растерянно улыбаясь: как же девочки без меня?

Нина разогревала картошку с салом на общей кухне:

— Валюш, что ты?

— Посоветоваться надо. Дочи спят?

Семейный совет собрали в вечно сырой комнате, за круглым столом. На потёртой клеёнке стояла таганка с картошкой, графин с водкой и две стопки. В гранёном стекле отражался тревожный красный глаз абажура.

— Ничего, — Ниночка выпрямилась, хлопнула себя по крепким коленкам. — Выдохим.

Полтора года африканского пекла, ленивый египетский народ и провокации англичан. Горячее время. Острый арабский кинжал однажды чуть не поставил точку в этой истории. “Здравствуйте, мои девочки! У меня всё хорошо. Скоро приеду!” Домой Валерий вернулся загорелым, с глубокой морщиной на лбу, шрамом под правой лопаткой и чемоданом драгоценностей — причудливых морских ракушек.

— Никуда больше тебя не отпущу!

— Да я и не поеду, хватит, — устало улыбнулся Валера.

После Египта получили квартиру, проходную двушку. Не бог весть что, но в сравнении с подвальной комнатой — дворец. Купили машину...

— Пап, училка сказала, что мне четвёрки хватит, остальное достанешь. И что ты буржуй, сказала, — Леночка рыдала от обиды.

— Ты прости её, дочка, у неё, наверное, неприятности.

— Ага. И ещё она дура, — встряла младшая Наташка, сосредоточенно отрывая болячку с коленки. — Не реви! Поступишь в институт, она заткнётся!

— Наташа, так нельзя про взрослых.

— Да лан, мам! Она ж дура! А Ленка — вон какая умная!

Отец молчал и улыбался. Взрослеют дочери.

Так и жили. Зимой ходили на лыжах; летом на “Москвиче” катались, пока из-за крутого поворота не вылетел шальной грузовик. “За руль не пуцу!” — заявила Ниночка, когда Валера вышел из больницы. Машину продали.

Жизнь неспешно шла дальше. Вышли замуж дочери, родилась первая внучка, Кира.

— Опять девка, — удивился молодой дед.

Для всех, кроме Ниночки, он уже был Валерием Николаевичем, директором большого энергетического предприятия. Появился домашний телефон, служебная машина, но прибавилась забота о постаревшей родне.

— Надо бы к моим съездить, что-то плохо там, — задумавшись о братьях, Валерий кинул ластик кошке Маньке. Манька фыркнула, но ластик принесла...

Похоронив последнего брата, Николаич потемнел.

— Всё, кончились мужики в моём роду. Один я остался. Кирюш, роди хоть ты пацана, а?

— Рожу, дед. Обещаю, — внучка гордо выпятила живот. Валерий тихо улыбнулся.

Подошла к концу жизнь. Пропетляв почти восемьдесят лет, взмыла ровной дорогой к облакам...

— Баб Нин, а Расскажи про деда! — Валя-младший болтал ногами и так знакомо улыбался!

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВ



ГОРОДОК В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННОЙ

РАССКАЗ

Шестидесятые годы двадцатого века. Юг Западной Сибири. Первый лёд сковал небольшое озерцо на окраине военного городка и, кажется, надёжно отделил водную стихию от воздушной вплоть до весны. Но мне сегодня придётся нарушить эту природную гармонию разобщённости. С помощью обрезка металлической трубы я проделываю прорубь в ещё не очень крепком ледяном панцире. Вода, подо льдом впитавшая в себя мрак глубины, изливается наружу, неожиданно оказываясь кристально прозрачной и оттого создавая впечатление безжизненной. Но это только кажется...

Я опускаю в прорубь сачок — прямоугольную проволочную рамку, обшитую тканью капронового чулка и надетую на деревянную жердь. После нескольких энергичных движений достаю и внимательно рассматриваю оружие лова. Коричневый копошащийся налёт на тонкой ткани — это водяные блохи, дафнии. Это и есть цель моего похода к заболоченному озерцу.

Тогда мы ещё не читали красивых слов Экзюпери о тех, кого приручили, но и без того прекрасно знали не подлежащий обсуждению закон: наши домашние питомцы — кошки, собаки, черепахи, рыбки — должны быть сытыми и ухоженными!

ВЛАДИМИРОВ Александр Юрьевич родился в 1955 году в немецком Магдебурге. Закончил педагогический факультет Новосибирского высшего военного-политического училища, Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Служил на офицерских должностях в Вооружённых Силах. Преподавал философию, историю и теорию художественной культуры в ряде военных вузов. Подполковник запаса. Публиковался в журналах "Огни Кузбасса", "Гуманитарные проблемы военного дела". Живёт в Москве.

Вновь и вновь вытряхиваю свой улов в литровую стеклянную банку, наполненную водой, и прекращаю свой промысел, когда от множества дафний вода в банке становится тёмно-коричневой.

Дышу на ладони, покрасневшие от мороза, бросаю взгляд на прорубь, уже подёрнутую ледяными прожилками, и с чувством исполненного долга направляюсь домой. Неспешно иду по ещё спящему военному городку, который по современным градостроительным нормам можно назвать спальным районом. Одноэтажные, почти одинаковые, как костяшки домино, ДОСы (дома офицерского состава) аккуратно расположены на плоской площадке у подножия пологого холма. Ноябрьский мороз и безветрие за ночь оставили в воздухе берёзовый дым с лёгкой примесью угольной терпкости. Над каждым домом — две печные трубы, по количеству проживающих семей, около домов — по два обнесённых низким штакетником небольших участка земли с замёрзшими остатками огородной растительности.

“Унылая картина”, — заметил бы сторонний наблюдатель. Но мы, мальчишки военного городка, свято верили, что именно здесь находится центр мироздания! И естественный, как свет, воздух и земля, детский эгоцентризм каждый день вновь и вновь убеждал нас в незыблемости этой аксиомы. Мы не знали, что такое уныние и скука, и лишь к концу длинного, как целая жизнь, дня, уже засыпая, слегка сокрушались о чём-то не сделанном или упущенном сегодня. Наступал новый день — и жизнь, полная событий и удивительных открытий, продолжалась.

Летом мы уходили к подножию холма, где копали довольно глубокие пещеры. В этих катакомбах мы дневали и ночевали — хотя сейчас одно воспоминание о том, что над тобой находились десятки тонн ничем не укрепленного грунта, приводит в трепет. На кострах пекли картошку, иногда бросая в те же костры найденные патроны, коих в военном городке было немало. Взрывали бутылки с карбидом, взятым на стройке. На костре мы плавил свинец, добытый из старых аккумуляторов, и заворожённо, с восторгом первооткрывателей, смотрели, как в жестяной банке решётчатые пластины серого металла оседают и превращаются в трепещущую серебристую жидкость. Курили трубки из стеблей подсолнуха, набиваемые высушенными листьями, стреляли из рогаток и самодельных луков, делали из фотоплёнок дымовые пашки...

Главными же домашними увлечениями подрастающего поколения в нашем центре мироздания были коллекционирование марок и разведение аквариумных рыбок. Распространение этих увлечений в ребячьем братстве носило характер мгновенных эпидемий: стоило заболеть лишь одному — подхватывали почти все вокруг. При всей внешней несхожести в этих занятиях был общий корень. Маленькие цветные прямоугольники с зазубренными краями, эти визитные карточки разных государств, листки календаря всемирной истории, также, как наши скромные аквариумы, служили своеобразными окнами в огромный манящий мир за рамками обыденности. Аквариумные рыбки были действительно под стать маркам: маленькие, яркие создания, почти все — посланцы дальних земель, точнее — морей. Осознание того, что за окном завывает сибирская пурга, а родственники твоих питомцев прямо сейчас плавают среди коралловых рифов Полинезии или возле затонувших бригантин Карибского моря, будоражило воображение.

Если два этих занятия носили добровольный характер, то занятия музыкой были своеобразной повинностью нашего поколения. Мысль о том, что каждый человек есть кладёзь талантов, была возведена в ранг аксиомы и обсуждению не подлежала! Поэтому в жизни большинства сверстников неминуемо наступал момент, когда он должен был сделать судьбоносный выбор — фортепиано, баян или скрипка. На этом свобода выбора заканчивалась.

После родители брали за руку свое чадо и вели на прослушивание в музыкальную школу. Тот, кому не удавалось скрыть зачатков музыкальных способностей, кто попадал голосом в нужные ноты и более-менее точно вслед за экзаменуемым педагогом отстукивал карандашом ритм, зачислялся на курс обучения музыке. Молодому рекруту был положен набор из нотных тетрадей, сборника этюдов, учебника сольфеджио и огромной чёрной папки

с чёрными же витыми верёвочными ручками и профилем гения русской музыки Петра Ильича Чайковского. Не знаю, был ли в этом тайный замысел творцов новой социальной реальности, но размер папки начисто исключал возможность её переноски внутри школьного портфеля, и поэтому причастность к музыкальному сословию была видна издалека.

Нельзя сказать, что занятия музыкой у дворовой братии считались совсем уж постыдным делом, но обладателям папок доставалось солёных шуток куда как больше от лишённых музыкального слуха лидеров общественного мнения, чем другим. А сами папконосители стоически сносили иногда весьма обидные подначки и искренне недоумевали, почему девочки проявляют свою благосклонность не к ним, виртуозам арпеджио и сольфеджио, а к хамоватым пацанам, способным дерзко стащить никому не нужные огурцы из соседского огорода или ловко вколотить футбольный мяч в ворота соперника. Хотя справедливости ради надо сказать, что грядущая музыкальная революция под знамёнами “Битлз” и “Роллинг Стоунз” всё же воздаст мученикам по заслугам, и на улочку их тщеславия придёт долгожданный праздник признания...

Неуёмная мальчишеская фантазия моментально превращала доступные предметы в атрибуты наших занятий. Так денежная реформа начала шестидесятых годов, сменившая “сталинские портянки” на гораздо меньшие по размеру “хрущёвские фантики”, сделала нас обладателями множества больших кошельков. Люди освобождались от старых лопатников, в которых маленькие купюры чувствовали себя сиротливо и вызывали у людей нездоровое ощущение какого-то тайного подвоха со стороны государства. Вдоль забора военного городка проходила дорога, по которой натужно рычащие большегрузные автомобили везли кругляк на лесопилку.

Какая, спросите вы, связь между кошельками и лесовозами? Самая непосредственная! Большой, блестящий, пухлый от набитой внутрь бумаги кошелек привязывался к леске и забрасывался на дорогу. Резкая остановка лесовоза сопровождалась громким звуком тормозов, похожим на трубный рёв потревоженного слона. Выскочивший водитель с резвостью молодого золотоискателя залезал под свою машину, затем отъезжал на метр и снова тщетно искал кошелек — до тех пор, пока счастливое ржание молодых шутников за забором не возвращало его из мира грёз на вымощенную булыжником дорогу.

В центре военного городка (а следовательно, и в центре мироздания!) находилось футбольное поле — место баталий, выяснения отношений, головокружительных взлётов и горьких разочарований. Поле с самодельными воротами представляло собой прямоугольную площадку с остатками чудом сохранившейся травы. Края поля были очерчены неглубокими канавками, засыпанными известью или мелом. Эта граница отделяла футбольное поле от всего остального мира. Там, за его пределами, оставались наши отцы, внимательно следившие за игрой своих отпрысков, девчонки, старавшиеся изо всех сил показать, что происходящее на поле их абсолютно не волнует, да наши младшие братья с округлившимися от восхищения и нетерпения глазами. Здесь же совершенно бесконфликтно лежали школьные портфели вперемежку с папками для нот.

Каждый решивший ступить на поле становился фигурой публичной и терял право на слабость, малодушие и даже секундную гримасу боли. Кровь, иногда появлявшаяся на лицах и телах, ни в коем случае не была поводом для отказа от игры: ссадины тут же присыпались мягкой пушистой тёплой пылью, которой летом на дорожках имелось в избытке. Матчи продолжались вплоть до той поры, когда темнота уже скрывала мяч и размывала очертания футбольных ворот.

Такой нещадной эксплуатации спортивный инвентарь долго не выдерживал. Поэтому самым желанным подарком для всех мальчишек на день рождения был футбольный мяч со шнуровкой из сыромятной кожи. Мяч с ниппелем являлся редкостью, да и стоил вдвое дороже. Подготовка к предстоящим играм носила ритуальный оттенок: в покрывку мяча, натёртую для увеличения срока службы рыбьим жиром, вставлялась чёрная резиновая камера

с длинным соском и накачивалась насосом. Сосок перетягивался, как пуповина, суровой нитью и заправлялся внутрь кожаной сферы. Тонкая кожаная шнуровка с помощью специального приспособления, именуемого шнурователем, вставлялась в дырочки и надёжно стягивала края прорези для камеры. Мягкая и податливая полоска сыромятной кожи, неоднократно побывав в лужах и высыхая впоследствии, приобретала прочность стальной проволоки и форму грубого хирургического шва. Частенько этот шов фотографически точно и надолго отпечатывался на лицах участников футбольных баталий, не успевших пригнуть голову перед стремительно летящим снарядом. Отпечаток шнуровки на лбу или щеке носился с гордостью и воспринимался окружающими как символ мужества и стойкости, как орден на груди ветерана или клеймо знаменитого мастера на музыкальном инструменте.

По окончании футбольного сезона приходил черёд хоккея. Да, это были те времена, когда хоккей с шайбой приобрёл черты национальной религии. Подробности последних ледовых поединков и результаты матчей передавались из уст в уста с телеграфной скоростью, биографии хоккеистов мы знали наизусть. Прямых телевизионных трансляций матчей международных чемпионатов почти не было, и мужчины поздно вечером (ведь разница сибирского времени с европейским составляла шесть-семь часов) собирались у кого-нибудь на кухне вокруг чуда радиотехники тех дней — приёмника “Спидола” производства Рижского завода ВЭФ. И если на следующий день не было занятий в школе, мальчишкам тоже разрешалось наряду со взрослыми послушать радиотрансляцию долгожданного “ледового побоища”. Наши детские души наполнялись благоговейным трепетом, а сердце выскакивало из груди, когда через треск эфира прорывался пронзительный, чуть “треснувший”, но такой родной голос Николая Озерова: “Внимание! Внимание! Говорит Любляна! Начинаем трансляцию с чемпионата мира по хоккею с шайбой!”

А после аккордов звучавшего уже под утро советского гимна мы вместе с подобревшими отцами ещё долго не расходились по домам, а потом не могли уснуть от расправившей нас гордости за страну и ощущения сопричастности к очередной победе.

С первыми морозами мы вёдрами таскали воду из ближайшей колонки и заливали футбольное поле, как могли. И хотя ледяная площадка получалась неровной, с наплывами, нашей радости не было предела. Из кладовок доставались коньки разных конструкций, клюшки — по большей части самодельные, из старых валенок мастерились щитки.

Правда, на этой площадке неизменно, год за годом, мы проигрывали неборимой силе, имя которой — сибирская зима. В период снегопадов, когда почти каждое утро жители одноэтажных ДОСов буквально откапывались из-под снега, чистка хоккейной площадки становилась делом малоперспективным. Едва мы, как археологи, доходили до хоккейного “культурного слоя”, снег, падающий с неба или кочующий с ветром через необозримые просторы равнинного Алтая, снова метровым слоем укрывал нашу площадку...

А в тот ноябрьский день снег не шёл, и я с банкой дафний довольно быстро добрался до дома.

Вечером того же дня у нас дома звенел праздник, и гости засиделись допоздна. Меня с моим другом, после долгих препирательств и уговоров, отправляют спать. Мы лежим в соседней комнате, затаив дыхание и впитывая разговоры, интонации, шутки. Вскоре отец садится за привезённое из Германии пианино, и звучат песни. Мы, опьянённые сладким ощущением причастности к близкому, как никогда, взрослому миру, даём друг другу клятву не спать до утра — и, конечно, вскоре засыпаем с ощущением полного счастья и лёгкой досады на то, что лучших на земле женщин уже забрали наши отцы!..

Утро встречает наше пробуждение матовым серо-серебряным светом из окон, потрескиванием дров в уже растопленной кем-то печи и ароматом варёной картошки.

Уязвленные тем, что проявили малодушие и уснули задолго до утра, мы с другом отводим взгляды и молчим. Наше смущение не длится долго:

я вспоминаю, что нужно покормить рыбок. Однако на подоконнике я обнаруживаю пустую литровую банку. Лишь на самом её доньшке в остатках воды копошатся дафнии, и это является бесспорным доказательством того, что это именно та банка, в которой я вчера принёс двухнедельный рацион для своих питомцев.

— Мама, — с обидой кричу я, вбегая на кухню, — где дафнии для рыбок?

За кухонным столом почти в полном составе заседает вчерашняя компания. На чуть покрасневших лицах — счастливые улыбки и полное непонимание моей проблемы.

Я пытаюсь объяснить:

— В комнате на подоконнике стояла банка с живым кормом для рыбок — зачем вылили?

— Какие дафнии? Какой корм? — недоумённо спрашивает отец моего приятеля. — Признаюсь: квас я выпил рано утром. Холодный... Густой... Вкусный...

Каждое слово, будто в конце грустной истории, он произносит тише предыдущего, а “вкусный” тонет в дружном хохоте сидящей за столом компании.

АНАСТАСИЯ КОВАЛЕНКОВА



ЛАСТОЧКА

РАССКАЗ

Бельё у нас всегда ходили полоскать на речку, под церковь.

Церковь на высоком берегу стоит, вокруг неё река поворот делает, течёт густо, с быстринами и водоворотами. Чёрная утоптанная тропинка начинается на погосте и вьётся среди лип до самого низа, до травяного бархатного пляжика. Вот там мосточки есть, специально для этого. Иногда сносило их паводком, иногда опоры подгнивали... А мужики опять восстанавливали, куда ж без них?

Я тоже сюда хожу.

Вот и стою, нагнувшись, простыню в воде кручу. Она жгутом завернулась, а я её — то в одну сторону поболтаю, то в другую, а то выдерну из воды, встряхну и снова... Солнце, брызги летят, руки занемели, не поймёшь — горячо ли, холодно?! Здорово!

Но устала. Отжала кое-как, шмякнула в корзину, разогнулась.

Течёт река, налитая ровной силой, чешет, как гребнем, длинные пряди водорослей, чуть журчит, завиваясь вокруг коряг у того берега.

Та сторона плоская, поля лежат в мареве тёплом.

— Да кто ж так отжимает?!

Обернулась, а на берегу, на брёвнышке, Наталья Никаноровна сидит. Не видела я, как она подошла.

КОВАЛЕНКОВА Анастасия Сергеевна родилась в 1968 году в Ленинграде, но всю жизнь живёт в Москве. Окончила Московское художественное училище, отделение графики. Публикуется с 2011 года. Автор книг "Тапки", "Красный дом", "Капля", "Полосатый", "Мышонок, который там", "Хорошие люди". Лауреат премии "Образ книги" Агентства по печати и массовым коммуникациям, а также премии имени В. П. Крапивина. Книги Анастасии Коваленковой переведены и изданы в Италии, Франции, Арабских Эмиратах, Хорватии.

— Да уж я как могу...

— Да оно и видно, — она ухмыльнулась. — Давай помогу. А то ведь попреки домой попрёшь.

Наталья Никаноровна оперлась руками о коленки, резко встала и пошла по мосткам. Лёгкая походка у неё! И с виду — не старуха, а вроде старой девушки. Грузного в ней нет, талия вот, осанка... Только лицо на подмёрзшее яблочко похоже, и то глаза из морщинок глядят лукаво, молодо.

Правда, побаиваюсь я её, характер у Натальи острый. Я же её с детства знаю, мы давно, ещё до того, как свой дом купить, у них снимали.

Выкрутили мы простыню в четыре руки, пошли на берег. Сели на то же бревно гладкое. “И чего она тут делала одна? — думаю. — Она же никогда сюда не ходит”. Правда, была в их семье такая странность: у всех бабы полощут, а у них — муж её, Егор. Ну, пока дети не разъехались, старшая дочь ходила. А потом только он. И вот что чудно, в деревне никто не судачил об этом, будто так и надо.

— Чего молчишь? — толкнула она меня в бок. — Думаешь, чё я тут забыла? А спросить боишься?

— Да, неловко.

— Вот и мне — неловко... — вздохнула Наталья. — Потому и сижу. В церкву вон ходила, хотела с батюшкой поговорить. Да застеснялась...

Тут только я сообразила, что на ней платочек новый и повязан под подбородком — так бабы только в праздник или в церковь повязывают. В обычные дни узел назад вяжут, под пучком на затылке.

— Не приученная я к церкви, мы ж без этого росли. Раньше, ещё в разваленную-то церковь, бывало, ходила. Встанешь посередке, небо над тобой, ласточки выются. Стоишь и говоришь, что на душе. А теперь вон как хорошо всё отделали. И батюшка сурьезный... Постояла я там да ушла. Тебе-то церква нравится? — она кивнула через плечо на храм.

— Да, хорошо сделали. Только уж слишком новая. — Я вспомнила, как мы детьми лазили на обваленные стены, поросшие берёзками. Стены широкие, и там, наверху, были травяные полянки с самой сладкой земляникой. — Ну, ничего, обтреплется немножко, привыкнем...

— Обтреплется... — повторила Наталья ровным голосом, задумчиво глядя на реку. — А обмелело-то как! — вдруг растерянно улыбнулась она и, тронув меня за колено, заглянула в лицо. — Я тут, почитай, лет сорок не была. Вот пришла... Такой уж нонче день, значит.

Станным было её настроение. Не похожа эта растерянность, эта доверчивая улыбка на ту жёсткую Наталью, которую знала я.

— Так тут глубоко было? Раньше?

— Глубоко... Глубоко. Кому ж, как не мне, и знать, как глубоко...

Наталья как-то жалко поморщилась, потом выпрямила спину и повернулась ко мне.

— Потому знаю, что утопилась я тут.

Кругом было много-много звуков. Вода журчала. Липы шуршали все разом от налегавшего тёплыми волнами ветра. Большая синяя стрекоза гудела, замерев над осокой. Задорной вереницей кружили ласточки высоко над деревней, словно катались по невидимому небесному кругу, и весёлый их щебет то приближался, накатывал до звона в ушах, то уносился туда, за огороды, к луговинам, чтобы снова нахлынуть через пару минут.

Из деревни — бляение козы, детский гомон и собачье тьяганье, обрывки радио — предвечерняя деревенская жизнь.

А у нас стояла густая тишина. Стояла и стояла.

И что мне делать? Не спросишь ведь.

Наталья молчит. Руки сложила ладошками, зажала их между колен в подоле юбки, чуть покачивается, на воду смотрит. Будто забыла про меня.

— ...Из-за любви топилась из-за несчастной. Из-за неё самой, — вдруг сердито резанула она. — А ты думаешь, только у вас в Москве любовь-то бывает?

— ...Это вы из-за Егора, да? — осторожно вставила я.

— Да куда там из-за Егора... Если бы... Из-за Витьки Зуба топилась я. Вот как.

Тут уж я онемела и уставилась на реку.

Витька Зубов был брат её мужа, Егора. Но так несхожи были братья, даром что родня. Егор — крупный, раздумчивый в движениях мужик совсем не деревенского вида: любил носить светлые просторные брюки, много ходил босиком, и меня поражали его ступни — длинные, точёные, как на иконах пишут. Смотрел он всегда задумчиво и как-то мимо — то ли вдаль, то ли внутрь себя. Был молчалив, но по-доброму, с мелькавшей из-под седых усов улыбкой.

Брат его Витька тоже высокий, но весь ломаный какой-то... Сухой, бесцветный, со злобным прищуром и крикливым голосом. Лицо у Витьки даже красивое, но острый подбородок, острый нос, излом бровей делали его похожим на осколок битого стекла.

Смертным боем бил Витька жену, тётю Люсю, да не по пьяни (это бы ещё понял народ), а в трезвом разуме. Огрызался на любого, что ни скажи. Вечно выскакивал из-за угла и бежал к тебе, выкидывая вперёд журавлиные ноги, и ещё на бегу кричал, матерился! Ведь старик почти, уж под семьдесят, а бешеный! Детвора его дом обходила, боялись. Злой он был, бессмысленно-злой, словно зуб на весь мир держал. За то и прозвали Зуб. Народ прозвища метко даёт, как клеймо ставит.

И вот из-за Зуба — топиться?! Тут уж замолчишь.

— Чудно тебе, что по такому сохла? — Она словно прочла мои мысли. — А он раньше знаешь, какой видный был! Это его жизнью искорежило. Подумать, так страшно. Что было, а что стало-то...

Наталья искоса внимательно глянула на меня и, что-то своё увидав, успокоилась. И заговорила, то перебирая складки юбки, то разглаживая их маленькими руками:

— Да. Видный был. Глаза зелёные, вот как трава речная... Волосы — волной, чернющие... Это он теперича бесцветный весь, как мокрица, злба из него цвет повывымыла. А в молодые-то годы — ой, беда девкам, какой был парень! Вот и попала я, дурочка молодая была, что понимала? Гармонь-то, трёхрядка, у него сама играла. Так прям и перекатывалась из руки в руку. Чего уж... — Она шумно вздохнула. — Я ж сюда не за ним ехала...

— А вы не здешняя?

— Не-е, воронежская я. У меня тут и родни нет... Окромя Егора теперь, — добавила она. — Воронежская я. Семья на мне была, пять ртов. Отец с войны не пришёл. Мамку тоже войной поломало. Голодали мы под немцами-то. Нас мамка выкормила, а себя испортила. От живота померла. Шестеро нас осталось: я, сестра да братишек четверо. Город разбитый, в землянке живём, а огорода нет. Мальёх кормить нечем, а я уж взрослая, семнадцать годков, вот и думай... Соседка присоветовала мне сюда, под Москву ехать. Торфяники тут разрабатывать решили, власть на то специальный указ сделала после войны, на эти самые торфяные кирпичи упор тогда был. Для топлива их, значит, производили. Работа тяжёлая, вот и звали народ отовсюду, свои-то не очень шли, местные. У них, понятно, хозяйство, а кто порожняком — те и шли. Мы с сестрой как удумали: я им деньги высылать буду, вот и проживут. Деньги тут платили, да. Собралась я и поехала. А собралась-то! — Наталья весело рассмеялась, махнула рукой. — У меня ж и чемодана не было, так в скатерть старую покидала бельишко, узлом связала — вся поклажа моя! А ничего, ехала-радовалась, новая жизнь впереди, думала. От станции помню, как шла, вся волновалась, гадала, что за места такие. А на гору вышла да как увидала... Приволье какое! Оттуда всё ж прямо на ладони — дуга, лесочки и заречье видно. Река, знаешь, как поясок такой... Облака так стояли... — Наталья запнулась, ища слово, — ...вот как перины по небу белые. А между ними солнце столбами светит. И так оно далёко видно, что различаю я, что над одной деревней погоже, а там-то дальше, на другую уж тень упала... Названий ещё не знала, Падиково там али Крюково, только много деревень видать. И до того мне весело от простора этого сделалось! Подхватила я, побежала с холма, сама смеюсь, платок

сехал, косы мотаются! Девчонка была, задору много! Так в деревню и влетела козой.

Наталья затихла. По лицу её волнами пробегали очень разные чувства, и губы то улыбались, то вытягивались в ниточку.

— ...А его, да, в первую вечерку и увидала, точно, — начала она с полфразы, продолжая вслух то, о чём думала. — Девчонки после смены по комнате скачут, красоту наводят, помаду друг у друга из рук тащат, помада одна на всех была. А я и не пойму, к чему, я ж на танцах не бывала. Мне разъяснили соседки-то по бараку, мол, сейчас на вечерку пойдём, наряжайся. Нас в комнате пятеро девок жило — Маша, Зинка, Гульчиха и Дунька Горох.

— Это Авдотья Степановна, со слободки которая? — уточнила я.

— Ага, Авдотья. Степанна...

Наталья говорила о девчонках, а называла имена деревенских бабушек. И никак я не могла представить их себе, тогдашних. Всё всплывали кадры из старых фильмов, но — Гульчиха и баба Дуня?..

— Наряжайся, говорят, а во что мне рядиться? У них платки, а у меня только скатерть старая. А что?! Она шитая у мамки была, цветы по ней, только где нитки потёрлись, где выгорели. А с изнанки — оно и ничего, цвет сохранился. Перевернула я её, на плечи накинула, да так и пошла. В скатерти! — Наталья прыснула в кулак. — Страшно, конечно, всем чужая, да как примут... Но от этого мне ещё веселее сделалось, задор какой-то напал. В клубе все по стеночке стоят, и я стою, а Витька на табурет сел, гармонь перетряхнул и так заиграл... — она повела рукой, — ну, как рассыпал! Потом затих, момент выждал... А сам всё на меня глядит. Он, видать, меня сразу приметил. Вот потянул он, потянул да как грянул плясовую! С притопом которая. А я же тогда бедовая была, заводная. Мне и попади вожжа под хвост. Думаю: “Смотришь?! Ну, смотри, какая я. Во какая!” Распахнула скатерть-то, натянула за спиной, каблуком топнула и пошла. Прямо так одна и поплыла! Щёки горят, внутри всё скачет, а сама только его глаза вижу. И он-то тоже с табурета вскочил, вокруг меня прямо так, с гармонью, и пошёл, гоголем! Эх...

Наталья махнула рукой, отвернулась.

— ...А что я про это знала, какую такую любовь?! Всё носы братьям подтирала, до того ли было? Вот и захолонуло меня, дуру... Так с того дня у нас с ним и покатилося. Я тогда как заболела, ничего, окромя Витьки, не видела. Не ходила, летала! И работа в руках горела! Мне бригадир норму увеличил, а что мне эта норма, я и две могу! На торфяник бегом, а с торфяника уж не бегу, лечу, Витька ждёт, знаю. Помню, лечу к нему так по жнивью за деревней, вся нараспашку, осень та тёплая была, а он к стогу прислонился, покуривает, ждёт. Он тогда весёлый был, глядит на меня, щурится, смеётся! И вот помню, издалика ещё вижу его, а внутри всё переживает, и в голове голос такой: “Вот она, любовь твоя”.

Она осеклась, помолчала. Потом совсем спокойно, тихо продолжила:

— Никакая то была не любовь. Морок это был, навреде горячки. Я ж ни себя не помнила, ни его, Витьку, не видела, какой он есть. Только глаза зелёные. Да запах его, как обнимет.

Ну и... этого самого мы не избежали. Он с отцом всё обещал поговорить насчёт женитьбы, да тянул, а сам — льнёт и льнёт... Я уж и так, и этак отнекивалась, а боязно было — никак бросит он меня, непокладистую, и найдёт поговорчивей которая. Ну, а уж к зиме, как стало ясно, что ребёнок у меня будет, начала я в себя приходить. Вроде как власть над собой хоть малую, но вернула. Сказала, мол, не будет у нас ничего, пока он с отцом не переговорит. Потом уж поняла я, чего он тянул, Витька-то...

Говорила Наталья размеренно, ровно. От её мерного голоса становилось так страшно, что я старалась совсем не шевелиться, сидя рядом на жёстком бревне. Посмотреть ей в лицо я тоже боялась, а всё глядела на загорелые маленькие руки. Эти две руки будто танцевали танец: то сжимали друг друга; то покойно ложились на колени; то гладили, то трепали выцветшую ткань юбки; то хлопали по сухому бревну; то взлетали в жесте. Ничего, кроме этих

рук и голоса её, не было тогда для меня. Ни реки, ни деревни, ни времени...

— А он-то с самого начала знал, что отец заартачится. Витьку давно уж за Люсю прочили, да она ему не гляделась. Люся с приданым была, семья крепкая за ней, а я куда — со свиным рылом в калашный ряд... Девчонки мне про то намекали, но разве ж я чего слышала тогда... Он всерьёз сказал, что со сватами придёт. А после пропал. Потом уж узнала я, что отец его в соседнюю деревню услал, от греха, до самой их свадьбы. А разговор у них такой был, что отец ему дом отстроить пообещал, если он на Люське женится прямо сразу, а коли на мне, голодранке, — так живи, как знаешь. Вот Витя и выбрал. Он достаток всегда уважал. Но это уж я, говорю тебе, потом узнала.

Руки хлопнули по бревну. Наталья выдохнула.

— А тогда пропал. Я к девчонкам с расспросами, а они темнят чего-то... Никто мне не сказал. Всё ж таки — чужая. Я о свадьбе только в самый тот день и узнала. Они собираться стали, я — куда, к кому? Девки и брякнули, что свадьба, мол, у твоего Витьки с Люсей. Так и ушли они на свадьбу эту. Я в бараке одна осталась. В комнате темно уж, за окном снег тихо так падает... И помню, спокойно сижу на кровати своей, а в голове ясность наступила, даже будто и не больно мне. А только одна мысль за другой идёт, холодные эти мысли, как льдинки: “Жить тебе незначем. Ребёнка растить не на что. Братьям помочь — не помогла. Любовь твоя кончилась. Стыд только впереди. Утопись ты”. И как последняя мысль пришла, мне совсем легко сделалось. Вышла я в коридор, стала складывать мокрое бельё с верёвки в корзину, мол, если встречу кого — решат, что бельё полоскать собралась, на проруби. А сама думаю, что корзина эта меня на дно и утянет. Оделась и пошла. Вот сюда пошла.

Наталья стихла. Долго мы промолчали. Она думала о своём, но я тогда уже не замечала тишины. Передо мной разворачивалась неведомая мне раньше, огромная деревенская человеческая жизнь. Ведь вот Наталья, тётя Наташа, казавшаяся такой понятной, знакомой, — та, которая сварливо ругается с бабами в очереди к автолавке; задиристо поёт частушки на деревенских гуляньях; подоткнув подол, полет грядки; костерит ребятишек, объедающих малину с огорода; мокрой тряпкой шваркает зазевавшегося на чистом полу кота, — такую её я знала. Это всё было родное. А вот эта, тихая, рядом со мной, Наталья — она же. И та, идущая к проруби, — она.

Весь знакомый мне мир деревни вместе с её жителями опрокидывался, как картонная декорация. А за ней вставал другой, живой мир. Глубокий, страшный своей глубиной. От этого знания становилось жутко. И почему-то радостно.

— Яблочко хочешь? — Наталья тронула меня за руку. — Я к церкви садом шла, вот, созрели уже, ранние.

Она сунула руку в глубокий карман юбки, вынула два мелких красных яблока, обтёрла, одно протянула мне. Яблоко было сладкое и жёсткое. Наталья медленно, аккуратно обкусала огрызок, бросила в реку, и он, чуть отплыв, закрутился в водовороте. Я съела своё целиком.

— А как же... Кто ж вас спас тогда?

— Дак вот Егор и спас. Он на свадьбу-то не пошёл, тошно ему было на братову подлость глядеть. Егор давно уж по мне сох. Так думал, любовь у нас, не совался. Честный он. А мне и невдомёк было, я ж как ослепла тогда. Он весь день тот у тётки Глани, у бабки своей, сидел. Уж не знаю, чего он хотел, — может, утешить меня, а может, догадался, что надумаю... Только как увидел, что девки по улице к их дому прошли, так к бараку и побежал. А там уж меня не было. Он верёвку оборванную в коридоре заметил и бельё по полу... Оборвалась верёвка-то, спешила я. Так и понял он. ...А я и не упомяну, как прыгнула. — Она по-детски пожала плечами. — Вижу только, как доску с тупом от проруби отваливаю, заиндевел туп, тяжёлый. А уж после... ноги всё вниз, вниз, а дна нет, глубоко... Потом уж очнулась, когда он меня в гору нёс. Бежал он, а меня, как куль, через плечо перевалил. Бежит, а сам всё поворачивает: “Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас...” Я глаза открыла, вижу — спина. И пар от неё валит. И опять всё помутилось... Остальное мне уж потом девчонки рассказали, сама-то я в беспомощности десять дней была.

Притащил он меня прямо в отцову избу, в горенку на кровать свалил; он уж отдельно, в горенке той жил. В избе свадьба гуляет, все повскакали, отец — в крик... Егор тогда проём дверной руками загородил, да и выдал всё разом. “Вы, — говорит, — её чуть со свету не сжили. А я молчал. Наша вина. Я выхаживать буду. Я её на хату не променяю, уйду. А как уйду — без помощи останетесь, на Витьку у вас опоры нет. Решайте сами”. Сказал и дверь за собой закрыл. Отец тогда отступился, на Егоре всё хозяйство держалось, куда без него... Так я в горенке той и осталась.

— А Витька? Он-то... тётъ Наташ...

Наталья прищурилась, глядя вдаль, за реку, потом потупилась. Хмыкнула, улыбнулась:

— Витька-то? Он — да, чегой-то там хотел, поговорить вроде... Только Егор запретил ему ко мне подходить. Навсегда запретил. Поперёк Егора тот никогда не пёр, кишка тонка. Сам он с Люсей к ней в избу ушёл, пока отец дом не отстроил. Да так и обходил меня потом кругалём, много лет. Да и... что уж говорить, на руку им с Люсей было, что всё так устроилось тогда. Только ты не подумай, — поспешила она, будто спохватившись, — я на Люсю не в претензии! Набедовалась она с Витькой, любит она его, всё так и любит, бедная...

— А у вас, с Егором?

— У нас... Выходил он меня. Фелшер из медпункта приходила, он всё, как она скажет, делал... Ребёнка того я потеряла и целый месяц ещё встать не могла, ноги не держали. Мы промеж собой ни о чём не говорили, всё молчком. Он на полу спал, я на кровати. Так, бывало, привстанет на локте, посмотрит молча, а я — не могу смотреть, отвернусь. Оба всё понимали, чего говорить-то? А уж как на ноги я поднялась, так стала просить, чтоб отвёз он меня на станцию, уехать я хотела. Не то что домой, а хоть куда... Маотно мне было, не было у меня тогда места на земле. Егор тянул, да я настояла. Запряг он тогда в сани Уголька, жеребчик такой в колхозе был, Угольком звали. Запряг, и поехали мы. Дело к вечеру, февраль, темнеет рано. Я в санях сижу, узел обхватила, Егор впереди правит, смотрю ему в спину, а спина прямая, сердитая. И вот, помню, едем мы через поле, дорога укатана, лошадь ровно бежит, и колокольчик ровно так тренькает: “Динь-динь, динь-динь”. А в голове у меня одна мысль вертится: “Не туда еду, вернуться надо”. И так мне тошно от этого колокольчика! Вдруг он вожжи натянул, встали. Стоим посреди поля, темно, тихо вокруг, только снег у Уголька под копытами похрустывает, как переступает тот с ноги на ногу. Помолчали так, а потом Егор ко мне обернулся. “Выходи ты, — говорит, — за меня. Я тебя беречь буду. Выходи”. Я ему: “Да как же мы жить будем, если я вся порченная? Я ж тебя любить не смогу”. Он помолчал и тихо так говорит: “Ты пока никого любить не сможешь. И когда сможешь — Бог знает... А я подожду, сколько надо. Выходи”. А Уголёк-то этот — умный конёк был. Стоял он, стоял, ушами прядал, ровно разговор наш слушал... Да и поворотил сам обратно, в деревню. И пошёл, тихонько так потрусил. Так и вернулись. Уголёк этот за меня всё сказал, мне и легче вышло.

Наталья утёрла рукой краешек глаза.

— Ты не думай, это я не себя жалею. Я теперь его жалею. Тяжёлую он ношу тогда взял. Ведь, почитай, так всю жизнь меня и прождал.

— Что же?... Так и жили?

— Жили. Как все живут, так и мы с Егором — жили. И детей народилось, и хозяйство... А детям — радовались, оба тетёшкались. Оно нас и выручало в те годы — дети да земля, общая радость, общая и беда. А то бы совсем замыкались, не дожили бы. Жили... Я же, знаешь, — она повернулась ко мне, посмотрела удивлённо, — я лучше Егора человека не встречала! А всё не то у меня было к нему, что к Витьке. Всё казалось, что вымерзла я в этой проруби. Всё я, дура, назад глядела да одну жизнь к другой прикладывала. И себя судила, и его мучила. Он-то меня берёт, как обещал. Ни словом не попрекнул никогда. А мне от этого ещё горше делалось. Думала, уж лучше бы озлился, ударил даже... Дети выросли, а мы всё мыкались. Так бы и по сей день мыкались, — махнула она рукой, — кабы не та собака...

День перетекал в тихий вечер, и сосны в дальних лесах за рекой загорелись оранжевым закатным цветом. Река тоже по-вечернему притихла, можно было подумать, что и не течёт она, если бы не ивовые листики и мелкие палочки, медленно проплывавшие мимо нас.

— ...Да, собака. Вот ведь... — Наталья очнулась от задумчивости, глянула на меня. — Да знаешь ты! Витькина собака, Жюлька-то... Пристрелил он которую.

Я кивнула. Витька Зуб прошлой осенью застрелил свою собаку. Убил за то, что лаяла. Видно, ежа нашла, весь вечер лаяла на цепи. Надоела она ему своим лаем, отвёл в рощу и убил.

— Он же её ночью пристрелил. Я и не знала. Собралась я утром за шиповником в березняк сходить-собрать, а в проулке Туличиху встретила. Она мне давай рассказывать, да я и слушать до конца не стала, тошно так... Махнула рукой и пошла. Поднялась я к роще, знаешь, там с краю-то шиповник. Стою, обираю. И слышу, скулит кто-то. Я на голос иду, а на самой опушке — Жюлька... Недострелил он её. Ползёт это она ко мне по траве и скулит. А задние лапы-то за ней волокутся. Не помню, как до деревни добежала, хотела Егора послать, у него ж ружьё есть, а уж возле дома самого — Витька мне навстречу. С лопатой. И тут как лопнуло у меня что внутри! “Стой, — кричу, — гадина, стой!” — кричу. И как пошла я орать на него, а сама тряусь вся: “Что ж ты, скотина, творишь-то?! Закапывать собрался?! А она там живая ползает! Ты же, гад, собаку свою не добил, как и меня! Как и меня — не добил! Я же навроде Жюльки твоей — всю жизнь с перебитым хребтом ползаю!”

Наталья задохнулась, закрыла глаза. Перевела дух.

— Вот так кричала. Он морду-то в сторону отворотил, а морда — перекошенная! Потом как рывкнет: “У меня, думаешь, хребет цельный?! Я не любовь, я жизнь свою тогда продал! Токма ты — чистая, а я...” И рубашку так пятернёю сжал на груди... покомкал, покомкал её... Под ноги сплюнул, да и пошёл. С лопатой. Зарубил он Жюльку. И я пошла. Только как в калитку входила, вижу — Егор на крыльце стоит, смотрит. Видно, он на крик мой выскочил. Вошли в избу. Он к столу сел. Молчим. Я не знаю, что и делать. Стала на стол собирать, кастрюльку с кашей из подушек достала, а у самой руки — ходуном. Не удержала я кастрюльку... Каша — по полу. Обернулся он, глянул на кашу рассыпанную... Встал и ушёл.

Наталья сняла платок, сбившийся во время её рассказа, расправила на коленях. Долго глядела на него. Повязала узлом назад, по-будничному, на ощупь проверила, ладно ли.

— Сутки его не было. Может, и поболее... Я тогда времени не помнила. Как села на кровать, так и сидела. И каша на полу, и огня не зажигала. Без Егора — всё ни к чему оказалось. А я прежде и не знала. Вот так сидела — всё он перед глазами. На что ни посмотрю — мысли к нему вертаются. На пол гляжу — там доска свежая, а вижу, как он доску эту менял, палец занозил и занозу из пальца выкусывает... Полка над рукомошкой — он её пониже приспособил, чтобы мне сподручней. А сам кажный раз об неё стучается. Трёт он так лоб и смеётся... Часы на стене, гляжу: вижу, как заводит он эти самые часы в первый раз. Маятник рукой качнул да на меня обернулся, прищурился, а в глазах: “Пойдут али встанут?” ...Куда ни гляну — Егор. И такая внутри у меня ласка к нему, что сию вот так и улыбаюсь. А как вошёл он, испугалась я. Что будет — не знаю! Поглядеть на него боюсь, глаза поднять... Встала и стою. Сказать словами, так поймёт ли? Да и как сказать? Потом решила, посмотрела. А там уж и говорить ничего не пришлось. Видно, всё у меня на лице было. Подошёл он тогда. Прижал меня к себе. По голове гладит, гладит. И в макушку целует. И, слышу я, шепчет он: “Ласточка моя. Ласточка...”

Тут Наталья повернулась ко мне.

Ясным, ровным светом женского счастья озарено было её лицо. И глаза смотрели на меня взглядом такой щедрой радости, такой, которая не умещается уже внутри одного человека.

— Вот так... — сказала она.

Потом уж она и утирала слёзы, и смеялась...

— Я его спрашиваю: “Какая ж я ласточка, я же седая вся?” А он: “Я, — говорит, — тогда ещё тебя ласточкой назвал. Бежишь по деревне, маленькая, быстрая, мимо бежишь, а сзади у тебя две косички чёрные летят... Как хвостик ласточкин. Так и подумал я тогда — ласточка. Не сказал только”.

Солнце уже садилось, там, за деревней. Широкая тень от холма за нашими спинами накрыла и берег, и нас с Натальей. От дальних полей за рекой стал подниматься туман. Он всё наплывал, наплывал, приближаясь к реке, и словно выталкивал на нас волны запахов: накатывал травяной запах покоса, за ним приходил воздух сосен. Река тоже задышала сыростью.

Стало холодно.

— Я же чего в церковь-то ходила? Уж год, как мы с Егором так вот живём... Нам бы венчаться, а боязно.

Наталья зябко передёрнула плечами, встала, оправила юбку.

— Идти мне пора, я ж ему сказала, что в церковь... — Она повернулась к холму. И вдруг засуетилась, смешалась...

Я обернулась. Высоко на холме стоял Егор. Давно ли он там стоит?

— Да вы идите, идите. Я ещё тут...

Наталья кивнула, хотела что-то ответить, передумала и быстро-быстро зашагала вверх по тропинке.

Подождав, чтобы они ушли, я взяла корзину с простынёй и тоже пошла наверх. В деревню нашу пошла. Поднявшись по тропинке до самого верха, я обернулась.

С холма было видно, что река уже совсем укрыта туманом.

ИРИНА ОРДЫНСКАЯ



ГОРОД МИЛЛИОНА РОЗ

ПЯТЬ ЖЕНСКИХ МОНОЛОГОВ

Монолог первый

Я хочу вам сказать, чтобы вы не смели ругать мой родной город! Не говорите о нём плохо! Вы же ничего о нём не знаете!

Мне восемьдесят лет. Думаете, это много, и старушка ничего не понимает? Нет, всё понимаю и помню! Всю жизнь я прожила в единственном городе: родилась, училась в школе, окончила институт, вышла замуж, родила сына и дочь, дождалась внуков, потом здесь похоронила мужа, а ещё раньше — родителей и сестру.

С детства для меня наш город самый красивый! Да у нас такие зелёные бульвары, каких нет нигде, — Пушкина, Артёма, Богдана Хмельницкого...

ОРДЫНСКАЯ Ирина Николаевна родилась в Таганроге в 1960 году. Окончила Таганрогский радиотехнический институт и Московский литературный институт им. М. Горького. Работала программистом, журналистом, руководила медиа-центром Центра образования, вела спецкурс журналистики и литературного творчества, работала в театре "Глас", руководила литературным объединением "Алый парус" и была главным редактором одноимённого альманаха. В данный момент главный редактор журнала-библиотеки "Эхо Бога". Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, член Национальной ассоциации драматургов. Автор тринадцати книг прозы, пяти пьес, сценариев. Публиковалась в журналах "Литературная учеба", "Москва", "Радуга", "Юность", "Другие берега", "Сибирские огни", "Наш современник", "Невский альманах", "Алтай" и других. Победитель Международного литературного форума "Славянская лира-2014" (Белорусия, 2014), лауреат Международного литературного форума "Золотой витязь" (2017) и многих других конкурсов. Живёт в Москве.

в общем, их у нас много. Зелени столько — улицы в ней утопают. Но главное! Первое, что рассказывали раньше гостям: у нас, в шахтёрской столице, везде — на бульварах, улицах, в парках — растут розы! У нас же летом тепло — юг, такие кусты вырастают, огромные.

Миллион жителей — миллион роз! Представьте, целый миллион розовых кустов! Хотя, наверное, представить трудно... Я даже стихи об этих розах писала. Да, иногда я сочиняю стихи.... Ну, не такие, чтоб очень серьёзные, когда работала — в горном техникуме преподавала, шахтёров учила, мы готовили горных мастеров, — так писала стихи каждому коллеге ко дню рождения и для коллектива — к праздникам.

Не представляю, как люди переезжают из города в город. В родном месте всё дорогое, знакомых пропасть, воспоминания разные.

Маленькой папа часто водил меня в центральный парк Шевченко. Мороженое, карусели — ну, вы знаете... Шли мы с ним по мосту длинному-длинному через речку, красота вокруг, у берега утки плавают, они и тогда плавали. Он меня за руку крепко держит, а я и не думаю вырваться — с ним рядом идти хорошо, я как взрослая.

Папа у меня такой необыкновенный был, всё умел, дом сам построил и даже на пианино сам научился играть. Мне жаль, что не могу сейчас мамину, сестры, мужа могилы посетить. Наверное, там холмики позарастали травой, и оградки некрашенные стоят. Хотела навестить дорогих моих покойников на Пасху, убрать там всё да поплакать, пожаловаться им, но не смогла. Не пускают туда. И то... правильно, там кладбище простреливается, и растяжки, ну, вы знаете, с гранатами такие, ставит кто-то. Мне это объяснили ребята, которые оцепили в праздник кладбище. Они не пускают туда никого, чтоб не пострадали люди. Там ведь бывало, что приедут кого-то хоронить, да сами и погибнут. Пришлось мне домой вернуться, а я краску купила, кисточки, пирожки испекла.

Я ведь раньше в церковь не ходила, а сейчас, когда никого родных в городе не осталось, помолюсь, постою на службе — и будто не одна. У меня ведь сын давно в Москве живёт, по работе в молодости перебрался. Там внучка растёт. А дочь, как обстрелы начались, в Киев с мужем и сыном уехали. В машину вещи погрузили, какие смогли, и поехали. Ну, и я с ними.

Мне восемьдесят лет, жить на квартире у чужих людей, ох, как было несладко. Не привыкнуть мне уже к чужому месту, не то, что в родном городе, где кругом всё знакомое, близкое. Через два месяца вернулась назад — домой! Да какая мне разница, где умирать и от чего?! Мне восемьдесят лет!

Две подруги здесь у меня остались, тоже вдовы, в театр, на концерты ходим, вы не думайте, что если комендантский час, значит, не ходим никуда. Да и праздники вместе отмечаем. Мы с ними у меня собираемся, квартира у меня хорошая, двухкомнатная, перед самой войной дети ремонт сделали. Дети и сейчас помогают, деньги, посылки передают. Это одиноким плохо — соседка у нас есть, совсем одна, так голодала бы, если б люди не помогали. А есть и такие, что голодают...

Думаете, вот какая молодец — ничего не боится! Нет, мне страшно бывает. Ещё как! Хорошо, если сразу убьёт. А если покалечит? Знаете, как громыхает иногда... Кошмар! Конечно, боюсь. Когда из дома выхожу, так на соседний дом смотреть боюсь. Там дыра! Дом девятиэтажный, панельный, обычный, а в середине второго подъезда дыра — снаряд пробил, а вокруг в соседних квартирах люди живут.

Знаете, мои родители родом с Полтавы, переехали после той — Отечественной — войны, я украинка. Там у меня под Полтавой тётки были, умерли уже, а сёстры-братья двоюродные остались. Мы раньше туда часто ездили летом, молочка парного попить, а какой хлеб домашний тётки пекли в печке на больших капустных листьях, какие борщи варили... Я вот чувствую, только не подумайте, дорогие, что из ума выжила, ну, не должно в меня попасть то, что оттуда, с родной Украины прилетает и убивает. Не может такого случиться. Бог не попустит!

Начинает бахать, а я давай молиться. И вдруг кажется, что со мной и все мои детки и внучки в опасности. Ничего не могу с собой поделывать, не о себе прошу Бога, а их имена повторяю. Защиты им прошу.

Никуда я не уеду, в родном городе хочу умереть! Жизнь прожита. Да и где на земле есть ещё такой город с миллионом роз! Красавец!

Каждый день думаю о своих детях, в сердце они у меня. А его надвое не разделишь. Люблю своих детей.

Монолог второй

Нам очень нужны деньги! Очень-очень! Вы не думайте, для себя я бы не попросила и копейки! Но студенты мне, как родные. Им учиться нужно. Представьте, у них вся жизнь впереди. Как же они останутся без образования, без дипломов? Не должны мы их так подвести!

Я всю жизнь в институте английскую филологию преподаю, мне уже шестьдесят лет, на пенсии, но как студентов бросишь. У меня семьи нет, детей нет. Институт — это вся моя жизнь.

Сначала хотя бы два учебных корпуса нужно отремонтировать, чтобы занятия начались. Вы же не знаете, что такое прифронтовой город, как в нём трудно жить. В нашем институте ни одного целого стекла ни в корпусах учебных, ни в общежитиях не осталось. А скоро осень.

Знаете, у нас в институте бомбоубежище хорошее, в нём не только студенты и преподаватели во время обстрелов укрывались, а и горожане у нас прятались. Люди спаслись.... А здания как от снарядов сохранить?

Нам очень деньги нужны! Мы просили всех друзей института. Вы только не подумайте, что мы сами ничего не делаем! Все преподаватели написали заявления на неоплачиваемые отпуска, на этом институт сэкономил 700 тысяч. На эти средства мы начали ремонт. Но этих денег мало! Нужно восстановить актовъый зал, спортивный зал, крышу над библиотекой, деканат факультета английского языка, кафедры педагогики, практики и фонетики английского языка, романских языков, лекционные аудитории первого и второго корпусов. Это чтобы дети могли заниматься. И общежития восстанавливать придётся.

Нам бы окна вставить до октября! Для этого нужны две с половиной тысячи квадратных метров стёкол! Помогите нам! Сами не справимся! Я ведь не для себя клянчу эти деньги! Для себя никогда бы не стала просить. Хотя у меня в квартире, сама живу в Горловке рядом с институтом, нет ни одного стекла, и даже рамы вылетели. Но так у многих в городе. Фронт рядом. Обстрелы были страшные.

Студенты помогли — пока плёнку натянули в оконных проёмах, ничего... живу. Вы не подумайте! Мне не нужно помогать! Вы детям помогите, у нас замечательные ребята, сейчас они завалы разбирают, стёкла битые убирают, мусор из зданий выносят. У нас ведь выдающийся, превосходный институт! Институт иностранных языков в Горловке вся страна знала! Мы суперспециалистов выпускали. Переводчиков высочайшего класса. Обмены студентами были со всей Европой. Ещё в 1949 году наш институт открылся. На весь мир знает! Научную работу и сейчас ведём.

Друзья стараются нам помочь, благотворительные вечера устраивали во многих городах, где нет войны, поэты стихи читали, музыканты выступали. Мне кажется, что и в вашем городе такой концерт был. Да?

Жаль, что в итоге собрали мало денег. Билеты на вечер люди покупали. А вот в ящики для помощи почти ничего не бросали. Иногда я думаю: как же так, люди слышат, знают, какое у нас тут горе — война. Много говорят умных вещей о прошедших войнах, так правильно рассуждают. Но у нас-то эта беда происходит теперь, в эту минуту. Это в нашей Горловке погибли восемьдесят детей, и не когда-то много лет назад — недавно, прямо сейчас. Неужели вам нас совсем не жалко? Ни капельки? Почему?

Ну, деньги мы всё равно соберём. И сделаем остекление. И будем учить наших детей. Вот никогда не думала, что оконные стёкла такая ценность.

Без них не сохранить тепло, не провести занятия — это свет. Но какие они хрупкие. Засвистит снаряд, взорвётся с диким грохотом — будто душа из тебя вылетает, вмиг уши закладывает, земля вокруг гудит, трясётся, а от нежных стёкол только осколки и остаются.

Мне очень неловко просить, но поделитесь с нами деньгами, пожалуйста-ста! Не жалейте, соберите хотя бы по сто рублей.

Главное в жизни человечества — это подрастающее поколение. Так ведь считается? Очень мне жаль выпускников, они столько лет учились, в дипломах их будущее...

Сто рублей — это немного. Правда?

Монолог третий

Как же я люблю солёные помидоры! Ничего вкуснее на свете нет! Бывало, каждый год заставляла полный шкаф на кухне трёхлитровыми баллонами с помидорами. У меня рецепт свой, особенный, делаю их в томате с укропчиком, перцем, сельдереем. Помидоры получаются бесподобно вкусные: в меру кисленькие и немного сладкие, чуть остренькие. Хороши! Мы с подругой могли вместе сразу целую банку съесть!

Но теперь подруга далеко, ещё до войны уехала жить в Россию. Повезло. Она замужем. Муж их с дочерью и увёз. У меня мужа никогда не было, а мне сорок пять лет, когда поняла, что уже ничего не светит, родила себе дочку. Теперь хотя бы она у меня есть.

Мы жили с подругой по соседству в новом районе. Какой же чудесный был у нас район на окраине Донецка — лесок, пруд, луга. Воздух чистый. В центре города, где металлургический комбинат или рядом терриконы, воздух не всегда хороший, да и пыльно. А у нас красота. Особенно, когда дочка моя Машенька маленькой была, как же я радовалась. Для прогулок с детишками район идеальный. У нас с подругой детки одногодки, на детской площадке мы с ней и познакомились.

Я так радовалась, когда переехала сюда из Мариуполя. Квартирка у меня здесь небольшая, однокомнатная, но своя. Донецк — областной центр, он мне сразу понравился — ухоженный, чистый, снабжался хорошо. А уж какой красивый! Миллион роз! Наш новый район с аккуратными домами, весь в клумбах с розами, бутоны крупные — всех цветов — красные, белые, жёлтые.... У кого поднялась рука его обстреливать? Что же это за человек такой? Зачем в такую красоту стрелять?

Я бы уехала — кому охота в войне, на линии огня жить! — но не к кому ехать, некуда. У меня родных не осталось, мама недавно умерла от рака, а отца много лет как похоронили. Совсем мы с Машей одни на свете. Я фармацевт, в аптеке работала, дочь в школу пошла, как-то выживали.

Когда обстрелы начались, у кого машины были, те в первые дни уехали. Хорошо, если родственники где-то есть, к ним отравились. А мы с оставшимися соседями от снарядов в подвале ЖЭКа прятались. Собрались женщины, дети, старики. Мужики семьи постарались увезти. А у кого машин нет, мужей нет, тот и остался. Сидели почти всё время в темноте. Готовили на керосинке туристической. Вместе выжить легче.

Как в квартире жить без света, воды, газа? Да ещё на моём седьмом этаже. Пока с ведром воды поднимаешься, на каждой лестничной площадке отдыхаешь. Хорошо, пруд недалеко. Для питья воду купить, но её ж не хватает, а посуду помыть, а себя и ребёнка искупать, вот пруд и пригодился.

В подвале жить оказалось легче, чем в квартире. Во-первых, в подвале безопаснее и не так страшно, да и с людьми проще с домашней работой справиться: кто-то воды принёс, другой еду готовит, третий детей помыл, так коммуной и выжили. Свет, газ, вода почти сразу в районе пропали, от первых обстрелов сгорели подстанции, газораспределительные станции... Мы думаем, их специально обстреливали. И вода сразу в кранах исчезла.

Первое время войдёшь в свой подъезд — там вонь такая, жуть. Как обстрелы начались, люди самое ценное похватывали и уехали. А из холодильников

им некогда было продукты выбрасывать, да и свет вначале был, это потом подстанция сгорела, электричества долго не было. Вот и стали у всех уехавших соседей пропадать продукты в холодильниках, я свой-то вычистила.

В подвале, пока обстрелов нет, ничего, сносно, жить можно. Принесли матрасы, столики небольшие, стулья, даже пару кресел, посуды натащили. Но как стрелять начинают, страх такой, как животное, боишься. Если рядом взрыв, прям кричать от страха хочется, а нельзя, дети рядом. Дочь в меня вцепится, аж пальчики у неё белые, плачет, дрожит. А я глажу её и успокаиваю словами ласковыми. Приговариваю — не бойся! А сама боюсь — аж зубы стучат! А маленькие детки пугаются прямо до истерики — пищат! Рыдают! Матери успокоить не могут. Малыш трёх лет у нас там был, как взрыв — писался от страха. Горько так плакал, мать трусики и колготки ему меняет, а сама тоже плачет. Старухи были две — те молитвы читали, а как взрыв — так в два голоса воют: “Господи! За что?!”

Знаете, после обстрела так страшно из подвала наверх выходить. Думаешь, а вдруг это в твой дом попали! Какой-никакой, а свой угол единственный, квартира. Там вещи все, фотографии, одежда — как этого лишиться? Остаться бездомным.... Иду из подвала на улицу, а сама думаю — только бы не мой дом!! Пожалуйста, не мой!!!

Однажды взорвалось прямо рядом с моим подъездом, воронка — яма глубокая. Я в подъезд зашла, поднимаюсь по лестнице, смотрю: стёкла на лестничной площадке валяются — окна повывлетали. Поднялась к себе на седьмой этаж, квартиру ключом открываю, а самой так страшно — что там за дверь? Ключом в замок не могу попасть, руки дрожат.

В коридоре и гостиной ничего, всё в порядке оказалось, а на кухне стекло треснуло на несколько крупных кусков, но они не выпали, а торчали острыми краями в сторону комнаты. Потом я их осторожно поправила и заклеила трещины лейкопластырем.

А вот помидоры мои любимые... все погибли. В шкафу до одной... все банки разбились! Смотрю, сок красный томатный сочится из-под дверцы шкафа. Распахнула дверцу: осколки стеклянных банок как посыплются с полок, и красный томатный сок ручьём на меня полился! Красная лужа на пол-кухни растеклась. Я стою, смотрю на неё — оцепенела. И так мне жалко мои помидоры, слёзы из глаз ручьём сами полились. С продуктами и так плохо стало, а тут столько закрутки пропало. Да ещё помидоры...

Наплакалась... Убираю — осколки острые стеклянных банок выбираю из лужи, а сама рыдаю. Мысли страшные в голову лезут, вот так попадёт снаряд в подвал, и мы с дочей вдребезги.... Много ли и нам с ней надо? Бах! И нет нас.... Убрала на кухне по-быстрому и бегом к Машеньке в подвал.

Повезло нам. Живы. Я ведь тогда не знала, как много людей в те дни погибли. С девочкой вместе работали в аптеке, дочь её, восемь лет всего, во дворе дома играла, снарядом накрыло, погибла. У знакомой муж телефон в машине забыл, побежал забрать и вместе с машиной сгорел.

У нас теперь так — никто своего завтра не знает...

Монолог четвёртый

За собой нужно следить, какие бы времена ни были. Уход за лицом каждый день — это обязательно! А уж косметика для женщины вообще нужна непременно! Короче, ухоженная женщина всегда привлекательна! Мне сорок лет. А все думают, что тридцать. Я слежу за собой, потому всегда нравилась мужчинам! И не только мужу....

Похвастаюсь вам: муж меня очень любит, так меня добивался, так красиво ухаживал. И сейчас балует, на руках носит. Бывает, что и поругаемся, но не часто. Очень я жалела до войны, что детей у нас с ним нет, а сейчас думаю, это хорошо. Под обстрелами с детишками несладко.

Короче, живём мы с мужем в частном доме, хотя и в областном городе. Место очень удобное — это несколько кварталов малоэтажной застройки между Донецком и Макеевкой. В доме все удобства, и газ давно провели. Ванную комнату сделали большую, каких в квартирах не бывает. Недавно

террасу пристроили к дому. Теперь на улице летом ужинаем или с гостями сидим. Вокруг террасы виноград посадили — изабеллу и лилию. Осенью кушаем виноград и даже вино своё делаем. В частном доме жить удобно. У меня сад, не только яблоки, груши, черешня, сливы, а даже персики есть. Не крупные персики, но сладкие.

Когда блокада началась, нас обстреливать стали, скажу вам, цены как вверх подскочили. Мама не горюй! Особенно на продукты. А нам хоть бы что! Вы не подумайте, я не белоручка, у меня огород — засмотришься! Короче, у нас всё своё: огурцы, помидоры, кабачки, перец, капуста, зелень любая... всё на грядках есть. Да что там... мы даже кур и уток завели. При ценах в войну, когда своя еда есть, намного легче жить.

По образованию я химик, в НИИ работала, в отделе, скукота — одни бабы. Только кому сейчас у нас химики нужны? НИИ прикрыли. Да и вообще в городе с работой плохо стало. Заводы, шахты или совсем закрылись, или стоят. А как без зарплаты прожить? Короче, муж меня устроил работать завхозом в одну контору. Ничего, я быстро привыкла, дело нехитрое. Начальство попало понимающее, если сильный обстрел, то разрешают даже несколько дней не приходиться.

Мы с мужем подвал оборудовали, чтоб всё там удобно было. Прямо роскошно там всё сделали и со спальными местами. Знаете, очень люблю, чтобы всё красиво было, чтоб везде занавесочки в рюшечках, статуэтки разные, коврики — у меня по всему дому отменный порядок. Класс!

Короче, первое время, как снаряд рванёт недалеко, так мы пулей в подвал. А потом, знаете, ко всему начинаешь привыкать. Если стреляют изредка, то и надоедает сидеть в подполье без дела. Конечно, нужно быть осторожным. Но ведь и неожиданно прилетают снаряды. И захочешь — не успеешь спрятаться в подвале, тут главное быстро подальше отбежать от окон, осколки очень опасные.

Сейчас скажу вам главное, а вы на всякий случай запомните! Слушайте внимательно! Короче... Самое надёжное место во время обстрела — это дверь в несущей стене в глубине дома! Ну, в смысле дверной проём. Становишься в таком дверном проёме или можно присесть. Замираешь и ждёшь! Важно дожидаться, пока обстрел не закончится, не нужно думать, что прилетело несколько снарядов — и всё. Тут самое опасное запаниковать, если метаться начнёшь, из дома выбежишь, то от любого взрыва по соседству может осколок тебя достать. Сиди тихо в дверном проёме, жди, пока тишина надолго установится, не высовывайся раньше времени. Поверьте, так безопаснее всего. На себе много раз проверено.

Первый раз, когда улицу нашу обстреливали, видели бы вы, как мы с мужем паниковали! Взрывы недалеко гремят, а мы по дому бегаем, то вещи хватаем, то документы. Я психую — ору не своим голосом. А как рядом взрыв бухнул, так мы с мужем из дома выскочили во двор. И тут сразу снова где-то на улице недалеко взрыв. Мы бегом за ворота!

У нас улица дружная, соседи хорошие, все друг друга знают. Смотрим, соседи тоже повывагали из домов, мечутся. Многие плачут, бегают туда-сюда, не знают, что делать, куда детей прятать. Тут прямо у всех на глазах в один из домов, Наташки-соседки, через два от нашего двора, снаряд попадает. Бах!!! Дом горит! Все кричат! Кто-то за вёдрами побежал — люди орут, что тушить пожар надо. А куда там тушить — дом загорелся, как спичка, на глазах быстро выгорел. Огонь из окон, крыша с грохотом обвалилась. Отошли подальше — жар от него пышет. Наташа так в одном халате на улице и осталась. Она даже не заплакала, словно мёртвая была. Её бабушка одинокая, другая наша соседка, к себе забрала.

Короче, на следующий день рано утром наша улица, считай, опустела, соседи бегом грузили машины, попрыгали в них, разъехались кто куда. У кого дети, те все уехали. Остались люди только в нескольких домах.

Какое-то время притихли обстрелы, мы уже успокоились. Они постреляют обычно ночью, мы в подвале переночуем, а с утра работа, домашние дела. Так, бывает, устанешь, что редкие выстрелы тебя разбудят. И вдруг! Не знаю, что там у них случилось. Только в одну из ночей бить стали прицельно

по нашей улице, так кучно, один снаряд за другим. В подвале всё гудит, трясётся, и тут мы с мужем дрогнули. Выбежали на улицу, а там... Не описать вам, что творится! На нашей наибольшей улице восемь домов горят, как свечки пылают. В пожарах что-то стреляет, искры сыплются, и куски чего-то вылетают из пламени. Короче, не дай Бог такое увидеть! Восемь домов-костров, жарко нестерпимо, хоть осень, хоть я была в одной пижаме и ботах на босу ногу. А соседний с нашим домом уже догорает, у него крыша обвалилась.

Соседний дом от нашего далеко, но смотрим, а угол нашего дома начал дымиться. Хорошо, мы у сарая бассейн небольшой выкопали, до войны летом в нём купались, а теперь наши утки в нём плавают, быстро хватаем вёдра и давай водой стену нашего дома, ту, что рядом с соседским участком, поливать. Два часа с вёдрами бегали. Потушили. Спасли дом. На улице никто не погиб, в пустые дома снаряды попали, повезло. Хотя ведь осталось нас мало — несколько семей и старики одинокие. Гарью долго тянуло со всех сторон, пока снег не выпал, а может, мы к ней со временем привыкли. У нас ведь теперь половина стен дома — закопченные.

Вот я думаю, соседи наши, что теперь живут неизвестно где, наверное, мечтают вернуться. Живут где-то в чужих городах, надели, наверное, родственникам. Вспоминают свои дома. Скучают. А не знают, что их дома уже давно сгорели. Теперь им жить негде, некуда возвращаться, здесь у них только пепелище осталось. Не сообщишь им никак. А может, не нужно им ничего знать.

Иногда я думаю: ну, как же так всё могло случиться? Можно ли было сделать так, чтобы осталось всё по-старому, был мир? Или это уже было невозможно? Ведь долго молчали. Терпели. Никто ничего не делал. Молчуны... Школы русские закрывали, русский везде запрещали — в институтах, на радио, телевидении, в документах, — а все молчали. Короче, недалеко на соседней улице школа была, русская, их под конец мало осталось, почти все стали украинские. 1 сентября, праздник, дети в красивой одежде, родственников полный двор. Дети поют, танцуют, директор всех поздравляет! А на фасаде плакат: “Добро пожаловать!” И тут трое взбираются на сцену, вырывают у директора из рук микрофон. Требуют убрать плакат на русском языке! Дескать, плакат по закону может быть только на государственном языке!

И все, кто стояли во дворе, промолчали. Никто этим троим не дал отпора! Полный двор людей, но никто не ответил. Дали этим троим сорвать плакат. Молчуны! Чё молчали? Думаете, эта история перед войной была? Нет! В 1997 году! Дотерпелись!

Простите, опять я всплыла. Устала очень. Эта война кого хочешь изматает. Усталость такая накопилась, что сил никаких нет. Так я обычно весёлая, хорошие компании люблю, чтобы выпить и посмеяться. Раньше каждые выходные, когда тепло, шашлыки в нашем дворе с друзьями жарили, после полуночи расходились.

Короче, начали у меня нервы сдавать, выхожу из себя без повода, кричу на мужа, он тоже не смолчит, ругаемся. Недавно он решил меня в гости к родственникам в Белоруссию отправить. Говорит: отдохнёшь, выспишься в тишине, купишь себе что-нибудь новое из одежды. Меня родственники от всей души принимали, старались порадовать. Хоть к ним оказалось трудно попасть, ехала долго — через блокпосты украинские, где очереди дикие, обыски. А пока пропуск для проезда оформили, столько натерпелись, что несколько раз думала плюнуть на эту поездку. Но она того стоила! Тишина, покой, draniki, грибы, сало домашнее, баню топили. Думала, что вот оно — счастье, отдохну от войны. Родственники так трогательно меня жалели, старались все желания выполнять.

Короче, потом собрался фестиваль у них в городе, большой праздник. На улицах людей тьма. Я платье новое надела, туфли на шпильке, причёска классная, знаете, перья такие светлые на голове в парикмахерской мне сделали — мастер меня уговорила, отлично получилось, ну, и маникюр, педикюр. Вышли мы на площадь, на сцене поют, люди вокруг кричат, радуются, а я почти сознание теряю от страха. У меня паника. Боюсь! Не могу выбросить из головы, что когда людей много — опасно! Ноги у меня

подкашиваются, задыхаюсь. Прошу их: давайте домой пойдём! Быстрее домой! А они не понимают, что со мной. Мороженое мне предлагают, потанцевать... Понимаете?! Фестиваль, праздник, а я не могу расслабиться, хочется быстрее уйти, спрятаться. Где много людей, туда могут стрелять!

Короче, думала, что отдохну от войны. А в конце уже и по улицам боялась ходить. Вроде бы и понимаю всё, а боюсь.

Монолог пятый

Мой муж — человек потрясающий, настоящий мужик, таких в наше время поискать. Я намного моложе него, мне всего тридцать три года, рано за него замуж выскочила. Муж старше меня, у него наш брак второй.

Мы из посёлка — пригород Донецка. Считаю, деревенские жители. Знаете, какое крепкое хозяйство у нас было: корова, поросята, куры, гуси, индюки. Яйца продавали. Огород двадцать соток. Сад. Всё своё! У мужа руки золотые, нет ничего из транспорта, чего бы починить не мог! Такого хорошего автомеханика в округе больше не водилось. У него своя автомастерская была. К нему машины чинить люди в очередь записывались.

И мы с ним жили душа в душу. Не поверите: никогда не ссорились. Он такой спокойный, из себя не выйдёт. Если проблемы какие, всё на себя возьмёт. А если я злиться начинаю, он так всё повернёт, что своей уверенностью успокоит, не замечу, как забуду, что меня расстроило. Настоящий мужик. За таким замужем, как за стеной!

А уж к детям он со всей душой. И приласкает, и помянет, если надо и помоеет, и покормит. Дочке старшей Катюше всегда с математикой помогал. Как был занят ни был, для детей всегда время найдёт. Такого отца поискать.

Перед войной у нас уже двое детей было. Дочери Кате десять лет и сыночку Захарчику два годика. Мальши шустрый такой, весёлый, не поймашь, говорить начинал. Смешной...

Доченькой Катей мы так гордились. Она у нас круглая отличница, лучшая в классе, в лицее училась, иностранные языки изучала, пела, танцевала, умненькая, послушная, и в воскресной школе в церкви занималась. Такой необыкновенный ребёнок...

Для нас война началась в июне 2014 года. В пять утра мы с мужем проснулись от того, что над нашим домом низко-низко кружил самолёт. Долго летал, над всем посёлком, мы сначала не поняли, что ему надо, почему не улетает, а потом... вдруг он две бомбы сбросил, километрах в двух от нашего дома. Не могу вам описать, как нам стало страшно. Сначала мы растерялись, испугались, не знали, что делать. А потом какую-то одежду, вещи в машину побросали, схватили документы, деньги — ну, всё ценное — и детей прямо спящих на сидение положили, дом закрыли. И уехали в Крым. Муж нам там комнату снял, неделю с нами пожил. Долго думал, что делать дальше. Дома ведь хозяйство, когда мы уехали, родные стали за животными смотреть. А дальше что? Работы в Крыму нет, денег у нас с собой немного. Кому мы нужны?

Мы ведь ничего в политике не понимаем. Нам этот телевизор смотреть некогда. Хозяйство, дети, муж с утра до вечера на работе в гараже. Мне приготовить на всех, убрать, постирать. Когда в Киеве что-то началось, мы подумали, что очередная оранжевая смута. Решили, что помитингуют и успокоятся. У нас времени всегда не хватало, мы ни на какие демонстрации и голосования не ходили.

В общем, муж нас в Крыму оставил, а сам домой вернулся. Закрутился один, бедный, — работа, домашнее хозяйство, огород. Я в Крыму с детьми ещё четыре месяца жила. А потом выяснилось, что я беременная. Значит, сама работать в ближайшее время не смогу. Деньги стали заканчиваться, а у меня двое детей на руках и один внутри. На что в Крыму жить? Да и там неспокойно было, то с водой, то со светом проблемы.

Посоветовались мы с мужем и решили, что нужно мне с детьми тоже домой возвращаться. Будем все вместе. И муж очень истосковался по нам. Очень настаивал, чтобы мы вернулись. Приехал, забрал нас домой.

Когда первые соглашения в Минске подписали, мы прямо воспряли духом, надеялись, что война уже позади. Оно и правда, первые два месяца всё тихо было. Катенька снова в школу ходила. Мы радовались! Все вокруг радовались.

А потом... потом совсем плохо стало. Постоянные обстрелы начались. Знаете, детям в лице выдали бейджики с именами, чтобы в случае чего можно было их тела опознать. Только дочь в школу отвезём — звонят, обстрел — забирайте детей! Ночью тоже постоянные обстрелы. Зима пришла, а у нас своего погреба нет, к соседям бегали в их подвал прятаться. Ночь, темнотища, холод, сонных детей одеваешь и тащишь через огород по снегу к соседям. Всю зиму дети у меня болели — из тёплой кровати — да на морозную улицу! Сразу сопли, бронхит!

А я-то беременная! Всю беременность по подвалам.

Как обстрел, так от взрывной волны то форточку в доме вынесет, то деревья осколками посечёт, а однажды люстра упала.

Когда лето наступило, как-то легче стало. Тепло. Зелень первая пошла. Огород посадили. Цыплят купили.

Тут время пришло мне рожать. Девочку родила. Хорошенькую, крохотную, счастье такое. Так время и пошло: эти стреляют, а мы живём.

Катюша в школе на отлично год закончила. У неё летние каникулы начинались. Ей на день рождения — одиннадцатилетие — мы с мужем планшет подарили. Она так радовалась! Прямо влюбилась в планшет, не оторвать.

Я тот день помню так ярко, будто вчера был. С утра мы с мужем в огороде возились, поливали грядки. Я цыплят в клетках на улицу вынесла — проветриться. Маленький Захарчик у клеток крутился, всё пытался цыплят потрогать. Катя где-то в доме с планшетом играла, она его просто из рук не выпускала. Маленькая заснула после кормления.

С утра над нашим домом, как и над всем посёлком, беспилотник кружил. Низко так. Высматривал что-то. Почти час летал. Я на телефоне в группе посмотрела — у нас в посёлке есть специальная группа в интернете, чтоб друг друга предупреждать, если опасность, — но никто ничего плохого не написал. Вроде тихо было в округе...

А потом... раз... неожиданно... и прямо рядом с нашим домом начали падать снаряды. Бах! Бах!! Бах!!! Муж сына схватил и сразу в дом с ним убежал. А я клетки с цыплятами сгребла и тоже в дом с ними понеслась!

Мамочка! В тот момент, как я в прихожую убегаю, в дом влетает снаряд! Как муж успел... Каким-то чудом смог вытолкнуть меня на улицу перед самым взрывом. Меня вытолкнул, а его завалило. На какое-то время я потеряла сознание. Очнулась от крика сына. Кричит мой Захарчик где-то под завалами! А я сразу не могла выбраться из-под железной входной двери. Кое-как выкарабкалась, в голове гудит... Иду на голос сыночка, посмотрела влево, а там муж мёртвый лежит, без рук, без ног, одно туловище, кругом кровь... А сынок Захарчик хрипит, захлёбывается, задыхается... где-то под слоем кирпичей и штукатурки...

Я вся в крови, но боли не чувствую, только понимаю, что одной рукой обломки разгребаю. Главная мысль стучит в голове — сынок может под завалом задохнуться, нужно спешить. Боли не чувствую, только на левую руку вскользь посмотрела, а она оторвана — на коже висит. Кругом много вещей валяется, всё пыльное. Колготками сына руку перевязала, как смогла одной рукой, и дальше копаю.

Достала сына! А он плачет, глаза открыть не может, оказалось, ему роговицу обожгло. Вижу, что он кричит, а слышу его голос как-то глухо. Потом сказали, у меня в левом ухе барабанная перепонка повредилась. Обнимаю малышня, а у него на спинке кровь — осколок его заценил. А тут прилетел ещё один снаряд, за холодильником взорвался!! Я упала, сына собой прикрыла...

Вскоре соседи прибежали, я им Захарчика отдала, а сама в комнату убежала — к кроватке, где маленькую оставила. А кроватку тоже завалило. Сердце бьётся, из груди выскакивает: что с малышкой?! Тогда крохе всего

две недели было. Откопала, смотрю — жива, только личико и ручки все посечены, порезаны. Отдала её соседке.

Потом к Кате в комнату метнулась. А она в коридоре на пороге лежит... половина тела... разорвало её. Я сейчас... Простите, не могу говорить, отдышусь. Не могу... Кажется, слёзы все уже давно выплакала. Вспомню тот день — сердце останавливается... Такая девочка необыкновенная была, солнышко наше....

Когда обстрел закончился, приехала “скорая”, меня с двумя детьми отправили в больницу. Оказалось, что у меня множественные переломы, а левую руку мне сразу ампутировали.

На похороны мужа и дочери меня привезли в инвалидной коляске. Мне так хотелось с ними проститься, последний раз посмотреть на них. На их лица. Хотя бы на секунду их увидеть. Но обоих хоронили в закрытых гробах. И не разрешили открывать.

Вы поймите меня, я не могу там больше жить. Я же не железная. Люблю свой посёлок и наш Донецк, нашу шахтёрскую столицу — город миллиона роз. Приезжаю иногда на родину. В День Победы, 9 мая, шла по Донецку с другими матерями в Бессмертном полку, но мы несём не портреты ветеранов, а фотографии наших погибших детей — я Катин...

Мне очень трудно вылечить сына, Захарчику инвалидность поставили, зрение у него восстановилось, но он до сих пор заикается, плачет и кричит по ночам. Диагноз “аутизм” ему ставят как последствие шока и контузии.

Я больше никогда в наши края жить не вернусь. Не могу! Это выше моих сил! Я без руки. Инвалид. А мне двух детей нужно вырастить! Я операционная медсестра, восемь лет в больнице городской работала. С одной рукой — какой из меня медик? Как мне теперь детей кормить?!

Думаете, я только вам рассказываю о себе? Нет! Выступаю везде, где соглашаются слушать. Рву себе душу... Но должны же люди почувствовать, что этот ужас нужно остановить!

Я хочу понять: кто-то может эту войну прекратить? Неужели всем безразлично, что вот так, как моя Катя, дети гибнут? Как же так, мы же люди...

Теперь моя левая рука — это протез. Хороший. Очень дорогой. Сейчас лучше протезов не делают, чудо западной техники. Итальянцы подарили. И поставили его они мне бесплатно. Отличный протез, нервные импульсы чувствует, почти как настоящая рука.

Я у них в Европе несколько раз выступала, в разных странах. В организациях всяких. Они меня внимательно слушают. В залах гробовая тишина. Кроме своей истории, ничего я им не рассказываю. Катю вспоминаю, мужа.

А они не верят. Или спрашивают: “Так вас кто, русские разбомбили? Украинцы? Вы в этом уверены? У вас ложная информация”.

Иногда фотографии им наши семейные показываю. И любимую фотографию Кати — в школьной форме с белыми бантами и букетом цветов.

ЕВГЕНИЙ ТОЛМАЧЁВ



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ

РАССКАЗ

На окраине села, на возвышении, неподалёку от реки и леса, живёт бывший учитель русского языка и литературы Алексей Степанович — поджарый, ещё лёгкий на подъём пенсионер. Если идти от его избы к реке, то попадаешь в старый сад, в котором в мае благоуханно расцветают вишни и яблони, а с вечера до раннего утра в кустах сирени заливчато поют соловьи. “Эта музыка природы исцеляет душу человека, питает его жизненными силами”, — когда-то давно записал в своём сейчас уже заброшенном дневнике учитель.

Алексея Степановича в селе уважают — как-никак педагог, воспитатель юности. Лет десять был директором школы, удостоился звания Заслуженного работника образования России — в общем, прожил жизнь с незапятнанной репутацией, примером для земляков.

Бывший учитель любил сживать на лавочке у палисадника, где цвели красные, белые, жёлтые “весёлые ребята”, покуривать сигареты и размышлять о чём-нибудь возвышенном, глядя на сад. Он думал о быстротечности жизни, хорошо помнил людей, которые дали жизнь молодым неокрепшим саженцам, определив их к плодородной земле, в первый раз напоив водой.

“Сами уже давно в землю сошли, а деревья растут и радуются...” — рассуждал Алексей Степанович, попыхивая сигаретой. Казалось, что этот сад —

ТОЛМАЧЁВ Евгений Григорьевич родился в 1990 году в посёлке Ракитное Белгородской области. Начал писать короткие рассказы, обучаясь на факультете журналистики НИУ “БелГУ”. Публикуется с 2011 года. Работает корреспондентом департамента информационной политики Белгородского госуниверситета. Призёр и финалист всероссийских и международных литературных конкурсов “Восхождение” (2021 год), “Сестра таланта” (2020 год), “Есть только музыка одна” (2021 год), международного конкурса художественных и научных работ памяти И. А. Бунина (2020 год). Автор книги рассказов “Разные судьбы”. Живёт в Белгороде.

продолжение ушедших людей, что никакая жизнь больше не повторится ни в ком, в том числе и его жизнь также неповторима.

Однако мысли его не всегда текли ровно и покойно. Бывший учитель не понимал, как так вышло, что двое его сыновей не стали образованными людьми — трудились на предприятии по производству свинины простыми рабочими, а по выходным расхаживали по селу с воздушкой — стреляли воробьёв. И такая судьба их вроде бы устраивала.

— Лоботрясам уже за тридцать свернуло, а дурью мучаются, — сокрушался Алексей Степанович. — Почему у меня, крестьянского сына, была тяга к учению, а они, сынки мои, может, прочитали в своей жизни две-три книжки, и то, когда я их заставлял? А сейчас попробуй что-нибудь сказать — по матушке обложат: не суйся, мол, старый, не в своё дело.

Философствовал учитель до тех пор, пока не отворялась калитка, и его жена — женщина простая, грубая по склонности души — повелительно звала мужа таскать вёдра с водой на рассаду. Алексей Степанович с неохотой вставал с лавочки и, бросив вдаль прощальный, грустный взгляд, словно ища ответа, который бы разрешил душевные муки, шёл во двор, гремел вёдрами, набирал воду.

Спасался от обыденщины Алексей Степанович в сельском клубе. От природы музыкальный и артистичный, с приятным голосом, пел в местном ансамбле “Родник”, но наибольшее удовлетворение ему приносили сольные выступления. Алексей Степанович не хотел стареть, желая всегда находиться на высоте. Были у него любимые песни — “Малиновый звон” и “Фантазёр”. Однажды из-за этого “Фантазёра” он подрался. Дело было вот как. Неизвестно откуда приехал в село и пристал в сожители к одинокой бабёнке мужик лет пятидесяти — нервный очкарик. О себе он рассказывал, что служил в авиации. Местные жители не верили, но тем не менее дали приезжему прозвище Лётчик. Этот Лётчик возлюбил концерты, проходившие в сельском клубе. По обыкновению, приходил на концерт под ручку со своей сожительницей, радостной, помолодевшей от запоздалой любви, и они усаживались в первом ряду. Но Лётчику было мало являться только лишь зрителем, и однажды он, к удивлению ведущей и гостей праздника, внезапно поднялся на сцену, попросил микрофон и со словами: “Своей любимой посвящаю!” — корявенько, не раз давая петуха, исполнил композицию “Фантазёр”. “Фантазёра” должен был петь заслуженный работник образования Алексей Степанович, которому теперь ничего не оставалось, как подарить дорогим зрителям “Малиновый звон”. Номер получился с нервом, с напряжением, с некой благородной яростью, но певцу всё равно аплодировали. Алексей Степанович пребывал в бешенстве и нещадно жёг сигареты после неудачного, как считал, выступления. Что-то подобное имело место в его юности, когда какой-нибудь наглец из соседнего села ухаживал за местной девушкой... Бывший учитель подстерёг Лётчика после концерта на выходе из сельского клуба.

— Тебе не кажется, что ты тут развёл слишком бурную деятельность? — предъявил он ему, не стесняясь расходящихся по домам односельчан, оборачивающихся с недоумением.

— А в чём дело? — изменился в лице Лётчик.

— Да что вы, Алексей Степанович, — примирительно заговорила сожительница Лётчика, ласково трогая Алексея Степановича за плечо.

— Ты, Маша, не лезь, — сказал, отстраняя женщину, Алексей Степанович. — За такое в наше время морду били...

— Какую морду, какую морду?! — возвысил голос оскорбившийся Лётчик, наступая на бывшего учителя.

— К искусству, значит, свои ручки протягиваешь?! — закричал яростный Алексей Степанович. — Я тебе покажу, как у меня под ногами путаться!

Заслуженный работник образования схватил Лётчика за грудки. Их разнимали завклубом Анатолий Петрович и гармонист Иван. Так что Алексей Степанович ревностно охранял всё, что было дорого ему в этой жизни.

Летним утром он в поношенном костюме и старой фетровой шляпе копался в палисаднике. Костюмов со времён учительствования у Алексея Степановича висело в шкафу штук восемь. В былые времена одевался с лоском. Солнце палило, и словно бы кто-то весильный подвесил на ниточке пушистые облака. По лицу Алексея Степановича струился пот. Он торопился.

— Что это ты, Лёш, всё роисси и роисси в своём палисаднике? — пойдя к палисаднику, повёл речь старик Михаил Фёдорович — родственник бывшего учителя. — Такую делянку под цветы отвёл, да лучше бы луком али помидорами засадил! Что их, эти цветы, глодать, что ли, будешь?

— Дядь, иди-кась ты своей дорогой, — пробурчал из цветов бывший учитель. После выхода на пенсию Алексей Степанович стал допускать в разговоре просторечия. — Не до тебя...

— И роисси, и роисси, сколько их можно пропальвать? — не унимался старик, наваливаясь на штакетник.

— Дядь, иди куда шёл! Наверно, за чекушкой в магазин торопишься? Ну, иди, что стоишь над душой, как стервятник, видишь — я мучаюсь, — шипел бывший учитель.

— Ох-охо-о-о, горе с вами, горе. А раз мучаисси, то нечего и цветы разводить! Вот я тебе что скажу, — отрезал старик и двинулся по своим делам, шаркая кирзовыми сапогами по асфальту.

Когда пальцы Алексея Степановича коснулись горлышка стеклянной бутылки, зарытой среди “весёлых ребят”, сердце успокоилось, отлегло.

— Гля, Лёш, да ты чи выши! — удивился Михаил Фёдорович, возвращаясь с капроновой сумкой из магазина и увидев заслуженного работника образования, провалившегося в отверстие шины от трактора Т-150, лежавшей рядом с палисадником.

— Дядь, дай-кась руку, вытащи меня из этого чёртового колеса, — взмолился пьяненький Алексей Степанович, улыбаясь. — А то мои соколы скоро на обед приедут, мне нельзя попадаться на глаза в таком положении. Дай свою мозолистую руку тракториста! А то сил нет совсем. Ох, развезло на жаре, будь она неладна.

— Да те вы-ы-ытащат, соколики твои! — засмеялся старик, полагая, что бывший учитель побаивается сыновей. — Ишо и по голове накладуть. Ну, а что, я работал на тракторе Т-150 (Михаил Фёдорович оценивающе трогал короткими, грубыми пальцами потрескавшуюся резину колеса), его нам только в семидесятых поставили. Хорошая модель! И мне как передовику этот трактор дали: “Работай, — сказал председатель, — паши и дискуй, дорогой Михал Фёдорович!”

— Дай руку! Что стоишь, как дурак? — зашипел в нетерпении заслуженный работник образования, барахтаясь в колесе, как майский жук, перевёрнутый на спину. На самом деле он не то, чтобы боялся, а не хотел, чтобы его в таком виде узрели сыновья.

Алексей Степанович был вызволен. И теперь сидели они со стариком на лавочке — беседовали. В голубой вышине кружил аист. Появился ещё один. Птицы описывали широкие круги, стучали клювами, переговариваясь. Аисты видели, как внизу, на лавочке, сидели два человека и разговаривали.

— Ничего хорошего я в городах не вижу! — вдруг с сердцем произнёс старик. — Толку, что мои дети поразъехались!? Я не спорю — там работы боле, деньжонки крутятся. А душа? Куда душу-то денешь? Она всегда будет на родную сторону стремиться. Я как-то бывал у них в гостях. По мне жить в городских домах — всё одно, что в тюрьме сидеть.

— Крепкое сравнение ты, дядь, употребил, — усмехнулся Алексей Степанович. — На метафоры переходишь.

— Я ишо не сквернословлю, — обиделся Михаил Фёдорович. — Что ты, Лёш, придираисси?

— Да это я из литературы, дядь, не обижайся.

— А-а-а. Ну, нехай, раз так. Живут мои на девятом этаже, а неба не видать, слышно всё, что у соседей делается — некогда о чём-то своём подумать. Точно муравейник! На пару дней меня только хватило. Я, когда

вернулся, то сразу к колодцу поспешил воды испить, то пил, то пил... У них там в кранах вода железом воняет.

— Да, в колодце вода хорошая. Не то, что в колонке — только огород поливать. Вот что я думаю, дядь, — сказал Алексей Степанович, повернувшись к старику вполоборота. — Мы с тобой, считай, своё уже отшагали. А ради чего жили-то?

— Как ради чего? Работали, детей подняли.

— А во всём мире только ты был самым незаменимым работником, которому можно памятник воздвигнуть? — спросил бывший учитель с некой робостью, словно подобный вопрос хотел задать себе и почему-то боялся ответа. — Детей, говоришь, воспитал, на ноги поставил, а они годами в гости не приезжают.

— Лёш, ты такие вопросы чуждые мне не задавай! Можно было и вместо меня человека в этот самый трактор посадить, только я знал тогда, да и сейчас знаю, что я без этой работы и земли родной не могу — жизнь не та, и она меня ждёт, земля-то. А что дети... Так всё равно придут рано или поздно. Будут помнить.

— Ты, дядь, не обижайся, только самое страшное — это “поздно”... Я часто об этом думать стал. Может, поэтому и выпиваю, — признался Алексей Степанович, глядя вдаль.

— Выпиваешь из-за того, что думать стал?

— Дядь, ну, ты совсем дурачок! Размышляю над серьёзными вопросами, а ответ попробуй найди.

— Ответ... Всех в гроб покладут: и министров, и пастухов. Я в молодости, ты не смейся, мечтал стать генералом. А как поумнел, то решил: нехай лучше я буду хорошим трактористом, чем плохим генералом... Я ж не знаю, заложены во мне способности быть генералом, не просто чтобы в кабинете сидеть, штаны форменные протирать, а так, чтобы города брать!?

— Полководец бы из тебя, дядь, сильный получился бы, как Суворов! — улыбнулся Алексей Степанович.

Польщённый Михаил Фёдорович мелко засмеялся. Вскоре родственники разошлись. Стало ещё жарче. На проводах сидела ласточка и щебетала о чём-то своём, потом улетела. Пахло раскалённым асфальтом и пылью. Вечером Алексей Степанович полил из лейки цветы, а на следующий день решил сходить в библиотеку, в читальный зал. Надел светло-синий костюм, который носил, когда работал директором школы, и пошёл, прихватив в карман смятый одноразовый стаканчик. По пути в магазине купил бутылку пива и в тишине читального зала, за колонной, чтобы не видела библиотекарша, которая, как назло, без умолку задавала разные вопросы, попил пиво из стаканчика и перечитывал старые, пожелтевшие литературные газеты и журналы.

— Алексей Степанович, не хочет молодёжь сейчас книжки читать, все в интернет полезли, — сетовала библиотекарша, согласная поддержать любое мнение заслуженного работника образования. — И все одинаковые стали с этим интернетом, как инкубаторские. И разговор у них одинаковый — “а я такая”, “а я такой”, “как бы”, и одежда одинаковая — толстовки и спортивные штаны.

— Это, Наталья, массовая культура, которая имеет свои недостатки, — сладко причмокнув после нескольких глотков пива, сообщил заслуженный работник образования. — Ну, и ещё коммерческий интерес некоторых больших людей.

— Интересно, а как же себя можно защитить? Им-то есть защититься?

— Изолироваться, — ответил Алексей Степанович, намереваясь выпить ещё, тронув бутылку, пристроенную во внутренний карман пиджака.

— Из розетки вилку выдернуть? — продолжала сыпать вопросами назойливая библиотекарша, беспшумно в мягких тапочках приближаясь к колонне, за которой расположился желанный собеседник. — Алексей Степанович, а что это у вас за стаканчик?

— Да это я лёгкие тренирую! Курить собираюсь бросать! — смущённо засмеялся заслуженный работник образования, схватив пустой стакан и поднося ко рту, чтобы продемонстрировать, как он тренирует лёгкие.

Когда Алексей Степанович ушёл, библиотекарьша сидела у окна и, сама себе улыбаясь, рассуждала: какой человек! И ум свой постоянно развивает — читает, и тело укрепляет: вон, лёгкие тренирует. Вот как надо жить, а не валяться пьяным под забором!

В библиотеке царил тишина, и пахло старыми книгами.

Сестра учителя была замужем за бывшим главным агрономом колхоза Василь Ефимычем, у которого в старости страшно болели ноги. Жили они в соседнем селе, километрах в девяти от дома Алексея Степановича. Он раз в неделю, а бывало и чаще, навещал родственников. В их селе была церковь, в которую по праздникам ходил заслуженный работник образования, но родственников, конечно, навещал чаще.

— Пойду-кась в церковь, — говорил жене Алексей Степанович. Неизменно нарывал сестре цветов, садился на велосипед и, словно ветер, летел в соседнее село.

Издали манил его голубой купол и позолоченный крест, видневшиеся из-за тополей, сердце сжималось в тревожном, сладостном предчувствии. На Спас учитель носил освящать яблоки. Годовые праздники никогда не пропускал — стоял в церковном полумраке и думал свои думы о смысле жизни. Читал “Отче наш” и размышлял: что ждёт его и всех людей за гробом? Бывало, и не по праздникам на обратном пути от родственников заходил в церковь. Почему-то стоять в безлюдной церкви было приятнее, словно появлялся неведомый, всезнающий собеседник, и блуждало в глубине души невысказанное слово.

Дворовый пёс Василь Ефимыча не лаял на гостя — знал своего человека и приветливо вилял хвостом. Алексей Степанович входил интеллигентно, не гремел железными воротами, снимал со штaketника, крашеного зелёной краской, пустую пол-литровую банку, брал из сваленной в углу у ворот кучи красного кирпича половинку и тихо направлялся в сени. Направо — кладовая. Отворив дверь, заслуженный работник образования неслышно открывал крышку пятидесятилитрового бидона. Зачерпнув банкой мутную брагу и с наслаждением выпив, Алексей Степанович спускал на дно бидона полкирпича — для поддержания уровня. Утерев губы расписным носовым платком, гость закрывал крышку и весело, шумно входил к родственникам:

— Ну что вы тут, дорогие мои!

Сестра радовалась цветам, а Василь Ефимыч — вниманию. Алексей Степанович сидел рядом с его кроватью на стуле, беседовал и гладил хворого зятя по колену. Веселее становилось в сестрином доме. Перед уходом гость оставлял родственникам символических сто рублей, как говорил — на лекарства, и уезжал. Быть может, цветы и символическая денежная помощь смягчили гнев сестры, когда пришло время гнать самогон для растирок и настоёк. Бидон был неподъёмным, не желал двигаться с места. Браги в нём оставалось от силы полтора ведра, остальной объём занимали кирпичи...

— Вот же кобель шалуди-и-ивай! Вот же коро-о-оста! — причитала сестра. Она воспринимала Алексея Степановича как младшего брата, которого в детстве стегала крапивой, а не как уважаемого человека. — Каким был разгильдяем, таким и остался! Как он ишо детей учил?! Это ж так обмануть. Да что ж я, али не догадаюся, не увижу?! Кто ж ему — коросте — эти звания почётныя подавал?!

— И что? Много выпил? — лёжа в постели, испуганно водил глазами Василь Ефимыч. Зла он не держал: что такое, в сущности, бидон бражки против больных суставов.

— Да ведёрки две выглотал, ужака! — кричала жена. — А я-то думаю: что он зачистил?! То раз в неделю навещался, а тут стал почти каждый день наглядывать!

— Хорошим здоровьем Бог наградил, — с неуловимой, доброй завистью тихо произнёс Василь Ефимыч, не понимавший, за какие грехи он утратил здоровье... Часто одолевали мысли следующего характера: почему он — главный агроном, который работал исправно, но особо горб не ломал, — слёг, а живущий через пять дворов вечный чернорабочий Серёга Печёнкин — при здоровье?

Неделю бывший учитель глаз не казал к родственникам. А потом, принарядившись в костюм, прихватив штанины внизу прищепками, чтобы на звёздочку велосипеда не намотало, нагрязнул, как жених, с пышным букетом цветов и жареной уткой. Родные люди примирились. Когда хозяйка пошла достать из погреба баночку клубничного варенья, Василь Ефимыч спросил:

— Лексей, как ты умудряешься в свои шестьдесят семь годов выпить два ведра бражки и гнать почти десять километров по грунтовой дороге на велосипеде, да ещё по жаре?

— Вась, да я ж не сразу два ведра осушил. Я кружечку выпью и только тогда еду.

— А с кирпичами ты смешно придумал, — тихо засмеялся хворый родственник.

Посмеялись. Помолчали. В открытую форточку было слышно, как зашумел в кронах деревьев ветер. Где-то посвистывала невидимая птичка.

— Да, время... — произнёс Алексей Степанович.

— Ничего страшного, — миролюбиво сказал Василь Ефимыч. — Выпил и выпил. Бражка там, подумаешь — дело большое... Вон в церковь зайти, если совесть мучает, не, я не про бражку сейчас, а в общем смысле-то!

— Я вот что решил, Вась. Церкви, Бог — это, конечно, хорошо на случай спасения. Только человеку надо так жить, чтобы не перекладывать ответственность с себя на этого самого Бога, а самому нести ответ... Пусть и ошибки будут, только надо постараться память о себе добрую оставить, — ответил бывший учитель.

— Добрую память, — вполголоса произнёс Василь Ефимыч, словно примеряя на себя идею, выраженную родственником. — Да...

Вечером, когда бывший учитель приехал домой, жена и сыновья обрадовались, что вернулся трезвым. На следующий день Алексей Степанович в очередной раз прополол цветы в палисаднике, управился по хозяйству, а потом сидел на лавочке и размышлял. В вышине порхали ласточки. Тени от деревьев становились длиннее, солнце медленно двигалось к горизонту, чтобы завтра вновь засиять над миром.

ПОЭЗИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ ТЕТРАДЬ

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Переводя чеченских поэтов на русский язык, Вы сделали большое дело, познакомили всеобщего читателя с чеченской литературой. И сейчас Вы великодушно откликнулись на мою просьбу опубликовать на страницах Вашего журнала некоторые образцы поэзии нового поколения чеченских писателей, сформировавшихся в нелёгких условиях. Большое спасибо Вам!

С искренним уважением
профессор Хасан Вахитович Туркаев

АДЛАН МУРТАЗОВ

ВЕСНА

Лёгкой походкой прошла по аллеям весна,
Красше, милее сегодня родная Чечня.
Солнцем согреты, готовы раскрыться цветы,
Сердце ликует от этой благой красоты.
Будто снежинки, летают цветов лепестки,
Кружатся в воздухе в танце красивом, легки,
Ветер чудачит, как будто ребёнок шальной,
Гнёт на берёзе он стебель ещё молодой.
Солнце сегодня нам щедро дарует тепло,
Снова лучами ласкает родное село,
Благоухают цветы, украшая луга,
Солнце улыбочиво смотрит опять свысока.
Стрелы лучей вновь красиво на землю летят,
Почву родную согреть и утешить спешат.
Это весна, и все почки раскроются скоро.
Мысли мои улетают в родные мне горы.

Перевод Инги Хаяури

КОВРЫ ТРАВЯНЫЕ

Весна нам дарует красоты свои,
Ковры травяные, вы шёлка чудесней!
Повсюду задорно галдят воробьи,
А лайнье пса принимаешь за песню.
Горят на лужайке соцветий огни,
И бабочка в танце неистовом кружит,

А люди гуляют; смотрю я на них,
Но только тебя не могу обнаружить.
Весна заплетает планете венок,
Весь мир затопили цветочные реки,
Но мне не до счастья, ведь я одинок,
Меня ты решила оставить навеки.

Перевод Юрия Литвяка

МУРТАЗОВ Адлан родился в 1992 году в г. Грозный. С отличием окончил Серноводскую СОШ № 2. Затем поступил в Чеченский государственный педагогический институт на факультет филологии, истории и права. Ещё в детстве он полюбил родной язык, с раннего детства пробовал писать стихи. Его стихи публиковались в коллективных сборниках, в журналах, а также в газетах. Лауреат литературных конкурсов. В 2016–2021 годах работал корреспондентом республиканской газеты “Даймохк”. В настоящее время работает в Центре прикладной лингвистики Института чеченского языка. Член Союза писателей России и Союза журналистов России.

АСЛАМБЕК ТУГУЗОВ

* * *

И во первых строках своего небольшого письма
Сообщаю, что жив и пока что в пределах ума.
В драгоценную осень, на энном бытийном этапе
В тридевятой стране, в тридесятом безбожном году
Наблюдаю, как мокнет берёза в казённом саду,
Эта грустная девочка в жёлтой, растрёпанной шляпе.

Мимолётна любовь, но тотальна мирская хандра,
Если к ночи плеснёт или сразу нахлынет с утра
В золотом сентябре. В ожидании верного чуда
Собираю слова, расставляя их в нужном ряду...
Я вам — это письмо, сочинённое в явном бреду,
Вы мне — пламя своё или искру хотя бы оттуда...

2021

* * *

Не осмыслен ещё и ещё не разгадан твой путь,
Ты куда-то идёшь, и тебе никуда не свернуть.
Ночь бежит за тобой. Вынимая стрелу из колчана,
Постовой херувим исподлобья глядит на тебя.
Справа купол мечети, а слева — фасад ресторана,
Под ногами — земля. Проходи и не слушай себя.

Словно голубь-лунатик, цепляясь за ветхий карниз,
Призрак полной луны очарованно щурится вниз,
Где на каменной плитке, омытой цветными дождями,
Отражаются звёзды и гаснут, дымя под ногами...

Проходи, говорю, соглядамай полуночных снов,
Между светом и тьмой, и тревожно уснувших домов.
Словно бархатный шлейф от накидки бывшего высочества
Утомлённых надежд и высоких стремлений души,
Волочи за собой беспокойную тень одиночества
По кварталам ночным. И прохладой озона дыши.

Как Горгона Медуза на дерзкого путника встарь,
Смотрит прямо в глаза, улыбаясь, чугунный фонарь.
И, как в волны баркас, тяжело погружённая в дрему,
Равнодушная Родина снится скитальцу другому...

2021

ТУГУЗОВ Асламбек родился в 1969 году в с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района. Стихи начал писать в раннем детстве. Первая публикация — в журнале “Нана”. В последующем публиковался в других местных и центральных изданиях. С первых же публикаций получил широкую известность среди любителей поэзии в республике и далеко за её пределами. Первая книга — сборник стихов “Ночные песни” — была представлена читателям в 2019 году. Финалист конкурса “Щит и перо”, Победитель литературного конкурса журнала “День и ночь” в номинации “Поэзия” (2021). Пишет на русском языке.

УВАЙС ЛОРСАМУКАЕВ

Как известно, у Ахмата-Хаджи Кадырова была мечта написать книгу о красоте и величии природы родного края. Но, к сожалению, его трагическая гибель оборвала эту мечту. В связи с этим, в память об этом удивительном человеке, у меня появилась мысль написать стихотворение под названием “Недописанная книга”.

НЕДОПИСАННАЯ КНИГА

Хотел такую книгу написать,
Чтоб были в ней рассветы и закаты,
Чтоб доносились горные раскаты
И голубых озёр сверкала гладь.

Чтоб запах просыхающей земли
Шёл от страниц, а в следующих тихо
Благоухала розово гречиха,
Жужжали полосатые шмели.

Хотел, чтобы шептание дождя
Угадывалось в ритме монотонном,
Чтоб грянул гром, и смял проём оконный
Весёлый ливень, стёкла теребя.

Хотел добиться хрупкости листка
Кленового в безудержье осеннем,
И написать строку как завершеньё
Изящества последнего витка.

Хотел такую книгу сотворить,
Обложку сделать солнечно-лучистой,
Вложить в зелёный переплёт из листьев
И безвозмездно людям подарить...

ЧЁРНЫЙ ФЕВРАЛЬ

В зазеркалье постылого времени
Наши души — застывшие камни,
Эта память — и юность, и бремя
Тяжких лет пережитого нами.
Мы пройдем, нас не сломит беда,
Вздёрнув руки к небесному своду.
Кто сказал, что печаль навсегда,
Кто изрёк: “Вам не видеть свободу?”
Но есть Бог, он оставил Завет
Для грядущих, святых мирозданий...
Те тринадцать отверженных лет —
Светлый памятник наших страданий.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Осенний день за сопкой догорает,
Бледнеет поднебесная лазурь.
Опять земля как будто замирает
И меркнет в ожиданье зимних бурь.
И лес озябший снега ожидает,
Отдав ветрам последнюю листву.
Кустарник с тихим вздохом припадает
К земле, примяв пожухлую траву.
И льётся песня тихо и печально,
Прощальный гимн теплу летящих стай.
И воздух в этот миг звенит хрустально,
На мирный сон благословляя край.

НАТАЛИЯ НАРОЧНИЦКАЯ

ПРИГОВОР РОССИИ ВЫНЕСЕН И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Президент “Фонда изучения исторической перспективы”, доктор исторических наук, иностранный член Сербской Академии наук Наталия Алексеевна Нарочницкая рассуждает о разнице мировоззрений воюющих сторон, природе этих мировоззрений, причинах конфликта, возможностях и условиях его преодоления.

– Наталия Алексеевна, сейчас, во время военных действий на Украине, мы слышим от обеих сторон, что они воюют, исполняя заповедь о любви к ближнему. Это смущает: получается, христиане воюют с христианами, пытаюсь исполнить евангельскую заповедь. Так ли это, на ваш взгляд? Если нет, то в чём разница?

– Разница в том, что те, кто воюет на противоположной стороне, защищают не Украину, свой дом и своего ближнего, а глубоко антихристианские взгляды. Возьмём самых “идеологически мотивированных” с той стороны – это именно нацисты, а никакие не защитники своего народа. Посмотрите на их татуировки, на книги, которые они возят с собой... Думаете, там православные молитвословы?! Нет: содержание этих книжек и брошюр может восхитить Геббельса. Когда же видишь татуировки “бойцов за свободную Украину”, читаешь их, простите, “литературу”, приходишь к выводу, что мы имеем дело с откровенными сатанистами. Так что говорить о том, что противоположная сторона исполняет заповедь о любви к ближнему, абсолютно некорректно. Можно считать, что большая часть украинцев находится в плену антихристианской идеологии, кто-то подчиняется её носителям из страха, безнадёжности, безысходности, но мы должны признать: часть нашего народа действительно поражена той убийственной псевдорелигией, которая в своё время превратила немецкую нацию в орду убийц. И чего до сих пор немецкий народ стыдится, к своей, надо сказать, чести.

– Но как стало возможным торжество нацистской идеологии в народе, который вместе с братьями освобождал и себя, и остальные народы от фашизма?

– Это похоже на ревность Каина к Авелю, грех гордыни, толкнувший Каина на убийство брата и ставший нарицательным в христианском мире: братоубийство – это первый страшный грех человека на Земле. Именно эта иррациональная ревность к русскому миру царит сейчас на Украине. К миру,

которого им не догнать, потому что уж слишком он для их болезненно завистливого взгляда велик и силён и непреодолимо недоступен. Для них этот мир, эта отринутая часть их собственного “Я” есть препятствие для амбиции стать вместо него тем, чем стала Россия. Говорить о разумных доводах в пользу теории сверхчеловека-украинца-униата, расовой чистоты, я думаю, уже нет смысла: сначала мы смеялись над “галицийским происхождением Христа” и прочими перлами пропаганды, захватившей Украину, но сейчас не до смеха: мы видим её кровавые плоды. Мы москали, и согласно этой идеологии являемся “презренной помесью монголов с угро-финнами”, а они истинные арийцы. Помимо отвратительной схожести такой “теории” с расовой доктриной нацистского рейха сама “этнология” абсурдна и антинаучна. Если что где и перемешалось больше помимо мозгов идеологов, то на юге Руси: кочевники монголы как раз обосновывались именно в наших южных – степных пределах без особых препятствий. А вот север с непроходимыми лесами и снежными заносами, куда, кстати, переселялись из южнорусских земель спасаться от захватчиков русские люди, ордынцы обкладывали данью, не обосновываясь там. Благодаря переселенцам с юга Руси появилась, например, Вологда: здесь в середине XII века преподобный Герасим, пришедший из Киева, основал монастырь. Но это святые, они вряд ли рассуждали о своей “арийскости”. Страшно, что их потомки предали как их, так и самих себя. Страшно и дико.

– **Мы воюем только за возвращение своих территорий?**

– Нет, отнюдь не только за освобождение русских людей от геноцида, это противостояние более широкого масштаба. Да, мы воюем с нацизмом и сатанизмом, которых донецкий и луганский регионы открыто не признали. С нашей стороны даже при ожесточении сохранено естественное желание и стремление остаться христианином, русским человеком. И сколько мы терпели откровенные унижения, оскорбления! Когда, начиная с детского сада, детям внушают, что русские – неполноценные, агрессивные, звероподобные недочеловеки, живущие в болотах, пьющие, не умеющие ничего, кроме как захватывать чужие земли, – это надо было заканчивать.

Мало того: доказано, что НАТО готовила войну, вдоль границ наших уже были размещены боевые самолёты и летали разведчики с системами точного боевого наведения. Война – нападение на Донецк и Луганск с одновременной блокадой Приднестровья уже была подготовлена. Мы должны были ждать их удара? И не надо делать вид, будто санкции – плод “праведного гнева”, реакция “всего цивилизованного мира” на российскую “агрессию” против “свободолюбивой” Украины: все эти санкционные “пакеты” были подготовлены задолго до начала спецоперации и были нам известны в январе 2022-го. Если территория Украины превратилась в кулак для наступления НАТО на Россию, то наше противодействие вполне логично и с военной точки зрения.

Ещё к слову о разнице в идеологиях. Хоть где-нибудь кто-то с нашей стороны хотя бы раз призвал к истреблению украинцев как народа? Говорил об их неполноценности? Донецк обстреливали и убивали детей 8 лет, но разве в донецких школах учили деток ненависти именно ко всем украинцам? Разве именовали их неполноценными? Нет, но с горечью и возмущением обличали бандеровскую идеологию, отравившую украинский народ. Никогда русскому народу не были свойственны сжирающая человеческий облик спесь, чувство превосходства по отношению к другим. Даже во время Великой Отечественной подчёркивалось, что мы воюем не против немецкого народа, а против германского фашизма! Моцарта, Бетховена, Гёте, Шиллера у нас не запрещали... Кстати, воевали мы тогда против нацистской Германии вместе – кому, как не украинцам, это помнить...

Чтобы обосновать логику отдельного существования украинцев от русских, нужно лишить себя остатков разума: придумать новую антропологию, историю, географию, религию. Пусть это будет откровенный бред – лишь бы был! – и на таком фундаменте можно строить свою идентичность. Мы, я имею в виду украинцев и русских, и пожинаем сейчас кровавые плоды этой каиновой ревности, этой обречённой на крах версии украинства как антимосковитства. Мы... Но, прежде всего, сами украинцы стали её жертвами. Каковы последствия для Украины: деиндустриализация, люмпенизация, деинтеллектуализация бывшей республики, обладавшей могучими промышленностью, наукой, сельским хозяйством, наконец, крах украинской государственности.

Казалось бы, живи и процветай. Но победили необузданные амбиции стать не просто не-Россией, но во что бы то ни стало анти-Россией. Любовь к своему – не ненависть к иному – один из законов “русского мира”, который открыт ко всему доброму, будь то с Запада или Востока, – полностью отвергнут нацистской идеологией, господствующей на Украине. Впрочем, не только на Украине, но и в Прибалтике.

– Чем вы объясните вовлечённость западных стран в “спор славян между собою”? Заботой об Украине? Искренним сочувствием и желанием помочь её народу?

– Западу совершенно безразлична Украина. Уже несколько раз во всеуслышание звучало, что для “цивилизованного мира” эта война имеет экзистенциальное значение. Запад понимает, что наша победа – угроза навязывания всему миру их философии прогресса, интерпретации будущего человечества без всякого нравственного смысла истории и жизни, технического прогресса без нравственных целей. Грех равен добродетели, красота – уродству, смешение и уничтожение всех ценностей и морали, вызов семье как таковой, богоданной природе человека – вот идеал постмодернистской философии, господствующей на Западе.

Мы же для них стали еретиками – обладая современными технологиями, пользуясь плодами научно-технического прогресса, мы не тащим в Средневековье, но твёрдо стоим на сохранении тех ценностей, благодаря которым мы все, в том числе и Запад, родили великую христианскую культуру, обрели смысл исторической жизни, воплотили христианскую идентичность в национальной жизни. Для нас даже после 75 лет принудительного атеизма вера, отечество, честь, долг, любовь – не архаика, а нравственный стержень, камертон смысла и оправдания нашего существования. “Ищите прежде Царствия Божия, а это всё приложится вам” (Мф. 6:33), но для этого искания надо различать добро и зло, грех и добродетель, видеть грань между ними... Это сегодня крамола для идеологов постмодернизма и “открытого общества”, этим и объясняется истерическое агрессивное отторжение России и русского мира. Западная цивилизация предала собственную великую историю и культуру, полностью порывает в своей идеологии со своими христианскими корнями и евангельскими заветами. Тут что-то сродни бешеной ненависти к вере большевиков, с которой они пытались уничтожить любой след учения о Христе в нашей стране.

– Мы-то худо-бедно справились. Точнее, не столько мы сами справились, сколько Бог помог преодолеть этот антихристианский морок. А для западного мира, по вашему мнению, есть надежда?

– Безусловно, она остаётся. Не надо думать, что весь Запад погиб, – такое впечатление может возникнуть, конечно, если читать основные СМИ, которые полностью подконтрольны постмодернистским идеологам. Но мы получаем много писем поддержки от интеллектуалов Западной Европы и США, где видим боль людей от утраты христианских основ, их стремление бороться за них, полное понимание и поддержку России в этой – общей, по их словам, – борьбе. Поверьте, это не высокие слова и уж тем более не дежурная вежливость: люди пишут и говорят то, что они действительно пострадали, то, за что они всерьёз переживают. Можно смело сказать, что христианский Запад сейчас действительно находится в оккупации у мощной транснациональной постмодернистской когорты. То, что происходит не только в СМИ, но в образовательных учреждениях, в университетах, свидетельствует о всемирном наступлении на христианские ценности и на то представление о человеке, что было во всех цивилизациях. То, что там преподают, ужасает, а во что превратились искусство, западная литература, театр? Там даже классику извращают, всюду меняя интерпретацию героев, подменяя и извращая их побудительные мотивы... А русскую культуру и великую русскую литературу запрещают: в ней нравственная дилемма – это главный нерв. Но такой была и великая классическая западноевропейская литература – её они сейчас клеймят как нетолерантную и устаревшую.

Известно, что на Западе сейчас принимают лишь тех, кто льёт помой на Россию и русских (то ли оправдывая свою стыдливую “эмиграцию”, то ли отработывая гранты). Но вот так, например, закончил своё письмо ко мне знакомый

профессор из Парижа: “Да здравствует свободная Франция, да здравствует свободная Россия!” Он регулярно публикует в интернете своё видение украинского конфликта, и на мой вопрос, не повредит ли ему, если мы переведём и опубликуем его тексты, он ответил: “Честь Франции дороже!” Такие слова вселяют надежду на очищение, возрождение. . .

Если его не произойдёт, то наша Россия сохранит европейцам их собственную прежнюю великую культуру – Шекспира и Шиллера, Флобера и других гениев, но для этого мы, конечно, сами должны оставаться верными своим устоям, православному пониманию долга человека перед Богом и людьми, тем ценностям, что двигали нами веками. Недавно один немецкий журналист с горечью признался мне, что из школьной программы в течение нескольких десятилетий изымали лучшие произведения немецкой и мировой классики, заменяя их аморальными модными поделками. То же происходит в других странах когда-то действительно цивилизованного западного мира. Нынешние руководители Европы ничего общего не имеют ни с историей, ни с преобладающей культурой своих народов. Не только уровень их образования заставляет стыдиться за них – гораздо больше недоумения и горечи вызывает их параноидальная убеждённость в своей правоте и непогрешимости, их нежелание кого-то понять, уважать иные цивилизации. Очень надеюсь, что Россия окончательно и навсегда преодолет искушение “всегда и во всём учиться у Европы”. Чему учиться у “коллективной греты тумберг”, у фанатичных великовозрастных недорослей? Вот почему одна из главных битв сегодня идёт в школе, в системе образования, и не дай нам Бог проиграть эту битву.

– Аркадий Остальский, священномученик, убитый на Бутовском полигоне в 1937 году, “волинский Златоуст”, как его называли, писал: “Никогда не забудем мы святого Киева; никогда и вы, враги России, не сделаете его нерусским, неправославным. Как бы вы ни кричали, как бы вы ни свирепели, но не вам, проклятым трутням, разрушить эту Богом данную твердыню!” Не раз уже было сказано, что передача исконно русских земель “государствам-новоделам”, среди которых и Украина, – ошибка большевиков. Так вот: почему “ленинопад” был именно у “трутней”, а не у нас? “Трутни”-то должны бы памятники Ульянову-Ленину в золоте по периметру своих нынешних границ ставить и камлать вокруг. А теперь мы вынуждены исправлять его фантазии своей кровью.

– Кстати, ваша сентенция – совершенно справедливая, пробудила у меня в памяти один интересный эпизод. В составе небольшой делегации Госдумы я депутатом была в Эстонии, где мы вели официальные переговоры с комитетом по международным делам эстонского парламента. В конце визита у нас была неформальная беседа с бывшим президентом – Ленартом Мери – у него на даче на взморье. Беседа была интеллектуальной и со скрытой пикировкой. И я тогда саркастически уронила, что Эстонии, получившей от большевиков независимость именно в русле ленинской национальной политики, более логично было бы сохранять памятники Ленину, а не свержать их. На что он мне тоже саркастически ответил: “А мы в душе их ещё как сохраняем!” Цинично. . . И в Эстонии, и на Украине уничтожают все коммунистические памятники вовсе не из ненависти к коммунизму! Им нужно стереть все следы общего прошлого наших народов.

Я считаю передачу русских земель в новообразованные республики под эгиду национальных элит, в будущем неизбежно враждебных, ревнивых, неблагодарных, одним из трагических деяний революции. Именно распятие русской национально-религиозной православной ипостаси России и деление страны по национально-религиозному признаку – вот главное преступление пламенных большевиков – носителей самой максималистской версии коммунистического прожектёрства и ненависти к Православию. Не говоря уже о том, что в мире нет примеров успешных федераций, которые были бы созданы разделением ранее единого многовекового государства. А наоборот, объединения бывают и успешными, и жизнеспособными.

Что же касается избавления от слишком большого количества памятников первым большевикам – разрушителям России, – то оно всё-таки уменьшается. Если и сохраняются или ставятся памятники советской истории, то это всё же совсем иные личности – созидатели, защитники страны в войнах. Но в самой России я считаю сегодня наиважнейшей задачей не выяснение

отношений по прошлому (вспомним, как в 90-е нация не могла найти согласия ни по одному вопросу прошлого, настоящего и будущего и совершила одну утрату за другой), а объединение вокруг задач будущего. Не нужен новый разрыв, нужна единая нить нашей многострадальной истории. В первый раз соединение, казалось бы, разорванной навек нити русской и советской истории произошло стихийно, но явно по воле Божьей во время Великой Отечественной войны перед лицом вселенской угрозы самому нашему присутствию в мировой истории. Тогда вместе сражались против общего зла и те, кто революцию аплодировал, и те, кто её не принимал или от неё пострадал. Это и есть высота национального самосознания, потому что в этом случае человек руководствуется не сиюминутными эмоциями, а ретроспективой и перспективой своего Отечества. Вспомните, как Рахманинов до изнеможения давал концерты, а гонорары пересылал в СССР, как переживал из-за нападения гитлеровского рейха на нашу страну генерал Деникин. Мне лично рассказыывал академик Никита Ильич Толстой (правнук Л. Н. Толстого), выросший в довоенном Белграде, что среди русской эмиграции в Сербии “пораженцев” – желающих поражения Красной армии – было всего 15–20%, остальные, ненавидя большевизм, желали победы Советской стране, которую они в любом обличье считали Родиной. Вот что такое единый народ, страдающий вместе с Россией, пусть тогда и советской.

Спор о том, плохим или хорошим было наше государство в то время, – неуместен, потому что вселенский вызов был брошен не государству, а Отечеству, а это не тождественные понятия: государство всегда греховно и несовершено, Отечество же – понятие ближе к религиозному. И тогда понимали, что, не защити государство, погибнет и Отечество – не будет никакой России. Воевали не против СССР – стремились уничтожить именно Россию. Речь шла о тотальной “отмене” всего русского и превращении народа в материал: думаю, даже беглое знакомство с нацистской идеологией красноречиво об этом свидетельствует.

Абсолютно с тем же мы столкнулись сегодня: все эти санкции, “отмены” и так далее – это не против РФ, а против России исторической с её способностью выстаивать перед вызовами вселенского масштаба, против равновеликой всему совокупному Западу геополитической величины и против русской исторической личности с вечно самостоятельным поиском смысла исторического бытия. Так я давно написала в своей главной книге моей жизни “Россия и русские в мировой истории” и небольшой книжечке “За что и с кем мы воевали”.

Что же касается памятников ранним большевистским деятелям, то, думаю, большую роль должно играть просвещение, качественное образование и терпение, время. Рубить сплеча, мчаться сломя голову, мне кажется, нельзя. Посмотрите, к чему привёл “ленинопад” на Украине и в других землях... Может быть, к лучшему знанию своей истории или уважению к дореволюционной России? Да нет же! Это было проявление не антикоммунизма, а, как ни парадоксально, истеричной русофобии, желания стереть в памяти нынешнего поколения, не знавшего дореволюционной России, следы недавнего совместного прошлого. “По плодам их узнаете их”: сейчас уже и Пушкин неуместен, и Булгаков, и Жуков, Конев – при чём тут большевики?

– “Мир во что бы то ни стало!” “Компромисс!” Уместны ли сейчас такие призывы?

– Чем больше компромисс, тем больше нас заставят платить, уверяю. Будет по Максимилиану Волошину: “Отдай нас в рабство вновь и навсегда, / чтоб искупить смиренно и глубоко / Иудин грех до Страшного суда!” Мы должны понять, что страна и народ приговорены, и у нас нет другого выхода, кроме как воевать до победы.

– Отказ от уважения к иному, ненависть к нему как доказательство любви и уважения своего – чем это опасно, по вашему мнению?

– Очень грустно, когда видишь, что такая-то страна берёт на себя роль шакала Табаки и считает эту роль в своей политике достойной. Брезгливость и жалость испытываешь, когда видишь, что народ в своей истории не может найти ничего, кроме зоологической ненависти к русским и России, беря за основу существования своего государства десятилетнее сотрудничество части своих “элит” с нацистами. Неужели нынешние прибалтийские республики

не могли найти более достойные опорные пункты для формирования национального проекта и самосознания, чем постоянные заклипания в том, что они — “не Россия”. На ненависти вообще никакого плода не вырастет. В итоге — разрушение не только экономики, что мы видим в этих странах, но и деградация духовных культурных сил любого народа, совершившего грехопадение в ненависть.

— Правильно ли делает Россия, что в ответ на сооружение новой “берлинской стены” на западных границах, на всевозможные визовые войны не закрывает собственные границы, оставляя возможность всем желающим приезжать к нам?

— А зачем нам закрывать границы? Это во времена СССР стеснялись показать наш в чём-то (но отнюдь не во всём) убогий для “победившего социализма” быт, поскольку это противоречило заклипаниям об обязательной экономической победе коммунизма. Через 40 лет после Победы стало уже не совсем убедительным оправдывать скудость преодолением последствий войны. Сейчас же, наоборот, можно и нужно демонстрировать, как Россия “изнывает под гнётом санкций”, восстанавливая собственную экономику. В Москве полны кафе, не купить билеты на концерт, у всех дома тепло, в магазине полно еды. Закрываются тогда, когда есть чего стыдиться, — этим и занимается Запад, который считал себя землёй обетованной для жителей России. Какая судьба у всевозможных “берлинских стен”, мы прекрасно знаем. Глупость, истерика, порождённая бессилием! Пусть поживут, помёрзнут, раз так хочется. Многие приезжающие из ЕС признают, что Россия сейчас куда более свободная страна, чем европейские. Впрочем, это давно уже не новость.

— Но для кого-то и новость — особенно для тех, кто живёт в России “под пятой кровавого режима”. И, разумеется, стремится уехать отсюда. Как вы относитесь к феномену “бегунков”?

— Ну, не надо преувеличивать их масштаб. После того, как дважды за жизнь одной семьи растапывали нашу историю, можно лишь дивиться, как всё же масштабно единство и государственный инстинкт нашего народа. Да, обнажилась червоточина и в народе, и в элите. Но всё же можно сказать, что подавляющее большинство соотечественников как раз никуда не бегут, желая помочь своей стране, будь то в войсках или в тылу. Меня вообще поражает, что, несмотря на годы мощнейшей антирусской пропаганды, внутри России у нас так много людей, которые не поддались ей. То, что происходит сегодня, имеет положительные стороны: убегают из России те, кто с 90-х усвоил идеал неоспричастности к делам своего Отечества. Студенты, что зимой 2021-го собирались на улицах Москвы с какими-то бессодержательными лозунгами, что и в нынешней ситуации мелкими группками пытались необедительно протестовать кое-где, учатся у тех, кого в 90-е учили презирать свое Отечество и его “преступные имперские амбиции”. Мы сейчас пожинаем плоды прошлых лет. Желание таких сбежать вполне закономерно, именно этому их учили десятилетиями. Кто-то из них, истратив все деньги, возвращается; кто-то на себе испытывает за границей непереносимые унижения и осознаёт, что русских предателей там не любят всё равно, потому что они русские. Кто-то понимает, что Россия важнее, чем они думали, и тоже возвращается; кто-то остаётся за границей, руководствуясь лозунгом “ubi bene ibi patria” (где хорошо, там и Отечество), но можно не сомневаться, что новая “patria” покажет им, что значит “bene” на самом деле.

Всё это не ново. Но большинство, мне кажется, молится за Победу, с огромным уважением относится к воинам. Помните, как Шарапов говорил: “Я фронтовой офицер, я не на продуктом складе подбедался!” — вот эти слова сейчас люди очень ценят, по моим наблюдениям.

— Тем не менее вызовы, с которыми столкнулась Россия, страшные. У нас есть возможности преодолеть их, по вашему мнению?

— Да, убеждена! Во-первых, не в первый раз Отечество в опасности, и у России есть опыт её преодоления. Во-вторых, мы, в конце концов, похоже, освобождаемся от убийственной идеологии гедонизма — жизни как источника наслаждений. Такие общества всегда в истории погибали и исчезали,

вспомните Римскую империю. Мы как народ вспоминаем опять о подлинных ценностях, за которые жертвовали жизнью предки – они вновь становятся примером для подражания и воспитания, и это залог Победы в испытаниях. В-третьих, вся наша история доказывает: если русский народ сохраняет потребность в вере, а это обнаружилось после 75 лет принудительного атеизма, он вновь и вновь являет невиданную силу духа и спасает от беды не только самого себя, но и других. Напомню неpolitкорректного Честертона: “Да, много раз – при Арии, при альбигойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине – вера, несомненно, катилась ко всем чертям. **И всякий раз погибали черти**. Каким полным и неожиданным бывало их поражение, мы можем убедиться на собственном нашем примере”. Добавлю: и при нацистах, и при НАТО, и при выродившемся в ценностный нигилизм либерализме. Но сегодня прямо по Честертону “случилось чудо – молодые поверили в Бога, хотя Его забыли старые”!

Сейчас разыгрывается противостояние именно экзистенциального уровня. Если мы сохраним веру, Господь не оставит нас и вдохнёт в нас дух непобедимого национального единства, и можно быть уверенным в повторении чуда, не раз случавшегося с Россией на горе её врагам! В это верю и этого всем нам желаю.

**С Наталией Алексеевной Нарочницкой
беседовал Пётр Давыдов**

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА И БУДУЩЕЕ РОССИИ

Во все времена вопросы воспитания и образования представляли ядро, фундамент, краеугольный камень существования и развития общества и государства. И по сей день нас восхищает наука и культура древности – Египет, Израиль, Греция, Рим, Китай, Индия и т. д.

Развитие общества и государства непосредственно связано с тем вниманием, которое уделяется образованию и воспитанию молодёжи. Впечатляющим примером является история Советского Союза: в кратчайшие исторические сроки благодаря хорошо продуманной системе образования и воспитания страна достигла поразительных результатов в решении фундаментальных проблем науки и культуры, вырвалась вперёд почти во всех сферах: в науке, технологиях, культуре и, прежде всего, в воспитании человека будущего, строителя нового, невиданного в истории общества. Не случайно мы первыми запустили спутник в космос, затем космический корабль с человеком на борту, начали использовать атомную энергию в мирных целях и т. д. Успехам Советского Союза поражались во всём мире, хотя не всегда могли понять причины подобного прогресса, а они не представляли никакой тайны и были очевидными: возникновение нового социального строя – социализма, где нет эксплуатации человека человеком, где установлено подлинное равенство и демократия, где человеку открыты все возможности для получения самого лучшего и универсального образования, где действительно можно раскрыть все свои дарования и таланты.

Я лично испытал это на себе. Начиная с первого класса обычной школы, я чувствовал удивительную заботу и внимание учителей, причём по всем предметам, и поэтому учился с огромным удовольствием и охотой. Окончил школу с серебряной медалью. После работы на заводах и службы на флоте я поступил на философский факультет МГУ и здесь встретил замечательных профессоров и преподавателей, которые не жалели сил для того, чтобы мы стали по-настоящему грамотными и образованными людьми.

А учиться было нелегко, программа философского факультета предусматривала изучение основных фундаментальных наук: математики, физики, химии, биологии и т. д., не говоря уже о науках гуманитарных. Их изучение было серьёзным, мы проводили лабораторные занятия по химии, биологии, физиологии и т. д. Кроме того, мы слушали лекции выдающихся учёных со всего мира, которые приезжали в Москву и читали курсы лекций в МГУ: Нильс Бор,

ДОЛГОВ Константин Михайлович — профессор, доктор философских наук. Заслуженный деятель РФ, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Норберт Винер и многие другие. Словом, нас учили, и мы учились, не жалея сил. Философский факультет я окончил с отличием, затем поступил в аспирантуру Института философии АН СССР. Всё это образование, на мой взгляд, основывалось на прочной, хорошо продуманной системе школьного образования и его органической связи с развитием науки и культуры.

Соединённые Штаты и страны Запада, несмотря ни на какие международные соглашения, продолжали активно противодействовать развитию Советского Союза во всех сферах социалистического строительства. Они открыто противостояли всем его начинаниям и одновременно проводили тайную работу по созданию “пятой колонны”, ибо социализм во всех его видах и формах представлялся им совершенно неприемлемым как наиболее последовательный антагонист капитализма. В обществе насаждалась открытая антисоветская идеология, людей настраивали на враждебное отношение к существующему строю, прославляли тех, кто занимался критикой внутренней и внешней политики нашего государства, а наиболее шумных и рьяных критиков переманивали, приглашали к себе, с тем чтобы они открыто выступали против своей страны. Некоторые из них специализировались на критике нашей системы воспитания и образования, считая её более отсталой по сравнению с американской и западноевропейской. Всё громче стали раздаваться голоса о том, чтобы мы отбросили свою систему и перешли на более современную американскую и европейскую.

Здесь я хочу привести конкретный пример – познакомить читателя с суждениями выдающегося советского математика, академика Владимира Игоревича Арнольда, с которым я был хорошо знаком. Когда его спрашивали, что он думает об американской системе образования, он отвечал, что эта система отсталая и никогда не была и не может быть передовой, ибо она обслуживает общество потребления, которому настоящая высокая наука противопоказана. Он хорошо знал состояние образования и науки в США, странах Европы, постоянно выступая там с докладами и лекциями. И когда однажды его пригласили в США для решения серьёзных научных задач, с которыми не могли справиться учёные США и европейских стран, он решил их за несколько недель. После того как научное сообщество проверило полученные результаты, последовал вопрос: что помогло ему решить эти трудные задачи? Может быть, какие-то неведомые силы? На это В. И. Арнольд отвечал, что всё дело в полученном им школьном образовании: “Я учился в обычной московской школе, и нас учили обычные учителя, но учителя умные, талантливые. Они учили нас размышлять, мыслить, а не просто заученно, формально отвечать на вопросы. И поскольку я привык к этому, то мне и удалось решить эти задачи”.

Давая общую характеристику качества американского образования, В. И. Арнольд отмечал, что в школьных программах даже не были предусмотрены разделы о действиях с дробями, и поэтому даже способные ученики не могут разделить одну треть на три пятых, зато они с успехом нажимают кнопки компьютеров. В то же время классическая наука отодвигалась на второй план и заменялась всякого рода второстепенными, модными предметами. По его мнению, образование и наука США и Европы, по существу, ориентированы на постоянное отставание, а не на прогресс, и противниками подлинного развития являются как раз руководители этих стран, нацеленные, прежде всего, на установление и сохранение своего господства в мире путём вооружения и милитаризации, развязывания войн и вооружённых конфликтов. Этому во многом способствует сознательно созданное общество потребления, которое руководствуется материальными, повседневными интересами, собственным благополучием, у него не возникает потребности в критическом осмыслении ситуации и в необходимости постоянного духовного развития. Как с горечью говорил в одном из своих недавних интервью выдающийся американский учёный и общественный деятель Ноам Хомский, правящая элита Соединённых Штатов довела школьное образование до убогого состояния, против чего в конце концов выступили школьные учителя, по стране прокатилась волна протеста против разрушения народного образования, причём учителя выступали не за повышение своей зарплаты, а за создание необходимых и достойных условий для развития народного образования.

Своими опасениями относительно настоящего и будущего американской системы образования совсем недавно поделился бывший мэр Нью-Йорка,

основатель компании Bloomberg М. Блумберг. По его мнению, ситуация просто удручающая. Так, впервые с 1991 года средняя оценка вступительного экзамена для колледжа (ACT) опустилась ниже планки в 20 баллов – до минимума за 30 лет (всего можно набрать от одного до 36 баллов). При этом меньше четверти всех учащихся (22%) достигли в тестах контрольных показателей в каждой из четырёх предметных областей (чтение, английский язык, математика, естествознание). Положение усугубляется отказом многих колледжей и университетов от приёма результатов стандартизированных школьных тестов SAT и ACT, что в значительной мере снижает у учащихся заинтересованность в успеваемости, и за последние четыре года число сдающих ACT сократилось почти на 30% при росте общего количества абитуриентов. Блумберг приходит к тревожному выводу: “Провалы американской системы образования угрожают будущему страны как мирового лидера. В экономике, отличающейся высокой конкурентностью и основанной на навыках и квалификации более чем когда-либо, отход от стандартов ограничивает возможности карьерного роста студентов и ставит очень многих из них в зависимость от власти, чтобы свести концы с концами, или, что совсем трагично, может вовлечь в преступную деятельность”.

В. И. Арнольд считал, что мы ни в коем случае не должны ориентироваться на образовательные программы таких стран, а, наоборот, должны вернуться к системе образования, которая была в нашей стране. То, что мы перешли на Болонскую систему, было огромной ошибкой, за которую мы уже расплачиваемся и будем расплачиваться серьёзным отставанием в науке, технологиях и культуре.

В. И. Арнольд был убеждён, что классическую науку ничем и никогда не следует заменять, напротив, она должна свободно развиваться, любая её замена, подмена или оттеснение на второй план будут наносить огромный вред развитию человечества. Когда классическую науку стараются заменить различными модными предметами, это есть посягательство на святая святых, это попытка принизить, унижить, сковать свободу развития человеческого разума.

Болонская система была призвана готовить механических исполнителей, а не мыслителей, критически, самостоятельно мыслящих людей, она в полной мере отвечает интересам общества потребления, но совершенно не соответствует интересам общества, которое стремится развиваться во всех сферах жизнедеятельности. Когда я однажды был в Болонье и беседовал с профессорами Болонского университета, помню, как они удивлялись и даже смеялись над тем, что мы отказались от своей прекрасной системы образования в пользу их системы, которая, как они сами признавали, давно не соответствует духу времени.

В. И. Арнольд справедливо отмечал враждебное отношение правящих элит к подлинной науке и высокой культуре. Он приводил слова Л. Толстого о том, что сила правительства основана на невежестве народа, что правительство знает об этом и потому будет всегда бороться против просвещения. Подобное отношение в наше время только усиливается: “Расцвет математики в уходящем столетии сменяется тенденцией подавления науки и научного образования обществом и правительствами большинства стран мира. Ситуация сходна с историей эллинистической культуры, разрушенной римлянами, которых интересовал лишь конечный результат, полезный для военного дела, мореплавания и архитектуры. Американизация общества в большинстве стран, которую мы наблюдаем, может привести к такому же уничтожению науки и культуры современного человечества”*. В. И. Арнольд был особенно обеспокоен тем, что математика, лежащая в основе современной науки, “сейчас, как и два тысячелетия назад, – первый кандидат на уничтожение. Компьютерная революция позволяет заменить образованных рабов невежественными”**.

Касаясь вопросов развития науки и культуры в нашей стране, В. И. Арнольд отмечал, что у нас ещё не всё потеряно, математика и наука находятся на довольно высоком уровне, по сравнению с США и странами Западной Европы: “У нас есть у кого учиться и кого учить, и это очень важно сохранить. Верно, что молодые учёные стараются побыстрее уехать из России, чтобы на

* “Наука и жизнь”: Академик В. И. Арнольд: Путешествие в хаосе.

** Там же.

Западе лучше жить и лучше кормить своих детей. Нужно, конечно же, больше платить здесь, и тогда уезжать не будут. Однако до сих пор математическая культура в России очень высокая. Причём это настоящая культура, которая во Франции и Америке заменена абстрактным вздором...”. Правда и то, что в нашей стране немало тех, кто подменяет подлинную науку “философской болтовней, и делают это те люди, которые ничего другого не умеют. Но они – на виду, к их мнению прислушиваются, что наносит непоправимый вред как науке в целом, так и математике в частности. Тем не менее у нас ещё не всё потеряно, у нас пока лучше, чем в той же Франции...”*

Уничтожение образования, науки и культуры В. И. Арнольд рассматривал как негативные, разрушительные явления одного порядка наряду с озоновыми дырами, загрязнением атмосферы, парниковым эффектом, радиоактивным заражением и т. д. – всё это составляет единый процесс, ведущий к гибели жизни на Земле, мировой катастрофе.

В. И. Арнольд выступал против формального понимания образования с его постоянными контрольными работами и экзаменами. Он считал, что в институты нужно принимать всех желающих без всяких экзаменов, поскольку нередко талантливые молодые люди не поступают в институты, так как не набирают необходимое количество баллов на экзаменах в силу каких-то обстоятельств (нервного перенапряжения, усталости и т. д.). Нужно принимать всех желающих, и лишь в процессе учёбы можно по-настоящему определить способности студентов всерьёз заниматься наукой. В качестве примера В. И. Арнольд приводил факты из жизни своего учителя, академика А. Н. Колмогорова: “Мой учитель Андрей Николаевич Колмогоров двадцатилетним студентом не сдал экзамены ни по одному из 14 предметов, а написал 14 работ на разные темы с блестящими новыми научными результатами, из которых неверным оказался только один, но об этом автор узнал только через несколько лет, а экзамен зачли”**.

Вспоминаю, когда В. И. Арнольд ещё был аспирантом, мы однажды встретились в университете, и я спросил его о том, как обстоят дела с его учёбой в аспирантуре, на что он мне с улыбкой ответил: я бросил аспирантуру, чтобы не терять зря времени, и скоро буду защищать свою диссертацию. Он, видимо, уже тогда понимал и чувствовал, что настоящую науку не всегда можно поместить в формальные временные рамки, наука как таковая представлялась ему как вечный поиск истины, который невозможно выразить в сугубо формально-понятийных категориях. При всех внешне рациональных методах и формах наука виделась ему чем-то непостижимым, интуитивным, чем-то вроде откровения, которое невозможно жёстко запланировать. Соответственно, система подготовки научных кадров, с точки зрения В. И. Арнольда, должна быть реальной, то есть неформальной, гибкой, динамичной, связанной непосредственно с решением магистральных, фундаментальных научных проблем. Только такая система может по-настоящему быть эффективной и плодотворной в смысле подготовки научных кадров.

Возвращаясь к проблемам нашего образования, я думаю, что чем быстрее мы расстанемся с ошибочными представлениями о передовых системах образования США и стран Европы и обратимся к отечественным системам образования и традициям, тем успешнее мы будем готовить новые поколения по-настоящему образованных людей. И это касается всех наук – и естественных, и гуманитарных, ибо и те, и другие по-настоящему необходимы для развития современного человека и общества. Больше того, в настоящее время стало очевидным, что естественные науки не могут нормально развиваться без тесной связи с развитием гуманитарных наук, как и гуманитарные науки – без органической связи с естественными науками.

Хочу привести пример разрушения системы философского образования, которая была в Советском Союзе. Тогдашний директор Института философии академик В. С. Степин и он же Учёный секретарь Отделения философии и права не только не противился разрушению советской системы образования и переходу на Болонскую систему, а, напротив, вместе с другими такими же “учёными”, как он, всячески способствовал внедрению “Болонки” в наше образование. То прекрасное образование, которое получали студенты философского

* Там же.

** <https://miit.ru/news/100755>.

факультета, основательно изучая математику, физику, биологию, химию, другие естественные науки, заменили кратким курсом, излагавшим банальные сведения о соотношении философии и естествознания, полагая, что столь солидное изучение естественных наук философам не нужно. По существу, философия была кастрирована и лишена тех принципов, которые развивали самостоятельное, критическое мышление, высокий уровень интеллекта, что всегда было присуще фундаментальным наукам.

Всё меньше внимания уделялось изучению логики, в частности, математической логики. Если наше поколение ещё изучало логику по произведениям таких профессоров, как В. Ф. Асмус, П. С. Попов и другие, то в последующем интерес к логике стал ослабевать. Из советских философов только А. А. Зиновьев серьёзно занимался логикой, в том числе математической, и угасающий интерес к логике как важному и необходимому обоснованию математике свидетельствовал о снижении общего уровня философии.

К тому же значительно сократили изучение истории философии, как мировой, так и отечественной, что также нанесло непоправимый урон системе философского образования, ибо благодаря изучению истории философии студенты и аспиранты как бы вели постоянный диалог с мыслителями прошлого и настоящего, совершенствуя свои мыслительные способности. В результате выпускники философских факультетов значительно утратили собственно философское понимание и образование. Классические науки стали заменяться различными модными течениями и направлениями наукообразного вида. И по сей день философские факультеты готовят недостаточно образованные в собственно философском отношении кадры, что нелучшим образом сказывается на развитии нашей науки и культуры.

Что касается общей ориентации на американское и западноевропейское образование, то вместо обещанного ускоренного развития мы получили ускоренное разрушение и деградацию системы образования и науки и культуры в целом. Таковы результаты деятельности активных сторонников перестройки М. Горбачёва и реформ Б. Ельцина и их ориентации на Запад.

К этому можно было бы добавить и такую существенную проблему, как осязательный разрыв между естественными и гуманитарными науками, основанный на ложном, но весьма распространённом утверждении, что гуманитариям не обязательно знать естествознание, а естествовикам – гуманитарные науки. Хотя совершенно ясно, что неоспоримая роль и значение гуманитарных наук состоит в том, что они являются мировоззренческой основой человека, необходимым условием развития его сознания и самосознания, осознания себя как личности, гражданина, живущего в органической связи с историей своей страны, национальными интересами и ценностями, осознающего себя представителем своего народа, своего Отечества. Без этого люди неизбежно становятся “Иванами, не помнящими родства”. Для гуманитариев столь же необходимы определённые знания естественных наук, ибо они являются основой развития интеллектуальных способностей человека, его сознательного, критического отношения к существующему миру.

Не может не волновать и такая проблема, как формальный характер экзаменационной системы, которая не выявляет по существу способностей к науке у абитуриентов. Ущербность экзаменационной системы проявляется в том, что в настоящее время сдать экзамены и поступить в желаемый институт почти невозможно без помощи репетиторов, хотя, как известно, в Советском Союзе основная часть абитуриентов поступала в вузы без всякой посторонней помощи.

При всех недостатках нашей системы образования замечу, что не всё так плохо. Мне пришлось заниматься преподаванием философии, эстетики и культуры в ряде зарубежных университетов в США, Канаде, Франции, Италии и других странах, и я всегда отмечал более высокий интеллектуальный уровень нашего студенчества по сравнению с зарубежными студентами, что свидетельствовало о более высоком уровне нашего школьного образования. И нам следовало бы совершенствовать эту систему, а не отменять её и не заменять изначально отсталой зарубежной системой.

К великому сожалению, сторонники европеизма осуществили свою “мечту”, и нам теперь придётся потратить немало времени и сил, чтобы ликвидировать колоссальный ущерб, нанесённый нашему образованию, науке и культуре.

В заключение хотелось бы отметить, что избежать подобной катастрофы можно только в том случае, если мы откажемся не только от Болонской системы, но и от других подобного рода “инновационных” проектов образования и всерьёз обратимся к лучшим достижениям нашего классического образования и науки, которые не просто бы шли в ногу со временем, а опережали бы его по всем основным фундаментальным направлениям развития человеческой мысли и культуры. Если мы примем соответствующие необходимые меры для возрождения своей национальной системы образования, в нашей стране по-прежнему будут рождаться Ломоносовы, Вернадские, Павловы, Королёвы, Курчатовы, Пушкины, Толстые, Достоевские, которые будут развивать науку и культуру и радовать наш народ и всё человечество своими великими прозрениями и открытиями.

ЮРИЙ СОКОЛОВ

К КОНЦЕПЦИИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

(Тезисы к дискуссии)

1. Величайшее событие XX века – Великая Октябрьская социалистическая революция, с которой началось формирование советского общества, – продукт не только и не столько идеологических и политических усилий большевиков, сколько результат глубоких внутренних противоречий российского общества и мировых противоречий.

Революция не была чужеродным для России явлением, она не была принесена извне. О приближении *радикальной социальной* революции ещё в XIX веке говорили не только те, кто к ней стремился, но и те, кто её не хотел (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, К. А. Леонтьев, Н. А. Бердяев и др.); даже в высшем эшелоне российской власти (министры царского правительства, члены царской фамилии и др.) росло ощущение неизбежности именно такой революции. Идеи революции, социализма вызревали внутри страны.

В то же время внешние условия не были нейтральными к революционной ситуации в России. Во-первых, марксизм, как известно, не был изобретением российских революционеров. Но он привился на российской почве, – и не только в среде радикальной интеллигенции. **Мировая** война стала мощным **катализатором** радикальной революции.

2. В своих **главных чертах** логика становления советского строя, его природа были заданы **не** произвольными решениями большевиков, а **объективными условиями в послереволюционной России**.

Что касается вектора развития страны, то дело не только и не столько в том, что к власти пришли марксисты, большевики, а в том, что **социалистический выбор сделал народ**. Именно народ дал “добро” на проведение социалистических преобразований. Никуда не уйти от того факта, что на выборах в Учредительное собрание более 80% избирателей голосовали за *социалистические* партии (эсеры, большевики, меньшевики, народные социалисты). Питательной почвой для идеи социализма стала главным образом обширная психология значительной массы населения (крестьян от земли и крестьян, одетых в рабочие блузы и солдатские шинели).

Но верно и то, что в России произошли “преждевременные роды социализма”. Хотя страна была “беременна” социализмом и накал политических противоречий привёл её к революции, рождение “ребёнка” (социализма) произошло задолго до “9-месячного срока”. От недостаточной подготовленности России к социализму проистекают многие последующие слабости и несовершенства общества.

По поводу объективных условий. Исследование советского общества тогда тогда будет научным, когда основные процессы, тенденции, события советского времени *будут выводиться не из “причин субъективного порядка”, а из реальной жизни.* Конечно, **все** процессы, **все** идеологические и политические явления прошлого и настоящего вывести из реальностей прошлого невозможно. В истории много субъективного, случайного, непредсказуемого. Но какими бы серьёзными ни были просчёты, ошибки, произвол лидеров (“причины субъективного порядка”), они должны рассматриваться на фоне той сложнейшей обстановки, в которой происходила революция, строительство нового общества. **Изучая генезис и эволюцию советского строя, необходимо видеть как объективные, так и субъективные, как внутренние, так и внешние факторы.**

3. **Определяющая** роль в этих процессах, по моему мнению, принадлежит **внешнему фактору.** Внешний фактор (и воздействие извне, и взаимодействие с внешним миром) не есть что-то нейтральное или второстепенное в развитии общества. Это было ясно уже основателям научного социализма. Ещё в “Немецкой идеологии” они писали, что *внутренняя структура нации* формируется не только на основе определённого уровня развития производительных сил, но и на базе “внутреннего и внешнего общения”. Другими словами, они считали внешнее воздействие существенным (структурирующим) в эволюции общества.

Более того, с точки зрения К. Маркса и Ф. Энгельса, социалистическая революция (социализм) может победить только *при благоприятных* внешних условиях; *победу социализма в отдельной стране они вообще считали невозможной.* И В. И. Ленин не до революции, а уже при советской власти (в 1920 году) писал, что “в одной стране совершить такое дело, как социалистическая революция, нельзя”. В “Детской болезни левизны в коммунизме” он признавал: “Мы и начали наше дело исключительно в расчёте на мировую революцию”. То есть враждебное окружение не просто “мешает”, “задерживает”, “осложняет” развитие социализма, а является **настолько мощным фактором, что ставит под вопрос само существование нового строя.** В то же время советские лидеры и идеологи, увлечённые идеей социализма в отдельной стране, явно недооценили **структурирующую** роль внешних факторов.

Большинство современных исследователей, не отрицая влияния внешних факторов, придают им **второстепенное**, по сравнению с внутренними обстоятельствами, несущественное значение. В действительности же вся структура советского общества формировалась **под определяющим** влиянием внешнего фактора.

4. Революция в России произошла “не по Марксу”, поскольку победила в одной и к тому же далеко *не самой развитой* стране. Становление нового общества происходило в условиях **жёсткого сосуществования** с превосходящими силами капиталистического мира. Отсюда **необходимость** решать не одну, как предполагалось в теории, а **две основные задачи:** а) становления нового строя, раскрытия потенциала социализма и б) **выживания** нарождавшегося строя, выживания народа и государства.

Обе задачи – выживания и становления – существуют **постоянно и одновременно.** В реальности эти основные задачи лишь **частично** являются **совпадающими и взаимодополняющими;** в значительной мере они являются **альтернативными** (“или – или”). **Потребность в выживании** практически с первых дней существования советского общества являлась **приоритетной, основной** потребностью нового общества. Выживание могло быть обеспечено в очень большой мере **за счёт** (в ущерб) развития социализма (за счёт жизненного уровня, демократии и др.) Без выживания разговор о становлении социализма теряет смысл.

5. **Борьба за выживание** началась с первых дней существования советской власти: капиталистический мир различными способами – военными, экономическими, политическими, идеологическими, подрывными, диверсионными и т. д. – стремился сокрушить Советскую Россию. Традиционная неприязнь Запада к России усиливалась враждебностью на социальной основе. Наиболее серьёзную угрозу для Запада, признавалось в стратегических планах США, “представляет *сама природа социалистического строя*”.

Необходимость (потребность) выживания требовала, чтобы советское общество складывалось по **логике выживания**, а не по логике естественного,

органичного развёртывания социализма. Чтобы выжить, советское общество должно было создать соответствующие **структуры выживания** – политическую, экономическую, социальную, духовно-культурную. **Потребность в выживании** практически с первых дней существования советского общества является **приоритетной, основной** потребностью нового общества. Задаче выживания вначале приходилось подчинять практически всё, а потом – очень многое.

Задача выживания неизбежно предполагала **максимальную мобилизацию** материальных, людских, научно-технических и всех других ресурсов общества. Выживание можно было обеспечить на первых порах, главным образом, посредством наращивания “физической мощи” (экономики, оборонной промышленности, высокой организованности, дисциплины).

Структуры выживания должны были быть не просто созданы, а созданы **в кратчайшие сроки**. А это значит – созданы ускоренно, **форсированно**, под нажимом сверху. Что практически **невозможно** без существования **сильной централизованной власти**. Это неизбежно вело к **ограничению** инициативы снизу, “почина”, “стихии народной жизни”, социального экспериментирования, демократических тенденций, разнообразия форм социализма и т. п. **Выжить могло только единое, целеустремлённое общество, способное обеспечить высокий уровень организованности, коллективности, сплочённости, мобилизованности.**

6. В таких условиях “предписанные” марксистской теорией закономерности становления социализма могли действовать только в **модифицированном** виде или вообще не действовали. **Это затронуло все сферы общественной жизни.**

Экономика. Структура экономики (приоритет группе А, индустриализации, оборонной промышленности), цель экономической деятельности (приоритет потребностей выживания перед удовлетворением потребностей населения), характер собственности (государственная вместо общенародной, кооперативной), распределение произведённого продукта (приоритет потребностей государства), оплата труда (не по труду, а в лучшем случае, *пропорционально трудовому вкладу*), структура материальных потребностей людей (на основе скудости, дефицита средств), даже техника и технология (главный критерий – не гуманизация труда, а высокая производительность) **неизбежно** формировались не по Марксу, а в жёстком соответствии с императивами выживания.

Политическая структура общества также была ответом на императивы выживания. Реальная политическая власть осуществлялась не столько самим народом, сколько высшей номенклатурой партии и государства от имени народа и “в интересах народа” (своеобразное *регентство* по отношению не только к народу, рабочему классу, но даже по отношению к самой партии). В первые десятилетия была необходима жёсткая иерархия (пирамида) власти, которая объединяла все общественные организации на принципах “демократического централизма”.

В социальной сфере под влиянием императивов выживания существовали *де факто* наёмный характер труда, особая роль управляющего слоя (бюрократии), низкий уровень благосостояния и др.

Задачам выживания была подчинена и **идейно-воспитательная, культурная деятельность**, которая формировала не столько демократический, сколько **авторитарный коллективизм**, основанный на **субординации** (а не координации) интересов.

7. Понимание логики развития советского общества предполагает также исследование ряда других важнейших факторов.

– Экономическая, социальная, политическая, культурная (образование, бытовая культура) **отсталость** страны, отрицать которую могут лишь слишком политически ангажированные люди. Отсталость неизбежно приводила к идее, логике и политической практике **догоняющего и форсированного** развития.

– Острые **социальные и политические противоречия**, неизбежные в ходе революционных преобразований, создавали в стране напряжённую, порой **экстремальную политическую ситуацию**, толкавшую к силовым решениям проблем и конфликтов.

– **Угроза распада великой державы** по национальным границам также не способствовала формированию демократических институтов общества.

– Объективной реальностью была унаследованная от прошлого **авторитарно-коллективистская политическая культура России**, трансформировать которую в демократическую, даже при большом желании, в короткое время невозможно.

– **Социалистический (марксистский) проект** переустройства (модернизации) общества. В *самой природе* этого проекта, наряду с *эмансипаторским, демократическим* началом, присутствовало сильное *авторитарное* начало. Какое начало станет преобладающим, зависело от реальной ситуации в обществе.

– **“Качества ведущего слоя”**, сформированного годами подполья, эмиграции, революции, гражданской войны, острой внутривластной борьбы, также мало способствовали развёртыванию демократических начал в политической элите и в народе.

Но все эти и некоторые другие факторы не противоречили, а лишь укрепили тенденции, закономерности и структуры, которые формировались под влиянием **главного фактора**, определившего природу и структуру советского общества.

8. Послереволюционная Советская Россия была **обречена** и внешними, и внутренними факторами на формирование системы **авторитарного социализма** (в реальности – **советского общества**) со всеми её достоинствами и пороками. Здесь выживание достигалось в значительной мере **за счёт развития** социализма.

В 60-е годы появились **возможности** обеспечить успешное сосуществование (соревнование) с капиталистическим миром **посредством развития** социалистического потенциала. Но набравшая огромную инерцию система авторитарного социализма (в том числе и на уровне психологии населения) блокировала такие возможности (расширения развития инициативы людей, демократии, существенного улучшения благосостояния и т. п.), что привело к обострению внутренних противоречий, стагнации, деградации “ведущего слоя” и кризисному состоянию общества.

9. Сказанное выше позволяет говорить о **двух теоретических моделях** становления и развития социалистического общества.

– **Модель А – органичного развития социализма** – на основе лишь зрелых внутренних ресурсов и противоречий, без серьёзных внешних препятствий

– **Модель Б – становления и эволюции социализма в условиях жёсткого сосуществования, при решающем влиянии императивов выживания.**

В реальности первая модель так и оставалась *чисто теоретической* – **на практике она не работала и не могла работать**. Тем не менее советские лидеры и идеологи делали вид, что общество развивается в чётком соответствии с теорией марксизма (то есть по модели органичного социализма), подтверждая все решения цитатами из классиков.

Модель Б, осуществлявшаяся на практике под давлением “логики обстоятельств”, так и не получила серьёзного теоретического обоснования и не была признана теоретически и идеологически (концептуально).

Отклонение модели Б (реальной) от модели А (теоретической) является отчасти **необходимым**, неизбежным, детерминированным **объективными** условиями сосуществования (императивами выживания, отсталостью, авторитарной политической культурой и др.), отчасти **избыточным**, продиктованным факторами субъективного порядка (заблуждения, просчёты, ошибки, личностные мотивы, преступления и др.).

Мне представляются бесплодными преобладающие до сих пор попытки объяснить эволюцию и природу советского общества либо пороками марксистской доктрины, либо “причинами субъективного порядка”, игнорируя самое важное: объективные условия и предпосылки, и особенно императивы сосуществования систем и выживания.

10. Социализм по необходимости формировался не таким, каким он рисовался в теории, каким его хотели видеть народные массы, каким он мог стать в более благоприятных условиях. Он оказался обременённым массой недостатков и несовершенств: относительной бедностью, технологическим отставанием, авторитарностью, низким уровнем самодетельности населения и массой других несовершенств. Это не могло не вызвать нарастания неудовлетворённости и недовольства в достаточно широких слоях населения. Но это

не было неприятием социализма, советского строя со стороны большинства народа, а было отрицанием его **устраняемых**, как считали “простые люди”, недостатков (бюрократизма, дефицита товаров потребления, привилегий номенклатуры, жёсткой цензуры и т. п.).

Недовольство и протест использовались, искусно и искусственно “разогревались” внешними и внутренними противниками советского строя и социализма. Но стоит обратить внимание на то, что вплоть до 1990 года антисоциалистические намерения маскировались лозунгами “больше гласности”, “больше демократии”, “больше социализма” и т. п., о “строительстве капитализма” речь не шла. Номенклатура, в значительной мере идеологически деградировавшая, вяло сопротивлялась наступлению антисоветских сил: многие из её рядов переходили в противоположный лагерь. Особую роль в условиях недемократического централизма сыграла верхушка партии – М. Горбачёв, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин.

Огромную роль в “разогреве” настроений недовольства и протеста сыграло инструментальное, с позиций ненависти к советскому прошлому, использование исторической информации. Как признавался Б. Ельцин, его команда “ничего из прошлого не ценила” и, соответственно, не щадила. Прошлое не столько изучали и реконструировали, сколько придумывали, произвольно конструировали образы советской жизни и интенсивно внедряли их в массовое сознание, прежде всего, через СМИ (как внушал населению многолетний президент Академии телевидения В. Познер: “Некоторые периоды прошлого России можно уважать, а некоторые можно и нужно ненавидеть”?!). Огромный вал пристрастно-негативной информации о прошлом России (“Нет истории страшней и безумней, чем история России” – внушал по ТВ Ю. Афанасьев), о советском времени (“историческое ничтожество” – Д. Драгунский), “общество всеобщего маразма” (В. Аксёнов) и т. п. на время ошеломили и дезориентировали значительную часть населения. Как образно и точно сформулировал бывший премьер-министр Японии Накасонэ, “Россия напоминает человека, который попал в катастрофу, потерял память и сейчас находится в прострации”. Отбрасывание прошлого неизбежно вело к непониманию настоящего и к его радикальному разрушению (“через колено”, по признанию Б. Ельцина), отбросившему страну далеко назад. “Эпидемия исторической невменяемости” привела к тому, – писал даже либеральный историк М. Гефтер, – что мы почти потеряли своё прошлое и тем самым самих себя”.

Поражение советского строя так же, как и его появление в России, не было случайным. *Возможность* его поражения была заложена в природе общества, сформировавшегося под определяющим влиянием императивов выживания. Но не было и предопределённости, неизбежности этого поражения.

11. Грандиозный социальный эксперимент, **который провела в России история** и который в интересах настоящего и будущего страны заслуживает тщательного и беспристрастного исследования, до сих пор либо освещается, главным образом, с позиций упрощённой догматической апологетики, либо подвергается яростному шельмованию.

Формирование концепции советского общества, возрождение уважения к прошлому, “каким бы трудным и горестным оно ни было” (академик Н. Н. Моисеев), является важнейшей задачей российского общества. Оно соответствует интересам **всех** политических сил, конечно, при условии, что *они стоят на почве защиты национально-государственных интересов.*

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

ИЕРОМОНАХ ИОАНН (ШАХОВСКОЙ) И БОРИС ПЕТРОВИЧ ВЫШЕСЛАВЦЕВ

История одного письма

Я занимался изучением творчества Бориса Петровича Вышеславцева, и вот около двух лет назад в архиве ДРЗ имени Александра Солженицына мне попало одно небольшое письмо [1]. Значилось оно за подписью иеромонаха Иоанна (Шаховского) и адресовано было самому Вышеславцеву. Трудно-различный подчёрк, непонятные сокращения и прочие “эпистолярные премудрости” заставили потратить не один час времени. Основной загадкой стало следующее: иеромонах Иоанн писал об “издании книги”, которую он просит отредактировать (кстати, забегая вперёд, скажу, что ответ о её названии будет предложен в тексте работы).

Однако насколько близко были знакомы Вышеславцев и Шаховской, имелись ли у них общие интересы, совпадали их философские, богословские и даже творческие взгляды — это заинтересовало меня и побудило к началу исследования. Отмечу, что, как мне известно — это первая, и, к сожалению, пока единственная робкая попытка проведения исторической параллели между двумя уникальными личностями.

Иеромонах Иоанн (в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, является представителем тульской ветви рода Шаховских, правнук князя Ивана Леонтьевича Шаховского) родился 23 августа 1902 года в Москве. Проповедник, писатель, поэт, архиепископ Православной Церкви в Америке. Умер 30 мая 1989 года в Санта-Барбаре, Калифорния, США.

Вышеславцев известен в большей степени как философ, специалист по этике и праву. Уникальность его работ, неординарность взглядов — всё это сложилось в прекрасный образ учёного, который, по словам С. А. Левицкого: “По тонкости мысли, по богатству её оттенков является Рахманиновым русской философии” [2, с. 6-7].

Но несмотря на высокую оценку и признание со стороны современников, на сегодняшний день Борис Петрович Вышеславцев, малоизвестен широкому кругу не только читателей, но и специалистов, хотя основные его труды (“Этика Фихте”, “Этика преобразённого Эроса”, “Философская нищета марксизма”, “Кризис индустриальной культуры”) и доступны для изучения.

Доэмиграционный период жизни Вышеславцева нам здесь неинтересен. Лишь для краткой справки стоит отметить, что он был участником знаменитого

кружка П. И. Новгородцева, окончил МГУ (юридический факультет), а в 1914 году защитил магистерскую диссертацию на тему “Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцендентальной философии”, которая впоследствии была издана в виде книги. С 1917 года он стал профессором философии права Московского университета, а после революции участвовал в работе “Вольной академии духовной культуры” в Москве, где сблизился с Н. А. Бердяевым [3].

Самый важный и основной период творчества Вышеславцева начинается в 1922 году, а именно с высылки его на печально известном “философском пароходе” в Берлин [4, с. 249], где до 1924 года он преподавал в основанной Н. А. Бердяевым “Религиозно-философской академии”, а затем переехал в Париж, где с 1927-го по 1943 год являлся профессором Свято-Сергиевского православного богословского института [5].

Именно здесь стали происходить частые встречи Вышеславцева как преподавателя нравственного богословия и истории новой философии и иеромонаха Иоанна, тогда ещё студента.

Шаховской разделял взгляды Вышеславцева, да и вообще интересовался философией. Он писал: *“Меня увлекала русская религиозно-философская мысль. Начался её рассвет в Европе, в Париже, в соприкосновении русской эмиграции с Западом. Помню в Париже блестящую философскую беседу русских философов Бердяева, Вышеславцева и других с молодым ещё тогда неотомистом Жаком Маритеном, отцом Лабертоньером и другими. Русские философы, имевшие уже некоторый опыт эсхатологический, притягивали к себе западную мысль. Русским мыслителям было по пути и с экзистенциалистами. Западные мыслители раскрывали свои сердца пред мученическим христианством Востока”* [6].

Кстати, стоит отметить, что Вышеславцев станет наставником для Шаховского в его творческом и научном пути, что подтверждает текст письма.

Встречи Бориса Петровича и иеромонаха Иоанна становятся регулярными, особенно в Русском Студенческом Христианском Движении, которое для Вышеславцева было важной частью общественной деятельности в эмиграции. С РСХД он долго и очень плодотворно сотрудничал. Однако стоит отметить, что, при всей кажущейся изученности вопроса, членство Вышеславцева и Шаховского в этой организации остаётся неизвестным [7, с. 134].

Очевидцы того времени вспоминали о совместных лекциях в Даугавпилсе Вышеславцева и иеромонаха Иоанна [8], да и сам владыка Иоанн с большой любовью и трепетом говорил о 20–30-х годах, когда заседание РСХД проходили в Прибалтике. В “Книге свидетельств” он напишет, что тот незабываемый для него период жизни был *“религиозной весной русской эмиграции”*, её лучшим ответом *“на всё, что происходило в это время с Церковью в России. Церковь для русских изгнанников перестала быть чем-то внешним, напоминающим лишь прошлое. Церковь явилась и становилась смыслом и целью всего, центром бытия”* [9, с. 37].

Для будущего архиепископа Иоанна РСХД действительно стало местом явления новых взглядов, идей, которые во многом продвигал и озвучивал Вышеславцев. В таком тесном и благодатном общении рождалось нечто новое и уникальное. Шаховской пишет: *“Русское Студенческое Христианское Движение с его собраниями, съездами, книгоиздательством – все они были для меня гораздо интереснее, чем вялая и умственно-бледная, абстрактно-консервативная молодёжь без всякой проблематики, с катехизической установкой о монархии, исходившей из монархических кругов Н. Е. Маркова и других, крайне правых дореволюционных деятелей. В 1920-е годы они пытались захватить и политически эксплуатировать Церковь в эмиграции, чтоб чрез неё вернуть себе своё умершее политическое лицо. Отчасти это им и удалось на беду Церкви”* [9, с. 37].

Конечно, сейчас практически невозможно восстановить все материалы данных лекций, докладов, диспутов, но сделаем смелое предположение, основываясь на материалах статей, вышедших в “Вестнике РСХД”.

Борис Петрович несомненно затрагивал основную тему своих философствований – идею “Совершенной любви” и переосмысление учения Фрейда, Юнга в контексте православного богословия; Шаховской публиковал проповеди и наставления (см. “Вестник РСХД” за № 9–10 от 1933 г.).

Вообще Вышеславцев очень активно и продолжительно печатался в периодических изданиях — “Современных записках”, журнале “Путь”, “Вестнике РСХД”. Многие статьи до сих пор не изучены, хотя и представляют особый интерес для исследователей его творчества. И если в фундаментальных работах Вышеславцев представляется нам как метафизик, теолог, антрополог, то в публицистике он выступает как прекрасный литератор, эссеист, критик, историк [4, с. 250]. Именно благодаря писательскому таланту Вышеславцев становится одним из организаторов издательства (Париж) и с 1925 года — редактором религиозно-философского журнала “Путь” [10, с. 9].

Владыка Иоанн также был постоянным участником вышеперечисленных литературных и философских периодик и помимо этого сам издавал и редактировал журналы: с 1926 году Брюсселе литературный журнал “Благонамеренный” [11] и с 1931 года “За Церковь” в Берлине [12].

Именно благодаря издательской деятельности происходит сближение двух наших героев, а опыт взаимного общения способствует формированию Шаховского как публициста, писателя, поэта.

Он вспоминал, что ещё в 1924 году в Брюсселе стал членом бельгийского Пен-клуба и принимал участие в литературных приёмах, которые Пен-клуб устраивал в эти годы, где присутствовали Поль Валери, Бласко Ибаньес, братья Торо, Гилберт Честертон, Поль Клодель [13].

Но особо Шаховской выделяет круг литераторов, с которыми он встречался уже в Париже, и опять упоминает о Вышеславцеве: “...”левое” и “правое” располагалось как-то иначе, чем в кругу, близком отцу Петру (Извольскому), и не совпадало с политическими терминами. Иван Бунин, Борис Зайцев, Марк Алданов, Владислав Ходасевич в те дни вполне могли быть отнесены к “правым”. А Марина Цветаева, А. М. Ремизов, Д. И. Святополк-Мирский, ряд евразийцев могли быть отнесены к “левым”. Но и эти “правые” печатались в эсеровской “левой” пражской “Воле России” и тоже в эсеровских, но консервативных парижских “Современных записках”, смыкающихся — через Фундаминского-Бунакова и Степуна — с православными мыслителями парижских кругов. Эта большая группа “Пути” (где я тоже начал печататься), Бердяев, Вышеславцев, Лосский, Франк, Карсавин, Федотов и потенциальные тогда “новоградцы” [6].

Вот именно на этом моменте литературно-публицистической деятельности Вышеславцева и иеромонаха Иоанна остановимся особенно подробно и расскажем именно о том письме, которое хранится в архиве ДРЗ.

Датировано оно 7/20 ноября 1932 года и содержит в основе своей просьбы редакционного и издательского характера от иеромонаха Иоанна к Б. П. Вышеславцеву (посмотреть, подкорректировать, внести поправки и т. д.)

Стоит предположить, что Шаховской обращается здесь к Вышеславцеву как представителю “УМКА—press”. Замечания, посвящённые виду обложки, качеству бумаги, особенностям типографского набора, наводят на мысль, что иеромонах Иоанн советуется с Борисом Петровичем по вопросу о выходе своей книги. К сожалению, какая именно это книга — неизвестно, но можно предположить следующее. В 1932 году у Шаховского издано “Белое иночество” [14], “О перевоплощении: Диалог” [15] и “Притча о неправедном богатстве (стенографическая запись лекции)” [16]. “Притча” издана брошюрой, содержит всего 14 страниц, а в письме иеромонах Иоанн просит пересмотреть страницы 7, 12, 15, соответственно, данная работа сразу исключается из этого списка. Остаётся “Белое иночество” и “О перевоплощении”. Однако, ссылаясь опять на текст письма, мы не находим в “Белом иночестве” на страницах 7, 12, 15 те поправки, о которых пишет Шаховской. Поэтому делаем логический вывод, что книга, о которой пишет иеромонах Иоанн, — “О перевоплощении”. Кстати, ещё один весомый аргумент в поддержку данного суждения — подобной темой долго и продуктивно занимался Вышеславцев, следствие этого — выход книг и статей в журнале “Путь” и “Вестнике РСХД” [17]. Зная об этом, Шаховской просит философа написать отзыв о прочитанном, указывая на его важность.

Заканчивает письмо иеромонах Иоанн просьбой о пересылке 50 экземпляров книги и назначении небольшой продажной цены, доступной, как он выразился, “наименее сильному покупателю”.

К сожалению, у нас нет возможности прочитать ответ Вышеславцева, и вообще неизвестно, был ли он написан или сам Борис Петрович при встрече, каких было много, о чём мы уже подробно сказали, всё передал Шаховскому.

Естественно, что общение Вышеславцева и иеромонаха Иоанна продолжалось и в 30-х—начале 40-х годов, особенно чётко это прослеживается в заинтересованности Шаховского темой психоанализа, которую Вышеславцев разбирал особенно подробно. Фундаментальный труд Бориса Петровича “Этика преображенного Эроса” и несколько статей в “Вестнике РСХД” обозначили ориентиры для большинства философов и богословов того времени [7, с. 137]. Духовную оценку психоанализу дали такие известные деятели русской духовной культуры, как Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, С. Л. Франк и многие другие [18, с. 1]. Иеромонах Иоанн (Шаховской), подобно Вышеславцеву, сравнивая труды З. Фрейда и К.-Г. Юнга, отмечал, что именно *“Юнг в значительной степени помог современной психологии и психиатрии освободиться от деградирующей, профанирующей человека фрейдистской теории, сводившей всё подсознательное к половому инстинкту. Юнг научно расширил, обогатил область подсознательного в человеке... Он пришёл к реальности и психологической законности религиозной правды... Юнг вплотную подходит к признанию религиозного мира. Более того, эту религиозную сторону постижения мира он считает самой глубокой и настоящей сферой человека”* [19, с. 305–306].

Достоверно известно, что Вышеславцев был лично знаком с Юнгом [20, с. 29], симпатизировал ему, разделяя взгляды, вёл переписку, а в 1936 году в одиночку осуществил 4-томное издание его трудов на русском языке (впервые). Не возникает сомнений, что в своём окружении Борис Петрович рассказывал о Юнге и его учении. Поэтому вполне объясним и позитивный отклик со стороны иеромонаха Иоанна.

С подачи Вышеславцева, Шаховской ещё очень долго занимался темой психоанализа и изучением основных его понятий. Он обратил внимание на культурно-историческую закономерность развития “массового невроза” в современном обществе как результат тоталитарного “сдавливания духовного начала в человеке”, как отрицание присутствия божественного в подсознании, что являлось весьма характерным для атеистической доктрины психоанализа и фрейдизма [18, с. 2].

События Второй мировой войны не прервали дружбу Вышеславцева и Шаховского, они не были никогда сторонниками нацистов, но, как большая часть эмиграции, подверглись иллюзиям, видя в начавшейся войне шанс на свержение большевистского режима. Одно из самых противоречивых решений иеромонаха Иоанна (Шаховского) и Б. П. Вышеславцева стало их первоначально одобрительное отношение к нападению нацистской Германии на Советский Союз [21]. Позднее подобных заявлений они не делали. Например, 24 июля 1944 года в Берлине тогда уже архимандрит Иоанн тайно отслужил службы о здравии тех, кто в опасности, и об упокоении душ убитых католиков, протестантов, православных, принимавших участие в заговоре 20 июля с целью убийства Гитлера [22].

С окончанием войны судьбы наших героев сложились по-разному. В начале 1946 года архимандрит Иоанн (Шаховской) по приглашению своего духовного сына — известного авиаконструктора, предпринимателя, изобретателя вертолётов Игоря Ивановича Сикорского — едет в Америку [13], покидая клир Западноевропейского экзархата, и принимается в юрисдикцию Североамериканской митрополии (в 1970 признана Московским Патриархатом как автокефальная Православная Церковь в Америке), а в дальнейшем избирается архиепископом Сан-Францисским [11].

Борис Петрович Вышеславцев с 1946 года подвергается гонениям со стороны “СМЕРШа” [23]. Причиной этому послужило резко негативное отношение автора к советской власти и выход книги “Философская нищета марксизма” (изданной под псевдонимом Борис Петров). Вышеславцев, скрываясь от “СМЕРШа”, переезжает в Швейцарию [24, с. 127–129, 167–168], но живёт там совсем недолго, успев дописать свой последний труд “Вечное в русской философии”. Здесь же прерывается его общение с владыкой Иоанном по понятным и объяснимым причинам. 5 октября 1954 года Вышеславцев умирает в Женеве от “старческого” туберкулёза [25].

По воспоминаниям очевидцев, в своих беседах Борис Петрович часто упоминал о желании эмигрировать в США, но сразу же объяснял невозможность этого предприятия — незнанием языка, болезнью и старостью. Однако в истории остался простой и неразрешимый вопрос почему Борис Петрович

хотел уехать в США? Сегодня трудно сказать, но возможно его притягивала надежда на долгожданную встречу с друзьями, к которым относился и архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Письмо архиепископа Иоанна (Шаховского) Б. П. Вышеславцеву 7 ноября 1932 г. Ф. 12. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 5 (дар Н. А. Струве).
2. Левицкий С. А. “Борис Петрович Вышеславцев” (из книги: Вышеславцев Б. П. Сочинения / Сост. и прим. Сапов В. В. Вступ. статья Левицкий С. А.) М.: Раритет, 1995. С. 461.
3. http://new.philos.msu.ru/fmu/vysheslavcev_boris_petrovich.
4. Романов А. А. “Балканские впечатления” Б. П. Вышеславцева (новая публикация). // Россия в Первой мировой войне: Балканский аспект. Итоги и перспективы (материалы международной конференции). Тула: ТулГУ, 2013. С. 253.
5. http://new.philos.msu.ru/fmu/vysheslavcev_boris_petrovich/.
6. <http://pravoslavie.ru/put/2655.htm>.
7. Романов А. А. Предисловие к публикации статьи Б. П. Вышеславцева “Совершенная любовь” // Педагогическая интеллигенция (материалы международной конференции). Тула: ТулГУ, 2012. С. 257.
8. <http://irini.lv/ru/culture/traditions/18--20-30->
9. Плюханов Б. В. РСХД в Латвии и Эстонии. Paris, 1993. С. 331.
10. Вышеславцев Б. П. Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения. М.: Астрель, 2006. С. 1038.
11. <http://lib.pravmir.ru/library/author/85>.
12. http://zarubezhje.narod.ru/gi/i_011.htm.
13. <http://afon-ru.com/Arhiepiskop-Ioann-Shahovskoj-Avtobiografiya-vladyki-Ioanna-San-Francisskogo-Shahovskogo>.
14. См.: Шаховской И. Белое иночество. – Берлин: За Церковь, 1932. 88 с.
15. См.: Шаховской И. О перевоплощении (диалог). Брюссель: За Церковь, 1932. 26 с.
16. См.: Шаховской И. Притча о неправедном богатстве (стенографическая запись лекции). Берлин: За Церковь, 1932. 14 с.
17. См.: Вышеславцев Б. П. Значение сердца в религии // Путь № 1 1925. С. 79–98 с.; Вышеславцев Б. П. Вера, неверие и фанатизм. Париж–Варшава, 1928; Вышеславцев Б. П. Кришнамурти. Завершение теософии // Путь № 14. 1928. С. 91–107 с.; Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике. Париж, 1929.
18. Ермаков В. А. Духовные аспекты рассмотрения психоанализа русскими религиозными философами. С. 5.
19. Архиепископ Иоанн (Шаховской). Ценность и личность. Минск, 2011. С. 544.
20. Борис Петрович Вышеславцев / под ред. А. И. Алёшина. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. С. 357.
21. По данной тематике см.: Б. П. Вышеславцев. Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения. М.: Астрель, 2006. 11–12 с.; http://scepis.net/library/id_7.html; <http://kievorthodox.org/site/personalities/660>; http://russ-er.ru/a/a/ioann_shahovskoy_-_monah_i_svyaschennik,
22. <http://litmir.net/a/?id=58820>.
23. СМЕРШ (сокращение от “Смерть шпионам!”) – название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время и после Второй мировой войны.
24. Яновский В. С. Поля Елисейские. СПб, 1993. С. 480.
25. <http://krugosvet.ru/?q=print/32922>.

ВИКТОР ИВАНОВ

В ГОСТИ К КИРИЛЛИЦЕ

К этому светлому празднику в нашей семье мы всегда готовимся заблаговременно, как к большому духовному событию. День равноапостольных святых Кирилла и Мефодия уже много десятилетий празднуется во всём славянском мире как “Праздник Славянской Письменности и Культуры”.

Для нас каждая поездка в гости к Кириллице означает всегда прикосновение к её истокам, поездку в древний болгарский город Плиска – в первую столицу молодого болгарского государства. Именно на этом месте в начале девятого века 1200 лет назад хан Омуртаг воткнул в землю свой меч и воскликнул: “Здесь будет Болгария!”

Двор Кириллицы в Плиске

В первый раз мне довелось побывать в древней Плиске в 2016 году с группой русских туристов из общины Несебр. Поездка была замечательно организована движением Русофилов, группу возглавлял его председатель Христо Николов. До сих пор помню, как мы подъехали на автобусе к музею под открытым небом, окружённому высокой каменной стеной, вошли в него, слегка пригнувшись, через массивную деревянную калитку с надписью “Двор Кириллицы” и оказались в просторном дворе, покрытом зелёной травой.

Прямо напротив нас на белокаменном троне восседал первый царь Болгарии Борис Первый.

Его взгляд был устремлён к идущим к нему навстречу двум величественным белым фигурам святых Солунских братьев Кириллу и Мефодию, за спиной которых высился двенадцатиметровый крест, устремлённый в небо.

По обеим сторонам вдоль двора ровными рядами выстроились тридцать двухметровых резных букв из красноватого армянского туфа. Беломраморные фигуры царя и братьев-просветителей изваяны знаменитым болгарским скульптором Бехчетом Данаджем, а двухметровые буквы вырезали из армянского туфа самый известный в мире армянский резчик по камню Рубен Налбандян и его ученики. Самой сложной была операция по доставке этих каменных букв из Армении, а также большого хачкара (каменного креста) с надписью: “Этот хачкар установлен в честь прославленного болгарского народа по случаю 1150-летия его крещения”.

Каждая буква весит более пятьсот килограммов, а хачкар – около тонны. Армянскому мастеру удалось через резьбу по камню воплотить понятные каждому народу аллегории. Так, в букву “А” вписана аллегория “Адам”, буква “Б” ассоциируется с понятием “Бог”, “Ж” означает “Жизнь”, а “С” – “Солнце”.

Этот единственный в мире музей посвящён славянской азбуке – кириллице, второй в мире после латиницы по распространению. Кириллицу для письма и для чтения используют более 100 народов Европы и Азии.

Армянский камнерез Рубен Налбандян говорит, что у армянского алфавита и кириллицы есть общие черты – оба они созданы святыми: армянский –

святым Масропом Маштоцом в 403 году, а славянский – святыми Кириллом и Мефодием два с половиной века спустя. И та, и другая азбуки – мученические, их народы перенесли большие лишения, утверждая своё право на существование, они боролись за сохранение национальной культуры, проявив при этом несгибаемый дух.

Кто и зачем построил этот двор?

“Двор Кириллицы” создан не болгариним и не славянином, а армянским предпринимателем Кареном Алексаняном, приехавшим в Болгарию на неделю к друзьям на отдых двадцать пять лет назад и оставшимся здесь на многие годы.

Здесь, в Болгарии, он создал свой бизнес, свою семью, здесь родились его дети, здесь родилась и начала воплощаться в жизнь после посещения Плиски его мечта – создать памятник славянскому алфавиту, который для него, армянина, тоже стал родным. Любовь к русскому языку привила Карену его мать – учительница русского языка и литературы. В их доме царил русский дух, библиотека на русском языке насчитывала три тысячи томов, в доме часто была слышна русская речь. Именно памяти своей мамы Карен Алексанян посвятил дело всей своей жизни – этот музей под открытым небом.

Уже сегодня посетители этого комплекса называют его “храмом”, “самым болгарским местом”, а Карен Алексанян скромно именуется себя “хранителем букв”.

“Двор Кириллицы” был торжественно открыт 2 мая 2015 года. Он растёт и развивается без государственной или какой-либо другой поддержки. Предприниматель Алексанян постоянно вкладывает в его развитие значительную часть прибыли от своего бизнеса.

За годы после открытия комплекса на его территории появились картинная галерея, музей восковых фигур, раскрывающие перед посетителями историю государства болгарского и становление его литературного языка, во второй части двора возникла “Аллея писателей”, пишущих на кириллице. Уже сегодня она насчитывает около восьмидесяти бюстов писателей, поэтов, баснописцев, духовных православных выдающихся деятелей и публицистов из Болгарии, Сербии, Хорватии, Черногории, России, Украины, Белоруссии, с Кавказа, из Средней Азии, Бурятии и Якутии, а также Монголии. Наиболее полно на этой Аллее представлены российские писатели XIX и XX веков. Каждый, кто приходит сюда, может увидеть на ней бюсты классиков русской литературы: Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Антона Чехова и Александра Грибоедова. Двадцатый век представлен писателями Ильфом и Петровым, поэтами Мариной Цветаевой, Сергеем Есениным и бардом Владимиром Высоцким.

Ещё восемьдесят бюстов деятелей литературы появятся на “Аллее писателей” в ближайшие годы.

Для путников, приехавших сюда на пару дней, при “Дворе Кириллицы” построен странноприимный дом (отель со всеми удобствами) и ресторан кавказской и болгарской кухни.

Уже сегодня “Дом Кириллицы” превратился в центр по изучению родной истории, сюда привозят на открытые уроки учителя своих учеников, в комплексе проводятся также конференции и симпозиумы.

Так, летом 2019 года здесь проходил X Славянский международный литературный фестиваль “Славянские объятия”. Несколько дней писатели и поэты из двадцати стран читали во “Дворе Кириллицы” свои произведения и обменивались опытом.

Будители из разных стран

Во второй раз судьба привела меня и мою жену Валентину в Плиску в 2019 году. В этот раз мы приехали сюда в составе хора старой городской песни “Блян” города Несебр. Мы направлялись в город Нови Пазар на празднование Дня Будителей по приглашению хозяев. В рамках культурной программы нашей поездки мы побывали и во “Дворе Кириллицы” в Плиске, находившемся всего в семи километрах от нашей гостиницы в Новом Пазаре.

В день нашего посещения в этом культурном центре проходило также торжество, посвящённое Дню Будителей. В музее было очень многолюдно,

несмотря на прохладную погоду. Был конец ноября, температура воздуха была близкой к нулю, но это никого не смущало. На “Аллее Писателей” торжественно открывали два новых бюста: классику белорусской литературы Янке Купале и известному армянскому писателю Тонунцу, написавшему многие свои произведения на русском языке. Среди гостей праздника выделялись делегации из Белоруссии и Армении. Приехали также высокие духовные лица: болгарский православный епископ и высший чин Армянской Апостольской Церкви в Болгарии. Звучали речи, священнослужители освятили новые бюсты писателей. Дуэт из Армении – молодой композитор и певица – исполнил несколько душевных песен на болгарском, русском и армянском языках. Над головами присутствующих плыли звуки кавказской мелодии, рвал душу своим неповторимым звуком армянский духовой инструмент дудук, звучали слова песни о том, что где-то далеко за Кавказскими горами осталась “родная Армения моя”. Члены армянской делегации достали из карманов платки и прикладывали их к глазам. Трогательный момент!

Болгария в год армянского геноцида в начале XX века так же, как и другие страны Европы, приняла значительное число беженцев из Армении. Армяне стали заметным явлением в общественной жизни Болгарии. Среди них есть известные писатели, поэты, переводчики и музыканты, предприниматели и учёные. В каждом областном центре действуют армянские христианские церкви, армянские культурные центры, где преподаётся и армянский язык. Этот народ сохраняет и здесь свою культуру и национальную идентичность.

К сожалению, наше время пребывания во “Дворе Кириллицы” было ограниченным. Нам надо было уезжать в Новый Пазар на праздничный концерт в городском читальнице, где нашему хору предстояло исполнить несколько своих лучших шлягеров.

Мы покидали этот уникальный музей под открытым небом с чувством, что нам ещё предстоит с ним новые встречи.

Знакомство с Арменом

2020 год прошёл под знаком эпидемии коронавируса. Болгария, как и другие страны Европы, стала жертвой этой пандемии. Сорвался туристический сезон. Вся общественная и социальная жизнь перешла в интернет-пространство. Лишь в конце 2020 года по заданию Московского института искусств и информационных технологий, преподавателем которого я являюсь, мне удалось снова приехать в Плиску с миссией установления двусторонних культурных связей института с “Двором Кириллицы”. Накануне нашей поездки состоялось значительное событие в жизни Карена Алексаняна. Руководство общины Каспичан присвоило этому общественному деятелю за его заслуги по сохранению национальной истории Болгарии звание “Почётный житель общины Каспичан”.

В Плиске состоялось личное наше знакомство с Кареном Алексаняном. Он поразил меня и мою жену своей широкой эрудицией по истории Болгарии и созданию Кириллом и Мефодием и их учениками славянской азбуки кириллицы. Кроме его комплекса, мы вместе съездили к месту раскопок старинной Плиски, всего в трёх километрах от нынешнего небольшого городка с населением около тысячи жителей.

Мы стояли среди величественных развалин великолепного православного собора и с удивлением внимали словам Карена о том, что первая столица Болгарии выстояла целых триста лет под натиском Византии.

Это был самый большой город Европы и мира в своё время. По размерам Плиска была больше Константинополя, её площадь равнялась сегодняшней столице Болгарии Софии.

Именно здесь, в Плиске, царь Борис радушно принял учеников Кирилла и Мефодия: Климента, Наума, Савву, Горазда и Ангелария. Разместил их в домах знатных бояр, создал условия для их работы. Работа по созданию нового алфавита подходила к концу. В честь своего учителя ученики его назвали кириллицей, а царь Борис своим указом утвердил кириллицу официальной болгарской азбукой, дав этим начало первому книжному центру в Европе.

В этот день были заложены основы сотрудничества “Двора Кириллицы” и московского вуза, а также и клуба “Соотечественник” общины Несебр и читальница имени Яны Лъсковой. Мы договорились о совместной подготовке культурной программы праздника славянской письменности и культуры в мае 2021 года.

Сбывшаяся мечта

С начала февраля 2021 года наш хор “Блян” (его название на болгарском означает “мечта”) начал готовить свой гастрольный репертуар. В него были включены песни о Кирилле и Мефодии, о будителях народных, патриотические песни о Болгарии и, конечно, лучшие лирические песни прошлых лет. Читалище “Яна Лъскова” для поездки выделило большой автобус и заказало недалеко от Плиски удобный отель для репетиций и ночлега.

Наконец, наступил день нашей новой поездки в Плиску. 23 мая наш автобус отошёл от здания общины в Несебре, увозя двадцать участников праздничного концерта в далёкую Плиску. Путь предстоял неблизкий – около двухсот километров, многие участники нашего коллектива ехали на встречу с кириллицей впервые.

Спустя четыре часа наш автобус, проплутав немного по лесным дорогам, въехал под тенистые своды гостиничного комплекса “Кирека”, разместившегося на лесистом склоне горы. Комплекс представляет из себя четыре гостиничных здания, ресторан, бар, спортивную площадку и часовню, посвящённую христианской священноймученице Киреке, имя которой присвоено комплексу. Из окон наших номеров открывался чудесный вид на широкую долину с небольшим водохранилищем. Внизу посреди долины раскинулся районный центр Каспичан. Передохнув с дороги, мы провели репетицию, вкусно поужинали и, переночевав, поехали в город Плиска на праздник.

Во “Дворе Кириллицы” нас уже ждали.

Радиоинженер нашего читалища уже установил микрофоны и всю аппаратуру на концертной площадке перед “Аллеей писателей”. К полудню двор уже был полон посетителей. Среди них были и официальные делегации от России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, от общественных организаций Болгарии. От российских организаций в Болгарии на праздник приехали руководители Российского культурного центра в Софии и председатель организации Россотрудничество Широкова Ольга, а также сотрудники генерального консульства России в Варне во главе с консулом Владимиром Климановым. Концерт начался выступлением хора “Блян” и его солистов.

Вместе с хором на празднике кириллицы пели лучшие солисты: Стефка Петкова, Светлана Якименко, Димитър Станков, Марин Господинов и сам руководитель хора Панайот Катрафилов. Публика очень тепло принимала выступление артистов из Несебра, люди подходили к нам после концерта, благодарили, отмечали высокую музыкальную культуру и слаженность пения хора. Приятно было слышать эту оценку зрителей в юбилейный год. Осенью хору “Блян” исполняется 25 лет.

Наше выступление продолжилось после обеда во время торжественной части праздника. Члены делегаций возлагали венки и цветы к памятнику Кириллу и Мефодию, зачитывали приветственные адреса. Речи и чтение стихов чередовались музыкальными номерами. В заключение праздника директор комплекса “Двор Кириллицы” Карен Алексанян вручил официальным делегациям символ праздника “Огонь Знания”, который они повезли на свою Родину. Праздник завершился исполнением “Гимна Кириллице”. Слова гимна написал в XIX веке известный публицист и поэт Стоян Михайловский, а музыку к нему сочинил учитель пения из города Ловеча Панайот Пипков. Этот гимн сразу стал официальным гимном всех работников просвещения и культуры. До сих пор он звучит во всех школах и читалищах Болгарии на всех праздниках.

После торжественной части мы уезжали в Несебр, а в ушах продолжали звучать слова этого гимна:

В веках благословенны будьте,
О вы, Мефодий и Кирилл!
Вы их, народы, не забудьте,
Кому славянский говор мил!
Мы будем в памяти народной
Их имена хранить, беречь,
Чтоб стали нивой плодородной
Культура, письменность и речь!

До новых встреч, Плиска, кириллица и народные будители, которые хранят славянскую культуру и передают “огонь знаний” из поколения в поколение!

ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ

КРЕСТНАЯ СЛАВА

О том, что предстоит поездка в составе российской делегации книгоиздателей на Белградскую книжную ярмарку, я узнал на ярмарке Московской. Тогда же краем уха услышал, что Белградская по масштабам и организации превосходит Московскую, но не придал этому значения. И что же?..

Впрочем, всё по порядку.

Это была вторая моя поездка на Европейскую книжную ярмарку. Первая — на одну из крупнейших в мире — осуществилась в октябре 2013 года в составе такой же делегации во Франкфурт-на-Майне. И масштабы действительно впечатлили, но только Белградская побудила меня воспеть гимн целому народу.

Из Шереметьева вылетели в семиградусный мороз — из Нижнего Новгорода отбывал в мороз четырнадцатиградусный. Делегация наша состояла из одиннадцати человек. Географически: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Чебоксары, Екатеринбург. Перед посадкой в самолёт обменялись визитками (лично я многих видел впервые). В аэропорту Белграда нас должна была встретить посольская машина. Стрелки часов в этот день перевели на час назад, да ещё разница во времени с Белградом в два часа, и это мы вскоре ощутили...

Во время полёта двое молодых издателей (лет 35-ти) из Москвы и Волгограда, сидевшие рядом со мной (я у иллюминатора), оживленно обсуждали состояние современной литературы. Особенно сокрушался издатель из Волгограда, отпрыск потомственных учителей и профессоров. Он сетовал на то, что дети совершенно разучились читать, практически все “сидят в айфонах и компьютерах”, что электронная книга вытесняет печатную. Обстоятельство это представлялось ему безнадежным. Его сосед, представитель московского издательства? с ним во всём соглашался.

О том же и я думал не раз, в том числе и по поводу “толстых” литературных журналов, которые, как некогда Пушкина, который год пытаются сбросить с корабля современности, предлагая взамен, что и молодежи — неуправляемый хаос медийного пространства. Всех инакомыслящих очередные разрушители до основания “старого мира” (за всю историю, кстати, не давшие ничего взамен) считают чуть ли не мамонтами. И почему-то никому из поборников прав и свобод в голову не придёт, что было бы всё-таки человечнее подождать, когда мамонты вымрут сами, а не загонять их насильно (подобно американцам в свою демократию) в медийное пространство, как в резервацию.

Что относительно книг, не думаю, что читать стали меньше, а вот качество издаваемой продукции действительно заметно упало. Но куда в более плачевном состоянии пребывает писательское сообщество. За исключением

единиц, иного пути, как в литературное рабство или в ту же резервацию (писание для интернета или в стол), у большинства просто-напросто нет.

Как с этим обстоят дела в Сербии, я не знал, а вот о собратях по перу думал. Да, было время, когда можно было писать не спеша, основательно и не за одно спасибо, что напечатали. Писатели были востребованы, с ними регулярно устраивали встречи на производстве, в библиотеках, учебных заведениях, и каждое выступление оплачивали либо через Литфонд, либо через общество “Знание”. На это можно было пусть и не богато, но всё-таки жить. А главное, каждый был уверен, что очередная его книга не только увидит свет, но и будет достойно оплачена, и попадёт в библиотеки. А что относительно того, кто их читал, так об этом уже было сказано выше: ходи, выступай и обрящешь своего читателя. А теперь разве не так? Но всё это, как говорится, в застойном прошлом...

Когда через два часа пошли на снижение, показались оранжевые черепичные крыши, Балканы с покрытыми снегами вершинами.

Внимательно всматриваюсь вдаль в ожидании лицезреть обычный европейский мегаполис (тогда я ещё не знал, что в Белграде всего миллион двести жителей). И ничего подобного. Какой-то провинциальный городишко, с теми же черепичными крышами, чем-то до удивления напоминающий родной Нижний.

Приземлились. Весьма скромный по столичным меркам аэропорт. Статуя местной знаменитости перед фасадом – Николы Теслы. Аэропорт носит его имя.

Нас встречает посольский микроавтобус. Убираемся все. Прошу уделить место рядом с водителем, чтобы снимать – со мной неизменная в подобных вояжах камера.

Первое, что бросается по дороге в глаза, – огромная реклама: “Сунчаница” (“Солнечный удар” по-сербски). Буквально две недели назад тут прошла премьера фильма. Попутно припоминаю скудную полемику по его выходу (куда больше разговоров было до его появления на экраны). В который раз задумываюсь о том, а что же всё-таки мы потеряли, какую именно Россию, и каким образом это отразилось в фильме? Что Сербия стала одним из пристанищ “белых” изгнанников, я знал и до объяснения главного режиссера, почему именно в Сербии состоялась премьера. Братский народ в “окаянные дни” приютил до сорока тысяч беженцев. И даже предоставил возможность Врангелю создать РОВС (Русский Общевоинский Союз), обеспечив его членов пайком и небольшим жалованием за счёт казны, не побоявшись тем самым нажить грозного врага в лице Страны Советов. И за это и за всё остальное братьям-сербам низкий поклон.

И всё-таки, что мы потеряли и кто во всём виноват?

К сожалению, фильм не даёт на это ответа, хотя вроде бы и претендует. Сюжет одноименного рассказа уместился на трёх страницах. Офицер встречается на пароходе молодой женщине. Подобно смерчу подхваченные обоюдным желанием оба сходят на первой пристани, едут в гостиницу, всё, что в таких случаях бывает, между ними происходит, она уезжает, он остаётся и только после того, как отчаливает пароход, начинает понимать, что с ним произошло нечто большее, чем “забавное приключение”. Рассказ сжат до предела, в фильме, напротив, довольно подробно изображается возникновение этого стихийного чувства, которое не зря же названо “солнечным ударом”. В рассказе никакой к тому подготовки нет, удар он и есть удар, вся суть его в необъяснимости и внезапности возникшей страсти. Но создателю фильма, очевидно, хотелось донести до зрителя колорит эпохи. Временные планы постоянно чередуются: прошлое – настоящее. Перед потоплением баржи по распоряжению железной Землячки и мадьярского зверя Белы Кун между обречёнными белыми офицерами идут разговоры о том, что они сами во всём виноваты.

Но в чём именно, не понятно. И потеряли всё-таки что?

Судя по событийному ряду – лапотную, картузную, кафтанную, пароходную, извозчицкую, дворянскую и тому подобную Русь. Да неужели же, не случись революции, осталась бы она такой? И в чём, собственно, вина самого офицерства?

Православие, например, изображено в фильме в виде откормленного как будто на заклятие, плывущего вместе со всеми на пароходе попа,

не сказавшего за всё время ни слова, в чём, кстати, что-то похожее на историческую правду есть. Такие и в самом деле никого и ничему научить не способны, и если таких было большинство, стало быть, и жалеть не о чем. Как известно, церковь не в брёвнах, а в рёбрах. И в этом смысле прав Блок: “от кого” когда “упас золотой иконостас”?

В связи с этим припоминаю слова отца Николая Гурьянова с Псковского острова Талабск, сказанные им в приватной беседе на маленькой, но очень уютной кухоньке. Кто-то из присутствующих поделился со старцем радостным известием о том, что вот, мол, по всей стране буквально из руин восстают храмы, на что батюшка, тяжело вздохнув, заметил: “Храмы-то восстановят, а вот про людей забудут”.

Не то же ли самое происходило перед революцией? Храмы росли как грибы после дождя. Именитое купечество на это денег не жалело (впрочем, на революцию тоже), щедро золотя кресты, купола, киоты, и практически в упор не замечало нужды простых людей, наживаясь, в том числе, и на дешевой рабочей силе. И об этом немало написано. И одни винят во всём лукавых деятелей с Уолл-стрит, другие, как в перестройку, видят причину в системном застое, третьи в отходе от веры отцов, не давая тому никаких объяснений, всю вину слагая на жестокий народ и образованных развратников, четвёртые усматривают причину в кризисе самой Церкви. И все, наверное, по-своему правы. Всё это имело и, видимо, до сих пор имеет место в российской действительности.

Но потеряли всё-таки что?

Тот же отец Николай Гурьянов на вопрос, воскреснет ли Святая Русь, не задумываясь, ответил: “А она и не умирала никогда”.

Стало быть, ещё ничего не потеряно? А что относительно массовости, так её и при самодержавии не было. Более того, по этому поводу Достоевский, например, делает такое замечание. Откуда нам знать, утверждает он, сколько нужно истинных делателей, чтобы во всём народе не умирала вера в Иисуса Христа? И потом, массового коммунизма мы наелись в своё время досыта. И не это ли стало одной из главных причин крушения державы? Нельзя же, в самом деле, на протяжении десятилетий (да ещё каких!) с артистическим задором петь: “Будет людям счастье, счастье на века. У советской власти сила велика. Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути, в коммунистической бригаде с нами Ленин впереди”?

Но вернёмся к Белграду...

Город разделен притоком Дуная, Савой, на старый и новый. Старый, как и наш Нижний, зиждется на слиянии двух рек, высокие берега которых увенчаны каменными крепостями, только в Белграде она именуется “Старой крепостью”, у нас — “Нижегородским кремлем”. Архитектура старого города почти сплошь старинная. Улочки узенькие, однако пробок нет. Сразу отметил, что улицы многолюдны, очевидно, сербы любят ходить пешком. Метро отсутствует.

Плутаем в поисках нашего отеля с непонятным сербским названием “Majestic” (ударение на второй слог). Наконец подъезжаем к началу коротенького бульвара, с обеих сторон заставленного летними шатровыми кафе. Пока ехали, читал названия улиц: “Святого Саввы”, “Царицы Натальи” (это уже в переводе на русский, что и без перевода понятно). Ни одной улицы с коммунистическим названием! Может быть, во времена объединенной Югославии, в которую входила тогда Сербия, были, не знаю.

Итак, гостиница “Majestic”.

Распределение по номерам. Мой по-сербски звучит по-церковнославянски: “четыредесятин” (сорок первый). И тут же припоминается великопостная “Четыредесятница”. Для знакомого с языком церкви всё в основном понятно.

Договариваемся о времени сбора внизу для поездки на торжественное открытие книжной ярмарки (26 октября в 17:30 по местному и в 20:30 по старомосковскому, прошу заметить) и расходимся по номерам. Перевожу дух.

На ярмарку отправляемся на такси. Садимся, показываем водителю листочек с названием. Накинув очки, водитель тут же восклицает: “Саям! Знам!” “Саям” по-сербский “книга”. И буквально за десять минут доставляет нас до места. В качестве справки: 1 евро тогда стоил 118 сербских динар. Разменяв по две сотни, сразу становимся богачами.

Вход на открытие ярмарки для всех, в том числе и для опоздавших участников, платный – 150 динар. Нам, к сожалению, всё своё книжное богатство пришлось тащить на себе, а это, как минимум, 23 килограмма без учета ручной клади. На мне “гранатомет” (штатив, который в каждом аэропорту и железнодорожном вокзале приходится расчехлять и показывать), сама камера, да ещё 20 килограммов книг. Вечно-то, искусства ради, я навьючен, как магарац по-сербски, а по-русски не скажу, потому что обидно.

Первое, что удивляет, – толпы народа, текущие к павильону. Было уже темно, однако в свете уличных фонарей я без труда разглядел, в том числе, и молодые, совсем ещё юные лица.

“На открытие поглазеть идут, – язвительно проносится в голове. – Молодежь любит шум, маскарад, фейерверки...”

Вторым удивлением ещё по мере приближения к павильону, поскольку с обеих сторон тротуара стояли фотографии прибывших на ярмарку писателей, был, конечно, китайский стенд. Китай – в этом году почетный гость ярмарки. И размах представленной литературы нас поразила. И главное – столько литературных имен, столько названий издательств!

Ищем наш стенд, и, наконец, натываемся на весьма скромное, окрашенное в цвета Российского флага сооружение, занимающее в самом дальнем углу весьма скромное пространство, и то, как сразу заметили, наделенное немногочисленными полками, было сплошь заставлено детскими раскрасками.

Мы сразу приуныли.

Потолкались-потолкались, и до утра сложили свои книги в хозяйственном закутке.

Зато оттуда, из закутка, активно выносились “игривое и шипучее”, конфеты, пластиковые стаканчики. Толпились привезённые для этой цели из Московии девчата с ребятами в косоворотках и расшивных сарафанах. Со всей ярмарки сбегались послушать русские народные песни и выпить шампанского. И песни, как и шампанское, лились рекой. И это понятно, сегодня воскресенье, выходной, а вот что понедельник покажет?

В гостиницу прибыл таким уставшим, что, казалось, без пробуждения просплю сутки. Однако проснулся как по тревоге, по старомосковскому времени. В 6:00 сходил на завтрак (роскошный шведский стол) и вышел на улицу.

Свежо. Около шести градусов тепла. Кругом ещё зелень. Выхожу на пешеходную улицу князя Михаила и поворачиваю к “Старой крепости”. Несмотря на ранний час, улица потихоньку оживает.

И тут со мной начинает происходить нечто фантастическое. Разумеется, вся улица сплошь в стеклянных витринах. Но буквально через каждые двести шагов то с одной, то с другой стороны – книжные магазины, а в переулках лоточки с теми же книгами, и всё книги, книги и книги... Всякие – светские, религиозные, букинистические, детские, научные... Если бы не покупали, и не торговали бы. На нашей “прогулочной” Большой Покровке такое можно было увидеть только в начале девяностых, когда книга была в дефиците. Сейчас на всей улице всего два небольших магазина, как два антагониста – светский и православный. В Белграде то и другое в одном месте.

Дохожу до “Старой крепости”. Ныне она музей, в отличие от нашего “Нижегородского кремля”, да и в масштабе значительно уступает, но всё очень ухожено, вдоль тротуаров – частные лотки с туристическими безделушками.

Посмотреть крепость времени не хватает. Следую, руководствуясь картой, на автобусную остановку. Сажусь в автобус и, не найдя кому заплатить за проезд, “зайцем”, буквально за пятнадцать минут, без обычных не только для Москвы, но и для родного Нижнего утренних пробок доезжаю.

Прибываю на час раньше (спутал время). Выпиваю чашку кофе под зонтом выездного кафе. Повара приветливо улыбаются, говорят: “Руси? Братья!” Не умолчу, слышать приятно.

В 9:30 оказываюсь в павильоне. Складываю в стопы никому не нужные раскраски и расставляю свои книги.

И вскоре со мною начинается второе чудо (первое – с книжными магазинами и лотками)!

Судите сами. Понедельник – рабочий, учебный будничнейший день. Но ровно с 10:00 буквально потоком, как гунны, рекой хлынули толпы молодежи, детей, взрослых. И самое удивительное, только малые дети – за ручку с мамами или бабушками, школьники же, студенты и молодые семьи шли без

всякого “барабанного” сопровождения, “са-мо-сто-я-тель-но”. Я, грешным делом, даже подумал: “У них что, во всё время ярмарки выходные дни?”

Достаю планшет, нахожу, читаю: “Главный бренд Сербии – Белградская книжная ярмарка”. Ах, вон оно что! Так это государственная политика! Так вот почему одухотворенно прекрасны лица сербов. А какие у всех живые глаза! А с какой заинтересованностью, как под гипнозом, сидят они на презентациях! А какие удивительные имена у женщин – Душица, Милица, Славица!

И с этой минуты, сколько бы ни пытался, проснуться не мог! Это было какое-то чудо! И скептически настроенный издатель из Волгограда в тот же день донимал всех вопросом: “Почему?” Почему у них есть, а у нас “несть”? И сколько бы его ни убеждали, что это государственная политика, не хотел этому верить.

– При чем тут политика? Вы посмотрите сколько молодежи! Что молодежи до политики?

А молодежь действительно вся от мала до велика во все дни ярмарки, как я уже сказал, замороженно сидела на презентациях, листала книги, покупала их, складывая в разбухающие от тяжести пакеты и сумки, горячо что-то обсуждала, что-то друг другу зачитывала из тех же самых книг. Даже малые дети, пришедшие с бабушками или мамами, внимательно оглядев стенд с книгами, подходили и своими прозрачными пальчиками указывали на какую-нибудь красочную обложку, и тут же раскрывались кошельки, и малыш, прижав к груди, как драгоценный подарок, книжку, с неподдельной радостью и сияющими глазками топал дальше. Не знаю, что в такие минуты происходило со мной. Простите, но мне хотелось выть. Может быть, оттого, что у меня самого девять детей и двадцать внуков, может быть... А может быть, просто от белой зависти...

А теперь скажите, как такой народ не полюбить? Народ, который так неподдельно искренне любит то, что мне самому дорого с раннего детства. Что именно? Да хотя бы это: “У Лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том...”

И ещё...

За всё время пребывания ни на ярмарке, ни в автобусе, ни на улице, ни в одном кафе я не видел ни одного молодого человека с “айфоном” или “планшетом”. Специально для этой цели ходил вечером по богемной улице князя Михаила, где обыкновенно собирались толпы молодёжи, и ни один из молодых людей ни разу не вынул сотовый телефон, чтобы “побазарить с корешем или чувихой”. Такое впечатление, что они специально (чтобы не документали родители, например) оставляют их дома и виртуальному общению предпочитают живое. Воду пьют прямо из фонтанов, расположенных посреди улиц – поилками называются. Оказывается, Сербия в экологическом плане самая благополучная страна Европы. Продукты, судя по российским ценам, значительно дешевле. Вообще всё кажется дешевым, кроме, разве, книг, которые приблизительно в цене наших. И покупают! Просто метут!

Как известно, разложению нации предшествует разложение культуры. Мы это переживали не однажды. И, тем не менее, уже в который раз наступаем на те же грабли. Опасение за судьбу отечества тоже явление временное. Любые опасности рано или поздно минут, и что тогда? Опять разделения на левых и правых? Соревновательности ради, положим, это вполне допустимо. Но разве это крепит нацию? Прошу заметить, со Слова, которое было в начале, а не с рая небесного, а тем паче земного всё началось. В любом народе это понимают, кроме современной России. Хотя в последнее время и у нас заговорили о культуре, о литературе, о значении русского языка... Что из всего этого получится, пока не ясно, поскольку во всех этих начинаниях, к сожалению, пока больше набившей оскомину чиновничьей показухи, на существенные шаги, как и прежде, средств не хватает.

Иду в сторону второго, сербского, павильона. Он один, двухэтажный, круглой формы, занимает площадь, превышающую всю Московскую ярмарку. Второй этаж практически полностью занимает букинистическая книга. У нас во всём двухмиллионном Нижнем всего лишь в двух антикварных магазинчиках, в виде сопутствующего товара такими изданиями торгуют, и я в них редкий, но постоянных покупатель.

Первое, что бросается по пути в глаза, портрет одной из самых популярных авторов Сербии Лиляны Хабьянович-Джурович. Шесть её романов уже

переведены на русский. Сразу спешу заметить: широкую известность ей принес роман о Праскеве Пятнице, особо почитаемой в Сербии святой. Роман выдержал 29 изданий. Второй роман на ту же духовную тему “Игра ангелов” также переведен на русский и тоже выдержал 30 изданий. Я взял у Лиляны интервью. Мы познакомились с ней в прошлом году на литературном форуме “Золотой Витязь”, бессменным президентом которого является народный артист России Николай Бурляев. Замечательная, по-своему красивая женщина перед началом интервью поставила на стол икону своей небесной покровительницы – Праскевы Пятницы, напомнив, что сегодня день ее памяти. Всё свое предшествующее этому роману творчество, роману, замысел которого родился в церкви, у иконы святой, Лиляна относит к разряду “исповеди”. Отныне – только “славословие”, свет, “егоже не объемлет тьма”. И свет в её романах очевиден. Пока “делали” интервью, собралась очередь молодых людей, все с книжками в руках, хотят получить на память автограф. И позже, проходя мимо, я наблюдал ту же нескончаемую вереницу почитателей творчества Лиляны.

Более того, религиозные издательства занимают чуть не треть всего сербского павильона. Но и в каждом светском издательстве наряду с обычной художественной и детской литературой имеются книги религиозного содержания. Я не хочу сказать, что такие уж они необходимые. Ни одной девушки в удлиненной юбке или тёмном платочке я не заметил, и вообще – никакого выпячивания своей мнимой религиозности. Она у них какая-то радостная, что ли. И это заметно по отсутствию макияжа на молодых девичьих лицах. И одеты скромно, без “выпендрежа”. В носы ничего блестящего не вставлено. Впрочем, как и вся Европа, ходят в качественной, удобной, а не в модной одежде. Наши колхозницы, например, каждую неделю меняющие цвет волос, стойчески выщипывающие брови, с бусами на носках, с искусственно сделанными африканскими или лягушачьими губами тут напоминали бы туземцев, которые, как известно, падки на подобные побрякушки. Естественная красота – вот что бросается тут в глаза и чарует сильнее любого макияжа и “художеств”.

Разве это не чудо?

К слову, не могу не вспомнить преподобного Иустина Поповича, энергия писаний которого поражает даже в самом посредственном переводе.

Увы, но только он, серб, смог сказать такое:

“В мире наших трагичных земных относительностей Достоевский – это боговдохновенный пророк и апостол абсолютной Красоты... В своих пророческих видениях Достоевский видит всех людей всех времен, связанных между собою единою судьбой. Таинственным, но в то же время весьма реальным образом все люди присутствуют во всяком человеке и всякий человек – во всех людях. Отсюда происходит ответственность каждого человека за всех и вся на земле...”

Всё это, повторяю, сказал не простой, а ученый монах, окончивший Санкт-Петербургскую духовную академию и теологический факультет Оксфордского университета, знавший шесть языков, сказал после того, как познакомился со статьей Константина Леонтьева (тайного инока знаменитой Оптиной пустыни), в которой тот в пух и прах разнес знаменитую “пушкинскую речь” русского гения.

Предвижу возражения. Дескать, идеализирую. Но я далеко уже не наивный мальчик, чтобы не понимать, что есть и проблемы. Но скажите, где их нет? И церковный раскол в Сербии имеется. Тут же, на ярмарке, во все внутрицерковные дела был сразу же и посвящён. У стенда с моими книгами, кстати. Подошли сербский инок с представительницей из России “Русско-Сербского братства святых царя Николая и владыки Николая Сербского”, и меня во всё это сразу посвятили. Только местному “раскольнику” никто не запрещает служить, никто не отбирает здания церковные, не извергает из сана. А всё потому, что за ним стоит народ, а мнение народное, даже если оно не вполне совпадает с мнением официальной церкви, власти Сербии не на словах, а на деле уважают. Насильно духовного единства не осуществят. И это тут хорошо понимают. Вообще привыкли уважать свой народ, не в упрек нынешней российской власти сказано. Выбранный курс на политическую самостоятельность я разделяю. Но такого доверия к народу, который, конечно, может заблуждаться в частностях, но в главной сути – никогда, я в России, а тем более, внутри церковных стен не видел.

Созерцал в Белграде разрушенные бомбежками многоэтажные дома. Оставили в качестве наидания потомкам как иллюстрацию демократических свобод по-американски.

У тех ведь не заржавеет. И всё это рецидив старой хронической болезни ещё со времен крестовых походов, инквизиции да молота ведьм. Везде-то им чудятся стриги да ведьмы. И новоявленные рыцари, как и прежде, при поддержке огня и меча пытаются покорить под свою власть якобы отсталые, не ведающие настоящей свободы народы. Но что удивительно, ни один народ не пожалел ни сил, ни самой жизни, чтобы отстоять право жить не по-американски.

Сербы в этом смысле не исключение. В ходе Первой мировой войны, например, Сербия потеряла до трети населения. В период Второй мировой войны с апреля 1941 года находилась под оккупацией немецкими войсками, а часть территории были переданы Венгрии, Болгарии и Албании. К 1945 году Сербия была освобождена Красной Армией, партизанскими и регулярными отрядами Народно-освободительной армии Югославии. И это моему поколению хорошо известно из учебников истории, а вот о “Ледяной голгофе” мы тогда не знали ничего. Нам вдалбливали в головы, что содружество наше основано на коммунистических идеалах, и никто из нас не знал, что в 1915 году со своим престарелым королём Петром сербы призывного возраста ушли в горы, чтобы избежать мобилизации и не попасть на фронт, где поневоле пришлось бы стрелять в русских братьев. Каждый третий в том ледяном переходе погиб от холода и голода, а сама сербская армия была вывезена на остров Корфу по требованию императора Николая II, заявившего, что, если этого не случится, Россия выйдет из Антанты. Однако после войны сербскому народу пытались внушить, что спасение это стало возможным благодаря особому расположению к Сербии Франции. Впрочем, склонности к фальсификации истории у бывших союзников не занимать.

На самом же деле вот как всё это происходило.

Сербскими войсками и гражданскими лицами, как уже было сказано, был преодолён горный путь от Метохии до побережья Адриатического моря. Прибытие на Адриатическое побережье Албании ещё не означало окончательного спасения. Лишь после того, как 15 января 1916 года Никола Пашич (премьер-министр Королевства сербов, хорватов и словенцев) обратился за помощью к Николаю II, а тот отбил телеграммы королю Великобритании и президенту Франции, в которых пригрозил выйти из Антанты, французы отправили все свободные корабли для эвакуации сербских войск на греческий остров Корфу. Первые дни на острове были ужасны. Союзники не имели времени для подготовки к приёму такого огромного количества народа (около 140000). Сказалась нехватка продовольствия, одежды, дров, палаток. Погодные условия тоже не благоприятствовали из-за непрекращающихся дождей. Измученные солдаты сидели или бродили под проливным дождём в течение целой недели. Начались болезни, приведшие к массовой смертности. Поскольку места для захоронения на суше не хватало, усопших хоронили прямо в море, приваливая тела камнями. Более 5000 человек были погребены таким образом недалеко от острова Видо, после чего те воды получили наименование “Синей могилы” (по-сербски “*плава гробница*”). Всё это в Сербии прекрасно помнят.

В понедельник вечером у нас была встреча с сербскими писателями в “Русском доме”. Здание было приобретено в царское время. После революции оно стало прибежищем, а впоследствии культурным центром русской эмиграции. Ныне — это место, где регулярно проходят мероприятия по обмену культур братских народов. Более двухсот сербов постоянно занимаются на курсах русского языка. Русскоговорящих в Сербии достаточно, особенно из старшего поколения, поскольку русский язык был обязательным в школе до развала СССР. Сейчас молодежь разделилась: часть учит английский, а другая часть русский.

На встрече один из сербских писателей (окончил сценарный факультет ВГИКа) завёл речь об “эпохе Путина”. Однако никто из нашей делегации тему эту не поддержал. Не потому ли, что для малого бизнеса эпоха эта не только ничего не дала, но чем дальше, тем больше под видом государственной помощи добывает его жалкие остатки? Ни одна из программ поддержки малого предпринимательства из-за чиновничьей волокиты и бумаготворчества не действует. Получить кредит, грант, особенно, в регионах, очень и очень трудно,

да и те в “Год литературы” по причине введения санкций сократились на треть. А правительство как будто тем только и озабочено, как бы ещё обобрать народ и тот же малый бизнес. Цены на всё продолжают расти. Книжный бизнес с каждым годом становится всё менее рентабельным, а большинство региональных издательств вообще дышат на ладан. Государственной поддержки книжной торговле никакой. Спрашивается, если книгу невозможно продать, для чего её издавать? А если всё-таки наскрести средств на малотиражное издание, о каком авторском вознаграждении может идти речь? Пожалуй, худшего времени для издателей, а особенно для писателей в России не было.

О чём, в таком случае, говорили?

О том, кому и что в такое непростое время всё-таки удалось издать. Говорили о возможности взаимных переводов. И некоторые из наших издателей обрели для своих авторов переводчиков. А один из сербских авторов нашёл издателя в России. Что из всего этого получится, ещё никто не знал, но, как говорится, лиха беда — начало.

Многие считают, что связь Сербии с Россией начинается со времён святого Саввы. Святитель принял постриг в русском монастыре святого великомученика Пантелеимона на Афоне в юном возрасте, приблизительно в последней четверти одиннадцатого века. С тех пор во всех войнах сербы были нашими союзниками. Болгария, например, в двух мировых войнах оказывалась в стане врага. Воевали против нас в Великую отечественную православные румыны. А вот сербы были с нами даже в Русско-японскую войну, когда одно из тогдашних сербских государств, Черногория, объявило войну Японии. 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Россию, вся Сербия поднялась на борьбу с оккупантами. Более того, сербы всегда осознали себя щитом России, в том числе и в последнюю войну 1999 года. Надписи на сербских домах во время бомбардировок Белграда тому свидетельством: “Русские, не бойтесь, Сербия с вами!” Как заметил посетивший Россию в “Царские дни” 2012 года Сладжан Арсач: “Мы, сербы, всегда верили в двух Богов — в Христа на небе и православную Россию на земле”.

Даже в сталинские времена, когда отношения с Югославией были враждебными, простые сербы помнили о России. Десятки тысяч из них приняли страдания за верность ей. Их огульно записывали в сталинисты. Какой-то процент коммунистов среди них, разумеется, был, однако большинство составляли православные сербы, никогда не принадлежавшие к коммунистической партии. Те и другие содержались на Голом острове, в концлагере, на одном из островов Адриатического моря, где многие умирали под палящим солнцем от непосильного труда и издевательств охраны. В те годы в Югославии была развёрнута кампания по борьбе с великосербским гегемонизмом, и любой серб мог стать её жертвой. Особенно это отразилось на Косове. За несколько столетий турецкого ига православное сербское население из Косова выдавлено не было и составляло большинство в XX веке. Однако за время титовского богоборческого и антиславянского режима соотношение коренным образом изменилось. Именно в то время были заложены основы будущей косовской трагедии. Тито и Моша Пияде (член исполкома Союза коммунистов Югославии, активный противник Сталина) сумели сделать то, что было не по плечу даже туркам.

Благодаря их стараниям наступили времена, когда в процессе распада Югославии в начале 90-х годов, в разное время были развязаны гражданские войны и этнические конфликты на территории всех шести республик СФРЮ. Самой ожесточенной и масштабной была война в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов. Эскалация конфликта последовала после референдума о независимости республики, который прошёл 29 февраля 1992 года без участия сербов. Его результаты были отвергнуты лидерами боснийских сербов, создавших свою собственную республику. После провозглашения независимости началась гражданская война, в которой сербам пришлось воевать с боснийцами — мусульманами и хорватами. Военные формирования мусульман подвергли атакам мирное сербское население и объекты Югославской народной армии. В боевые действия втянулись отряды сербских ополченцев, негласно поддерживаемые ЮНА.

Несмотря на политику невмешательства со стороны тогдашнего руководства ослабленной перестроенными реформами России, простые русские люди не могли остаться в стороне.

Первые русские добровольцы появились на стороне сербов в начале конфликта.

В то непростое время Заглавак был стратегически важной, главенствующей высотой. На протяжении нескольких месяцев нашим добровольцам дважды удавалось захватить высоту, пока не закрепились на ней основательно в начале марта 1993 года, отбивая периодические атаки мусульман. Противник мобилизовал все силы, чтобы ликвидировать присутствие сербско-русских добровольцев в этом районе. Самым крупным и драматическим сражением за высоту стал бой 12 апреля 1993 года

Ночью, под прикрытием сильной метели, мусульмане стянули значительные силы к основанию высот Заглавак и Столац. На штурм были брошены лучшие части, состоящие, в том числе из наемников и “борцов за веру”. Противнику довольно быстро удалось взять Столац. Одновременно вёлся артиллерийский обстрел Заглавка, после чего был дан сигнал к штурму. Десяток русских добровольцев и несколько сербов приняли бой. К 8 часам бой был в самом разгаре. Над Заглавком развевался русский флаг, поставленный две недели назад казаками. Волна за волной боснийцы с криками бросались на приступ.

В перерывах между атаками на высоту обрушивался шквальный огонь артиллерии. Отряд нес потери. Он мог отойти, высота находилась почти в окружении, но никто не дрогнул и не отступил. Бой продолжался около пяти часов. Несмотря на все усилия, противник не смог занять ни один из склонов. А прибывшее подкрепление помогло отбросить неприятеля на исходные позиции. Мусульмане потеряли в том бою 80 бойцов, среди которых был командир бригады, более 100 раненых. Для той войны такие потери в ударных подразделениях считались существенными, противник был надломлен.

Как известно, конфликт завершился соглашением 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне, штате Огайо. Сербов вынуждены были сесть за стол переговоров, поскольку в августе – сентябре 1995 года авиация НАТО провела воздушную операцию “Обдуманная сила”, нанеся удары по позициям боснийских сербов. Эта операция изменила военную ситуацию в пользу мусульmano-хорватских сил, сербское наступление было остановлено.

Дейтонские соглашения предусматривали создание Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, ввод миротворческого международного контингента под эгидой НАТО. Сербов получили 49% территории, боснийцы и хорваты 51%.

По приблизительным подсчетам различных государственных учреждений и ветеранских организаций Республики Сербской, общее число русских добровольцев, прошедших войну 1992–1995 годов, не превышало пяти – шести сотен человек. Известны имена порядка 50 погибших русских воинов. Это немного, но в Сербии все знают о том, что русские появились в самый тяжелый момент, когда силы сербов значительно уступали противнику по численности, боевой дух слабел. Своей храбростью и жертвенностью наши добровольцы оказали мощнейшую моральную поддержку, вдохнули новые силы, подняли боевой дух сербов и помогли им отстоять и защитить свое жизненное пространство.

И вот теперь настало время отвоёвывать оное нам, слава Богу, пока не на своей территории, но причины и цели начала конфликта одни и те же. И хочется верить, что на этот раз мы не уступим, поскольку, как говорится, хоть и “велика Россия, а отступать некуда”.

5 ноября 2011 года в Вышеграде был установлен памятник русским добровольцам, погибшим в Отечественных войнах сербского народа 1991–1999 годов. Знаменательно, что памятник поставлен именно в Вышеграде – в городе, в котором воевало три русских добровольческих отряда. В городе, где к памяти русских добровольцев относятся с большим почтением, всегда можно увидеть на могилах русских добровольцев зажженные свечи. Весь город в тот памятный день пришёл почти память своих защитников, приехавших из далекой России, чтобы защищать Православие на сербской земле.

И хотя в нынешних СМИ о том ни слова, в виде права на самоопределение, последнее, на мой взгляд, защищается ныне уже в планетарном масштабе...

На встрече с сербскими издателями говорили в том числе и о реализации совместных проектов, начало которым было положено на недавней Московской книжной ярмарке, когда впервые был организован стенд с режущим ухо недругов названием “Славянский базар”. Не это ли событие впоследствии

стало негласной причиной отставки руководителя Московской книжной ярмарки? Во всяком случае, ни о каком “славянском книжном развале” на последней ярмарке уже и речи не шло. Не думаю, что от недостатка средств. Как опасно, оказывается, для мирового сообщества, под каким бы то ни было предлогом, “объединение славянства”.

К сожалению, нам было отпущено всего три дня, но перед отъездом я всё-таки попросил поделиться впечатлениями всех наших издателей. Это происходило в ожидании того же посольского микроавтобуса, перед фасадом ставшей чем-то родной гостиницы “Мажестик”. Все говорили примерно одно и то же: сербы как будто открыли в нас второе дыхание. А волгоградский издатель сказал: “То, что увидел, вселяет надежду, что ещё не все потеряно”.

По пути в аэропорт беседовал с водителем-сербом. Он объяснил мне происхождение сербских женских имён. Душица, например, происходит от слова “душа”. Славица от слова “слава”. И тут же стал рассказывать о сербском празднике “Крестной славы”. “Крестная слава”, оказывается, одна из главных отличительных особенностей Сербского Православия. “Крестной славы” не знает ни один из христианских народов. Этот праздник связан с домом, семьей. Более того, “Славу” (то есть своего небесного покровителя, в честь которого возносится это славословие) ныне имеет, оказывается, каждое предприятие Сербии. С давних времён в день семейного покровителя сербы собираются вместе. Торжество проходит перед иконой небесного покровителя. Зажигается восковая свеча. Посередине стола главный атрибут “Славы”: каравай, кутья и вино. Хлеб выпекается из пшеничной муки, с украшением: Крест и буквы “ИСХС НИКА”, что означает Иисус Христос Победитель. Славский хлеб – символ прославления Господа нашего Иисуса Христа, ибо он есть Хлеб истинный, сшедый с небес. Праздник “Славы” продолжается три дня. Первый день – навечерие, в который идет подготовка к главной церемонии. Главный – второй день. В этот день все участники стараются посетить церковь, чтобы причаститься, или приглашают в дом священника. В третий день провожают гостей. Каждый дом или семья имеют свой день “Славы”, который передаётся из поколения в поколение, как наследство.

“Святой, которого мы чтим, – говорят сербы, – является нашим заступником и молитвенником перед Богом. Он хранит нас и своим невидимым присутствием помогает в жизненных обстоятельствах. Он является нашим учителем, который призывает нас идти по пути, которым сам прошел по земле, угодная Богу”.

– У нас хранят эту традицию по завещанию предков неукоснительно практически все, – говорит водитель, и я думаю: “Какая прекрасная традиция!”

Нас провожали друзья из “Русского Дома”.

Расставаться не хотелось, и всем нам хотелось во что бы то ни стало вернуться и увидеться хотя бы ещё раз.

Во время полёта думал о Сербии, которая почему-то представлялась крохотным островком в бушующем океане Европы. И однако же, несмотря на свою малость, островок этот казался мне таким же незабываемым и обязательным в судьбе мира, как традиционный каравай “Крестной славы”.

ПЛАТОН БЕСЕДИН

МЕЧТА КАК ВЫХОД ИЗ МАТРИЦЫ

Конец миллениума был забит, как бочка апельсинами, бесконечными страшилками об апокалипсисе. Соответствующие фильмы выходили один за другим, пророча то один, то другой трагический сценарий, создавая пространство вариантов того, как всех накроет, поглотит смерть. Конец неизбежен, да – в том нас убеждают. Осталось выяснить, как нам суждено умереть. Эсхатология прорастает пышными цветами зла.

Именно в такое время люди посмотрели на кассетах и dvd (миллион проданных копий!) фильм “Матрица”, от которого внутри пробудился и неуютно заворочался червь сомнения: а что, если этот мирок, натянутый на глаза, действительно, нужен исключительно для сокрытия правды? Принюхиваешься, прислушиваешься, всматриваешься – ищешь ответ. Возможно, даже протягиваешь руку, внутренне опасаясь, что реальность вокруг окажется на ощупь точно резина, меняющая от прикосновений форму.

Кино 1999 года “Матрица” создавало именно такой эффект. С Киану Ривзом в главной роли и авторством братьев Вачовски (позже они станут сёстрами). Эффект сильнейший по своему воздействию на массы. Притом, что идея Вачовски не была эксклюзивной, нет. В разных видах она уже мелькала в искусстве. Однако тогда, под конец тысячелетия, видимо, многое совпало – пазл апокалипсиса сложился, и месседж о цифровом рабстве обосновался в умах. Вот только панацеей, спасением он не стал. Цифровое рабство наступило, и надо заметить – без особого сопротивления.

Потому, когда в конце 2021 года на экраны, спустя почти 20 лет после первой, вышла четвёртая часть “Матрицы” (с подзаголовком “Воскрешение”), откровения ожидаемо не случилось. Мир остался глух к “месседжу” одной из сестёр Вачовски. Зритель, лениво зевнув (чем ты меня тут удивишь, а?), похрустел попкорном и запил его колой. Молодые не поняли: о чём это всё? А те, кто постарше, кто когда-то пытался проснуться вместе с Нео, посетовали, что раньше кино делали лучше.

Спящие не захотели пробудиться. Матрица победила, подчинив всех. Впрочем, ещё во второй части нам сказали, что появление Избранного и революция, им возглавленная, тоже являлись частью программы. Каждое движение, каждая мысль оказались предусмотрены, а потому бунт уничтожался в зародыше. С молчаливого согласия адептов и рабов Матрицы, с их покорного потребления фантомов и симулякров. Уже в первой части предатель Сайфер, сдавший своих агенту Смиту, заявляет, что неведение – лучшая вещь на

свете. Оттого прелестнее жить в симуляции, а не в реальности. Собственно, миллионы именно так и поступили.

Олдос Хаксли блестяще сформулировал этот подчиняющий механизм в предисловии к своему роману-антиутопии “О дивный новый мир”: *“Тоталитарное государство, заслуживающее названия действительно “эффективного”, – это такая система, где всемогущий исполнительный комитет политических руководителей, опираясь на целую армию администраторов, держит в руках порабощённое население, которое излишне даже принуждать к труду, ибо оно с радостью приемлет своё рабство. Заставить людей полюбить рабское положение – вот главная задача, возлагаемая в нынешних тоталитарных государствах...”*

И рабы, действительно, полюбили своё рабство, не готовые отказываться от привычного образа жизни ради сомнительной свободы. Да и, в конце концов, что значит эта свобода? Как она выглядит? Пахнет ли Росо Rabanne? Имеет ли приятный, с нотками ванили, насыщенный вкус? Любая встреча, любое неудобство ведёт к перегрузке системы, тут же стремящейся устранить ошибку. И в этом ей помогут рабы, добровольно перевоплощающиеся в агентов Смитов. Ключевое слово здесь – “добровольно”. В фильме Вачовски, напомним, агенты вселялись в любого гражданина, подключённого к Матрице, без его согласия. Реальность же, если она всё-таки реальность, оказалась страшнее вымысла.

В другой антиутопии “Дисциплинарный санаторий” Эдуард Лимонов, отрицая модель оруэлловской антиутопии “1984”, пишет, что людей постараются превратить в усмирённых домашних животных в эпохе не мужского, но подросткового мировоззрения. В “Дивном новом мире” такие “усмирённые” потребляли нечто вроде наркотического вещества – сомы (“сомы грамм – и нету драм”). В реальном мире его роль выполняет пища (или “жратва”) – как фактическая, так и духовная. Ирония в том, что отличия между ними, по сути, нет, и толпа, требуя хлеба и зрелищ, готовая к усмирению, на самом деле, требует одного и того же – симуляции и обмана. Она создаёт мир как гигантскую инсталляцию (ещё одно ключевое понятие Матрицы). Ценности здесь не просто подменены – они аннулированы, исключены, а оставлены лишь цены.

К примеру, нам презентуют вегетарианский бургер со вкусом человеческого мяса – и тот выигрывает “Каннского льва” за креатив в рекламе. Есть за что: ведь бургер этот становится своего рода символом мира потребления, вошедшего в конечную стадию – пожирания самого себя. Дэвид Кроненберг показал это в книге “Consumed”, но первым и лучшим был Брет Истон Эллис, написавший “Американского психопата” ещё в 1991-м. Там сытые, хорошо одетые люди пожирали друг друга в искусственном мире быстрых ценностей, быстрой морали, быстрой любви, в мире, где фастфуд стал и образом мышления, и образом действия тоже. Такую реальность, сочащуюся отчаянием, нам предложили “цивилизованные господа”, превратившие планету в фабрику по переработке человеческого мяса.

То же касается и религии, превращённой в нечто среднее между арт-инсталляцией и тренингами личностного роста. “У нас были фильмы, книги, искусство. У нас была оригинальность мысли! А не это вот всё...” – кричит в четвёртой “Матрице” опустившийся Меровинген. И это цифровой глас вопиющего в пустыне – в пустыне тотального и тоталитарного комфорта, исключающего любую свободу мышления и, главное, любую ответственность. В таком мире не нужны атавизмы вроде разговоров о грехе, отравляющем душу. Да и душа, в общем-то, тоже не слишком необходима. Для современного человека, пропитанного упрощённой восточной “мудростью”, англосаксонским протестантизмом крайнего толка и тренингами личностного роста, разговоры о Боге, грехе и покаянии – слишком абстрактны. И тогда он, этот человек, ошалевший от стремительности прогресса (к слову, бесполезного с точки зрения совершенствования мира внутреннего), сговорившись с другими такими же, заменяет Бога проекцией, изображением, а Святой Дух – Цифрой. Делает это для обеспечения ещё большего комфорта.

Опять же не случайно в новой “Матрице” Нео работает в корпорации “Бог – машина”. Это замена божественного механическим, когда интеллектуальная пища превратилась в комиксы для “инфантилов”, сведённые сугубо к цепочке “стимул-реакции” и “виральности”. И люди, управляемые и усмирённые,

оказываются готовы избавиться от всего, что способно помешать их “свободе” — от Родины, миссии, самоидентификации.

Разве не это мы наблюдали во время самоубийства СССР, когда миллионы отреклись от мечты, государства и, в конечном счёте, от самих себя? Отказались ради чего? Ради свободы? Когда мечту продавали, чавкая “баблгумом” и запивая трагедию спиртом “Рояль”, перемешанным с “инвайтом”. Да, тогда многие получили свободу — свободу умирать. И логичным, показательным итогом того путешествия на край ночи, того похода за новыми ценностями стала легендарная очередь в первый “Макдональдс”. Символ того, как “жратва” погребла под собой идеалы. Как великие устремления сменились банальными целями. Как фастфуд стал образом мышления и образом действия тоже.

Но трагедия-то заключалась в том, что жажду и голод определённых ценностных вещей невозможно было утолить бургерами и колой. А свободу корректировали люди извне. К слову, ещё одним символом этого рабского преклонения стало участие Михаила Горбачёва в рекламе пиццы в 1997 году. Человек, когда-то стоявший у руля огромной страны, в новых реалиях за миллион долларов рекламировал пиццу. И та подавалась как главное достижение новой, якобы независимой страны, живущей согласно западным демократическим ценностям и столь стремительно вымирающей (где-то тут крылась связь, не правда ли?).

Это, собственно, ни в коем случае не апология Советского Союза или советского образа жизни, нет — лишь констатация того, как устроена Матрица, апеллирующая к первобытным инстинктам, погружающая людей в состояние комфортной дремоты, в состояние сна наяву, вырваться из которого нет ни сил, ни желания. Об этом, кстати, снят ещё один фильм, вышедший примерно в одно время с последней “Матрицей” — “Не смотрите вверх” с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Там блестяще показано, как хайп и комфорт становятся двумя главными божествами для современного человека, и он не готов отказаться ни от одной из своих “милых привычек” даже под угрозой исчезновения. Для чего бороться за жизнь, если нельзя чавкать попкорном в кинотеатре? Для чего ценить независимость, если блокируют You Tube и Tik Tok? Чего вообще стоит жизнь, если в ней не будет Wi-Fi, дивана и службы доставки? Всех этих prettythings, которые поглаживают разбухшее эго.

То состояние, в котором пребывает сегодня “цивилизованное человечество”, есть не что иное, как сон. И он нарушается, но не прерывается (это важно отметить) лишь тогда, когда спящий остаётся без привычных транзакций. Например, когда у него отбирают мебель IKEA — этот символ стандартизированного глобалистского мира. К слову, в фильме “Бойцовский клуб” 1999 года главный герой заявляет: “Как и многие другие, я стал рабом пристрастия к мебели IKEA”. Он же, страдая бессонницей, постоянно как бы спит наяву, неспособный понять ценность чего-либо и кого-либо вокруг. Только утратив всё, герой обретает свободу.

Пребывание во сне — это и есть существование в Матрице. И тут не стоит забывать, что английское слово “dream” переводится и как “сон”, и как “мечта”. Правильное значение даёт нам лишь контекст использования. Сам язык подсказывает ответ на вопрос, как функционирует и как торжествует Матрица. Пресловутая American dream формирует её, распространяя не только американский образ жизни в его упрощённой форме, но и американское мышление, его обывательскую, но не интеллектуальную сторону. Распространяемая подобным образом культура (в высшем смысле культурой, безусловно, не являющаяся) не имеет ничего общего с ценностными категориями — она лишь научает тому, как жить червяком, посаженным на крючок потребления. При этом в современных реалиях сказка о Новом Свете, манящей стране Эльдорадо, где каждый может отыскать сокровище, естественным образом трансформируется: ведь Нового Света априори достигнут не все, а следовательно, единственный путь — создать его на своей территории, интегрировав туда соответствующие атрибуты. Какие? О, это услужливо подскажут остальным волки с Уолл-стрит.

А далее происходит ситуация, блестяще описанная Александром Зиновьевым: “Когда народы стран Восточной Европы и Советского Союза возмарились уподобиться Западу, они полностью игнорировали то обстоятельство, что это уподобление не может стать превращением их в часть Запада

или в западные страны по двум причинам. Первая причина – навязывание этим народам и странам отдельных свойств Запада (демократия, рынок, приватизация и т. п.) не есть превращение их в части Запада, ибо Запад вообще не сводится к этим свойствам. Запад есть огромный и многосторонний феномен, сложившийся по бесчисленным каналам в течение многих столетий. Во всяком случае, у России не больше шансов стать Западом, чем у мухи стать слонем на том основании, что у неё есть хобот. Вторая причина – место и роль Запада уже заняты, и самое большое, на что уподобляющиеся Западу народы могут рассчитывать, это оказаться в сфере власти, влияния и колонизации Запада, причём на тех ролях, какие им позволит сам единственный и неповторимый Запад”.

И это история вовсе не о плохом Западе, не о страшной Америке, торгующей симулякрами Нового Света как единственного возможно рая – нет, это сказание о нас, бездумно заимствовавших то, что, как минимум, должно было быть подвергнуто критическому анализу. Тупик мира, инспирированного American dream, мы увидели в 2008 году (за год до этого была знаменитая Мюнхенская речь Владимира Путина). Но коллективный Запад быстро перестроился и породил Индустрию 4.0 с её массовой роботизацией, искусственным интеллектом, интернетом вещей и синтетическими продуктами. Началось строительство такой Вавилонской башни, в которой глобальный сисадмин сможет без сопротивления проникать в чужие экономики и контролировать их извне, параллельно следя за индивидами через геолокации и банковские карты. В этой матрице человеку нет места, но и внутри человека, ею созданного, места для живого тоже нет. Поэтому мы справедливо постарались выбраться из неё. Но насколько удачно?

Да, уже довольно долго мы слушаем о том, как Россия поднялась с колен, отчасти это соответствует истине. Однако поработённой остаётся самая незаметная и вместе с тем, вероятно, самая главная сфера нашей жизни. Как быть с духовной и интеллектуальной несвободой, которая по-прежнему властвует в России? Что происходит у нас в сфере идей и смыслов? Разве российская культура и особенно массовая культура не есть сугубо вторичный, заимствованный продукт, созданный по чужим лекалам? Разве в области мысли мы не топчемся там, где всё уже и так до нас вытоптано? А меж тем Матрица утверждается во многом именно здесь и именно так, срабатывая раньше самого намерения изменить рабское положение – ловушка, выбраться из которой если и можно, то исключительно колоссальным усилием воли, мобилизацией всех внутренних сил.

Казалось бы, именно таким рывком стали события, начавшиеся 24 февраля 2022 года. Символ Z в данном контексте выбран отнюдь не случайно: это последняя буква латинского алфавита – ведь и правда, прежняя история кончилась (к слову, совсем не так, как предсказывал фигляр Фукуяма) и началась, с подачи России, история новая. Поколение Z, воспринимавшее мир как постмодернистскую игру (не случайно в новой “Матрице” Нео работал разработчиком компьютерных игр), оказалось у пропасти и частично в неё рухнуло, а остальные вынуждены были очнуться. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд.

Но куда теперь направлены наши усилия и устремления? С кем ведётся борьба? Они, главным образом, ориентированы вовне. Мы ищем врага там, в том числе, проводя спецоперацию (не против Украины даже, ясное дело). И, с одной стороны, это логично: ведь с Матрицей невозможно договориться – она пожирает всё живое, следовательно, с ней можно только биться. Однако нельзя забывать, что пробуждение Нео начинается не с внешних, а с внутренних трансформаций. В принципе бессмысленно уничтожить Матрицу только лишь вовне, если она давно уже существует внутри нас самих, запрограммировав едва ли не все сферы нашей жизни (того, что мы называем ею) – от образования и культуры до различных форм коммуникации. Агенты Смиты давно уже проникли в нас, а многие граждане сами добровольно стали ими. Нео был невозможен не потому, что на его роль не отыскалось достойных кандидатов, а потому, что оставалось противоестественным само его появление в мире добровольного рабства.

Так кончилось ли оно? Или по-прежнему продолжается? Сколько людей сегодня реально готовы отказаться от симулякров Матрицы? Кто со всей непримиримой решимостью намерен выйти из неё, переместившись в свою

реальность, которая вряд ли в ближайшее время будет сочтаться комфортом? Вот какие вопросы необходимо ставить сегодня — ключевые вопросы, от которых нужно отталкиваться для рывка в новую реальность.

А для этого необходимо обращаться в самую глубь своего сознания, личного и национального, помня, что dream — и сон, и мечта одновременно, а чем оборачивается такая двойственность, блестяще показал Дэвид Линч в “Твин Пиксе”. Это и есть обратная сторона Америки, которая при определенных условиях может стать единственно возможной стороной. Беда в том, что под Америкой здесь надо понимать всё так называемое “цивилизованное пространство”, нашпигованное и пропитанное American dream, которая в своём экспортном варианте (подчёркиваю слово “экспортном”) несёт главным образом порабощение.

И чтобы избавиться от этого яда, нам крайне важно выработать своё видение, свою идею, а ещё лучше — Мечту. Мы можем назвать её Русской мечтой, если угодно, но в любом случае это должна быть та побудительная, созидательная сила, что окажется способной изменить Россию, вытянув её из лихорадочного сна. Говоря совсем просто, спецоперация должна идти не только вне, но и внутри самой России, — прежде всего, в духовной, смысловой и метакультурной сферах. Избавление от Матрицы есть абсолютное очищение от лжи, а для этого мы должны быть честны сами с собою, утверждая правду, понимаемую в русской традиции как истина и как справедливость. Только так можно ответить на новые вызовы, чтобы вслед за мечтой двигаться в мир без Матрицы.

ПЁТР ТКАЧЕНКО

“ВСЁ, ЧТО БЫЛО ОТМЕЧЕНО СЕРДЦЕМ...”

Литературно-критическая повесть

**Читая книгу Станислава Куняева “К предательству таинственная
страсть...”**

На страже литературы

Поражает осведомлённость Станислава Куняева, которая, как понятно, достигается только неустанным трудом. И это трудолюбие, помноженное на его открытость и гражданскую смелость, позволяет ему, как говорили ранее, – стоять на страже. На страже литературы и тех незыблемых духовных ценностей, которые не могут быть подвергнуты сомнению ни при каких обстоятельствах.

Кажется, он знает всё, хотя это и невозможно. Не только литературные факты, собственно тексты, но и факты литературной жизни, без которых трудно понять дух эпохи. И делает это не самоцельно, но пытаясь “восстановить некоторые особенности советской цивилизации”, то есть историческую правду. Не в пример догматическим, до предела упрощённым и даже шулерским характеристикам советского периода истории, даваемым “шестидесятниками”. Типа “мы семьдесят лет падали”, “исторический тупик”, “чёрная дыра”. Если и падали, то, конечно, не семьдесят лет. И великая держава – не “чёрная дыра”, в которой была необходимая мера свободы для самореализации не только собственно “шестидесятников”, но и для народа. Бодряческая риторика тут не в счёт. Это, по сути, отказ от осмысления “шестидесятниками” самого трудного в нашей истории XX века, то есть обыкновенная интеллектуальная несостоятельность... Сошлюсь только на некоторые, но очень уж характерные факты.

Последовательно отстаивая и защищая творчество Осипа Мандельштама, Станислав Куняев делает существеннейшее уточнение: “Ссылаясь на какое-то зарубежное издание поэта, Колодный, цитируя последнюю строчку стихотворения “Если б меня наши враги взяли”, совершает, в сущности, подлог и взамен подлинного текста: “будет будить разум и жизнь Сталин”, – цитирует “губить”... Но при такой, ни на чём не основанной, кроме “глубоких убеждений”, недопустимой “правке” классического стихотворения О. Мандельштама смысл его изменяется на прямо противоположный:

И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой — Ленин.
И на земле, что избежит гленья,
Будет губить разум и жизнь — Сталин.

“Будить” и “губить” — это ведь противоположные смыслы. Так классика “исправляется” в угоду “нужной” идеологии, точнее — догматике. В данном случае — либеральной, антисталинской, а по сути, — антигосударственной. Было и остаётся совершенно ясным, что “бороться надо не против сложившегося в России строя, а за Россию” (Ст. Куняев). Тем более строя, так трудно, с такими большими жертвами и потерями сложившегося... И такое текстологическое уточнение Ст. Куняева крайне необходимо и своевременно. Попадаетеся сборник стихотворений Осипа Мандельштама “Автопортрет”, вышедший в серии “Из поэтического наследия” (М.: Центр-100, 1996), в котором строчка “Будет будить разум и жизнь Сталин” исправлена на “будет губить”. Такое вот ратование за сохранность поэтического наследия. Так неправда пошла гулять по свету *стотысячным* тиражом. Но ведь к такому обману прибегают только в деле несправедном...

Согласно либерал-революционной догматике “шестидесятников”, Сталин может только “губить” и ни в коем разе не “будить”, да ещё главное — “разум и жизнь”. Ну, под его руководством проведена индустриализация разрушенной революционным крушением страны, ну, выиграна Великая война, ну, разгромили фашизм... Но это, по логике сторонников перманентной, нескончаемой революции, — сущая малость в сравнении с его “тиранией”. Но ведь строилась невиданно грандиозная, пока неведомая государственность, её новый тип. В разорённой стране, в условиях непрекращающейся революционной борьбы без жёсткости и даже жестокости обойтись было невозможно. И “Сталин был адекватен породившему его историческому процессу” (А. Зиновьев). Ретивые революционеры, сами спровоцировавшие эту жестокость, продолжали своё “святое” дело разрушения, не вполне понимая смысл этого строительства и вообще происходящего. И того, что время революционного разрушения прошло. Но в таком случае пенять надо на историческую закономерность и неизбежность, а не на ту или иную историческую личность... И потом такое положение сложилось ведь при активнейшем участии тех, кто “свободой горел”. Ну, а коль в результате такого “горения” неотвратимо вышло то, чего они не ожидали, то это свидетельствует об их непрозорливости... “Обещают им свободу, будучи сами рабами тления...” (Первое соборное послание св. апостола Петра, 2; 19). И теперь задним числом “исправлять” что-либо с помощью такой шkodливой правки и невозможно, и недопустимо. Опять “великое” выдаётся за “малое”, тем самым нарушая иерархию ценностей, не различая добра и зла...

Многие “шестидесятники” писали, конечно, с расчётом и преднамеренно, с определённой мировоззренческой установкой, в согласии со своими либеральными фетишами и даже с выгодой, как им казалось, для себя. Но как люди, всё же не лишённые таланта, выражали свою сущность и интуитивно, непреднамеренно, как бы помимо своей воли.

А. Межиров в духовном диалоге с Н. Тряпкиным писал, что он говорит с ним “напоследок”, в последний раз: “Извини, что беспокою, / Не подумай, что корю. / Просто я с тобой, Коля, / Напоследок говорю”. Что значит здесь “напоследок”? Подводя итог жизни — столь важном диалоге и утверждая свою правоту? Да нет, напоследок — перед тем, как уехать на жительство в Соединённые Штаты Америки... Таких “напоследков” в течение жизни могут быть десятки. Белла Ахмадулина пишет в знаменитом стихотворении: “А *напоследок* я скажу: / прощай, любить не обязуйся. / С ума схожу / Иль восхожу / к высокой степени безумства”. Да, действительно, это реквием по утраченной любви, трагическое переживание женщиной предательства любимым человеком (Е. Евтушенко, главным “шестидесятником”). Но не напоследок же, подводя итоги жизни... Такие “безумства” ещё будут и были. “Напоследок” окажется совсем не последним...

Но есть и иное воззрение, и иное восприятие жизни, где уж если “напоследок”, так действительно напоследок. Как в примечательном стихотворении Владимира Кострова, представляющем собой завещание, после чего никаких “напоследков” уже не бывает и быть не может: “А *напоследок* вот что вам

скажу / Я, не вкусивший славы и богатства: / Я в тихую Россию ухожу, / В свободный мир действительного братства...” И – предупреждение об опасности тем, кого оставляет здесь, ограждая их от тех, для кого “напоследки”, – если не через день, то повторимы, от “шестидесятников”: “Не сахарная клюковка растёт / На знаменитой площади Болотной...” (“Литературная газета”, № 8, 2012). Вот разница, которая проявляется в самой плоти стихов и как бы помимо воли авторов. Личный, частный, а точнее – эгоистический “напоследок” и – всеобщий, человеческий.

“Великий век этих “шестидесятников” скончался”, – пишет Ст. Куняев. Век-то “этих” “шестидесятников” действительно скончался, но они есть во все времена и в этом смысле “бессмертны”, как Каин, которого не только оставляет в мире Господь, но и защищает, накладывая на него печать. А потому и пишу это не для обличения тех, ушедших “шестидесятников”, – что уж теперь обличать их, когда окончательно обнажилась их ничтожность и их неприглядная роль в истории... Пишу для опознания “шестидесятников” нынешних и всяких... А главным образом потому, что “историческая трагедия, в которой мы сегодня живём, ещё не просматривается на горизонте...” (Ст. Куняев).

Станислав Куняев как поэт и редактор, как патриарх, стоящий на страже литературы, – впрочем, он был на страже всегда, с молодости, – кажется, очень близок Н. Некрасову с его журналом “Современник”. Во всяком случае, им обоим присуще сочетание искренней лирической стихии со строгой зоркостью анализа социальных аспектов. Но есть в их литературных судьбах и существенные отличия. Станиславу Куняеву уже неведома некрасовская “муза мести и печали”. При всём при том, что гнев и жёлчь тут, как писал Ап. Григорьев, – “если не всецело, то, по крайней мере, наполовину – вдохновение преднамеренное, вдохновение, так сказать, рассчитавшее свои шаги” (“Стихотворения Н. Некрасова”). И главное – Ст. Куняев уже не знает того разделения, которое было у Н. Некрасова, между поэзией и литературной борьбой: “Мне борьба мешала быть поэтом, / Песни мне мешали быть бойцом” (Н. Некрасов). Ведь такое разделение предполагает, что борьба – это деятельность рангом ниже, где надо соблюдать какие-то каноны в ущерб собственно поэзии. Ст. Куняев же во всех сферах своей литературной деятельности в равной мере искренен. И в этом плане он обладает поразительной творческой и миро-воззренческой цельностью.

Если же говорить о преемственности и о каких-то параллелях, то Ст. Куняев, конечно же, ближе к Ап. Григорьеву. Прежде всего, – в этой всеохватывающей борьбе за поэзию, за литературу, а не за какие-то корпоративные установки и догматы, в чём преуспели “шестидесятники” как XIX, так и XX века. Ап. Григорьев в письме А. Кошелеву от 25 марта 1856 года: “Главным образом мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас – совершенно самостоятельное, если хотите – даже высшее, чем наука”. В письме А. Майкову от 24 октября 1860 года: “Будет самая дерзкая борьба за поэзию, народность, идеализм против всякого социалистического и материалистического безобразия”. Заметим: борьба за поэзию прежде всего, и только в этой мере – за всё остальное. Как, впрочем, и должно быть у никуда не уклонившихся литераторов.

Есть сходство поэтов разных эпох и в жизненных позициях. Ап. Григорьев пишет М. Погодину 8 ноября 1857 года: “За границей можно учиться и ездить по разным городам. Но надобно быть чем-нибудь от Господа Бога обиженным, чтобы для удовольствия жить в каком-либо месте, кроме Отечества”. У Ст. Куняева страстные стихи, по сути, о том же:

Непонятно, как можно покинуть
Эту землю и эту страну,
Душу вывернуть, память отринуть
И любовь позабыть, и войну.
...Всё, что было отмечено сердцем,
Ни за что не подвластно уму...

В этом, основном, главном, он близок и к Н. Некрасову:

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,

Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

Ярчайшим примером борьбы Ст. Куняева за поэзию, за литературу является участие его в дискуссии “Классика и мы” в 1977 году и выступление на ней с докладом. О, это было знаменательное событие для литературы и общества, не получившее, к сожалению, должного осмысления. По своей значимости оно стоит в одном ряду со знаменитой речью Ф. Достоевского при открытии памятника А. Пушкину в Москве в 1880 году...

В своём выступлении Ст. Куняев только и сказал о том, что не всё написанное, тем более до предела идеологически ангажированное, утратившее своё и поэтическое, и историческое значение, можно считать классикой. Подменять разговор о классике идеологией, любопытством к биографическим подробностям и неким “заслугам”, к литературе отношения не имеющим, недопустимо. Но какой вой подняла либеральная общественность с революционным сознанием...

Хотя тема обсуждения классики к тому времени уже назрела, так как началось заметное понижение уровня культуры, началось преобладание левых авангардных течений, ничего хорошего для состояния культуры, общества, народа и страны не сулящее. Серьёзного обсуждения классики не получилось, хотя были на этой дискуссии здравые голоса: “Классика, давая нам вот это идеальное представление о человеке, о мире, даёт нам какой-то высокий нравственный уровень, который не позволяет опускаться до такого понимания себя и человека. Понимаете, нельзя суету быта вносить в то, что оставили нам люди, которые заплатили жизнью за выстраданные ими идеи” (Игорь Золотусский). Позже, спустя более тридцати лет, Игорь Петрович писал об этой дискуссии: “К тому времени тема “Классика и мы” назрела: в искусстве полным ходом шло наступление авангарда. Другое дело, что эту дискуссию использовали в провокационных целях. Сразу после неё в главных западных газетах появились публикации, в которых её участники обвинялись в русском шовинизме и антисемитизме. При этом никаких иностранных корреспондентов, разумеется, на этой дискуссии не было. Значит, кто-то специально инспирировал эти публикации. Кому-то хотелось дискредитировать неославянофильское движение?..”

Классика либеральной литературной общественности оказалась ни к чему, а боясь потерять своё рабство сомнительной славы, положение в литературной жизни, эта общественность повела борьбу нелитературную: “Моё участие в этой дискуссии повляло не в лучшую сторону на судьбу моей книги о Гоголе. К примеру, редактор Померанцев отказался от редактирования, а Машинский написал отрицательную внутреннюю рецензию. Но никто – ни Кожин, ни его друзья – не предали меня, что ещё более сблизило нас”, – вспоминал И. Золотусский.

Таким образом, удержать мировоззренческое и духовное равновесие в обществе тогда не удалось. Всё более и более реанимируемые “шестидесятниками” “революционные ценности”, вытптывающие вокруг всё талантливое, всё традиционное и народное, превращая его в формальный лубок, создавали опасные предпосылки для катастрофы...

Начало этому положил революционный рецидив Н. Хрущёва, с “оттепелью” для радикальной интеллигенции и “похолоданием” для народа. Но в обществе всё же находились здоровые силы, не допускающие дисбаланса направлений мысли и открытой конфронтации. Хотя общественная и литературная жизнь была переполнена фактами, говорящими о духовной экспансии и даже агрессии. Чего стоит только “опасение” Ю. Андропова, что русские патриоты опасней, чем диссиденты-западники... Невольно возникал вопрос: для кого? Ст. Куняев приводит в книге такие факты. Факты не то, что удивительные, а, по сути, ужасные. К примеру, когда Татьяна Глушкова представила для защиты диплома книгу стихотворений “София Киевская”, то её научный руководитель, известный советский поэт Илья Сельвинский не принял рукопись диплома “по причине христианских мотивов, наличествующих в ней”. Вот это “причина”, вот это “мотивация”... Христианство – “недопустимо” и “опасно” для русского человека... Заметим, что происходило такое уже после войны.

“Шестидесятничество есть ведь одичание...”

Удивительно, что после двух революционных крушений страны в одном ХХ веке какими упрощёнными представляются до сих пор размышления об *интеллигенции*, к которой относят себя “шестидесятники”, в первую очередь. Это звание служило и служит им чем-то вроде индульгенции. Даже оспаривают, кто ввёл этот термин — “шестидесятничество” — первым в наше время. Слово не замечается, что он существовал и в XIX веке. И что “шестидесятники” того века ничем не отличались от “шестидесятников” ХХ века, о чём писал А. Блок в заметке 1919 года “Герцен и Гейне”: “Эти далёкие и слабые потомки Пушкина одиноко *дичали*, по мере того как дичала русская интеллигенция. Шестидесятничество есть ведь одичание, только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле: такого удаления от природы, когда в материалистических мозгах заводится слишком уж большая цивилизованная “дичь”, “фантазия” (только наизнанку) слишком уж, так сказать, — не фантастическая”.

Ну, так интеллигенция, скажут нам, — это образованная часть общества, так сказать, духовный поводырь народа, которая болеет за народ, печалится о нём, просвещает его, служит ему... Всё верно. Так должно быть, но у нас в России это далеко не так. Говоря об интеллигенции, имеют в виду только “русскую интеллигенцию”, а это совсем не то, что интеллигенция как образованная часть общества: “Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не только “русская”, но и вообще “интеллигенция”. Как известно, это слово, то есть понятие, обозначенное им, существует лишь в нашем языке... У них нет вещи, которая могла бы называться этим именем” (Г. Федотов).

В России, пожалуй, во второй половине XIX века сложилась “*русская интеллигенция*”, под которой разумеется исключительно радикальная часть интеллигенции с революционным сознанием. Это наиболее не русская, не этнически даже, но по духу часть интеллигенции, которой и понадобилось это определение — “русская” — для своей специфической идентификации. Именно эту часть интеллигенции имели в виду авторы знаменитого сборника “Вехи”, предупреждая о том, что она неизбежно приведёт к революционному крушению страны. И оказались правы, за восемь лет до крушения... Этой части радикальной интеллигенции дал беспощадную самохарактеристику М. Гершензон в “Вехах”: “Мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть русских интеллигентов, и уродство наше — даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное... У большинства этот постулат общественного служения был в лучшем случае самообманом, в худшем — умственным блудом и во всех случаях — самооправданием полного нравственного застоя... Мы были твёрдо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности и что, если бы не препятствия, которые ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с ним. Что народная душа качественно другая — это нам на ум не приходило... Между нами и нашим народом — иная рознь. Мы для него — не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои”.

Именно эту часть интеллигенции имел в виду А. Блок: “Интеллигенция... Опять-таки, особого рода соединение, однако, существующее в действительности и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с “народом”, со “стихией”, именно — отношения борьбы”. Именно о такой интеллигенции пишет теперь и Станислав Куняев: “Никогда такая “интеллигенция” не могла слиться с народом и престономодьем хотя бы потому, что со времён революции и гражданской войны, со времён Великой Отечественной в памяти коренного государствообразующего народа было прочно заложено понимание того, что всякое посягательство на государство, всяческая тотальная борьба с ним рано или поздно оборачивается всенародной бедой и унижением перед чужеземной волей”. Но как она неизменна во времени, эта радикальная революционная её часть, вне зависимости от того, каким словом называется — “шестидесятниками” или “либералами”. Неизменна во всём, и прежде всего — в своей творческой несостоятельности.

А. Блок, отвечая на анкету “Что сейчас делать?” почему-то счёл необходимым сказать это: “Я художник, следовательно, не либерал. Пояснить это считаю лишним”. Видимо, эта взаимосвязь представлялась ему столь очевидной, что не требовала пояснений. В. Розанов пояснил это обстоятельно и точно: “Либерал красиво издаст “Войну и мир”. Но либерал никогда не напишет “Войны и мира”; и здесь его граница. Либерал “к услугам”, но не душа”. Хотя, конечно, в либерализме есть некоторые удобства, без которых “трёт плечо”. Но эти некоторые удобства, на которые так часто соблазняются люди, так несоизмеримы по значению и масштабам с тем, что либерализм приносит...

Подтверждением этого является и то, что после поэмы “Двенадцать”, в которой А. Блок, несмотря ни на что, оставляет народ с Христом, либерал-“шестидесятник” Е. Евтушенко смог написать только откровенно русофобскую поэму “Тринадцать”, прямо-таки пропагандистски русофобскую. Вот и всё служение “такой” интеллигенции народу...

В информационном пространстве, в книжном мире “победители” и их последователи всё ещё режутся, несмотря на трагические, печальные и негативные результаты. Книжные ярмарки, выставки, вплоть до региональных провинциальных книжных магазинов – всё заставлено новыми переизданиями “шестидесятников”. Рядом – рыночные либеральные поделки, как правило, крайне нигилистические в согласии с государственной либеральной идеологией, сохраняющейся стойко и зорко, но по умолчанию, негласно. Словно это можно “спрятать”... Да, издаётся и русская классика. Она тут же, рядом, что красноречиво демонстрирует магистральную мысль: переиздания “шестидесятников”, уже сыгравших свою неприглядную роль в нашей народной и государственной жизни, “рыночное” чтиво со всеми их “Гариками” – это и есть продолжение русской литературной традиции. Это и есть её наследники. При таком соотношении дальнейшее развитие литературы невозможно. Это духовный тупик, в котором ничто развиваться не может. Ведь пресекается не только литература, но и общественная, интеллектуальная мысль вообще. Чтобы скрыть это положение, не случайно появилась “интеллектуальная литература” – специфическая, мировоззренчески ангажированная. За всем этим рано или поздно следует бунт разума, ибо не может человек бесконечно долго пребывать в ненастоящем мире, в имитации. Но такое положение, такое уродливое соотношение, как говаривали ранее, – *направлений* литературы, не есть некое стихийное бедствие, с которым ничего невозможно поделать. Оно поправимо при нормальной культурной политике в стране, не исключительно либеральной.

А пока то, что называлось у нас художественной литературой, теперь является, по точному определению Владимира Ермакова, “ловушкой на человека”: “Катастрофа произошла не в воздухе, а в базисе сознания – в языке описания субъективной реальности человека. То есть в литературе. Именно здесь аналитика человека дошла до полного нигилизма... Потеря ориентации переживается как утрата смысла жизни... Тот образ Божий, который брезжит тайно в каждом из нас, наиболее отчётливо проявляется в шедеврах литературы... Так было – или, по крайней мере, в это верилось. Теперь же картина иная. Современная культура чем дальше, тем больше вырождается в массовую культуру. Она наладила массовое производство дешёвых заменителей духовных ценностей. Она перерабатывает вторсырьё – отходы человеческой жизнедеятельности. Аудиовизуальная агрессия загоняет массового человека в виртуальный мир, из которого нет выхода. Лишённая первородства литература генерирует в текст тотальную тщету, отзывающуюся в человеке то смертной тоской, то смертельной скукой... Время утверждения человека, видимо, ещё не наступило и, судя по всему, наступит нескоро” (“Аргмак. Татарстан”, № 1, 2011).

Если “нескоро”, то может не наступить никогда. Два поколения, продержанные в такой тине духовной, могут в ней захлебнуться окончательно. На этот раз не спасёт и классика, так как для них она будет молчать, даже хорошо изданная... А нагнетаемое вокруг этого бедствия бодрчество, нагнетание “оптимизма” только усугубляет наше положение. Но мы ведь подобное положение уже переживали. А. Блок записывает в дневник 11 марта 1913 года: “Пройдёт ещё пять лет, и “нравственность” и “бодрость” подготовят новую “революцию” (может быть, от них так уж станет нестерпимо жить, как ни от

какого отчаяния, ни от какой тоски). Это всё делают не люди, а с ними делается: отчаяние и бодрость, пессимизм и “акмеизм”, “омертвление” и “оживление”, реакция и революция. Людские воли действуют по иному кругу, а на этот круг большинство людей *не попадает*, потому что он слишком велик, мирообъемлющ. Это поприще “великих людей”, а в круге “жизни” (так называемой) — как вечно — сумбур; это — маленьких сплетников. То, что называют “жизнью” самые “здоровые” из нас, есть не более чем *сплетня о жизни*. Я не скую, напротив, много светлых мест было в эти дни” (Дневник А. А. Блока, Издательство писателей в Ленинграде, 1928). И поэт оказался прав не только по существу, но и хронологически.

Второе нашествие “шестидесятников” после благополучно свершившейся их смерти только приближает трагическую развязку. Какой именно она будет, сказать невозможно. Но то, что при нынешнем положении литературы в обществе и её состоянии она неизбежна, в этом нет никакого сомнения. Это подтверждает наш предшествующий духовный опыт. При нынешнем вызывающем пренебрежении культурой, вытеснении русской литературы из общественного сознания и образования нас может постичь участь племени атцуров, которые погибли. Не от ядерного оружия, не от новой мировой войны и не от экологических проблем, а от утраты смысла своего существования, от утраты своей духовной природы, от вырождения... Об участии атцуров любил рассказывать Л. Толстой. В пересказе М. Горького: “Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа... С нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о которых какому-то учёному сказали: “Все атцуры вымерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка...”. От нас же могут не сохраниться даже немногие слова, так как попугаи у нас не водятся...”

“Зло от юности его...”

В нашем обыденном сознании основополагающие принципы устройства мира обычно заслонены соображениями второстепенными и побочными. Про малое нередко думают, что это — большое, а про большое, что это — малое. Но при этом трудно сориентироваться в мире и распознать, что же происходит в действительности. Обыденная логика диктует нам уверенность в том, что зло этого мира когда-нибудь, рано или поздно, но обязательно будет повержено, и наступит некое, труднообразимое утопическое благоденствие. Но уже только одно знание этого влечёт за собой иной характер действий, наше иное положение в мире. Но *зло в этом мире неустранимо*. С этим трудно смириться, в это невозможно поверить. Как в этих стихах Якова Полонского: “Мы оба поразим своим рассказом небо / Об этой злой земле, где брат мой просит хлеба. / Где золото к вражде, к безумию ведёт, / Где ложь всем явная наивно лицемерит, / Где робкое добро себе пощады ждёт, / А правда так страшна, что сердце ей не верит”.

О том, в каком беспорядке находится у нас мировоззренческая мыслительная сторона жизни, свидетельствует то, на каких простых, даже примитивных идеях было “обосновано” разрушение страны в начале девяностых годов, типа мы “семьдесят лет падали”... Разумеется, народное самосознание в XX веке было травмировано революционной догматикой. Оно с ней с потерями, но справилось. Цена оказалась, правда, очень большой. Удивительно, что в прекраснородном прозападном бахвальстве невменяемого лидера люди в массе своей не увидели грозящую им смертельную опасность. Мол, это же слова, а за слова не судят. Так въелись в нас позитивистские воззрения, что совсем заслонили извечный закон человеческого бытия: *в начале было слово*... Многие, безусловно, понимали, что речь идёт не об “освобождении” от с такими трудами и жертвами сформировавшегося в России образа жизни после её революционного крушения начала XX века, а о новом, хитроумном, коварном её покорении. Но их оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить катастрофу, в которой всё ещё корчится страна, несмотря на предпринимавшие усилия... Не находя пока сил для выработки парадигмы своего развития, соответствующего историческому опыту и духовному складу народа. Об этом свидетельствует то, что великая русская литература, содержащая код нашего народного бытия, уже спасавшая нас в предвоенные,

военные и послевоенные годы, по сути, изъята из общественного сознания в угоду “рынку”, то есть абсолютно ничтожной мотивации. Литературное дело в нашей самой литературоцентричной стране остаётся, по сути, оставленным. И на этом фронте борьбы за само наше существование правящим классом пока не предпринимается решительных мер, столь необходимых. Наоборот, исподволь идёт сохранение и даже возвращение тех идей, на которых страна была разрушена. Заигрывание с прозападными, проамериканскими уже немолдыми недорослями продолжается. И с теми “деятелями культуры”, точнее – идеологическими бойцами, которые, потеряв связь с подлинной культурой, своё “дело” разрушения страны уже сделали. А в судный час уже предали дело защиты страны. Призывать их – делать то же самое, значит, работать на противника, который уже ведёт борьбу на наше уничтожение... Перенацелить потоки газа и нефти на восточный рынок и оставить в неизменности духовно-мировоззренческую сферу, переполненную гремучей смесью разрушения, значит или не рассчитывать на нашу победу, то есть на дальнейшее историческое бытие страны и народа, или наивно полагать, что всё как-то само собой устроится.

Главный фронт войны, начатой Западом, а точнее – Соединёнными Штатами Америки против России, проходит всё-таки в области духовной, исторической, культурной (и прежде всего, литературной), мировоззренческой и информационной. Совершить перелом в этой сфере в пользу традиционных ценностей при западной и проамериканской значительной части творческой элиты будет очень непросто. Но именно от этого зависит наша победа. Ведь, строго говоря, со стороны “шестидесятников” это не было каким-то родовым предательством. Они были и остались верными революционным заветам своих отцов, остались верными “революционным ценностям”, которые реанимировали для всех, всего общества. Это было отречением от русской литературы, предательством её и русского мира. Это было предательством страны и народа, среди которого они жили. Предательством, может быть, и не злонамеренным, но по “глубокому убеждению”, по самой своей натуре, что не изменяет сути этого действия. Других ценностей, кроме революционных, они не знали. Да и было бы наивным от них требовать их. Они-то остались верными заповедям своих отцов. А остались ли мы верными заповедям своих или соблазнились ничтожными речами лжепророков?..

Я думаю, что радикализм “шестидесятников”, их принципиальная поверхностность, облечённая в лёгкое словоблудие, не позволили им глубоко осознать своё собственное состояние и положение в обществе, свою принадлежность к советской системе и цивилизации, того, что они и есть порождение этой эпохи в нашей истории. Это же поразительно, что те, кто боролся против советской системы таким мёртвым жупелом, как “советский тоталитаризм”, вдруг обнаружили, что и на Западе, и на “исторической родине”, и везде они в общем-то “не свои”... Безрелигиозная, обезбоженная советская система, с её энтузиазмом и “передовым” социальным учением, несмотря на её скрытый традиционализм, сформировала такой своеобразный тип человека, который точно определяется строчкой А. Межирова: “Не обрезанный и некрещёный”. То же, по сути, определяет и наша поговорка: “Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга”. Насколько такой тип человека окажется жизнестойким, зависело от многих факторов, во всяком случае, он был легко подвержен эзотерическим и оккультным влияниям. Но вне советской системы он как её продукт терял всякое своё значение, переставая быть... Понять это “шестидесятники” оказались не в силах.

Но какая наивность и какая человеческая глухота и безответственность были выдвинуты “шестидесятниками” для своего оправдания и якобы для сохранения: “Мы вновь свободой горим в / преддверье радостных событий”. Ведь таким беспричинным путём и восторгом свобода не достигается, события оказались, вопреки их ожиданиям, безрадостными. Но безответственность перевесила всё остальное. В то время как теперь ясно, что речь могла идти только о верном соотношении и сосуществовании.

Здесь не место касаться столь важного аспекта в нашей истории бегло. Скажу только, что это противостояние и противоборство в нашем обществе происходит отнюдь не с “XX партсъезда”, во всяком случае, не только с него. Оно имеет очень давнюю, можно сказать, изначальную природу. Оно во всей глубине представлено уже во второй половине XII века, в бессмертном “Слове

о полку Игореве...”. А потому неленивых и любопытных отсылаю к этому моему прочтению “Слова” (“Поиски Тмутаракани. По “мысленному древу”: от “Слова о полку Игореве...” до наших дней”. М.: Звонница-МГ; издание 2-е, дополненное, 2022).

Новое нашествие “шестидесятников”

Теперь, когда картина происшедшего, случившегося с нами и со страной, прояснилась, можно было ожидать, нет, не того, что “шестидесятники” отбросят свои траченные молью догматы и фетиши, а того, что в обществе и стране начнётся новое культурное строительство, что на нашей мировоззренческой ниве, давно заросшей бурьяном и чертополохом, начнёт наводиться порядок. Будут предприняты реальные меры по прекращению искажения и унижения народного самосознания, возвращению в общество великой русской литературы с её идеалами, говорящей новым поколениям не о том, до какой низости может пасть человек под бременем соблазнов, а о том, до каких духовных высот он может подняться, прекратят, наконец-то, “множить бесстыдства и уродства”. А задача ведь, которую неизбежно предстоит разрешать, невероятно сложная и грандиозная: “Правду, исчезнувшую из русской жизни, – возвращать наше дело... Только правда, как бы она ни была тяжела, легка – лёгкое бремя” (А. Блок).

Но этого пока не происходит. Началось, – впрочем, ожидаемое – новое нашествие “шестидесятников” и их последователей, реабилитация их революционных и гендерных “ценностей”. Хотя совершенно ясно, что при таком запустении на ниве мировоззренческой и духовной и оружие железное может не пойти впрок, так как оно плохо управляемо шаткими душами.

Правда, для такого нашествия вроде был понятный человеческий повод – девяностолетние юбилеи “шестидесятников”. Но и без повода началась их спешная мобилизация, новое втемяшивание их падших “ценностей” в головы удивлённых сограждан на фоне войны, вооружённого нашествия Запада на Россию. “Шестидесятники” оказались на стороне противника в этом общем нашестве на Россию. Видя всё это, граждане не могут не прийти к такому выводу: ну, всё, страну опять сдают...

На фоне девяностолетия Е. Евтушенко – “великого шестидесятника”, как его теперь насильно именуют (“Вечерняя Москва”, № 28, 2022), – совпавший с ним двухсотлетний юбилей выдающегося критика Ап. Григорьева выглядел бледно. И то пытались представить его “как человека”. Обычный приём, когда пытаются обойти суть дела, суть литературного подвига и в то же время создать впечатление объективности и заинтересованности литературой. Это ни о чём не свидетельствует, кроме как о том, что снова “русское направление кредита не имеет” (Ап. Григорьев). Что уж возмущаться поднявшейся русофобией на Западе, принявшей самые уродливые формы, как идеологическим обеспечением уже объявленной нам и уже начатой войны, если она старательно поддерживается у нас в стране... А представление Е. Евтушенко “стильным европейцем” ни о чём более не говорит, как о том, что он снова делегирован Западом, теперь уже посмертно, для русофобской подрывной работы внутри страны, как уже было... То есть “дело” его продолжается. Хотя хорошо известно, чем оборачивается такое обезьянничанье.

Романтика “шестидесятников”, слишком уж пахнущая кровью, уже давно потускнела, окончательно выявив свою корпоративную и даже сектантскую суть. А то, что “успешным “шестидесятником” удалось возродить вольный дух русской богемы” (Анатолий Макаров, “Литературная газета” (№ 5, 2016), ушло вместе с ними. Но им хотелось и “богемы”, и одновременно признания народа. То есть, устроив “оттепель” для себя, а для народа – “похолоданье”, получить от него ещё и одобрение и даже преклонение. Да и какая это была романтика, скорее – интеллектуальная несостоятельность, коль не могли предположить, что из этого выйдет. Отсюда – дежурные жалобы на народ, на его “непросвещённость”, на то, что он не дорос до, как казалось им, их интеллектуальных высот: “Долгожданная выстраданная свобода обернулась общественным равнодушием” (Анатолий Макаров). Теперь действуют последователи “шестидесятников”, их “узкий круг”, которые всё ещё продолжают то падшее дело, когда всякий автор, отметившийся в подвалах Парижа и трущобах Нью-Йорка, в России должен стать “большим” писателем... Это как бы

гарантия “успеха” для дальнейшей имитации литературы. Даже сочли возможным и необходимым широко сообщить о том, что Сергей Довлатов издавал там бульварный журнал “Петух”. Ах, да, это – бульварно-демократический журнал, а его бульварность – это не творческое падение, а приём поведать городу и миру всю правду.

Ну, а коль дискуссии “Классика и мы” пресекли, да что там, русскую литературу в России приостановили, теперь каждого, по своему усмотрению, можно называть “классиком”, “мастером”, “легендарным мэтром”... и спешно заняться “увековечением” тех русофобских идей, которые они исповедовали. В Казани устраивать “Аксёнов-фест”. Какой там литературный праздник или чтения – “фест”! О том, как последователи “шестидесятников” теперь подправляют своих предшественников, дабы соблюсти идеологическую “чистоту” их учения, свидетельствовала экранизация романа Василия Аксёнова “Таинственная страсть” со сценами “суматошной сексуально-политической жизни”, “о благородных антисоветских порывах наших барахольщиков”. Даже “экранизацией” того, чего в романе нет. Это дало полное право серьёзному обозревателю кино Александру Кондрашову так определить эту “экранизацию”: “Никакой таинственности и страсти. Откровенная пропагандистская лабуда” (“Литературная газета”, № 45, 2016).

Я же обращаю внимание в связи с этим на самохарактеристику “шестидесятников”. И роман, и “экранизация” названы “Таинственная страсть”, где стыдливо опущено, что это страсть “к предательству”: “Одной из душевных болезней “западных шестидесятников” (“штатников”, как называл их и себя Василий Аксёнов) было равнодушие, а скорее даже – враждебность по отношению не только к государству, но и к Отечеству” (Ст. Куняев). То есть это – обыкновенная *смердяковщина*, душевная болезнь, открытая Ф. Достоевским. Умеет бес насмеяться над человеком: люди, считавшие себя русскими писателями, стали персонажами русской литературы, причём самыми отвратительными...

А в Москве, на улице Красноармейской, на доме 21, где жил В. Аксёнов, установлена мемориальная доска. Там, где он организовал, “создал со товарищи” неподцензурный альманах “Метрополь” (“Большой Василий”, “Литературная газета”, № 33, 2022). Это даже не двусмысленность какая-то, ныне абсолютно неуместная, а утверждение: “создавать” подпольное русофобское издание – тем самым подрывать основы страны, создавать в ней хаос, угощая граждан лишения, страдания, да и гибель – это хорошо, это доблесть, которая должна жить в памяти благодарного народа. Чему надо подражать и впредь, на что надо равняться.

Напомню, что в связи с выходом “Метрополя” Станислав Куняев обращался с громким аналитическим письмом в ЦК КПСС, убедительнейшим образом давая оценку литературного и мировоззренческого характера этому подпольному изданию. Подобному изданию в своё время великий А. Пушкин давал такую оценку: “Сатирическое воззвание к возмущению... С примесью пошлого и преступного пустословия” (“Александр Радищев”). Но поскольку проблема была поставлена как “национальный вопрос”, всё спустили на тормозах, так как этот “вопрос” у нас в России всегда опасен. Хотя какой же это национальный вопрос? Он скорее и в большей мере духовно-мировоззренческий, идеологический и даже политический.

Поражает та наивность и опрометчивость, с которыми “шестидесятники” поспешили отметить свои неприглядные дела памятниками. Словно не ведают, что ничто у нас в России так трудно не создаётся и так легко не разрушается, как памятники. И что “чрезмерная о вечности забота, / она, по справедливости, не впрок” (А. Твардовский. “Крошится рваный цоколь монумента”). О чём должны говорить выросшие, как грибы, по России памятники А. Солженицыну? А говорят они предельно однозначно о том, что так увековечивается его вклад в разрушение страны, “обустроенной” по его писаниям. “Освобождение” от “тоталитаризма” оставим на забаву уж самым наивным или неглубоким людям. Но разве это то, что должно “увековечиваться”? Или это залог повторения такого же “обустройства России” в будущем?..

На нынешнее же настойчивое возвращение “шестидесятничества” в сознание людей, теперь и вовсе неуместное, отвечу стихами талантливой поэта Юрия Беличенко:

На Лубянке не стреляют,
На Литейном — тишина,
Эмиграция гуляет,
Как неверная жена.

Всё забылось, всё простилось,
Всё отмылось добела,
И в заслугу превратилось,
Что со многими спала.

И словами Станислава Куняева: “До сих пор “шестидесятники” не могут успокоиться по поводу того, что в эпоху девяностых они не смогли осуществить свои планы по окончательному разрушению русско-советского мира”. Как тут не согласиться с А. Межировым:

Когда ушли утопии с орбиты
И обнажилось мировое зло,
Не из народа, из низов элиты
Коричневое что-то поползло.

Но то, что для Александра Петровича было трагедией, драмой жизни, теперь у последователей “шестидесятников” становится балаганом...

В нашем нынешнем “шестидесятичестве” если что и поражает, то это абсолютная схожесть с “шестидесятичеством” XIX века. Те же “крайние, голые, сухие выражения протеста”, те же с азартом обвинения “грубой действительности” (Ап. Григорьев), “весь этот цинизм какой-то, не то развращённой, не то от рождения непробудившейся души” (В. Розанов). То же полное отрицание русской жизни: “Эти люди, как легко убедиться, не были великими русскими писателями, а потому, по замечанию критика, об них нельзя с несомненностью сказать, что они были вполне русскими...” (Н. Страхов). И всё дело в том, что это “направление” как тогда, так и теперь получило полное преобладание в общественном сознании, хотя оно не составляло магистрального пути русской литературы, которая шла иным путём...

Вот логика “шестидесятников”, предельно ясно выраженная президентом ПЕН-клуба, одним из редакторов пресловутого “Метрополя” Андреем Битовым: “Мы взяли всё худшее от Запада и потеряли всё лучшее, что было при советской власти”. То есть *они* взяли (“мы взяли”), и из этого вышло то, что неизбежно только и могло выйти: “В нынешней России человеку делать особо нечего, кроме как воровать”. Но говорится это с чувством абсолютной правоты и непричастности к происшедшему, словно такая интеллектуальная несостоятельность должна вызывать сочувствие и даже восхищение читателей: “Ищу виноватых, наверное. Мы ведь всё-таки ищем виноватых” (“Мы взяли все худшее и потеряли всё лучшее...”, “Литературная газета”, № 21, 2012). Какой уж тут анализ причин происшедшего и уж тем более покаяние... Он находит виноватых: “Это хамство и растление у нас продолжается с 17-го года”. Но после 1917 года много чего происходило в России. А новое “хамство” и “растление” началось тогда, когда, по словам самого же А. Битова, “взяли всё худшее”... Казалось бы, всё очевидно, но такова ничем непоколебимая самооправдательная логика “шестидесятичества”, и иной, как видим, она быть не в состоянии.

Бойцы новой мобилизации “шестидесятников” теперь признают, что “слово “шестидесятник” далеко уже не комплимент, обозначающий талант и солидарность”. Ну, положим, талант по большому счёту оно и не обозначало. В “шестидесятичестве” всегда на первый план выдвигались идеологические убеждения, а потом уже талант. Из всех достоинств и заслуг остаются, пожалуй, только “споры” и “поиски истины”, критерием таланта не являющиеся. Но примечательно то, почему оно теперь “ругательство”: оно обозначает “напрасные иллюзии на сотрудничество с властями”. Заметим, с любыми властями, по определению, вне зависимости от того, “тоталитарные” они или “либеральные”.

За велеречивым словоблудием чётко просматривается смысл, чего же они хотят, эти “малые” теперь уже “шестидесятники”. Хотят того же, что было у их предшественников, “великих “шестидесятников””: творить безобразия,

отравляя умы и души читателей откровенной смердяковщиной и предательством, выставляя их как доблесть, и в то же время быть любимцами у властей (как те были “любимцами партийной элиты”), под их покровительством и защитой. Но на этот раз, ввиду всего происшедшего и пока ещё происходящего с их прямым участием, такой, по их же выражению, “промискуитет” не получится. Не получится по той простой причине, что литература вытеснена из общественного сознания, рекламно-клиповую же информацию назвать литературным процессом невозможно. Изливать свою жёлчь и ненависть в либеральных поделках негде. Уже всё загажено отходами продуктов их жизнедеятельности. Остаётся делать это уже вне литературы, так сказать, прямым действием на Пушкинской или на Болотной... А это уже совсем другое – не “споры” и не “поиски истины”...

Не из каждого поэта, литератора можно сделать идеологическое пугало. Видимо, только из тех, в ком недостаёт собственно литературного таланта для успеха и для которого быть пугалом выгоднее и дороже, чем писателем с той мерой таланта, какую ему Господь дал. Наши западные противники безошибочно различают, из кого из наших писателей можно делать такое пугало, а из кого – нет в своих интересах против России. Наши “шестидесятники” не то, что не устояли против такого соблазна, такая вербовка их на дела русофобской отечвала их внутренней сути. Вопрос о родине, о родине и её трагической участи благодаря их деятельности тут не стоял изначально. Самоутверждение любой ценой оказалось дороже всего остального, в том числе и родины. Книга Станислава Куняева “К предательству таинственная страсть...” это полностью подтверждает и убедительно доказывает.

Станислав Куняев, несмотря на мировоззренческую запутанность своего времени, на внешние обстоятельства, всей своей жизнью явил прекрасный пример истинного служения русской литературе и России. Этот пример, эта духовная величина – наше достояние, необходимое теперь для нашего спасения... Но как труден и непрост, как и всегда, этот тесный путь спасения...

Ап. Григорьев писал М. П. Погодину в марте 1851 года: “Наше дело пропащее, хоть мы и правее их, – хоть я и положу всё-таки за него, за это дело пропащее, всё, что мне положить остаётся”. Напомню, что это отчаяние великого критика было вызвано тем, что его обложили полностью, что тогдашние “шестидесятники”, говоря его словами, ещё не “проперделись”, и ему, человеку высочайшей литературной образованности, чуткости и интеллекта, работать было негде.

Вспоминается же трагедия Ап. Григорьева вовсе не случайно. Как и это вроде бы недоумённое наблюдение Василия Розанова, но содержащее в себе российскую трагедию духа: “Неужели это правда, что разница между радикализмом и консерватизмом есть разница между узким и широким полем зрения, между “близорукостью” и “дальнорукостью”. Если так, то ведь значит, мы победим? Между тем никакой на это надежды...”: “Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришёл” (Евангелие от Иоанна, 12: 27).

Вроде бы писатель несколько растерян. Но только с такой “растерянностью”, с таким “сомнением”, с такой искренностью и глубиной мысли и побеждают.

P. S.

О том, до какой степени дошло наше общее падение, а культуры и литературы в особенности, свидетельствует этот поразивший меня факт. Говорит он о том, что никакой “штукатуркой, подмазкой, подбелкой” дело литературы и литературной жизни в стране уже не поправить. Необходимо новое, на каких-то иных началах их строительство и организация.

Дело в том, что книгу Станислава Куняева я приобрёл в лавке Союза писателей России, на Комсомольском, 13. Обрадовавшись, сразу и не заметил, а потом только досмотрелся, что титул книги намертво приклеен к обложке. На нём же была надпись, автограф. Значит, надо полагать, патриарх вручил эту книгу, столь значимую и теперь так необходимую для вразумления, кому-то из более молодых писателей. Книгу, которую надо бы обсуждать в писательской среде и в обществе. Её же обладатель, “писатель”, разумеется, заклеив надпись, не читая, выставил на продажу... “Рынок”, видите ли. Да нет, добровольное безумие скорее...

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

СРАЖЕНИЕ ЗА ВЕЧНОСТЬ

К девяностолетию поэта Станислава Юрьевича Куняева

“Понятие пути – одно из важнейших при характеристике творчества поэта. Путь в этом смысле – не просто дорога жизни, но целеустремлённое (хотя “цель” в данном случае не является чётко, рационально осознанной задачей) движение, преодолевающее препятствия и не позволяющее себе свернуть на окольные, обходные тропы... Станислав Куняев впервые опубликовал стихи... в 1956 году. И его путь, – разумеется, осязаемо запечатлённый в стихах... заслуживает самого серьёзного внимания”. Так начинается предисловие Вадима Кожинова “Путь поэта” к сборнику Станислава Куняева “Путь”, изданному в Москве в 1982 году. Со дня выхода первого сборника Станислава Юрьевича Куняева прошло около семидесяти лет – счастливых и трагических, наполненных обретениями, утратами, историческими катаклизмами, оглушающим тектоническим гулом сменяющихся эпох, и – работой, работой, беспрестанной работой. Главное в статье Вадима Кожинова остаётся редкостно точным и верным. И всё же со времени написания статьи прошло сорок лет, и главное в понятии **путь**, о чём, может быть (не возьмусь утверждать это точно!), не так напряжённо думалось в те далёкие советские годы и уж явно не могло быть сказано публично по причине главенствовавшего в ту пору атеистического мировоззрения – требует уточнения и дополнения. Вспомним Евангелие от Иоанна и тревожный вопрос, заданный Пилатом Христу: “Что есть истина?” Вспомним ответ Христа: “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня”. Царь судеб человеческих – Христос, и любая судьба может быть понята только как путь к Богу и осмыслена только в Свете Христовой Истины. Христос – Путь и Цель пути. Христос – Бог, дарующий земную дорогу. Он – Тот, кто невидимо стоит рядом с каждым, выходящим в земной путь. Ни от одной из дарованных человеку Христом дорог нельзя отказаться – каждая из дорог даётся на всю земную жизнь. Но человек вправе сделать свой выбор. Взгляд на творческую дорогу поэта Станислава Куняева как на дорогу к Христу я не считаю натяжкой не только потому, что зрелый Станислав Юрьевич Куняев – пламенный и последовательный христианин, но и потому, что советский поэт Станислав Куняев всю свою жизнь все свои поступки и движения души даже в атеистические времена самым удивительным образом сверял со Священным Писанием.

Творческий путь Станислава Юрьевича Куняева начался со стихов, на первый взгляд, весьма далёких от христианства. Его молодые, задорные, а по сути своей предельно серьёзные и мгновенно ставшие крылатыми строки до сих пор помнят все:

Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.

История создания этого стихотворения хорошо известна любителям поэзии: оно было написано молодым поэтом на тему, заданную Михаилом Светловым, и напечатано в альманахе “День поэзии” в 1960 году. Для Станислава Куняева, в раннем детстве пережившего войну, сына погибшего героя, как и для многих детей, переживших трагедию Великой Отечественной, такое движение души было глубоко выстраданным и единственно возможным и верным. Боевое, задорное и очень серьёзное по своей сути стихотворение вызвало оживлённую полемику, в которой одни, подхватывая крылатые строки, соглашались с молодым поэтом, другие задавали вопрос: “Да что же это за добро, если оно с кулаками?” В оценке этого стихотворения не были единодушны даже друзья: “Ещё и сейчас имя Станислава Куняева в сознании многих автоматически связывается с фразой “Добро должно быть с кулаками...”, хотя поэт давным-давно “отрёкся” от собственного произведения и в стихах (“Постой. Неужто? Правда ли должно?..”), и в одной из своих статей” (Вадим Кожин “Путь поэта”). Другой ответ на этот вопрос дала Татьяна Глушкова: “Добро с кулаками” — это проблема отношения добра и силы. Я считаю, что заслуга Станислава Куняева как раз в том и состоит, что он в лучших своих стихах не противопоставляет добро и силу, добро и правду, красоту и силу... он абсолютно прав, когда говорит нам, что добро должно быть сильным, что сила может быть доброй, и не раз в нашей истории мы имели примеры вполне гармоничного сочетания силы с добром” (“Слово на юбилейном вечере”, 1982 г.). При внимательном и вдумчивом рассмотрении вопроса выясняется, что проблема, поставленная Станиславом Куняевым в написанном в молодости стихотворении, — одна из самых фундаментальных и важных и в истории, и в философии, и в религии, и в самом мироздании. “Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание и своё место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Вот двуединый вопрос, требующий ныне новой постановки и нового разрешения” (Иван Ильин “О сопротивлении злу силою”). Сейчас, когда судьба Станислава Куняева обозначилась предельно ярко и ясно, стало понятно, что от ответа, данного в молодости на этот наиважнейший вопрос, зависели и он сам, и его путь, и его творчество. “Добро с кулаками” — это огромное литературное явление по имени Станислав Юрьевич Куняев — один из лучших русских поэтов второй половины двадцатого века с широким диапазоном поэтического голоса от “тихой лирики” до ярких пророческих философских и публицистических стихов, выдающийся пламенный мыслитель, исследователь, публицист, критик с тончайшим вкусом и выверенным, выстраданным, удивительно верным и глубокоим взглядом на русскую литературу, главный редактор любимого всем народом журнала “Наш современник”. За последние тридцать лет, которые Станислав Юрьевич возглавляет журнал, издание превратилось не только в уникальное, ярчайшее, имеющее особое значение для всей России явление, но и в спасительный Ноев Ковчег русской литературы. Это благодаря “добру с кулаками”, сопряжённому с христианской Любовью к братьям по перу, благодаря умению Куняева отстаивать правду в самых тяжёлых обстоятельствах, выдерживать самую ожесточённую критику и полемику, журнал выжил и стал проводником русских идей в разрушенной, поверженной, опранный России. Такого журнала у нас никогда не было.

Но это ясно сейчас... А молодой Станислав Куняев, вооружённый огненным мечом желания сражаться за добро, в самом начале своего творческого пути в лучших традициях русских былиин стоял у камня Алатьрь на перепутье трёх литературных дорог. Проблема выбора пути — проблема нравственного выбора между добром и злом. “Ставить и исследовать вопрос о сопротивлении злу имеет смысл только от лица живого добра. Ибо найти зло как таковое, постигнуть его качество и его природу и противостоять ему, приемля борьбу с ним, но не приемля его самого, — есть именно задача добра, открытая только ему и в разрешении своём только ему и доступная” (Иван Ильин “О сопротивлении злу силою”).

Первый путь с надписью “успех и слава”, на который Станислав Куняев к тому времени уже ступил, он отверг сразу. Это путь “громкой” эстрадной поэзии, космополитический путь “шестидесятников”, громогласных наследников революционной славы, вместе с основами русской поэзии и культуры разрушавших своё Отечество. Но суть происходящего выяснится позднее. Вернее, выяснение реальной сути происходящего в строго цензурированном, пережившем революцию и войну, лишённом исторической памяти мире, разгребание вековых и вековечных завалов лжи, возвращение отнятой исторической памяти себе и своему народу, своим детям и потомкам и станет жизненной дорогой Станислава Куняева и его единомышленников. “Я предаю своих учителей, / пророков из другого поколенья...” – посетует он в стихах 1962 года с явной, очень характерной для него и удивительной в атеистическую эпоху оглядкой на евангельские события, но останется твёрд в своём решении, ибо эта история противоположна евангельской, и “учителя”, которых он якобы “предаёт”, не соглашаясь с предложенным ими путём, в самом главном глубоко неправы. Борису Слуцкому, Александру Межирову, Евгению Евтушенко, Андрею Вознесенскому, Белле Ахмадулиной, Булату Окуджаве и другим либералам-“шестидесятникам” Станислав Куняев впоследствии посвятит множество своих огненных, полемических, разящих, как меч, строк: “Кто там шумит: гражданские права? / Кто ратует за всякие свободы? / Ведь сказано: “Слова, слова, слова”... / Ах, мне бы ваши жалкие заботы!” Вступая в спор со своими поэтическими оппонентами, Станислав Куняев сразу попадает в круг идей и тем высокой русской классики – он открыто и явно следует традициям А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, классической русской прозы, удивительных, сознательно вытесняемых советской цензурой славянофилов. “От имени народа говорить – / великий дар, особая заслуга. / Быть в центре осязанья, зренья, слуха, / сказать слова – и страсти утолить”, – с точки зрения русской классики и русской нравственности пытается Станислав Куняев образумить недавних литературных попутчиков, впавших в явный соблазн гордыни и летящих за пустым окололитературным счастьем. Эта на первый взгляд незначительная “трещина” между “эстрадниками” и “тихими лириками” бездонна и в глубинной сути своей равна бездне между верностью и любовью к России и предательством Родины, следованием Христу и отвержением Христа. Но окончательно это выяснится намного позже, и на выяснение этого уйдут годы и годы. А пока, в 1969 году Куняев бросает вслед эмигрирующим за рубеж знакомым исполненные гнева и горечи строки: “Непонятно, как можно покинуть / эту землю и эту страну, / душу вывернуть, память отринуть / и любовь позабыть, и войну”. Позже, после крушения СССР, как бы итожа полемику длиной в жизнь, в книге “К предательству таинственная страсть” Станислав Юрьевич Куняев напишет о своих бывших друзьях-“шестидесятниках”: “... вклад известных писателей-“шестидесятников” в разрушение советского общества и государства был куда более значителен, нежели вклад научных работников, технарей, интеллектуалов, актёров, военных людей, спортсменов...”

И опять камень Алатырь, и теперь уже две дороги из трёх, дарованных Христом, ибо первая из дорог понята как зло, с которым необходимо бороться, от чего дорогой – только по-другому – она быть не перестала. По одной из двух оставшихся дорог, манящей в будущее, полной света и молодых надежд, Станислав Куняев и устремился, как современный странник, как отправившиеся за счастьем герои Некрасова и Никита Моргунок, – на поиски своей судьбы и России.

Стиль Станислава Куняева – точный, лаконичный. Он верный последователь магистральной линии русской классики – Пушкина, Боратынского, Некрасова, Тютчева, Твардовского, Блока, Есенина, тихих, неисчерпаемых в своей мудростилюбимодров. В его стихах не найдёшь броской субъективности – при всей силе и яркости поэтического темперамента он всегда стремится к объективности взгляда, определения, суждения, а всё субъективное вместе с личным словно специально отмечает, убирает из стихов как ненужное, как то, что может ввести в заблуждение читателя и не может помочь делу – ибо стихи для него, прежде всего, важное дело выяснения сути мира и сути Родины. “Мне нравятся Ваши страсть и напор, мужество и умение смотреть на трагическое строго, сурово, без дряблости, сентимента или любования тяжёлой стороной жизни... Стихи Ваши действуют на меня неотразимо,

но критика, который заглянул бы в их глубину, ещё не нашлось!» (Георгий Свиридов «Возвышенная речь стиха». 1983 г.). Как справедливо заметил Владимир Бондаренко в своей статье «Победитель огня», поэзия Станислава Куняева не вмещается в привычные определения и классификации. Станислав Куняев прославился как эстрадный поэт, но сразу же стал принципиальным оппонентом эстрадников. Для тихой лирики он слишком громок и деятелен, для публицистики – слишком философичен и глубок, для деревенского поэта – слишком городской, легко приемлющий все блага цивилизации, для городского поэта – слишком живой, эмоциональный и открытый. Куняев до мозга костей реалист, он пишет современную ему Россию такую, какая она есть. «... От Вытегры и до Амура, / от Канска до Новой Земли / страна, как звериная шкура, / сверкает в морозной пыли». Ослепительно красивая Россия – СССР, раскинувшаяся между океанами, победившая в тяжелейшей войне, страна с молодыми надеждами, новостройками, плотинами, огнями городов, принятая сердцем, любимая, растущая к звёздам в размахе своего небывалого в истории человечества строительства «... бесшумно позёмку струит / в громоздящихся к небу кварталах, / где холодное пламя горит / на объектах, великих и малых»; «От Великой ГЭС до Усть-Илима / вечных сосен чёрная гряда, / красная строительная глина, / светлая байкальская вода...» Прав Владимир Бондаренко, утверждавший, что Станислав Куняев сложился как имперский поэт именно в это время. Эта Россия, особенно после развала СССР, ностальгически любима читателями. Лирический герой Куняева – путешественник, охотник, рыбак, влюблённый в огромные просторы отечества: «Нет, не Пегас заездил меня, / Душу не тройка мне растрясла... / Жёлтый закат тунгусского дня, / в тьму переходящая желтизна...»; «По северным звёздам угадывать путь, / брести от зари до ночлега, / свалиться без сил и ладонью черпнуть / воды из лосиного следа... // А белые ночи стоят в сосняке, / ползут на болота и взгорья, / и красная рыба по чёрной реке / крадётся из Белого моря». Поэт заворожён ослепительной красотой природы, но всё же его не оставляет вечный, обязательный для Куняева поиск силы, мужества, подвига. «То, что принимали у Куняева за юношеский максимализм, оказалось его природным состоянием души. Его державным максимализмом, его требовательным подходом и к миру, и к себе. Его мир – это мир суровых людей, где сентиментальность не прощается и не поощряется» (Владимир Бондаренко). «Тяжело остывает вода, / тяжелей, чем горячая воля, / и куда ни пойдёшь – холода / от Саян до Полярного моря...»; «Тяжело оступаясь, как лось, / я с хребта озираю долины, / ртом хватаю хрустящую гроздь / подмороженной сладкой рябины». Огромный мир, распахнувшийся перед С. Куняевым, и в стихах заворачивает безграничной радостью безбрежного бытия, живой, суровой, дикой и яркой красотой. Это земной путь земного человека – путешественника, охотника, рыбака, доброго, отважного, счастливого в своей сугубо земной материальной доле.

И всё-таки ни прекрасный мир, ни романтика в чём-то не удовлетворяют поэта, не могут захватить его сердце целиком. «Жажда странствий, я больше не твой! / Жажда скорости – что же такое? / Ты навек расстанешься со мной / и становишься жаждой покоя». Да и ноты в стихах появляются какие-то грустные, тревожные, лирические, мало совместимые с «добром с кулаками», это уже не азарт охотника и рыболова, не азарт путешественника, влюблённого в большое время, большие просторы большой страны и большие свершения, а тревога за живое – щемящая, идущая из глубины сердца:

Я люблю тебя, большое время,
Но прошу — прислушайся ко мне:
Не убей последнего тайменя,
Пусть гуляет в тёмной глубине.

Не губи последнего болота,
загнанного волка пощади,
чтобы на земле осталось что-то,
от чего щемит в моей груди.

От широты восприятия ослепительного мира, от молодого хмельного захлёба жизнью Станислав Куняев уходит на третью из предложенных ему

дорог — на глубину потаённую, несказанную, на глубину слёз, на глубину сердца. “Сквозь слёзы на глазах и сквозь туман души / весь мир совсем не тот, каков он есть на деле. / Свистят над головой бесшумные стрижи, / несутся по песку стремительные тени”. Этот видящийся иным мир — иное постижение бытия и истины, иная глубина и правда. Глубина сердца, в которой открывается Бог. “Никогда русская литература не занималась культом силы, суперменства, бездуховного превосходства... — пишет Станислав Юрьевич Куняев в статье “Поэзия пророков и солдат”, продолжая разговор о соотношении добра и силы, начатый им в молодости. — Нам не нужны победы без правды... То, что победить можно только силой, делает твою победу неполной и свидетельствует о несовершенстве мира и человека. Это не рыцарское, а иное, более высокое и более глубокое отношение к врагу как к человеку, как к образу и подобию высшей силы, искажённой злом. Но это не жалость к врагу, а печаль о несовершенстве мира, осколок стихийно живущего в глубинах духа народного мироощущения”. Эти слёзы на глазах, эта “печаль о несовершенстве мира” и выводят отнюдь не сентиментального, но неизменно следующего вселенскому закону Любви Станислава Куняева на главную из его дорог. И если постижение огромного СССР — это срединный путь внешнего, материального, плотского человека, то две другие дороги — дорога от Христа, дорога мирового соблазна и зла и новая дорога, дорога постижения вечной глубинной России, Святой Руси — диаметрально противоположны. Об этих дорогах Станислав Юрьевич Куняев, для которого выбор жизненного пути первостепенно важен, говорит в одной из своих программных статей со значащим названием “Пилигримы”, посвящённой Рубцову и Бродскому, проясняя при этом и смысл собственной судьбы: “Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не знают, что такое вечность, потому, что находятся в плену у времени; они, пожиратели пространства, всё время в походе, а это значит, что явления и картины жизни, сквозь которую они проходят, — остаются для них чужими и непознанными. У них нет ничего кровного, родного. Это механические супермены цивилизации. Они не молят Бога о милости, но требуют поддержки от Него, торгуются с Ним (“а значит, не будет толку от веры в себя и в Бога”), не понимая того, что, как сказал один мудрец, “с Богом в карты не играют”. Пути Бродского противопоставлен путь Рубцова — это тихий путь богомольцев и странников, людей Святой Руси, к которым, может быть, до конца не осознавая этого, принадлежит русский лирик: “... пилигримы Рубцова бредут по русскому, российскому, хотя и запущенному саду с радостной душой, сквозь лесные и травяные райские кущи, в которых... разве что мелькнут руины архаического быта — “полусгнивший овин” да “хуторок с позеленевшей крышей”, да — “знаки верстовые”... мимо безымянных, уходящих в землю могил (“каждому памятник — крест”), о которых со смирением можно сказать лишь одно: “Здесь каждый славен — мёртвый и живой”, то есть повторить другими словами извечную истину: “для Бога мёртвых нет”. ... Пилигримы Николая Рубцова — это калики перехожие... Это люди святой Руси, персонажи не от мира сего, бредущие отмаливать грехи и свои, и своего народа в Киевскую Софию, в Оптину пустынь, в Дивеево к Серафиму Саровскому, а кто и на Святую Землю. ... Это люди не времени, а вечности”.

Вот эта тихая, глубинная, вечная Россия Александра Невского и Сергия Радонежского, Александра Свирского и Серафима Саровского, Александра Пушкина и Николая Некрасова, Фёдора Тютчева и Афанасия Фета, Сергея Есенина, Николая Клюева и Александра Блока и становится главной, основной жизненной дорогой Станислава Куняева. “Тихая моя родина” — сказал о ней Николай Рубцов. Тихая — тишиной Христа и храма, тишиной молитвы и покаянных слёз.

“Как сотни лет тому назад, / кричит петух в рассветной сини / и дышит в окна старый сад / дыханьем тлена и теплыни. // На родине такая тишь, / которой в мире не осталось, / и только в ней ты растворишь / свою февральскую усталость”. Тишина входит в поэзию Станислава Куняева как дыхание новой жизни. Отчасти — это глубинное свойство цельной, честной и сосредоточенной души, отчасти — интуитивно найденный способ очищения от пустого бесовского шума эстрадной поэзии. Тишина необходима Станиславу Куняеву для того, чтобы расслышать сердце родины и собственное сердце. Поэт погружается в тишину, дышит ею, пьёт её, раскрывается в ней как тонкий, трепетный лирик: *“Ещё осталась тишина / в домах, где облупились ставни, /*

где тлеет огонёк герани / в проёме низкого окна. // Ещё осталась тишина, / ушедшая в сады, / в заборы, / в калитки, в ржавые запоры, / в полуживые времена". Вообще же, если возвращаться к разговору о всегда условных и натянутых "определениях и классификациях" — оказывается, что поэт Станислав Куняев намного тише, чем об этом принято думать, ибо даже в самых "громких" своих стихах он тих тишиной несуетного всматривания в суть явлений и тишиной напряжённо работающей мысли, тих зачастую оглушающе громкой весомостью сказанного (мысль, лишённая тишины, по самой своей природе невозможна), а ещё — чутким всматриванием в глубины и движения народной судьбы. В этой тишине ему открывается тысячелетняя Россия с сонмами ушедших в землю и вечно живых, с неисчерпаемой исторической памятью, передающимися из поколения в поколение словами потаённых старин и преданий и неистребимой верой во Христа: "Я поднялся на холм — стучала кровь в висок, / и я замедлил шаг, чтобы окинуть взором / пристанище для тех, кто улеглись в песок, / за много тысяч лет намытый Белым морем. // Могилы без имён. Трухлявые кресты. / Старославянский шрифт раскольничьих заглавий..." Бездонная глубина родины. В этой вечной, ушедшей в потаённую глубину тысячелетней России творится неладное. "Напророчил пожар мировой, / не страшась ни огня, ни погрома. / Не с того ль зарастают травой / кирпичи легендарного дома? // Срок пришёл отмечать юбилей, / но рассыпалась прахом ограда, / и шумят лопухи да пырей / на земле Соловьинного сада..." — растерянно оглядывается попавший в блоковское Шахматово поэт, отмечая явные приметы запустения. Стоит только оглянуться и посмотреть внимательным взглядом вокруг, и картины наплывают — одна печальнее другой: "Как много печального люда / в суровой Отчизне моей! / Откуда он взялся, откуда, / с каких деревьев и полей? // Вглядись в усталые лица, / в одно и другое лицо. / И вспомнишь — войны колесница! / И ахнешь — времён колесо!" Эта Россия тяжело ранена и поработана злом, с которым уже столкнулся поэт. В этой атеистической России "Церковь около обкома / приютилась незаконно, / словно каменный скелет...". И в самой заброшенной церкви творятся события странные, течёт какая-то своя, не зависящая от людей жизнь. Церковь будто сопротивляется злу: "Переделали под клуб — ничего не получилось, / то ли там не веселилось, / то ли был завклубом глуп. // Перестроили под склад — / кто-то вдруг проворовался..." Это крамольнейшее по тем временам стихотворение написано в 1964 году! По этой России мчатся кони НКВД: "Это кони НКВД, — / не достанешь рукой до холки. / Путь накатан, и сани ходки — / хоть скачи до Улан-Удэ. // Как страдал я о тех конях! / Кубарем открываю двери, / а они храпят, словно звери, / в гривах, в изморози, в ремнях..." Глубинная, корневая, потаённая Россия, видя чёрных коней, отвечает глухим, тяжёлым и тревожным молчанием: "Но молчанье стоит в селе, / в тёмных избах дети да бабы, / под санями звенят ухабы, / тонут избы в крошечной мгле". Это Россия, только что выигравшая великую войну — с сонмами погибших, с покалеченными, израненными солдатами, вдовами, нищей, сожжёнными деревнями, разрушенными городами, тревожными, полными боли снами матери-хирурга: "И снятся ей госпиталя, / её кровавая работа, / бинты и язвы, гной и рвота — / война, короче говоря. // Она, не покладая рук, / кромсает, режет, шьёт и пилит... / Один без ног, другой без рук, / а третий, раненный навывлет, / кричит... Спаси его, хирург!" А за окном больницы палаты шумят берёзы, и по стенам и потолку от проезжающих мимо машин плывут, как рыбы, золотые квадраты: "Самосвалы построились в ряд, / надрываясь, режут на подъёме, / А берёзы — берёзы шумят / в невесёлом оконном проёме. // Так шумят, погружаясь во мрак, / с горькой нежностью и трепетаньем, / словно скрасить хотят кое-как / наше равенство перед страданьем". Ребёнок Великой войны, Станислав Куняев точно знает, что тихая, потаённая, живущая в сокровенной глубине сердца Россия нуждается в воинах, которые встанут на её защиту. И неизбежное понимание своей жизни как малой частицы огромного народного бытия, острое ощущение всеобщего "равенства перед страданьем", неистребимое желание справедливости и врождённая жажда борьбы за добро, присущие любому русскому человеку, в Куняеве побеждают.

Станислав Куняев всегда выбирает в жизни главное и пишет о главном. Он каждый раз даёт точные ответы на точно заданные вопросы. По сути, он постоянно строит и проясняет своё мировоззрение, в чём и есть одна из главных

задач его стихов, отделяет добро от зла, ищет путь к Богу в атеистическом мире, где духовную жажду не так-то просто утолить, и удивительным образом умудряется на всё смотреть с точки зрения христианства, поверять всё в мире именно вечными истинами. Бродя по огромной стране, он слушает ветер, поющий в угрюмых колокольнях, и в тяжёлую минуту накатившего сомнения пишет одно из лучших своих стихотворений “Реставрировать церкви не надо...” – на первый взгляд, о невозвратимости былой России и утерянной веры, на самом же деле – о неистребимости и непобедимости живого христианского духа, о живом дыхании погубленной веры и былой Святой Руси, о том, что храмы без Бога мертвы, а существование отреставрированных церквей как “памятников архитектуры”, памятников беззаконию – их вторая, гораздо более страшная, “духовная” смерть. “Для чего? Чтоб заезжим туристам / не смущал любознательный взор / в стольном граде иль во поле чистом / обезглавленный тёмный собор?” Поэт чувствует дыхание Бога, не оставившего свои разрушенные храмы, но прикровенно живущего в них, и это таинственное дыхание сливается для него с песней ветра, гудящего над Русской равниной:

Всё равно на просторах раздольных
ни единый из них не поймёт,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поёт!

Пустая колокольня – живое, потаённое сердце России, и ветер в ней всегда поёт о Христе, а ещё – о боли, о трагедии, о попранной вере, о разрушенной потаённой России, ушедшей в глубины человеческих сердец... О том, что всё восстановимо, ибо Богу возможно всё. Но об этом в 1975 году ещё почти невозможно догадаться. “Как это ни прискорбно, но мечты наполеоновских мародёров “о проветривании” совпали с мечтами “комиссаров в пыльных шлемах”. Но я же помню, как “проветривали” мою родную калужскую Оптину пустынь и Шамординскую обитель, которые до конца восьмидесятых годов прошлого века были переоборудованы в мастерские для ремонта сельскохозяйственной колхозной техники, и даже в сортиры для механизаторов; как в мои школьные годы в Калуге из сорока церквей оставались открытыми лишь две – моя Георгиевская и Николо-Козинская. После войны по пути в школу, проходя мимо церковных остовов, мимо Троицкого собора с безглазыми окнами и берёзками, росшими на крыше, я набрался чувств и впечатлений, которые потом стали стихами, написанными в состоянии душевного отчаяния”, – написал Станислав Юрьевич Куняев об истории создания этого стихотворения (Станислав Куняев “К предательству таинственная страсть”). А ещё ветер в угрюмых колокольнях поёт о том, что вместе с уходом от веры Россия забывает себя. Вернее, её заставляют забыть главное о себе. Эта песня ветра, – по сути, забытая песня Руси: “Я впадал окончательно в грусть, / на душе становилось постыло, / потому что беспечная Русь / столько песен своих позабыла!” – восклицает поэт, слушая старинные грузинские песни:

Над равниной плывут журавли,
Улетают в горячие дали...
Вам спасибо, что вы сберегли,
нам спасибо, что мы растеряли.
Но зато на просторах полей,
на своей беспредельной равнине
полюбили свободу потерь
и терпенье, что пуще гордыни.

Какой старинный, медленный, земной, в глубины народного характера уходящий поклон – прощение сквозь боль невозвратимых потерь: “Вам спасибо, что вы сберегли, / нам спасибо, что мы растеряли”. Такое движение души естественно скорее для старой крестьянки из затерянной в лесах, оторванной от мира северной деревушки с медленным течением неразрушенной исконной жизни, но совсем не для советского столичного поэта. “Уничтожение паче гордости”, “терпенье пуще гордыни” – парафраз притчи о мытаре

и фарисее и слов апостола Петра: "...облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать" (1 Петр. 5, 5). Какое смирение в свободном принятии потерь и вечном русском "терпенье, что пуще гордыни"! Поневоле вспомнишь, что великую силу Господь даёт только смиренным и что богатырь на Руси – воин, идущий на рать за Господа. Что действительно с завидным постоянством поражает в стихах Станислава Юрьевича Куняева – это не внешнее, с обращением к Богу и святым, а именно внутреннее христианство, цельное русское мировоззрение и мироощущение, чудом сохранившееся в тяжелейшую эпоху атеизма и разрушения русского мира. Ведь многие из этих стихотворений писались в глубоко атеистические шестидесятые–семидесятые годы. Куняев в стихах смиренен. Не аморфен, не бессилён, а вот именно глубоко по-русски смиренен. Он мгновенно признаёт свою вину – редкое свойство для всякого человека, не говорю уже о поэте. Он всегда готов к покаянию. Он не осуждает. Он отменяет иллюзии и смотрит на жизнь трезвым объективным взглядом, фиксируя то, что есть. Он готов мгновенно признать и несовершенство и изъяны мира, и изъяны и несовершенство человека, и своё собственное несовершенство.

Как верного последователя русской классики с ее психологизмом, рождённым покаянием и особым вниманием к малейшим движениям души, С. Куняева неизменно интересует характер русского человека. О поэте Станиславе Куняеве вообще уместно говорить как о тонком и глубоком психологе, но не о психологе, исследующем движения души отдельной человеческой личности, а о психологе, исследующем проявления души всего русского народа, – во-первых, как самоценные, во-вторых, как проявления характера, из которых проистекают многие особенности национального бытия и истории: "Очнитесь! Я старую рану / не стану при всех растравлять / и, как ни печально, – не стану / свой счёт никому предъявлять. // Мы павших своих не считали, / мы кровную месть не блюли / и, может, поэтому стали / последней надеждой Земли". А ведь действительно – русские всегда выживали за счёт самопожертвования и всепрощения! Рождающееся из любви к истории и личных наблюдений знание о народе у С. Куняева несуетно и глубоко: "Потому что лопата и плуг – / непростая, но верная доля. / Коль хватает терпенье и рук – / не нужны ни удача, ни воля. // В этой воле детей не взрастишь, / лишь на землю сырую приляжешь / да подслушаешь ветер да тишь – / песню сложишь и сказку расскажешь", – раскрывает он тайну выбора Руси между пахарем и охотником, тайну кроткой крестьянской, хрестьянской русской цивилизации. История России воспринята им настолько живо и кровно, что тысячелетие, населённое сонмами людей и наполненное сонмами событий, живёт в поэте, переходя из разряда отеческих преданий в разряд личной судьбы. Не зря Татьяна Глушкова называла Станислава Куняева собеседником государства. Он активный герой и участник прошлого, настоящего и будущего, остро и смиренно осознаёт меру человеческого обольщения своими возможностями и несоизмеримую малость человеческих сил рядом с движущей миром Силой Божьей: "Здравствуй, русско-советский пейзаж, / то одна, то другая примета. / Колокольчик... Приятная блажь... / Здравствуй, родина... Многая лета! // В годы мира и в годы войны / ты всегда остаёшься собою, / и, как дети, надеемся мы, / что играем твоею судьбою". Осознаёт, но как волю Божью происходящее с Россией принять всё же не может, а, как воин за добро, всегда ищет выход из ситуации, исход из тупика и трагедии.

Христианская тема в стихах Станислава Куняева так или иначе возникает постоянно. "А где дурачки городские, / народ не от мира сего, / слепые и глухонемые – / повымерли до одного. // Блаженные, нищие духом, / таинственным миром своим / понятные древним старухам, / причастные тварям земным". Порой она возникает как неожиданная полемика, порой – как откровенная публицистика. Поэт вечно на острие проблем, вот только сиюминутной "злостью дня" эти проблемы не назовёшь. Многие его стихи равны серьёзным поступкам. Мало кто сегодня может представить себе, какие проблемы в те годы влекло за собой выступление против культового фильма А. Тарковского "Андрей Рублёв". Но почему – против? Ведь прорыв для тех лет невиданный – снят новаторский фильм об иконописце, о святом! Но в 1965 году Станислав Куняев пишет стихотворение "Владимирское шоссе":

Тишина. Воспаленный простор.
Здесь на съёмках “Андрея Рублева”
этим летом решил режиссёр,
чтобы в кадре сгорела корова,
чтобы зритель смотрел трепеща...
И животное взглядом безвинным
вопросило, тоскливо мыча, —
для чего обливают бензином.

Факт чудовищный и вопиющий! Режиссёр с особой жестокостью убивает живое существо только для того, чтобы поразить зрителей, снимая при этом фильм о святом! Небольшой кадр, вспышка — и выявлена вся глубина нашего всеобщего человеческого грехопадения. Сергей Радонежский и его ученики и последователи, одним из которых был Андрей Рублев, мечтали не только об обожении человека (“Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы...” (Пс. 81:6-8), но и об обожении всей твари. Проблема, поставленная в стихотворении, куда глубже, чем личная жестокость режиссёра, — это проблема мира, шествующего к крушению всё тем же железным путём попавших в плен времени и материи “механических суперменов цивилизации”. Об этом же — одно из лучших, хрестоматийных, знаковых стихотворений Станислава Куняева “Случай на шоссе”, посвящённое Вадиму Кожинovu. В нём птица разбивается о стекло несущейся на огромной скорости легковушки: *“Птица взмыла, но не удержалась — / видно, воздух исчез под крылом, / и вцепилась в стекло, и осталось / лишь пятно на стекле лобовом”*.

Я — в машине, а значит, не волен
изменить предначертанный путь...
Как хотите, а я не виновен:
всё равно бы не смог отвернуть,

потому что вдоль вешнего леса,
где ничто в этот миг не мертво,
с тяжким свистом несётся железо,
попирая законы его.

С этого пути действительно не свернуть, ибо внутри машины находится всё человечество, отвергшее Бога и творение Божье, утратившее тишину и на огромной скорости несущееся по спирали глобализации, цифровизации, расчеловечивания, подчинившись злой, умной, древней безликой силе, рабом которой добровольно сделал себя человек. Это стихотворение о грядущем Апокалипсисе, о потерявшей верный путь и мчащейся к гибели цивилизации.

То, что “добро с кулаками” может быть путём ко Христу — парадоксально только на первый взгляд. “. . . Всякая зрелая религия не только открывает природу “блага”, но и научает борьбе со злом, — пишет Иван Ильин. — Вся дохристианская восточная аскетика имеет два уклона: отрицательный — поборающий и положительный — возводящий. Это есть то самое “не во плоти воинствование” (“стратейя”), о котором разъясняет Коринфянам апостол Павел. Однако нигде, кажется, это внутреннее сопротивление злу не разработано с такою глубиной и мудростью, как у аскетических учителей восточного православия. Объективируя начало зла в образ невещественных демонов, Антоний Великий, Макарий Великий, Марк Подвижник, Ефрем Сириан, Иоанн Лествичник и другие учат неутомимой внутренней “брани” с “непримечаемыми” и “ненасилующими” “приражениями злых помыслов”, а Иоанн Кассиан прямо указывает на то, что “никто не может быть прельщен диаволом, кроме того, кто “сам восхочет дать ему своей воли согласие”. Расчищая завалы многовековой исторической лжи, отстаивая корневое христианское русское мировоззрение, Станислав Юрьевич Куняев, по сути, и ведёт брань с “непримечаемыми” и “ненасилующими” “приражениями злых помыслов”, только брань эта не внутренняя, и ведётся она не в келье, а в миру, на поле информационной войны за Землю, ментальной словесной битвы за Христа, за Россию. “Искажая прошлое, мы обречены вечно блуждать на путях к будущему. Мы жили в такую эпоху, когда тенденциозная

пропаганда лилась с обеих сторон мутными потоками... Но мы, русские патриоты, должны соблюдать честь и достоинство, нам верят люди, и преступно навязывать им прямую ложь или даже невольные заблуждения” (Станислав Куняев, “Письмо другу-поэту в заморские края”. 2002 г.). Это мирское “духовное делание”, традиционный путь русского богатыря, воина Христова, призванного отдать жизнь за други своя, выходя сражаться с врагом на поле брани, только оружие воина ментальной войны не меч, а слово. Не забудем о том, что Илья Муромец, которому Христос подарил великую силу, как и многие русские богатыри, в ответ всю жизнь шёл ко Христу и стал монахом, ведущим куда более тяжёлую внутреннюю брань со злом. Поэтический результат “словесной брани” – точные, краткие, программные формулировки Станислава Куняева в гражданских стихах, не меркнущие со временем, но наполняющиеся светом и приобретающие всё бóльшую важность и силу. Такое важное свойство дара: стихи с годами “отделяются” от породивших их событий, смыслы проясняются, и крылатые строки из разряда “полюемических” переходят в разряд “пророческих”: “Вновь странствуя в отеческом краю, / Сбирая память по мельчайшим крохам, / Я, русский человек, осознаю / Себя как современник всем эпохам”; “Опять разгулялись витии – / шумит мировая орда: / “Россия! Россию! России!..” / Но где же вы были, когда / от Вены и до Амстердама / Европу, как тряпку, края, / дивизии Гудериана / уютжили ваши поля? // ... Недаром легли как основа / в синодик гуманных торжеств / и проповедь графа Толстого, / и Жукова маршалский жезл”; “И нас без вас, и вас без нас убудет, / но, отвергая всех сомнений рать, / я так скажу: что быть должно – да будет! / Вам есть, где жить, а нам – где умирать...”

“Духовный опыт человечества свидетельствует о том, что несопротивляющийся злу не сопротивляется ему именно постольку, поскольку он сам уже зол, поскольку он внутренне принял его и стал им” (Иван Ильин). Об этом “согласии” со злом, о бездействии, безволии, нежелании бороться за добро Станислав Куняев поднимает вопрос постоянно: “Как ты попросту сгинул, богатырь Святогор, / Как великую силу растратил – / ты врага не разбил, не освоил простор, / и не вывернул камень-Алатырь. // Ты по воле своей сам улёгся в гробу, / ты, смеясь, суеверья отринул, / понадеясь на мощь, на авось, на судьбу, / глянул в небо – и крышку надвинул”. Сколько прекрасных, талантливых людей сгнуло от безволия, праздности, пьянки, сошло с пути, потеряло дарованные Богом дары! О поэтах и прозаиках, напрасно растративших свой дар, и говорить не приходится! Станислав Юрьевич Куняев не спускает такого ни себе, ни другим, ибо идёт великая война – за душу каждого и за Россию, и поэт знает, что важность этой битвы несравнима ни с чем. Он постоянно возвращается к вечным истинам: “Поднимешь глаза к небесам, / Припомнишь людские печали, / и сердце откроешь словам, / что в древности вдруг прозвучали, // как гром: “Возлюбите врагов! / Живите, как вольные птицы...” Но Куняев не был бы Куняевым, если бы постоянно не взвешивал на весах главный вопрос своей жизни – вопрос о борьбе за добро: “Но вспомнишь, как чёрные дни / ползли по любимой Отчизне, / и всё, что вершилось людьми / во имя возмездья и жизни! // Земля и черна, и влажна, / а синее небо высоко... / И вдруг выплывает со дна / бес- смертное: “Око за око!””

“Сознавая неполноценность людей, бросающих родину в новую эпоху, я тем не менее не мог избавиться от предчувствия трагедии, которое, начиная с середины шестидесятых годов, всё неизбежней нарастало в душе. Как бы я ни отмахивался от этого предчувствия, как бы ни гнал его из ума и сердца, оно возвращалось и воплощалось в какие-то строки. Это было предчувствием трагедии не только личной, но и нашей общей, народной, национальной, мировой. Скорее всего, оно диктовалось не какими-то событиями и катаклизмами, а странным напряжением, жившим в народе и в каждом из нас” (Станислав Куняев. “Поэзия. Судьба. Россия”). Трагедия разразилась в 1991-м. “Змея вползла, приподняла главу / с кремлевского холма под небом хмурым / и на остолбеневшую Москву / взглянула алчно с ленинским прищуром. // ... И наконец остановился рост... / Рептилия движением усталым / к разверстой пасти подтянула хвост / и укусила с ельцинским оскалом”. Все мы помним те “окаянные дни” – предательство и распад СССР, разграбление государства, обман народа, умопомрачительный разгул русофобии

и ощущение какой-то нереальности происходящего — словно открылись двери в потусторонние миры, и зло, хорошо знакомое нам из русской истории, вновь хлынуло на землю:

Вот и снова мы нищи и голы,
И опять ни кола, ни двора,
Словно вновь налетели монголы
И спалили деревню дотла.

Стала дымом народная слава,
Стали пылью святые слова...
Как корабль, затрещала держава,
Не жива, но ещё не мертва.

Что ж, наклонимся над пепелищем,
Осмысляя истлевшую суть.
Покопаемся в пепле, поищем
И, быть может, найдём что-нибудь.

Впрочем, долго ли нищим собратья?
Подпоясались и потекли,
Чтоб уверовать вновь и добраться
До какой-нибудь райской земли.

Поэт продолжает поэтический разговор, начатый когда-то Николаем Рубцовым. “Иных времён татары и монголы” — рядившиеся в прогрессивных, гонимых, обиженных деятелей науки и искусства герои шестидесятых — вдруг проявили свою суть и открыли искажённые злом лица. Станислав Куняев, всю жизнь отделявший зёрна от плевел, расчищавший авгиевы конюшни мировой исторической лжи, оказался как мало кто готов к случившемуся. Нынешние “дети Арбата”, обозначенные по названию нашумевшего романа Рыбакова — всё те же “пожиратели пространства”, “механические супермены цивилизации”, не имеющие отечества пилигримы: “Сын за отца не ответчик, и всё же / Тот, кто готовит кровавое ложе, / Некогда должен запачкаться сам... / Ежели кто на крови поскользнулся / Или на лесоповале очнулся, / Пусть принесёт благодарность отцам. // Наша возникшая разом элита, / Грозного времени нервная свита, / Как вам в двадцатые годы спалось? / Вы танцевали танго и чарльстоны, / Чтоб не слышать беломорские стоны / Там, где трещала крестьянская кость”. Под дикие русофобские крики происходит величайшая в истории человечества трагедия — развал СССР. Под антирусское улюлюканье совершается великий исход русских из стран Восточной Европы, немыслимое великое поправление Победы и всей русской истории. В стихотворении 1991 года “Последний парад” памятники русским солдатам сходят с постаментов и идут домой, в Россию: “— А где Алёша? Кажется, в Софии. / — Я в Пловдиве! / Мы двинулись к России. / Ты Скобелева пригласи с собой. // ... — Предупредите парня из Белграда, / Там тоже дух кощунства и распада / Осилил славу... Помните, друзья, / Мы мёртвых выносили с поля боя, / Нам здесь не будет вечного покоя, / Нам оставлять здесь никого нельзя”. Попранные, оболганные, осквернённые памятники русским солдатам-победителям возвращаются домой. Одновременно с этим происходит движение с обратным, прежде всего, в области духа вектором — великий исход “пилигримов без отечества” из России. Поэт продолжает начатый в далёкие годы разговор:

Демократы, взыскующие о режиме,
Патриоты, срока оттянувшие в Потье,
Хорошо ль вам живётся в Париже иль Риме?
Есть ли пир для души и отрада для плоти?

Вы достойно и честно своё отстрадали
И оставили родину, как побирешку,
Как старуху, которую вовремя сдали
То ли в дом инвалидов, а то ли в психушку.

Травля, которой подвергались в те годы русские писатели, не сравнима ни с чем: *“В грядущеезираю с интересом: / врагом народа, психом, мракобесом – / так окрестят меня в родном краю. / Руси не избежать таких соблазнов, / и если уж Алёша Карамазов / взроптал, – то мы у бездны на краю”*. Вслед за Алёшей Карамазовым в стихах возникает реальный виновник происходящего: *“Но Инквизитор Великий, Верховный / хмурится...”* И неизбежно вспоминаются слова Великого Инквизитора из *“Братьев Карамазовых”* Достоевского: *“То, что имею сказать Тебе, всё Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать её из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с НИМ, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с НИМ, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели ещё привести наше дело к полному окончанию”*. Станислав Куняев предельно точно и ясно фиксирует в стихах откровенную и запредельную инфернальность происходящего: *“Но снова ты рвёшься к трибуне, хрипя, / Накачивая желваки, / И некому беса изгнать из тебя / Чудесным движеньем руки. // От жестов и криков хмелеет народ, / Из уст у оратора – дым! / И некому вспомнить семнадцатый год, / Что кончилось тридцать седьмым...”*; *“Ах, Фёдор Михалыч, ты слышишь, как бесы / Уже оседлали свои “мерседесы”, / Чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой / Рвануться за славою и за валютой...”*; *“Господи, что же творится? / В светлом пространстве стоят / потусторонние лица – / свечи в их лапах горят! // Струйки зловонья и серы / вьются из тёмных ноздрей, / слушают воры и мэры, / что говорит иерей”*; *“Какая неожиданная грусть – / На склоне дней подсчитывать утраты / И понимать, как распинают Русь / Моих времён Иуды и Пилаты”*. Нет, это не метафоры, не гротеск, не иносказание, не вольные поэтические образы. Это предельно точно зафиксированная реальность. Так было. А голос Великого Инквизитора, говорящего с Христом, всё звучит, проясняя страшную суть происходящего: *“Ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгрести к Твоему костру угли, знаешь Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь...”*

А битва длится. И будет длиться ещё долго. До скончания века.

Но слово сказано. Зло названо. Названо и отринуто.

Маски сорваны.

Война с Россией – это всегда война с Христом.

Большая поэзия – земной выход из времени в вечность. Вот так – пламенеющей любовью к России, не мешающей работе холодного и ясного ума, выходит в своих стихах за пределы времени пилигрим вечности Станислав Куняев. Его плод в поэзии удивительно зрел и весом, ибо для созданного живым грешным человеком максимально очищен от всего лишнего, силой внутреннего борения “отгорожен” от зла и в утверждении добра устремлён к постижению Божественных свойств всеобщего.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

РОДОВЫЕ ВЕРИГИ

Кажется, совсем недавно Л. А. Аннинский написал о творчестве поэта: “Здесь мы прикасаемся к глубинной сути понятия: для Шацкого важна верность души той земле, с которой тебя породнила судьба; лучше эта земля или хуже – этот вопрос не стоит и не обсуждается...” И вот автору исполняется 70 лет.

Лирика Андрея Шацкого в сознании читателя прочно связана с той литературной территорией, на которой встречаются и взаимодействуют искусство слова, переменчивая планида певца, православные контуры неба и былинная слава древней Руси. Лирический герой Шацкого отчётливо сопоставим с проживаемой нами сейчас эпохой, когда, казалось бы, уже названы и многими приняты как единственно верные духовные ориентиры родной земли, однако личное одиночество угнетает душу и распространяется всё шире и шире. Судя по всему, распад советской страны оставил в душе современного человека незаживающую рану, надлом, который мешает ему расправить плечи и властно заявить о своих чаяниях.

Причём речь идёт не о социальных акцентах, не о правде, которую так часто стала побеждать ложь, не о судьбе, которая могла бы сложиться иначе. Перед нами в какой-то степени угасание воли к жизни, которое подпитывается неисчезающей, глубоко спрятанной в сердце горечью.

Только с замершим сердцем творится неладное что-то.
Только ноги не знают, куда в одиночку брести.

Лирическому герою нужно немного, хотя и бесконечно важное для него: живая мама, чуткая и всё понимающая возлюбленная, детская определённая во взрослой суете, радость от каждой проживаемой минуты. В реальной жизни любой, наверное, захотел бы того же, но в поэзии бесчисленное множество нюансов раздвигают названные ориентиры и помещают в образовавшиеся бреши и поля всё изобилие действительности.

Именно так изображена природа и людские взаимоотношения у Андрея Шацкого.

Его часто сравнивают с поэтами Серебряного века. Вероятно, основания для такого сопоставления есть. Однако Шацков, скорее, близок авторам первой волны русской эмиграции, которые постепенно стали осознавать, что жизнь скользит сквозь пальцы и нет таких сил, которые могли бы её удержать и вернуть былое. Вот только прошлое у современного поэта и у давних его предшественников совсем разное, тем не менее само чувство, с которым проживаются мгновения во втором десятилетии нового тысячелетия, чем-то удивительно напоминает лирические настроения минувшего века. Это означает,

что Россия вернулась, пройдя виток спирали, в ту же мировую точку, и человек сегодня тоскует подобно своему прадеду.

Плыли тучи в северном приходе,
Шли дожди, стуча о корку льда.
До чего не вовремя приходит,
И не в пору — зимняя вода.

Я бы, если мог, беду руками
В вашем топком городе развёл,
Чтоб мосты поднялись в небо сами,
Шпиль на Петропавловском процвёл.

Я бы мог... Да расточились силы
По бесплодно прожитым годам...
На краю безвременной могилы
Брату руку зябкую подам.

Он нальёт вина, отломит хлеба...
Мне ль не знать, по праву старшинства,
Как уходит Ангел дымом в небо
Даже накануне Рождества.

Здесь приметы внутреннего существования и детали внешнего мира выбраны автором удивительно точно и слиты друг с другом единственно верным для этого стихотворения образом. И нужно отметить, что перед нами герой, вписанный в знакомый городской пейзаж, являющийся его частью и не стремящийся оторваться от горестной земли и найти эфемерное счастье где-то в другом месте, с иными людьми у плеча и любовью, которая совсем не похожа на то, что ещё живёт и дышит в зябкой памяти поэта.

Андрей Шацков прекрасно живописует русскую природу, пожалуй, ещё и по той причине, что понимает себя её органичной частью. Сегодня так изображать природный окресток не принято, стихотворная речь стала более компактной и рациональной. Но именно в подобном неторопливом течении поэтических слов, скорее всего, и есть некая соразмерность с прекрасным — с русским пейзажем, русской далью, русским укладом. Потому развёрнутый лирический образ у Шацкого просторен, узнаваем и непосредствен, а локальный — почти случаен.

Зима не уходит.
Под Рузой сугробы в лесу.
И ночью за окнами
светят морозные звёзды...
Вот-вот Благовещение.
Пасха, глядишь, на носу.
Но грают вороны
и рушат грачиные гнёзда.
И грозен праптицы
зимой замороженный зрак,
И северный ветер
несёт и несёт свои хлопья.
Никак не наступит весна,
не наступит никак!
И смотрят грачи
в леденящую даль исподлобья...

Между тем автор прекрасно умеет заворожить читателя обнажённым поэтическим приёмом, почти ничего не добавляя в текст из области смыслов и впечатлений. И тогда видится зрелая рука мастера, для которого ремесло осталось позади, и теперь он старается иметь дело только с волшебством:

И будут снега от Покрова пластаться,
И плакать каплями в день Евдокии.
И встретиться вновь — тяжелей, чем расстаться,
Чтоб стужей дышать на просторах России.

В последние годы широко распространилось словосочетание “православный поэт”. Между тем нелепо обременять литературное творчество церковно-проповедническими задачами. Подобная миссия осуществляется другими людьми, а поэты в таком контексте — почти всегда непослушные пасынки. Они оказываются живым полигоном, на котором разворачивается борьба добра и зла, веры и неверия, сильной воли и уныния. Их уста, в которые Бог вложил дар вдохновенной речи, рассказывают нам о вещах неосязаемых, о предметах плотных и зримых, о подвиге и падении, о терпении и своеволии. И уже затем мы получаем признания, которые объясняют нашу душу и характер, показывают без утайки все дороги, которые открываются перед нами. Когда поэт сокрушённо говорит об унынии, в его словах мы видим себя. И это — драгоценный подарок, в котором народно-православное начало соединено с внутренним одиночеством горожанина.

К обедне снег растает, и земля
В постыдной наготе предстанет снова.
И медью зазвонят, не веселя,
Колокола Великого Покрова.

Как Судный день, бестрепетно суров
По Новому и Ветхому заветам,
Ты наступил, октябрьский Покров,
Предзимье предварив по всем приметам.

За смертный грех уныния — прости
И затвориться дай в безмолвной келье...
Играют свадьбы где-то на Руси,
Но что мне на чужом пиру похмелье...

Когда в душе сомненья и разлад,
Верши молитвы праведное слово.
И станет звездопадом — снегопад
В урочный день российского Покрова!

Оставаясь одиноким в круге знакомых и близких людей, поэт находит собеседника в историческом прошлом, и почти всегда такая встреча сопряжена с какой-либо роковой вехой, которая из дальней дали притягивает его взгляд и будит в нём силы, которые до поры неведомы и ему самому. И будет справедливо подчеркнуть, что граница между нынешней поэтической душой и депрессивной музой прежних литературных поколений лежит в этой смысловой и нравственной области. Такое отличие не родилось самопроизвольно, без сомнения, тут сказался духовный опыт стояния за правду и справедливость во время Великой Отечественной войны. Послевоенная русская советская поэзия чрезвычайно насыщена перекличками с древними битвами и героями, самопожертвованием и верностью отчей земле. И потому глубокая печаль современной лирики непосредственно связана с нынешним смутным временем, но по отношению к протяжённому русскому бытию она имеет подчинённый характер. Жёсткий вызов эпохи способен извлекать из сердца поэта великие признания. Вот почему его имя стоит поверять этой последней искренностью.

А над Рузой плывут облака
и густые туманы,
И на восемь сторон
шлёт лучи Вифлеема звезда.
И с холма над рекою

увидятся дальние страны —
Те, в которых бывать
не придётся уже никогда.

И потянут в былое, назад
родовые вериги,
Словно гирьки от ходиков,
вставших когда-то, Бог весть.
И покроются призрачной пылью
забытые книги —
Те, что я не успел написать
или просто прочесть...

ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Учрежденная в 2020 году Ассоциация союзов писателей и издателей — объединение четырех крупнейших союзов писателей и Российского книжного союза (РКС). Председателем АСПИ был избран известный писатель, главный редактор журнала “Юность” Сергей Александрович Шаргунов. Наблюдательным советом АСПИ руководит президент РКС Сергей Вадимович Степашин, а Творческий совет Ассоциации возглавляет Владимир Ильич Толстой, советник президента РФ по вопросам культуры.

Писатели самых разных направлений и взглядов собрались вместе для поддержки современной словесности и литературного процесса. Занятия с начинающими литераторами, помощь писателям в трудной ситуации, создание сети литературных резиденций, творческие командировки писателей — число масштабных проектов АСПИ, охватывающих всю Россию от Калининграда до Чукотки, продолжает расти.

Представляем вам стихи участников двух проектов АСПИ — “Литературные резиденции” и “Мастерские”.

АЛЕКСАНДРА МАЛЫГИНА



ЦИКОРИЕВЫЙ НЕБОСВОД

* * *

Выходишь из больницы, а в руках
Пакет с пижамой, тапками и кружкой,
И снег скрипит кокосовой стружкой,
И вроде смерть осталась в дураках,
Но беспокойно: слишком яркий свет,
Машины, люди, голые деревья,
И сверху, будто ангельские перья,
Летит на землю пепел прошлых лет.

* * *

Придёшь домой, согласишься на кота,
Потеребишь усатого за холку...
Квартира та, а жизнь совсем не та,
А если так, то что от жизни толку?

МАЛЫГИНА Александра Сергеевна родилась в 1987 году в Барнауле. Окончила АлтГУ по специальности “филология”. Работала педагогом дополнительного образования. Отбирала стихи для рубрики “Стихотворчество” в газету “Молодёжь Алтай”, преподавала русский язык как иностранный в Монголии (г. Ховд). Основатель проекта “Чтиво”. Руководитель Совета молодых литераторов Алтайского края. Публиковалась в журналах “Сибирские огни”, “Юность”, “Москва”, “Барнаул”, “Огни Кузбасса”, “День и ночь”, “Алтай” и др. Лауреат барнаульской муниципальной премии им. А. С. Пушкина (2006). Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей России. Живёт в Барнауле.

Заваришь чай, достанешь холодец,
Нарежешь хлеб, уткнешься в зомбоящик,
Посмотришь новости, подумаешь: “Капец!
Здесь только кот живой и настоящий”.
Насыплешь корма с горкой и воды
Отмеришь в чашку щедро из-под крана...
А за окном сквозь звёздные ряды
Выходит хищный месяц из тумана...
Кот благодарно под руку нырнёт
И что-то на кошачьем промурлычет,
Пусть жизнь не та, но кот-то точно тот,
А значит, всё не так уж плохо нынче.

* * *

Цикорий, мальвы, одуванчики.
Июль так щедр на цветы...
А где-то умирают мальчики,
Необычайной красоты.
Не у прудов сидят нарциссами,
Вздыхая не о той любви,
А под дубами, кипарисами
В своей и не своей крови...
Мне очень-очень верить хочется,
Что, несмотря на гарь и дым,
Где перестрелок шум разносится,
И вой сирен неутомим,
Взамен предсмертной окоlesiцы,
Кошмаров про войну и плен
Им снятся ласковые сверстницы
В летучих юбках до колен.
Не смерть в медсестринском халатике,
А жизнь, но кто там разберёт?
Глядят невинные солдатики
В цикориевый небосвод.

* * *

Растёт количество бутылок,
Бог нем и глух.
А ты из плюша и опилок —
Как Винни-Пух.
Листаешь новостную ленту
(Не плачь, медведь),
Ждешь подходящего момента,
Чтоб умереть.
Но смерти ты не интересен
(Увы и ах!),
И только вкрадчивая плесень
Цветёт в углах.
И только лампа вполнекала
Над головой,
И мотылёк кружит устало,
И Бог с тобой.

* * *

Как будто в больничной палате
Открытой оставили дверь,
И доктор в крахмальном халате
Прекрасно нам виден теперь:
С больным говорит между делом,
И в карточку пишет слова,
Чтоб смерть его не разглядела,
Чтоб жизнь разглядела сперва.
И две эти странные гости
Стоят у врача за спиной,
И белый халат — словно мостик
От этой вселенной до той.

ЛЕНА ЧАЙКА



КОГДА ПРОРАСТАЕШЬ У МОРЯ

* * *

Оно
Горькое,
Переливается через борт.
Зимой порт потрескивает,
Покрывается белой коркой,
И можно гулять между островами,
Между населёнными пунктами,
Между рыбаками,
Между лунками,
Как будто по бильярдному полю,
Смотреть на вмёрзшую корюшку,
Дышать солью.

Домой придёшь —
Вольётся через окно,
Надышит в форточку,
Останется в комнате.

ЧАЙКА (КИСЕЛЕВА) Елена Сергеевна родилась и проживает во Владивостоке. Окончила ДВФУ по специальности «Архитектор-дизайнер». Занимается графическим дизайном, иллюстрацией, живописью, литературой. Стихи публиковались в журналах и альманахах: «Литературный Владивосток», «Аврора», «Байкал». Лонг-листёр литературной премии «Лицей» 2021, участница первой Всероссийской литературной мастерской в Москве (семинар К. Сейдаметовой и Е. Мартыновой) и Мастерской молодых писателей в Екатеринбурге, проводимых АСПИ. Автор сборника стихов «А тебе мимо» (2021).

Не выгнать,
Не вытравить,
Не выпрямить край!

Всегда в проёме —
Моё море,
Кошка,
Герань.

* * *

Не морские уверены,
Что море пахнет солью,
Летом и свежим ветром под парусами.

Нет,

Море пахнет перегнившими водорослями
В полосе отлива,
Мёртвыми звёздами, крабами и ежами
После тайфуна,
Море пахнет помётом бакланов
На тёплых скалах, где те вьют гнёзда,
Пахнет плавником,
Закутанным в сети,
Пахнет мазутной плёнкой в порту
И сельдью,
Траленной сейнерами,

А все эти сувениры,
Которые собирают дети:
Перламутр, стекляшки —
Будущий прах песка.

Ракушки — это скелеты.

Дети собирают скелеты
И дарят мамам
На память.

* * *

Чтобы плавать, как рыбка,
И не захлёбываться,
Нужно уметь расслабляться,
Ещё лучше лежать на спине,
А я не умею.

Я иду по воде,

Я иду по воде
В январе,
Когда она каменеет.

* * *

Когда прорастаешь у моря, море становится декорацией.
Бабушка говорит — “Рыбка моя, нырнём на Чайке?”
И это звучит не безумно, а органично.

Взрослеешь, вынимаешь рыбку острым крючком —
Ничего общего:
Безвольное склизкое существо,
Пища засушенная и безмозглая
С серыми плавниками, с глазами, которые не моргают,
И я знаю, какой у них вкус в бульоне
И консистенция,
И я не хочу быть рыбкой!

Я выхожу из моря в серое полотенце,
И бабушка баю-баует “Катюшу”, как мантру,
Вплетая её мне в мокрые косы, втирая в спину.
Груши и яблони расцветают по-девичьи
Каждое послезимье,
Руки бабушки покрываются годовыми кольцами,
Ба готовится, распускает корни в фотоальбомы,
Каётся у икон.

Море из кокона льда вынимает волны,
Порхает вдоль габионовых кладок на Горностае.
Я уже взрослая, угловатая и сухая...
Бабушка в телефоне, любя, окликает “Рыбка?” —
Не отзываюсь, прячу себя в цейтнот.

Море приходит ко мне чернильными вечерами
Сквозь форточный рудимент и мокрит подушку.
Море мне шепчет о том, что случится в мае,
Море мне шепчет — я затыкаю уши!
Если не слушать, страшное не настанет,
Если не верить, страшное не накроет?

Время в отливе прячет в себя живое
И оставляет сырые камни.

Груши и яблони отцветают белёсо-нежным,
Я осторожно ступаю по лепесткам
Следом за фото
В пронзительно-чёрной рамке,
А в голове как мантра мурчит “Катюша”
Плавной мелодией на повторе...

Утром я выхожу на высокий берег,
Утром я выхожу на туманный берег
И падаю рыбкой
В море.

ДИНА ДАБРИШЮТЕ



ПЕЧАЛЬ СВОЮ
ОСТАВЛЮ ВЕТРУ...

ИЗ ЦИКЛА “МЕЖДУГОРОДНЕЕ СООБЩЕНИЕ”

Смотрела в темноту, не зная, что не вижу
Покинутых жилищ и линии столбов.
Я вспоминала снег, который кожи ближе,
Рубиновые ягоды рябиновых кустов,

Как шёл клубами дым морозных разговоров,
Как встал бесхитростный над соснами рассвет...
Смотрела в темноту за окнами вагона,
Я возвращалась в дом, в котором дома нет.

* * *

Ветер охлаждает солнечные лучи.
Волны принуждают камни к терпению.
Соль бережёт ожоги и порезы.

ДАБРИШЮТЕ Дина Пятро родилась в 1989 году в Пскове. Поэт, чтец аудиокниг издательства “Эксмо”, телерадиоведущая, колумнист “Псковской Ленты Новостей”, автор-составитель книги “Псковские народные сказки”. В университете занималась в литературной студии под руководством члена Приёмной комиссии Союза писателей России Александра Бологова. Победитель всероссийской мастерской для молодых авторов “Мир литературы. Новое поколение” (семинар поэзии), лауреат международного поэтического фестиваля “Словенское поле”, финалист Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов “Мицыри”. Участник всероссийского Литфеста имени Михаила Анищенко и др.

Слёзы принуждают сердце к терпению,
размывают суть вещей.
Печаль свою оставлю ветру.

* * *

1

Холодно. Город греется.
Топятся печи, и дым растворяет снег.
Ветрено. Глупо надеяться —
Шапка и плащ не согреют, беги, человек!

2

Здесь на широких улицах
Каждая сосна — сакура, лепестки роняет
Снежные, падают
Пять сантиметров в секунду.

31.08

Дунет ветер в лицо, выжимая случайные слёзы
У случайных прохожих, проезжих и лошадей.
Август вышел. Не греют ни тело, ни душу прогнозы.
Люди окна заклеят и в школу отправят детей.

Солнце в тучу встаёт, а заходит с багровою рожей —
Значит, осенью ветер нагонит в столицу дождей.
Петербург одинокий с утра, мы с ним в этом с рожденья похожи,
У меня — пустота в голове, у него — пустота площадей.

* * *

У любой печали есть год спустя.
Мне никак не дожить до дня, где бы не тосковала,
Не считала потери, воду неся в горстях,
Примеряя чужие следы на перроне вокзала.

И проходит год, а за ним будет новый год,
Я простилась с тобой, но никак не могу расстаться
С эхом слова “люблю”, отдающим болью в живот,
И душистыми гроздьями белых садовых акаций.

Ты — кочующий остров в русле мелкой реки,
Деревянный пустующий дом, страшных сказок полный.
Когда все их забуду, мы станем так далеки,
Что тебя не прибьют ко мне никакие волны.

ЮРИЙ ТАТАРЕНКО



ОТПУСК В СИБИРИ

ДИКАРИ

Прочитана книга — присыпан песком переплёт.
Над соснами коршун в печальных раздумьях завис.
Закат заминирован. Тучей не тычь — звезданёт.
И парусник вволю поплавает мачтами вниз.
Вчера в новостях президент по секрету сказал,
что Чёрное море не чёрное, а новодел...
Разбилась волна — отказали опять тормоза.
Не думай о смерти, когда ты по пояс в воде.

НА БЕРЕГУ

Лежат ключи — никто не подберёт.
Темнеет сталь от солнечного света.
Гоняет ветер волны вперёд,
едва размявшись на сосновых ветках.
Из детской жизни слёзы вычитать
научится трёхлетняя Кристина.
В песок уходит белая мечта:
фата и море трудно совместимы.
Ведро, совок. Неполная семья.

ТАТАРЕНКО Юрий Анатольевич родился в 1973 году в Новосибирске. Поэт, автор четырёх книг стихов. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах "Сибирские огни", "День и ночь", "Байкал", "Южная звезда", "Огни Кузбасса", "Бийский вестник", "Литературная учёба", "Начало века", "Ликбез", "Красная бурда", в "Литературной газете" и др.

И королю не усидеть на троне...
Вот так заводят лето для себя,
а через пару месяцев хоронят.

ОТПУСК В СИБИРИ

Обеднеет июнь
на прощальный концерт соловья.
И прибавится синего
в небе над городом Бердском.
В чемодане моём
вдруг найдётся расчёска твоя.
Ну, а в книжном шкафу —
мемуар об актёре Хабенском.
Деликатно шуршит
на ветру от конфеты фольга.
От моторки безбашенной
волны спасаются бегством.
Станет меньше воды
на моих два широких шага.
И прибавится синего
в море под городом Бердском.
Нестабилен вайфай,
и в сердцах задремал ноутбук.
Всю неделю жара,
и с тарелок сошла позолота.
Вдоль заката и волн
улетит СМСка на юг.
И окрасятся синим
глаза голубые на фото.

ОБСКОЕ МОРЕ

Не ножик в яблоко, а руку в декольте.
“Безумство храбрых” — песня не об этом.
Ты поняла, я не какой-нибудь Вольтер,
что спьяну возомнил себя поэтом.
Не думай, милая, когда не при деньгах.
Свобода тоже стоит мани-мани.
Ручные шишки пусть валяются в ногах,
А мы с тобой на это — ноль вниманья.
Бушуют волны — Речкуновка не Форос,
весь в белых кляксах синий лист тетрадки, —
ответа ищут на один простой вопрос:
“Скажите, как не скурвиться, ребятки?”
Но мы молчим, увы — как лист перед травой.
Закат в песок зароет недовольство...
А рядом сосны шепчут, ищут голос свой.
И вновь — под ветра чутким руководством.

АЛЕКСЕЙ А. ШЕПЕЛЁВ

НЕ МОДА, НО ТАИНСТВО

Андрей Ткачёв. Таинство чтения. — М.: Эксмо; Воскресение, 2020.

Тема литературы — одна из излюбленных тем выступлений известного проповедника и публициста протоиерея Андрея Ткачёва. К примеру, этому посвящено несколько выпусков ток-шоу “Встреча” на телеканале “Спас”, и в конце каждой программы неизменно оказывается, что разговор о полезном чтении, о духовной и художественной словесности не завершён, поскольку поистине неисчерпаем. И вот, наконец, вышла отдельная книга отца Андрея, полностью посвящённая чтению, раскрывающая разные грани этого важнейшего, во многом, как справедливо утверждает автор, непростого и злободневного в наше время вопроса.

Перед нами, скажем сразу, не творение “светского” критика, литературоведа или писателя. Уже знакомство с оглавлением даёт представление о разнообразии тем, соединении литературного и человеческого измерения и о том, как это сделано — серьёзно и увлекательно. Прежде всего, это лаконичные эссе, посвящённые конкретным художникам и их творениям: “Меня сделал Фёдор Достоевский”, “Об Анне Карениной”, “Страсти по Андрею” (об Андрее Тарковском), “Поэзия — это борьба личности за подлинную жизнь” (об Иосифе Бродском), “Кафка. Рабочие тетради”. Наверняка не оставят читателя равнодушным такие интригующие заголовки глав, как “Что читал команданте” или “Как стать человеком-невидимкой (и что будет потом)”. Во-вторых, как и в других сборниках писателя-проповедника, полемические, отсылающие к насущным социальным проблемам, очерки: “Невежество и безразличие”, “Проект “Робинзон” (о США как “цивилизации Робинзона””, “Фрейд для православных” (о Василии Розанове), “Демократия против поэзии: деградация продолжается”, “Библия и газета”. И наконец, третий вектор выражен в коротких “евангельских” главках. Это “дерзкая и наивная” мысль о том, что “что бы ни читал человек, он читает Евангелие” (разделы “Занимайся Словом Бога!”, “Храм и книга” и др.).

Название книги значимо и символично. Чтение для Ткачёва — таинство, нечто высокое, подчас не совсем понятное и неподвластное человеку, синергическое сотворчество его с Творцом с большой буквы. То же самое, и даже, пожалуй, ещё в большей степени, относится и к творческому процессу создания книг.

Казалось бы, об этом написаны горы литературно-критических и литературоведческих работ, целым потоком они публикуются и пишутся и сегодня. Но много ли в современной литературной критике и науке мы найдём подобного отношения к словесному искусству? Автор “Таинства чтения” говорит о создании литературного текста, например, выдающегося романа или поэмы, с необычайным, ставшим нам непривычным пиететом, сравнивая это действие с возведением храма. И эти едва ли не режущие слух слова звучат

не как напыщенный трюизм, а как нечто парадоксальное. Со столь же непривычным пафосом проповедник развивает свою метафору, что для обороноспособности страны деятельность хорошего писателя не менее важна, чем привычное наращивание ракетных комплексов, подлодок и прочего “сверхоружия”. И уж тем более, отмечает он, *“Толстой и Достоевский – большее наше богатство, нежели нефть и газ, поскольку нефть и газ лежат у нас под ногами без нашего труда, а писательский гений вынашивается в недрах народного сознания. Если угодно, это наши опознавательные маркеры, знаки нашего присутствия в мировой культуре”*. Русский язык *“... есть язык особенной культуры, в центре которой – русская литература. В этом его всемирное значение”*.

Первые главы посвящены книгам, прочитанным автором в детстве. Будущий священник описывает своё знакомство – через “обычные”, издававшиеся в советское время книжки – с осколками-цитатами Библии, с христианскими идеями. Конечно же, это были далёкие от религии тексты: роман “Двенадцать стульев”, “Словарь крылатых выражений”. Но после этого поиски молодым человеком первоисточника стали уже неизбежными. И дело тут, по мнению Ткачёва, не только в религиозности, но в вопросе выживания, становления человека. *“В подростковом возрасте нужно читать о путешествиях, пиратах, приключениях. Фенимор Купер, Жюль Верн, Стивенсон... Какая-то невосполнимая потеря угадывается там, где подросток не зачитывается за полночь, не мечтает над книгой, не представляет себя одним из героев”*. Что же произойдёт в этом случае? – задаётся вопросом Ткачёв. Скорее всего, такого человека ждёт печальная участь современного Маугли, который и в зрелом возрасте, не имеющий опыта работы мысли и воображения, не пойдёт к истории, философии, религии. *“А иначе, – предостерегает отец Андрей, – ты не распрощаешься с детством и перетащишь его во взрослую жизнь. Там, во взрослой жизни, ты с запозданием будешь мечтать о приключениях и опасности... Реальным авантюризмом на грани тюрьмы или пролитой крови будет это запоздалое детство, пролезшее во взрослую жизнь”*.

Одним из главных грехов XXI века протоирей Андрей Ткачёв считает... невежество. Это не что иное, как ложное всезнайство “среднего” обывателя, отсутствие вкуса к приобретению знаний, когда человек попросту не хочет знать, потому что ему кажется, что он, как мультяшный Вовка в Тридевятом царстве, и так всё знает. Именно сегодня это непростительный грех, потому что мы живём в информационную эпоху небывало лёгкого доступа к знаниям.

Каким же, по мнению автора книги, должен быть нынешний читатель, писатель? Говоря о христианстве у Достоевского и у Толстого, который, при всех ошибках, “дорос до проповедника”, отец Андрей постулирует нечто, обратное современным тенденциям: *“Если писатель не обслуживает интересы обывателя, то он выходит на более серьёзный уровень”*. Жаль только, что на страницах “Таинства чтения”, как и других своих работ, автор ограничивается лишь теоретическими выкладками и отказывается, “дабы никого не обидеть”, назвать конкретные имена ныне живущих литераторов, разобрать достоинства и недостатки их произведений, ранжировать известных, может быть, назвать имена незаслуженно затёртых литературным процессом писателей “второго ряда”, лучших православных авторов, то есть практически всё то, чем обычно занимается “светская” критика, в основном делая это без лишней деликатности.

Отец Андрей, конечно, “банально” призывает читать, но это не призывы в стиле “читать модно”. Например, он вспоминает “В окопах Сталинграда” Виктора Некрасова, где автор не раз описывает бойцов, между боями читающих обрывки книг в превращённом в пекло осаждённом городе. Сегодня же книга должна быть повсюду: *“... в кармане плаща, на ночном столике, в бардачке автомобиля”*. Но читать, бесспорно, нужно не только газеты, как и смотреть не только балаганные телешоу. А главное – надо ещё осознавать прочитанное и увиденное. Священник обращает внимание на двусоставность вопроса Христа в Евангельской притче о милосердном самарянине: Он спрашивает законника не просто: “Что написано в законе?” – но ещё и: “Как читаешь?” (Лк. 10: 26): *“Мир свежей газеты и мир Библии – это один и тот же мир, только описанный разными языками. Кто читает только газеты, то вряд ли что-то понимает до глубины, а может, и вообще. Но кто читает Писание, а затем просматривает газеты, тот способен (если Бог благословит) понять”*

сегодняшнюю жизнь в контексте больших процессов, обозначенных в вечном Слове".

По мнению Андрея Ткачёва, великая литература, подлинное искусство может служить тем "дорожным знаком", который указывает выход из метафизического кризиса, приводит к вере. В этом смысле показательна рассказанная в книге история об известной картине Уильяма Холмана Ханта "Светоч мира" и о её лубочных подражаниях, "год от году имеющих тенденцию становиться всё слащавее и слащавее". На самом деле, сюжет картины Холмана являет собой аллегорию взаимоотношений Бога и человека. "Христос, — вслед за критиком Дж. Рёскиным пишет Ткачёв, — до сих пор удостоен такого же внимания, как и нищие, стучащиеся в двери, и что самое главное на картине — дом, — это наше сердце, а двери ведут в ту глубину, где живёт наше сокровенное "я". Но воспроизводимая тут и там картинка-фальшивка, кардинально искажающая смысл оригинала, что поделать, также называется словами из Откровения: "Се стою у двери и стучу" (Откр. 3:20). Возможно, человек лишь в том случае услышит этот стук, увидит и узнает Пришедшего, если сам он, живя в сложном мире культуры, сможет отличить подлинник от подделки: на картине, на экране и сцене, и главное — в книге.

НАТАЛИЯ ЕРМЕНКОВА

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО СЛОВО

Ваше Превосходительство Слово // Сборник поэзии, прозы и эссе. / Сост. Н. Ерменкова. — Фараго, 2019.

7 июля 1879 года считается официальной датой установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией. Свой сборник, посвящённый этой дате, составители и члены Союза русскоязычных писателей Болгарии, основанного в 2015 году в Софии, назвали “Ваше Превосходительство Слово”. В этом – выражение глубочайшего уважения к Слово, которое “было в начале”, к нашим славянским языкам – русскому и болгарскому, к писателям и поэтам, в том числе дипломатов по профессии, чьи произведения вошли в книгу, и к огромному числу участников конкурса “Литература – средство дипломатии”, проведённого СРПБ перед выпуском сборника, – представителям более 10 стран мира!

Книга вышла в июне 2019 года – точно к дате 140-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

Открывается она обращениями посла России в Болгарии Анатолия Макарова: “На самом деле нашим связям счёт идёт на столетия... и в этом процессе немалая роль отводится интеллектуалам, людям пера и слова. Именно писатели и поэты, авторы настоящего сборника, помогают русским и болгарам лучше чувствовать друг друга и говорить на одном языке. Именно они делают так, чтобы наши сердца продолжали стучать в унисон”. Вторит ему и посол России Бойко Коцев, когда говорит о двух основных “платформах”, на которых основывается как вся славянская культура, так и 14-вековые отношения Болгарии и России: Кириллица и Православие. При этом традиционно наши два народа называются им братскими.

Братство, скреплённое кровью на полях сражений за Свободу, делает союз обоих народов нерушимым. Роль российских дипломатов, которые ещё до окончания освободительной войны в Болгарии подготавливали почву для создания новой, свободной страны, невозможно преувеличить. Каждый болгарин знает и помнит имена освободителей и основателей болгарской державы: теперь их именами названы улицы, бульвары, площади в больших и малых городах и сёлах Болгарии.

Слово является истинным Послом Мира. Роль писателя, как и дипломата, в жизни общества огромна и ответственна. С помощью Слова передаются важные послания, утверждаются общезначимые ценности, устанавливается взаимоотношения – как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Дипломаты находятся на “передовой политического фронта”, силой

убеждения отстаивая позиции своих стран. Именно Слово объединяет их деятельность с художественным творчеством. Среди писателей есть немало ярких личностей, которые повлияли на устроения целых поколений, акцентировав внимание на самых важных, порой мучительных вопросах человечества. И дипломаты, и писатели – люди творчества, для которых мысль, облечённая в Слово, – единственное и самое острое оружие в борьбе за Мир.

В сборнике представлены произведения писателей и поэтов – дипломатов из России и Болгарии, членов Союза русскоязычных писателей Болгарии, а также наших верных друзей – членов Союза болгарских писателей. Некоторые имена известны во всём мире – это и российские дипломаты Сергей Лавров, Александр Бессмертных, Евгений Примаков, и болгарские писатели, которые также служили Родине на дипломатическом поприще: Богомил Райнов, Анжел Вагенштайн, Никола Инджов, Симеон Радев. Авторы преподносят читателям свои стихи, рассказы и эссе, в которых оригинально, глубоко, порой поновому говорится о том, что связывает русский и болгарский народы через века, столетия и годы (Людмила Писарева – эссе на тему конкурса “Литература – средство дипломатии”; Владимир Красногорский, поэма “За други своя”; Боян Ангелов – цикл стихов “Марш 1878”; Эльвира Божилова, исторические стихи; Наталья Ерменкова – поэтическая подборка о России и Болгарии; Георги Драмбозов, “Баронесса Вревская”; Светлана Светлова-Туриаре – отрывок из книги “Долгий путь к спасению”; Анна Георгиева – эссе о роли России в воссоздании болгарской государственности; Владимир Илиев – с сердечным приветствием к России; Дора Милева – цикл стихов; Нико Стоянов – стихи на русском и болгарском). Не нужно, на наш взгляд, перечислять всех авторов сборника – пусть останется и “неизведанное”, но такие имена, как Анатолий Аврутин, Надежда Кондакова, Матей Шопкин, Анна Данилова, Надя Попова, несомненно, придают ещё больший вес Слову, звучащему со страниц нашего сборника.

Обращаясь к читателю, я хотела бы выразить твёрдую уверенность, что наша книга и в 2019 году родилась не случайно и своевременно: она созрела в умах и сердцах всех нас, её авторов. И сегодня, спустя более трёх лет, и через тридцать лет она будет востребована не только как свидетельство исторической даты и событий, запечатлённых в стихах и прозе, но и как Слово, ведущее к свету. Слово – это Вселенная, у которой нет конца и границ. В наше сложное время мы опять и снова уповаем на Слово как на Посла Мира.

У каждого человека на земле своя миссия. У дипломатов и писателей – это возможность воздействовать на процессы и умы. В этом наша сила и наша ответственность – за сказанное, написанное, донесённое до людей.

ВАШЕ ВЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

Уважаемый Станислав Юрьевич!
Примите самые тёплые поздравления с юбилеем!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сердечного и душевного
тепла и отличного настроения!
Благополучия, мира и добра Вам и Вашим родным!

Министр финансов Калужской области
В. И. Авдеева

*Главному редактору журнала "Наш современник",
Почётному гражданину Калужской области С. Ю. Куняеву*

Уважаемый Станислав Юрьевич!
От имени депутатов Городской Думы города Калуги искренне поздравляю
Вас с юбилеем!

Вся Ваша жизнь и литературное творчество неразрывно связаны с жизнью родной страны. Её уникальная судьба, драматическая история и победы нашли яркое и образное отражение в Ваших стихах и публицистических произведениях.

Калужане гордятся своим талантливым земляком и патриотом, вместе с Вами верят в лучшие идеалы нашего Отечества: нравственность, добро, справедливость.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, неиссякаемой энергии и вдохновения, новых творческих планов и свершений!

С уважением
Глава городского самоуправления города Калуги
Ю. Е. Моисеев

Уважаемый Станислав Юрьевич!
Искренне и от всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш уникальный литературный талант, чувство гармонии, понимание красоты окружающего мира и умение обращаться с русским словом делают Вас поистине знаковой фигурой современной творческой России.

Возглавляемый Вами много лет журнал "Наш современник" стал светочем литературной мысли и средоточием патриотического духа народа нашей страны.

Желаю Вам здоровья, благополучия и счастья, успехов и процветания!

С уважением
президент АО "ГРУППА САФМАР"
М. С. Гуцериев

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем!

Каждый день вашей жизни — творческий труд, приносящий огромный вклад в достояние отечественной и мировой литературы. Ваше слово оказывает влияние на развитие культурного и нравственного потенциала Отечества, укрепление духовности, осознание Веры в свою силу — нравственную и физическую — у вашего читателя. Для каждого из них вы уже классик современности: крылатое «Добро должно быть с кулаками» с удовольствием и гордостью цитируется, как девиз героев нашего времени.

Символические 33 года своей жизни вы посвятили легендарному изданию «Наш современник». За это время журнал снискал заслуженный авторитет на литературном Олимпе, а сформированная вами крепкая авторская команда оказывает влияние на общественно-политическую жизнь страны, на дальнейшее развитие событий, на судьбы людей. Ваше веское печатное слово, как всегда, помогает отстаивать Правду и Справедливость.

Желаю вам крепкого сибирского здоровья, верных друзей, преданных читателей и неиссякаемого источника творчества на долгие годы большой и плодотворной работы!

С уважением
генеральный директор АО «Стройсервис»
Дмитрий Николаевич Николаев

* * *

Жизнь не затихает, словно эхо,
От праздников, трудов и лет.
Улыбка тонкая, как отголосок смеха,
Всё чаще вместо длительных бесед.

Но руки, узловатые от вен,
Зарылись в книг высокой кроне,
Ведь книги — главные друзья твои,
Что не сдаются в обороне.

Как древний маг, ты смотришь на цветы,
На женщин, от которых не остынешь,
И все стихи, которые ещё напишешь ты,
Хотят любви, в тебе живущей ныне.

Ярослав Иванович Васильев,
от имени коллектива АО «Стройсервис»

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Календарь фонда «Возрождение Тобольска» высвечивает выдающееся для меня и всех его работников и соратников событие. Посему — из города Тобольска, столичного по духовной своей сути града Сибирского, спешу поздравить Вас — подвижника и радетеля Государства Российского, чья энергия является образцовой для нас, служит нам примером и помощью в наших издательских и просветительских трудах — с Днём рождения!

О, будь же добродетель та же
И с нею брат её — покой,
Как неизменный часовой,
У сердца вашего на страже;
Да никакой печали тень
Не хмурит тихий свет забавы,
И, проводив весёлый день,
...Поутру встанете вы здоровы.

(Александр Бестужев)

И в следующее утро, и далее, и вековечное число раз! Пусть всегда сбываются Ваши мечты “с их непритворными дарами”, пусть не только дни рождения, но и все другие наполняют Вас и ваших близких радостью, как восходящее солнце — неизменное воплощение прихода Господа Иисуса Христа в мир. Пусть сбудутся все Ваши добрые намерения и помыслы, а в Вашем доме всегда благоденствуют вера, надежда и любовь. Понимаю, что Ваш сегодняшний день, вероятно, заполнен праздничными хлопотами, которые Вы, говоря без лести, заслужили своими деяниями, и, наверное, мне, как заметил всё тот же Бестужев из сибирских далей, уже

“...унять пора
Болтливость моего пера,
Но знайте: это всё с начала
По пунктам истина скрепляла”.

Здоровья Вам и всем Вашим близким, долгих лет благословенной жизни!
Благополучия, оптимизма, реализации всех намеченных планов!
Ангела Хранителя!

От всех фондовцев “Возрождения Тобольска”
Сердечно Ваш
Аркадий Елфимов

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Не зря сказано: в России надо жить долго. И не только для того, чтобы сделать больше, но и чтоб время подтвердило правильность и важность сделанного. В дни сурового испытания для русского мира на прочность новую остроту актуальности обретает написанное Вами в разные годы, а особенно в годы сомнений и смуты. Многое из печатно сказанного было мужественно и с рискованной дерзостью подтверждено Вами наглядно — несгибаемой позицией, принципиальностью взглядов да и конкретными поступками. Вы своими пронзительно искренними стихами и атакующей публицистикой, как личным примером, помогли читателям в выборе духовных критериев и нравственных ориентиров. Журнал “Наш современник” за годы Вашего руководства стал воистину главным журналом писателей России, разделяющих его и Вашу глубоко патриотическую позицию.

В день Вашего славного юбилея повторю: “В России надо жить долго” — с самым сердечным пожеланием долгих лет такой же творческой жизни!

Новых сил для новых свершений на пути русского возрождения во имя обновления и укрепления России!

Есть даты, по крепости равные стали
и цветом, как золото хлебных полей,
а цифры арабские русскими стали,
когда обозначили Ваш юбилей.

Валерий Фокин
Вятка

Уважаемый, дорогой Станислав Юрьевич!

Поздравляем Вас с юбилеем! От всей души желаем Вам крепкого сибирского здоровья, здоровья и ещё здоровья!!!

Спасибо Вам за русское слово, за национальную правду, за неиссякаемый патриотизм, за литературу!

Ждём “Наш современник”!

С уважением
читатели Библиотеки им. В. М. Шукшина,
с. Сростки

Дорогой Станислав Юрьевич!

Решила написать Вам по старинке — обычным письмом! К цифре я так и не навыкла, и не люблю её! Знаю, что письмо опоздает ко дню Вашего рождения: я слишком долго искала обычный почтовый конверт. Но ведь юбилей, по правилам, длится год.

И всё же, дорогуший Вы наш Станислав Юрьевич! Раб Божий во святом крещении Стахий! С юбилеем Вас — прекрасной вершиной жизни! В России надо жить долго! Эта истина неоспорима, так же неоспорима Ваша уникальная творческая судьба. Ещё рано подводить итоги, но в России мало кто может похвалиться таким обилием содеянного! Удивительная Ваша поэзия — мускулистая, точная, крупнозернистая, как отборный здоровый злак! Журнал, который стоит многих университетов. Публицистика — зеркало общественной борьбы и мысли. В ней бьётся судьбинное сердце России!

Господь приложил к Вашему редкостному таланту непобедимые бойцовские качества. Они и помогли Вам не сломиться в духовной борьбе за Отечество. Будет Вам чем отчитаться перед Всевышним. Стахий в переводе с греческого — колос. Многих Вы окормили полным колосом своего могучего дара!

Духовных Вам сил, дорогой Наш Современник! Храни Вас Господь и Матерь Божия.

Поклон Вашей неутомимой супруге!

Вал. Сидоренко

Иркутск

Великий наш современник!

Здравствуйте дорогой и широкоуважаемый Станислав Юрьевич!

От всего сердца, от всей души поздравляю Вас с юбилейной датой по благотворно пройденному жизненному пути!

Прологом к литературной деятельности служили происходившие события, а эпилогом — талантливое творчество писателя с изданием книг!

Каждый человек, продвигаясь по своему жизненному пути, терпеливо переносит уготованное и ниспосланное ему судьбой. Много было увидено и пережито, в произведениях изложена оценка смысла происходившего умысла.

Как же не вспомнить **Екклесиаста Библейского времени**, который писал, что **“и предал я сердце моё тому, чтобы исследовать и испытать мудрость всё, что делается под небом: это тяжёлое занятие дал Бог...”** (Еккл., 1:13). И **“что делается под небом”** изложено в **ВАШИХ** книгах!

Таково **“Бытие”** — признание **“ВОСПОМИНАНИЯ”**, пройденного жизненного пути, и **“Стас уполномочен заявить...”**:

“Я имею честь принадлежать к той породе русских людей, о которых Аллен Даллес, изложивший в конце Второй мировой войны программу планомерного уничтожения России и русского народа, с высокомерием писал: “И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способы оболгать и объявить отбросами общества”. И комплимент, и приговор одновременно...” (стр. 5; **ВОСПОМИНАНИЯ**, Куняев С. Ю. 2016). Вот она духовно-нравственная основа жизни талантливого писателя — мудрого человека!

Я очень благодарен судьбе за то, что я имею честь быть в дружеских отношениях с Вами, человеком, не свернувшим с пути правого слова и оценённым **Патриархом Православия**.

Ваша юбилейная дата займёт достойное место в памяти как писателей, так и читателей, как литературного, так и человеческого **“Дневника третьего тысячелетия”!**

* * *

На пройденном пути вся жизнь была богата!

Ведь что ни говори — а за спиной года!

И вот теперь взошла такая жизни дата:

И всё, что было, — помнится всегда.

Пусть будет радость в этом юбилее!
И жизнь продлится, как в былые дни!
А жизни путь — он радостью довлеет,
А годы — в здравии проходят пусть они.

А прошлое — пусть ныне память согревает, —
Его уже ничем не надо измерять,
Умом понять, да только разум заставляет,
Что совесть, честь не вольно ложью подменять.

Заметно годы журавлями пролетели...
Отечество — Россия — вот она судьба.
Оставив след — виски попутно поседели...
Но были славными ушедшие года!

От всей души, от всего своего сердца поздравляю Вас с Юбилейным Днём Рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, творчески-плодотворного, долголетия! Пусть Ваше творческое имя будет путеводной звездой для сегодняшней и будущей литературы в это текущее непростое время!

Так дай Вам Бог крепкого-крепкого здоровья и многая-многая лета!

С почтительным уважением к Вам
и наилучшими пожеланиями **А. О. Шерник**,
Казахстан, 31.10.2022 г.
Алма-Ата

В ЖИЗНИ РАЗ БЫВАЕТ 90 ЛЕТ!

27 ноября 2022 года

Дорогой Станислав Юрьевич, родная душа наша, русская, здравствуйте на все четыре стороны!

Представляем, какие волнения и суета сейчас в Вашем доме. Светлое, радостное событие объединило сегодня и нас, советских людей Киева, в едином порыве поздравить Вас с прекрасным юбилеем. Для мужчины 90 лет — это только жизнь начинается. Мы так рады: Вы живы, здоровы, и на фото — прекрасно выглядите!

А Ваше детище — “Наш современник” в надежных руках Сергея Станиславовича!

Галина Савченко
г. Киев

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием! Вы много лет занимаетесь писательской деятельностью. Ваше творчество сумело достучаться до сердец многих читателей. На протяжении долгих лет вы возглавляет журнал “Наш современник”, который, вне всяких сомнений, является одним из лучших литературных изданий страны. Мы благодарны за содействие, которое Вы оказываете нашим поэтам и прозаикам, чьи произведения выходят на страницах Вашего журнала.

От себя лично и от всего писательского сообщества Чеченской Республики поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам долгих лет в здравии и благополучии. Неиссякаемого творческого вдохновения и новых побед на литературном поприще.

С уважением
председатель СП ЧР
Аламахад Ельсаев

Станислав Юрьевич, дорогой Вы наш человек, с юбилеем!
Для меня Вы – постоянный пример и опора в работе, в действенной любви к нашей Родине. Благодарю Бога, что довелось встретиться и поговорить. Здоровья Вам, держитесь. На таких, как Вы, Станислав Юрьевич, стоит и всегда будет стоять Русская земля. Кланяюсь Вам в пояс.

Э. Данова,
г. Кинешма

Уважаемый Станислав Юрьевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилейным днём рождения!

В своей жизни Вы встречались с разными людьми и сумели увидеть в каждом из них самое главное – их отношение к судьбе России. В Вашей книге воспоминаний "Поэзия. Судьба. Россия" Вы раскрыли тайны судьбы многих поэтов, в том числе и поэта Николая Рубцова, написав о его поэзии самыми искренними и душевными словами.

Вы назвали его "народным поэтом", откликнулись на его зов – побывать у него на родине, запечатлев свои впечатления и в прозе, и в стихах. Вы побывали также уже после смерти поэта на высоком берегу реки Сухоны, в городе Тотьме, где открывали памятник Николаю Рубцову в 1986 году, о котором автор памятника, скульптор Вячеслав Клыков сказал, что на Руси появилось "ещё одно священное место". А в Вологде, побывав у памятника Рубцова, вложили в его "холодные бронзовые руки" охапку цветов, которую подарили школьники и друзья Николая Рубцова, его земляки.

Спасибо Вам за это трепетное отношение к Николаю Рубцову, в котором Вы увидели одного из самых верных сыновей России!

Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и творческих сил для продолжения так значимой для нас всех Вашей жизни!

С уважением и наилучшими пожеланиями
Рубцова Елена Николаевна, дочь поэта Николая Рубцова,
Федунова Любовь Петровна, руководитель Рубцовского центра
г. Санкт-Петербурга, член Союза писателей России.

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Правление Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России поздравляет Вас, мужественного борца за Русский мир, с юбилеем.

Желаем Вам по-прежнему твёрдо стоять на позициях правды и справедливости. Крепкого Вам здоровья и счастья.

Борис Орлов

Здравствуйте, дорогой Станислав Юрьевич. С юбилеем Вас! С богатырским юбилеем сильного русского человека! Спасибо Вам за стихи, за книги – сколько горячих для ума и сердца часов проведено за ними!.. Долгих Вам лет, а делам Вашим – бессмертия и достойных наследников. И всем, кого Вы любите, – здоровья и долголетия. Жму Вашу руку.

С уважением
Виктория Синюк
Минск

Дорогой Станислав Юрьевич!

Поздравляю Вас, немеркнущую звезду отечественной литературы, с сиянием 90-летия, которая горит ярко, молодо, не мигая. Наше дело правое. Мы непременно победим, ещё и потому, что древко победы уверенно держите в своих руках Вы и Ваши друзья. Тяните эту славную лямку хотя бы до 100 лет!

Отец и сын Ключниковы

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

ВОКРУГ БОЛЬШИХ ПОЭТОВ

... Возможно, это был 1966 год, молодых поэтов собрали в горкоме комсомола (Колпачный пер., д. 5), и перед ними должен был выступить сам Евгений Евтушенко со своими впечатлениями о поездке во Вьетнам, где шла война. Начал он свою речь после паузы, во время которой он то ли изучал, то ли приручал аудиторию:

“Вы, конечно, спросите, почему я до сих пор не был во Вьетнаме...” Ещё пауза, чтобы слушатели успели проникнуться неизбежностью этого вопроса: действительно, почему? И далее: “Одна великая держава...”

Ещё одна пауза, подчёркивающая значительность пока ещё не сказанного: “Одна великая держава... очень не хотела, чтобы я пролетал над ней на самолёте...”

Слушатели должны были догадаться, что речь шла о Китае и о непростых отношениях великого человека с этой великой державой. Как могли проследить дотошные китайцы, не летит ли в небе над ними неугодный им персонаж, осталось загадкой.

Далее мы узнали, что летел поэт через зону, контролируемую американцами, и мог наблюдать, как американские лётчики по тревоге покидали бар с наблюдающим за ними поэтом. Он с большой кинематографической точностью описал жестами и голосом, как они, словно в замедленной съёмке, не допив свой виски, одной рукой отстраняют от себя бокал, тогда как другая рука уже летит куда-то вперёд, опережая, видимо, будущий реальный взлёт ведомых ими бомбардировщиков. Описано это было с любовью к описанию этой картины.

Затем наш оратор попадает уже к “нашим” вьетнамцам. Трогательно было описание кота, которого он пытался погладить и при этом обнаружил, что тот необычайно лёгок от голода. Точно было пересказано положение самих вьетнамцев: “Мы выбились из нищеты в бедность...”

Теперь главное. Главным было ожидание того момента, когда начнётся очередная бомбардировка. Ему очень хотелось пережить, будет ли ему самому страшно. И тут снова длительная пауза. “Но ведь американцы...”

В голосе звучало что-то среднее между сожалением и гордостью.

“Но ведь американцы знали, что я нахожусь во Вьетнаме... Два дня Вьетнам не бомбили...”

Меня тогда удивила сдержанная реакция зала. А в век интернета на это моё изложение кто-то откликнулся так: “Так ведут себя только настоящие поэты!!!”.

Я было хотел использовать этот эпизод в своём сочинении “Башмак Эмпедокла”, но я пытался там избежать очевидных параллелей с неким прототипом. Упомянул я эту речь в немецкой газете “Франкфуртер Альгемайне Цайтунг” в статье, посвящённой шестидесятилетию Евтушенко. Когда мне предложили

написать эту юбилейную статью, я тут же заявил, что мы с ним – “враги” (это он сам так меня назвал, не я первый), но тут редактор Йене Йессен только обрадовался: тем более интересно. Интересно когда-нибудь сделать обратный перевод этой моей статьи, кажется, 1992 года.

Когда наш общий друг немецкий культуртрегер Михель Гайсмайер рассказал об этой моей статье самому Евтушенко, тот с досадой воскликнул: “Почему именно этот?!” На что ему ехидный Гайсмайер ответил: “Знаешь, Женя, в мире не так много специалистов по Евтушенко!” (Что не значит, будто я себя таковым признаю. Есть же книга о Евтушенко в серии “Жизнь замечательных людей”, написанная поэтом Ильёй Фаликовым. Я её не читал, хотя появление подобной книги мною было предсказано в “Башмаке Эмпедокла” ещё в 1994 году).

... Год, видимо, 63-й, Андрей Вознесенский выступает у нас в Инязе. Актёрский зал забит до отказа. Мы как члены литературного объединения “Фотон” теснимся за сценой. Тут же и сам Вознесенский. Я его спросил, не помню, о ком, возможно о каком-то ещё поэте, и услышал ответ: “Да, это такой чайник...”

Мой однокашник Борис Хлебников, будущий заведомо прозы “Иностранной литературы” и лауреат премии Жуковского, он тогда писал стихи и, как и я, был привлечён Вячеславом Всеволодовичем Ивановым к занятиям поэтикой. Он сочинил курсовую работу о стихах Вознесенского, исходя из неких положений модного и обязательного у нас (отделение математической лингвистики и машинного перевода!) структурализма. Суть примерно такая: образ у Вознесенского строится как некий объём и некий жидкий его наполнитель. Этому объёму свойственно опорожняться. Пример: “Дочка твоя трёхлетняя / писает по биссектриске...” и т. д.

Сидят три девы-стеклодувши
с шестами, полыми внутри.
Их выдуваемые души
горят, как бычьи пузыри...

...мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено...

Далее по Фрейду делается вывод о склонности автора к уретральной эротике.

Эту работу в Доме литераторов я показал Григорию Михайловичу Левину, поэту-энтузиасту, руководителю легендарной “Магистральной”. Он тут же меня поволок к Вознесенскому, который сидел в предбаннике у Пёстрого зала. Я упирался, как мог, никого желая общаться с последним, тем более на эту тему, у меня не было. Но Левин восторженно всё доложил за меня. Тот ответил: “Да, знаю, есть такой чайник, обо мне пишет...”

Время шло, приходилось даже выступать вместе (коллективные вечера поэзии). В октябре 1975 года вышла в “Вопросах литературы” моя статья “Поэзия в свете информационного взрыва”. Это была длительная дискуссия, зам главного редактора Евгений Осетров говорил, что статья прошла в печать не просто. Появилась она у меня так. Журнал “Литературное обозрение” вёл дискуссию на тему “НТР (научно-техническая революция) и литература”. Для неё я и написал некоторые рассуждения, но поучилось очень длинно, и собственно критическая часть, касающаяся развития средств массовой коммуникации и их влияния на словесность, как-то выпадала из темы. Моя статья вышла, но ничего дискуссионного в ней не осталось. Дискуссионная часть и была развита в новую статью. Приведу лишь один абзац, где стихи о смерти я определяю как **рекламу** некоторых модных тогда заграничных (валютных) вещичек (критик Алла Марченко затем описывала “вещизм” Вознесенского как положительный момент его поэтики):

“Вынем некоторые куски “мозаики” из стихотворения “Сергею Дрофенко”. “Серёжа – опоздали лекари!” Констатирующее (факт) предложение ещё

не несёт в себе никакого замысла, в отличие, скажем, от гневного зачина в лермонтовской “Смерти поэта” или острожно-иронического в стихах Маяковского “Сергею Есенину”. “Серёжа – не закуришь больше **“Винстона”**”. Здесь в якобы поэтический текст вмонтирована рекламная реалия, подобное же находим в “Реквиеме оптимистическом...” (всё тот же А. Вознесенский): “Купил в **валютке** шарф цветной, да не походишь”, или: “За упокой Семёнова Владимира / коленопреклонённая братва, / разгладивши **битловки**, заводила / его потусторонние слова”.

Дальше: “Ещё во вторник, кукарекая, / я сквозь окно тебя высвистывал...” Не странно видеть на одной газетной странице рядом с некрологом рекламу и чуть поодаль – “атаки хоккея” с реакцией болельщиков – свистом, но странно “высвистывание” в стихах о смерти (подобное же находим и в стихах “Похороны Кирсанова”: “Прощайте, Семён Исаакович! Фьюить!”).

Меня потом обвиняли в издевательствах над памятью Серёжи Дрофенко. Но в строках, приведённых выше, не видели никакого издевательства, умилялись, сочувствовали... Такова аберрация восприятия.

Редакции тогда следили за тем, кого, когда и “как” можно задевать. Отвергли в “Литгазете” мою попытку откликнуться на поэму Евтушенко “Мама и нейтронная бомба”, которую автор выдавал за верлибр, я же пытался высказать мнение, что она вообще вряд ли относится к художественной литературе. Семейная хроника внутри хроники газетной. Мне тогда объяснили, что ничего отрицательного об этом сочинении публиковать не будут, так как эта поэма уже выдвинута на Государственную премию, и она её получит.

О том, как я пришёл к критике. Я написал с середины 1960-х довольно много рецензий на книги, вышедшие в странах немецкого языка, был тогда весьма полезный журнал “Современная литература за рубежом”. К стати, тогда мне удалось что-то положительное впервые сказать о Гюнтере Грассе, которого у нас тогда полагали антисоветчиком.

Семинар Бориса Слуцкого (совещание молодых писателей, 1970 год). Кто там был? Татьяна Глушкова, Надежда Мальцева, Владимир Леванский, Вадим Черняк, Сева Лессиг, Егор Самченко, Саша Величанский, Владимир Смолдырев... *Иных уж нет.* От многих что-то осталось. Один из самых удачных переводов из Пауля Целана – у Леванского: “Париж, кораблик, в рюмке встал на якорь...” Или его же образцовое из Иоханнеса Бобровского “Деревенская музыка”:

Еду в путь последний свой
с непокрытой головой,
на дубовом челноке,
стебли руты в кулаке...

Всеволод Лессиг едва ли не с единственной книжкой: “Саблезубые пляшут твист, не застигнутые ледниками...” Ночной сторож Величанский, выступившая ритм ладонями по столу, почти пел “Под музыку Вивальди”, кажется, уже тогда эту песню пели Никитины, ещё не называя автора. Мы там должны были обсуждать стихи друг друга. К Слуцкому все относились с уважением. Но я о нём уже успел прочитать у академика В. В. Виноградова, как он вскользь удивился грамматической неправильности в его весьма знаменитом стихотворении: “Лошади умеют плавать. Но нехорошо, недалеко...” Сказано почти по-немецки: Я умею недалеко плавать. Но стихи нашли читателя, гибель “рыжих” лошадей в море впечатляла больше, чем обычная гибель людей. Так нищим с собаками подают больше, чем одиноким нищим.

Мне Слуцкий веско заявил: “Вы хорошо разбираете стихи, вам надо писать критику, вас тогда будут бояться и начнут печатать...” Слуцкий был большим стратегом литературных баталий. В Союз писателей он рекомендовал, пожалуй, только самого слабого из нас – Егора Самченко. “Живут навтыжку курсанты”, – / сказал стремительно отец...”

Первым, кто “испугался” моей критики, был Слуцкий. Когда его спросили о моей статье, он заметил, памятуя о своём спортивном прошлом: “В критике Куприянов пока работает в весе пера...” Мне это высказывание понравилось. Какова метафора: вес пера! Во второй раз, зная о моей учёбе в Военно-морском училище в Ленинграде, Слуцкий заявил: “Куприянов учился в военном училище, он переносит командные методы в литературу”. Надо

упомануть, что семинаристов он выбирал сам, каждого приглашал к себе в свой деревянный дом и долго и дотошно расспрашивал обо всём. Некоторым, знающим языки, предлагал делать для него подстрочники. Но не мне. Тогда в Библиотеке мировой литературы готовился том Брехта. Слуцкий пришёл в “Худлит” и приказал: Я сейчас изучаю немецкий. Вы делаете Брехта. Дайте мне тысячу строк”. На нашем семинаре он поведал: “Мы с Куприяновым перевели Брехта”. Перевёл он хорошо, особенно некоторые зонги для “Трёхгрошовой оперы”.

В “Комсомольской правде” решили напечатать мои стихи, вместе со стихами Самченко. Слуцкий предпослал публикации врезку, где назвал нас “двуязычными”. Самченко был по профессии психиатр, психику имел соответствующую. Обо мне Слуцкий сообщил, что я владею всеми европейскими языками и соединяю манеру Брехта с русской традицией. С последним можно согласиться.

Тем временем подошла моя очередь вступать в Союз писателей. Это могло произойти чуть раньше, но не случилось. В 1975 году меня пригласили – неофициально – на замечательный, знаменитый тогда фестиваль – Варшавскую поэтическую осень. Была и наша официальная делегация, которая (кроме Вильгельма Левика, который приехал получать премию за переводы Мицкевича) меня старательно сторонилась. Левик жаловался на главу делегации, с которым его поселили в одном номере. “Не понимаю, – сетовал Вильгельм Вениаминович, – я что ни скажу в номере, он тут же: “Тише! Тише!” Глава делегации был знаменит тем, что он некогда “брал Варшаву”.

Когда я вернулся, мне объявил Лев Владимирович Гинзбург (один из моих рекомендателей, ещё были Римма Казакова и Евгений Осетров), что мой приём в Союз откладывается в связи с тем, что я в Польше “имел нездоровый успех”.

На приёмной комиссии председательствовал Слуцкий. Вспоминаю каламбур Бурича (Бур – бур, сказал бы покойный Женя Харитонов): “Нас всех подстерегает Слуцкий”. Согласно протоколу, меня он представил так: “Куприянов – поемист и стиховед. Он делает себе карьеру тем, что топчет ногами беззащитного Вознесенского, тогда как сам является эпигоном Брехта и маленьким Вознесенским...” Я был близок к провалу. Слуцкому возразил Вадим Кожинов: какой же Вознесенский беззащитный, он днюет и ночует в коридорах ЦК партии. К тому же Куприянов критиковал и Роберта Рождественского, который, как известно, секретарь Союза... Затем выступил литературовед Томашевский и напомнил, что Куприянова принимают как переводчика. “Ну, против переводчика я не возражаю”, – согласился Слуцкий. Через день он объявил группе молодых поэтов в Центральном доме литераторов: “Вчера я принял в союз Вячеслава Куприянова”.

В новогоднем номере “Литгазеты” обычно опрашивали ведущих писателей, что им понравилось из публикаций ушедшего года. Евгений Винокуров (шёл 1976 год) назвал мою статью в “Вопросах литературы”. На следующий день после выхода газеты Евгений Михайлович позвонил мне и взволнованно сообщил, что в пять утра его разбудил “беззащитный” Вознесенский и стал оратор, что он больше не подаст ему руки, как он решился написать такое, он что, не знает, что Куприянов – “человек, закупленный черносотенцами”! И тут же – типичный Винокуров! – спросил меня: “Вы что, там его сильно приложили? Ведь я статьи-то не читал!”

Позже Винокуров не раз возвращался к этой теме. Когда он “сидел на поэзии” в “Новом мире”, я заходил к нему, хотя он меня так и не напечатал (впервые там меня “пробил” Олег Чухонцев). Разговор сразу начинался о верлибре. Винокуров долго патетически что-то говорил о потоке сознания и ещё о чём-то удивительном, стоящий рядом с ним его заместитель, поэт огромного роста, выслушав всё это, откликнулся: “Значит, получается, чем больше поэт шизофреник, тем лучше у него получаются верлибры...” Винокуров сочувственно посмотрел на него снизу вверх из своего кресла, выставил свой левый мизинец и подчеркнул его ноготь большим пальцем правой руки: “У тебя ума-то вот с мизинец, как ты можешь понять, что такое верлибр!” Вспоминаю этот разговор, когда и сегодня читаю критиков верлибра.

Троицу Евтушенко-Вознесенский-Рождественский поэт Винокуров страстно ненавидел. Себя же считал поэтом-философом, критики подтверждали. Однажды, рассказывал он, плыл на теплоходе вместе с поэтом Ваншенкиным

и по какому-то поводу сказал ему: “Ты, брат, в стихах не философ!” Ваншенкин бросился его душить...

Итак, троица. Мне они казались, прежде всего, любопытным предметом рассмотрения, разными ипостасями массового коммуниканта, так или иначе, но умело использующего актуальность события, данного через сообщения в средствах связи. Это особое умение “внедрить” себя в тело “чужого” события так, как будто ты не только его участник, но и сам автор, мало того, событие это (землетрясение, война, конец света) для того и произошло, чтобы ты мог его вину взять на себя с полной безопасностью для собственной жизни. Естественно, таких фигур не может быть много, как не может быть много дикторов, пусть по-разному, но озвучивающих одно и то же событие. И читатель благоговееет. Винокуров ненавидел их, но боялся. “Давайте, — говорил он мне — напишем о них вместе разгромную статью, а вы один подпишете...” Ну. до этого не дошло. Я сам писал и сам подписывал.

После моего выступления в “Вопросах литературы” страшно был разозлён критик Александр Михайлов. Он как член редколлегии читал статью и пропустил её, не оценив последствий. Скорее всего, ему досталось от Вознесенского больше, чем Винокурову. Мне он злобно сказал: “Вы играете краплёными!” Я был далёк от карточной игры и не сразу понял, что бы это могло значить. У Михайлова я тоже побывал на одном из семинаров “молодых”. Михайлов был одним из апологетов упомянутой троицы, считая их необходимыми литературе новаторами. Мой верлибр он не очень принимал, на семинаре меня защищал Володя Цыбин, к новаторам не относящийся. Ехидный Вадим Кожинов объяснил мне, что с Михайловым всё просто, он вепс, есть такая народность *на севере... диком*, вот он попал вдруг в столицу и увидел в Вознесенском и пр. то, что надо считать европейской культурой.

С лёгкой руки того же Вадима Кожинова меня отправили на совещание молодых критиков в Дубулты. Был там Гога Анджапаридзе, пожалуй, сделавший самую выдающуюся карьеру, вплоть до директора издательства “Художественная литература”. Гога долго вспоминал наше фиаско у латышских дам, и это несмотря на мою заливчатскую шляпу, купленную в Польше на гонорар великого Роберта Грейвза. Великий Грейвз получил в Варшаве огромный гонорар в золотых за свой труд по мифологии — “Белую богиню”. Не зная, что с ним делать, он купил ещё мне синий костюм, в котором я проходил свои лучшие годы. Да, это всё тот же злополучный фестиваль, мой первый международный и самый, пожалуй, яркий. Мы ехали в автобусе в Железову Волю на родину Шопена. “Шопен, Шопен, при чём здесь Шопен, — сказал Грейвз своей жене Берил, — ведь мы же в Румынии...” — “Да мы уже давно в Польше, Роберт”, — ответила Берил. “Ах, в Польше...” Я редко пишу стихи по случаю, но Роберу Грейвзу посвятил это:

Роберт Грейвз, старый английский поэт,
В гостинице “Европейская” в Варшаве
Ногой с размаху достаёт дверную притолоку
И говорит мне:

— А ты так можешь?
У нас в России
Таких старых поэтов нет,
Что могли бы ногой с размаху
И сказать молодому поэту:
— А ты?..

Поэт у нас в России
Может сказать молодому поэту:
— Ты так тоже сможешь,
Тоже станешь членом Союза.

В России мало кто из поэтов
Доживает до старости.

Был один, да и тот
Сказал Пушкину
Явную чепуху:
— Вот кто заменит Державина!

Варшава, 1975

Ещё кстати — через Роберта Грейвза и его друга Сола Беллоу я впервые был опубликован на английском в журнале “Modern poetry in translation”, тогда он выходил в США, в Айове. А переводчица тех стихов Памела Дэвидсон ныне заведует кафедрой славистики в Лондонском университете.

В Дубултах предполагалось обсуждение моей статьи, иначе зачем бы я туда поехал. Обсуждение почему-то откладывалось, наконец, мне доложили, что где-то в верхах в Москве это обсуждение запретили.

Утверждение Слуцкого, что меня будут публиковать, убоявшись как критика, не сбылось. Был разговор в журнале “Юность” в кабинете Андрея Дементьева. Он прямо так и сказал: “Как вы смели такое написать о самом великом поэте всех времён и народов!” Так и сказал. Я не сдержался и на гиперболу ответил вряд ли корректно. Зря так ответил. Не с точки зрения дипломатии, а с точки зрения обыкновенного приличия, да и объективности ради. Дементьев на это ответил, что меня здесь не только печатать не будут, но даже не будут рассматривать подобную возможность. Помирились с Дементьевым только через несколько лет, он меня и напечатал в “Юности”. Да, в “Юности” могли напечатать и раньше, но я был уже тогда с бородой, и фотограф журнала сказал, что Борис Полевой никого с бородой не печатает. И правда, снял вместе с фотографией.

Наиболее живо отреагировал на мою статью Евтушенко. При первом же столкновении в ЦДЛ он тут же стал витиевато возмущаться: как же так, ведь это же он первый обрубил щупальца той гидре, которая опутывала всех нас... Не помню, какой ещё гидре, кажется, гидре сталинизма. Я пытался оправдываться, что думал и писал вовсе не о гидре, а о структуре текста. Тут Евтушенко возмутился ещё больше: “Но как вы могли поставить моё имя рядом с именем Роберта Рождественского!”

Через пару дней, увидев Евтушенко в очереди в том же буфете ЦДЛ, я громко его поприветствовал: “Здравствуй, Роберт!” Сквозь зубы он ответил гневно: “Ваш сальеризм вас когда-нибудь погубит!”

Что же касается самого Роберта, с ним я столкнулся только однажды, уже лет через десять после этой (и прочих!) статьи. Гостем Союза писателей был знаменитый славист Вольфганг Казак, поддерживавший наших диссидентов и сделавший много для публикации запрещённых советской властью сочинений (неизвестный Платонов, неизвестный Булгаков, поэт Оболдуев и так далее, вплоть до Вани Ахметьева). Казака должен был принимать сам Рождественский, и в поисках германистов нашли как раз и меня. В беседе я почти не принимал участия, но когда всё завершилось, Роберт вдруг обратился ко мне: “У вас, может быть, тоже есть ко мне какие-нибудь вопросы?” У меня как раз было приглашение в ГДР, а он курировал Иностранную комиссию, которая меня не выпускала “за неимением денег”. Так мне тогда и сказали (со вздохом) — вот выдали Вознесенскому тысячу долларов на поездку в Японию. Я никак не мог объяснить, что денег мне не надо, мне там гонорар заплатят. Это я и изложил Рождественскому. “А, раз денег вам не надо, так поезжайте!” — он даже обрадовался и тут же позвонил, кому положено, и я поехал.

С Казаком я тогда тоже договорился, он пригласил меня выступить у него в Кёльнском университете. Но моё присутствие на приёме у Рождественского на Казака произвело скорее негативное впечатление. Он принял меня за лицо, близкое к официальным. Когда я попал в Кёльн на кафедру профессора Казака, мне вспомнилось моё выступление в Литературном институте у профессора Долматовского. Я там тоже должен был говорить о верлибре, и меня уже предупредили, что Долматовский — а это была инициатива студентов — сказал: “Хорошо. Мы дадим ему бой!” Чтобы как-то обмануть противника, я начал с того, что ещё в начале века против свободного стиха выступала “махровая антисоветчица Зинаида Гиппиус”. После этого (и после моего чтения) Долматовский заявил, что свободным стихом пишут “прежде всего, в тюрьме”. Он рассказал, как он во время войны бежал из немецкого плена и всю дорогу со-

чинял поэму верлибром. Но когда он добрался к своим, то он переписал всё соответственно уже в рифму. Однако найдутся у него и сейчас верлибры. И начал читать. Когда он закончил, я сказал: “Дактиль”. — “Что такое” — не понял Долматовский. “Дактиль, — сказал я, — трёхсложный размер с ударением на первом слоге”.

В плену у немецкого профессора Казака я не знал, какой тактики придерживаться. Его ассистенты и студенты отнеслись к верлибру (к теории, а не к практике, стихов они обычно не понимают никаких) менее снисходительно, чем Долматовский. Как-то странно были настроены, хотя и не “дали боя”. Должен сказать, что это выступление для меня осталось в Германии, скорее, исключением. Казак упоминал в своих обзорах мои книги, вышедшие на немецком, с пренебрежением. Есть у меня верлибр, написанный давно, где я играл цифрами, чтобы привести мысль к 37 году: “без 37-го не было бы 41-го”. Казак... обошелся только первой строчкой: “Куприянов делает такие открытия: “Без одного не было бы двух”. Прав был Толя Ким, которого Казак переводил на немецкий, когда он сказал, что стихов тот совсем не понимает.

Последний раз я видел Казака в православной церкви в Мюнхене. Он вдруг перешёл в Православие. Уже закончил свою службу мой знакомый диакон, вместе с которым я пришёл в церковь, а человек, похожий на Казака, продолжал усердно молиться. Наконец я смог подойти к нему. Действительно, Казак! Он сказал, что сейчас он едет с монахами в монастырь в Альпах. Я поблагодарил его за то, что он выпустил книгу Вани Ахметьева. “А вы знаете, сколько это мне стоило?” — отозвался профессор.

Где-то в эти же времена вышло интервью с Евтушенко во “Франкфуртер Рундшау”, где немецкий журналист поинтересовался, что думает большой поэт о своих критиках “из молодого поколения”, назвав меня и Виктора Ерофеева. Не знаю, где Ерофеев его критиковал. Евтушенко ответил, что у него огромная аудитория и большие тиражи, а у Куприянова такой аудитории нет и быть не может (как и у верлибра вообще), книги его никто не покупает (что, впрочем, не совсем правда — в то время!), вот от зависти всё и происходит (“сальеризм”). В этом интервью меня поразило ещё рассуждение великого гуманиста о расстреле большевиками царской семьи: “На царя мне, конечно, плевать, но дети...” Как не понимает публичный человек, что те, кому наплевать на одних, спокойно пустят в расход кого угодно, исходя из личной или исторической возможности (“необходимости”).

Мой роман “Башмак Эмпедокла” вышел в немецком издательстве “Алкион” в 1996 году и переиздан в 1999-м. Рецензент газеты “Франкфуртер Альгемайне” предположил, что это роман о Евтушенко, причём автор якобы не только рисует карикатуру, но проявляет определённое уважение по отношению к своему герою. Это скорее так, ведь все “сочинения” моего героя были написаны мною же, я никого не цитировал! И это предположение появилось, скорее всего, благодаря тому, что в этой же газете была моя юбилейная статья об этой фигуре. В общем, это не совсем так, поэт Померещенский не равен никакому реальному лицу, это собирательный образ популярного сочинителя. Но ядром романа я обязан одному случаю, который рассказал мне польский поэт и переводчик Витольд Домбровский. Домбровский приезжает в Москву и звонит Евтушенко, мол, он перевёл и выпустил в Польше его книгу, было бы интересно встретиться... Я не так уж много изменил в своём повествовании, потому и приведу этот разговор уже из моей книги. Итак, отвечает уже поэт Померещенский:

“...Послезавтра я улетаю в Гонконг на семинар “Поэты мира против куриного гриппа”. Завтра... Завтра с утра я жду телевидение... Пока привезут аппаратуру, свет, всё это расставят... Мне надо будет заgrimироваться... Я бы отказался, да уж неудобно, и тема мной предложена: “Поэзия и парашютный спорт”. Потом спецрейсом придёт японская делегация. Летят, чтобы со мной выпить чаю! Чайная церемония, сами понимаете... Я не знаю японского, они не знают русского, наше взаимное молчание может продлиться бесконечно долго... Во второй половине дня художник пишет мой портрет, тоже нельзя отказать, художник специально приехал с Мадагаскара, да, я и мадагаскарского языка не знаю, чтобы попросить его сократить сеанс. А вечером... вечером давно набивался агент какой-то секретной службы по важному делу, не знаю уж, какой, наш агент или иностранный. Мда. Знаешь, что? Приходи в шесть утра!”

Домбровский действительно пришёл к поэту в шесть утра. Далее не появилось ни телевидение, ни японцы, ни агент. Зато они появляются в моём сочинении. А пока хозяин занимает гостя:

“Он провёл меня в гостиную, которую можно по праву назвать домашним музеем. Одна стена была сплошь в разной величины и освещённости фотографиях. Померещенский среди нефтяников Аравийского полуострова. С монгольским космонавтом. С буддийским монахом. С австралийским аборигеном. С немецким рок-певцом Удо Линденбергом. С горным орлом. С нильским крокодилом. С американским президентом у Белого дома. У Белого дома с почерневшими окнами рядом с российским президентом. С доктором. Фиделем Кастро. С “Доктором Живаго” в руках...” И вот как заканчивается (почти заканчивается) эта знаменательная встреча, здесь почти не отступив от рассказа Домбровского:

“— Где Шагал?”

Он вскочил, оглядел в который раз свои портреты, выбежал в другие комнаты, вернулся, лёг на пол и заглянул под диван, поднялся и строго обратился ко мне:

— Где Шагал?

— Какой Шагал?

— Мой Шагал, подаренный мне Шагалом в Париже, подлинный, там кто-то зелёный летел верхом на скрипке над крышами... — Он снова схватился за голову и запричитал: — Я совсем забыл, совсем забыл, я же недавно покупал холодильник, когда его перевозили на грузовике, я холодильник накрыл полотном Шагала... Наверное, ветром сдуло...”

Хочу подчеркнуть: Домбровский был хмурым, серьёзным человеком. Вряд ли он что-то здесь присочинил. Я имел неосторожность повторить однажды эту историю нашему реальному поэту при встрече в Переделкине. “Не было этого!” — гневно ответил поэт.

Яркой была ещё одна наша встреча в Баденвайлере, которую организовал мой незабвенный друг из Тюбингена, культуртрегер Йорг Бозе. Этот подвижник русской культуры в Германии сделал один большой для “дружбы между народами”, чем все прочие культуртрегеры, вместе взятые. Не надо думать, будто это давалось просто. Кстати, такой случай. Йорг провёл в местном, весьма популярном театре ЛТТ несколько концертов со стихами Маяковского и Есенина. В положенное время из немецкого налогового ведомства пришло предупреждение, что “господа Маяковский и Есенин обязаны заплатить налоги...”

Йорг Бозе уже проводил ранее чтения Евтушенко в Тюбингене, но встречая его на вокзале, он почему-то не нашёл его на платформе. Тот сам дошёл до гостиницы, благо она была не далее, чем в двухстах метрах от станции. “Я вас не заметил”, — оправдывался Йорг. “Как можно было не заметить Евтушенко!” — возмущался видный поэт, знаменитый хотя бы редкой пестротой своих импортных пиджаков.

И вот мы едем на машине из Тюбингена в Баденвайлер, езды более трёх часов через Чёрный Лес — Шварцвальд. В Баденвайлере меня оставляют ждать в кафе, а сам Йорг (он русского почти не знал) и его подруга Алёна (переводчица) отправились в гостиницу, где их ждал поэт. Я с удовольствием прогулялся по замечательному реликтовому парку, полюбовался калифорнийскими секвойями, вернулся в кафе, выпил пива, проголодался, заказал себе форель, когда наконец появились мои друзья. Йорг отирал пот с лица. “Что за человек... И то ему уточнить, и это... Вдруг вспомнил, что в Баденвайлере умер Чехов. И тут же сочинил стихи о Чехове и потребовал перевести их. Известно, что Чехов сказал перед смертью по-немецки — Ich sterbe (я умираю). Так вот, на этом построил свой текст Евтушенко — здесь Чехов впервые в жизни соврал...”

Курзал был полон, меня удивило, откуда здесь, в “глуши”, так много русских. Я сел где-то в середине, чтобы не “высвечиваться”. Концерт начался. Алёна переводила, Йорг читал немецкие переводы вслед за автором. Где-то во второй половине представления Евтушенко стал рассказывать, что он был гоним ещё со школьных лет, но как бы то ни было, он никогда не ругался матом. И тут он обратился в мою сторону: “Здесь сидит мой друг (так и сказал) поэт Куприянов, который ходит на все мои вечера, он мне не даст соврать, я никогда не ругался матом...”

Вечер закончился, я подошёл к автору, поздоровался, и мы потихоньку двинулись к гостинице. Сели за стол, Евтушенко стал заказывать шампанское,

почему-то по-итальянски. Его не сразу поняли, но шампанское принесли. У меня как раз недавно вышел сборник Рильке, это помогает мне восстановить год, Рильке вышел в “Радуге” в декабре 1999-го, значит было это в 2000 году. Я подарил сборник Рильке Евтушенко, он решил его “обмыть” и стал поливать шампанским. Я попросил не портить книгу. “Только несколько капель...” За столом был небольшой круг чёт знает откуда взявшихся почитателей. Но моих друзей не было, а время уже было позднее, пора возвращаться в Тюбинген. Вдруг мне сзади шепнул официант: “Вас ждут на улице...” Почему? Я попрощался и вышел.

“Ты знаешь, что произошло?” – начал Йорг. Произошло следующее. Евтушенко вышел на сцену и вдруг заявил: “Я отменяю встречу!” “В чём дело?” – удивился Йорг. “Я отменяю встречу! В зале Куприянов!”

Мои друзья застыли. “Вы что, не знаете, кто такой Куприянов?” Мои друзья замялись. “Что-то где-то слышали...” – “Вы знаете, немецкие газеты платят ему большие деньги, чтобы он писал обо мне плохо!”

Как указано выше, вечер всё-таки состоялся... Мой “Башмак Эмпедокла” вышел в 2013 году и на родине в московском издательстве “Б. С. Г. – Пресс”. Из рецензентов никто не вспомнил о фигуре Евтушенко. В чём последний прозорливо оказался прав – книга особенным спросом не пользовалась, хотя критика была вполне доброжелательной...

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

45 ЛЕТ ДИСКУССИИ “КЛАССИКА И МЫ”

21 декабря 1977 года в Центральном Доме литераторов состоялась дискуссия на тему “Классика и мы”. Для участия в ней были приглашены ведущие литературные критики, литературоведы, поэты, прозаики, театральные режиссеры: Петр Палиевский, Станислав Куняев, Анатолий Эфрос, Феликс Кузнецов, Евгений Евтушенко, Александр Борщаговский, Андрей Битов, Сергей Ломинадзе, Семен Машинский, Михаил Лобанов, Инна Ростовцева, Игорь Золотусский, Ирина Роднянская, Юрий Селезнёв, Вадим Кожин, Вячеслав Куприянов, Петр Николаев, Евгений Сидоров. В до отказа заполненном зале сидели не только литераторы – присутствовало много читателей, среди которых были и студенты Московского университета. Эта дискуссия предопределила многие процессы, которые в дальнейшем проходили в литературе и жизни страны. Всё, что происходит сегодня в России и в мире, казалось, было предопределено ещё тогда, 45 лет. И пророчески звучат сейчас слова Юрия Селезнёва о Третьей мировой войне, которая в духовном поле шла уже тогда.

Селезнёв не открывал Америки – это был, по сути, его ответ идеям, уже повсюду обкатывавшимся на страницах печати Западной Европы. Вот что, в частности, публиковалось на страницах западногерманского журнала “Верскунде” в середине 1960-х: “Психологическая война не знает границ между войной и миром. Она ведётся непрерывно, как в военной, так и в гражданской областях... Современная война проходит не только в воздухе, на суше и на воде, но она охватывает и четвёртую сферу – духовный мир человека. Третья мировая война в этой сфере уже началась...” И кто скажет, что эти слова не имеют отношения к сегодняшнему дню?

Этот принципиальный спор, спор об отношении к классике, о пределах ее интерпретации, шел на протяжении всего XX века. И в достаточно острой тональности развивался в 1970-е годы.

За год до действия в Большом зале Центрального дома литераторов на страницах “Литературной газеты” развернулась дискуссия под рубрикой “Классика: границы и безграничность”, где уважительно и интеллигентно, но притом достаточно резко многие авторы отозвались о спектаклях того времени, поставленных по Гоголю и Чехову.

“В Театре сатиры уже не первый сезон идет “Ревизор” Гоголя в постановке В. Плучека... Здесь есть Гоголь странный, Гоголь фантастический, Гоголь гротесковый, Гоголь таинственный. Но здесь нет Гоголя, смеющегося гомерически, смешавшего до упаду... В эфросовской “Женитьбе”, как и в плучевском “Ревизоре”, нет смеющегося Гоголя, а значит, нет и... смеющегося зрителя...” (Инна Вишневская).

“Попробую показать, как изменяются в процессе работы над спектаклем мысли и образы пьесы. Для этого обратимся к “Вишневному саду”, поставленному А. Эфросом в Театре на Таганке.

Думаю, что в спектакле появились тенденции, к которым Чехов решительно не имел склонности... Как с обиходными предметами, актеры обращаются с памятниками и надгробиями... Характеры разъедаемы отрицанием их жизненности, и они как будто сами себя высмеивают... Когда Петя Трофимов говорит в споре с Лопахиним о пути человечества к высшему счастью, то актер встает на четвереньки и лезет таким способом на кладбище.

Лопахин его спрашивает:

— Дойдешь?

Петя отвечает:

— Дойду.

И вместе с этой фразой падает на могилу, подкладывает себе под голову буйвол. И спит” (Нина Велехова).

Бедные режиссеры времен “ужасного застоя”! Кто-то ведь смел обсуждать подобные “художества” публично, не делая вид, что у нас с классикой “все в порядке”... Потом, спустя несколько лет, эти критические высказывания квалифицировались не иначе, как “травля”.

А тогда Эфрос отвечал. И отвечал отнюдь не смиренно:

“Ромашка, допустим, совсем не похожа на мак. Но что же ей, бедной, делать?! Маком, при всем желании, она никогда не будет. Жалко? Может быть, жалко, а может быть, нет, ибо лишиться ромашки тоже не хочется...”

Я, как ни странно, всегда убежден, что верен писателю. Я изучаю пьесы годами и репетирую скрупулезно... Я, как, впрочем, всякий другой, не могу, к сожалению, думать и чувствовать точно так же, как Чехов или Шекспир. Я трактую, во многом, невольно, ибо вступает в силу что-то, что отличает меня от них...”

Читаешь эти демагогические рассуждения — и понимаешь, что год спустя Эфрос отнюдь не “потрясенным и неподготовленным” выступил на дискуссии “Классика и мы”. Он был внутренне готов к спору. Другое дело, что сорвался на истерику, которая, впрочем, вполне объяснима.

“Для меня, для театрального деятеля, для многих любителей искусства Мейерхольд — фигура удивительная... Разве нам всем неизвестна судьба Мейерхольда? Что он сделал для искусства, что он сделал для будущего и чем он закончил?” Этот же почин подхватила в статье, опубликованной в самиздатском альманахе “Поиски”, Раиса Лерт: “клевета на убитых режиссеров”... Даром, что гибель Мейерхольда совершенно не связана с его спектаклями — причины трагического конца Всеволода Эмильевича были иными*. А насчет “клеветы”... Я полагаю, что режиссерам, выбравшим себе в путеводители идеолога “Театрального Октября”, хорошо были знакомы многие его высказывания и оценки его современниками.

“Узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра...” Это Александр Блок о дореволюционном Мейерхольде.

Послереволюционный — уже не ограничивался “финтифлюшками”. Он совмещал в своем сознании революцию театральную с революцией политической.

“На тех театрах, которые теперь функционируют, надо повесить замок” — это декларация Мейерхольда 1921 года. Призывы “пришпорить колеблющуюся нерешительную театральную политику государства” органически совмещались с “эстетическим расстрелом ушедшего” (так мейерхольдовский актер Эраст Гарин характеризовал постановку ибсеновской “Норы” 1922 года). В постановке “Смерти Тарелкина”, по характеристике В. Сахновского, “печальная картина русской действительности судорожно дергалась в конвульсиях балаганно-цирковой формы”. 1924 год. На репетициях “Бориса Годунова” в Вахтанговской студии великий новатор и вечный искатель “оформлял” ключевой монолог Бориса “Достиг я высшей власти...” (“неудачный”, по его характеристике) суестью знахарей, уродов и старух, заглушающих сам текст главного героя. “Нужно подсмотреть Бориса в щелочку, когда он в бане!” — предполагавшаяся сверхзадача постановки.

“... Я не видел “Леса” Мейерхольда. И я не сторонник, между прочим, такой режиссуры, такого интерпретаторства... А вот Островский... у нас совершенно

* Даже в сборнике “Верните мне свободу!” // Мемориальный сборник документов из архивов бывшего КГБ” (М., 1997) его составители не опубликовали 11 (!) документов из “дела” Мейерхольда, включая показания Боярского, Королевой, Бабея, Кольцова, Йошидо... Больно выборочная, получается, “гласность”!

не ставится... Так, может быть, лучше “Лес”?! Ведь он же даст пищу целым годам вперед?!” Это опять Эфрос. “Я уверен, что... Палиевский... , по-моему, не так уж стар, что не может помнить Мейерхольда и с полной ответственностью полемизировать против его творческого метода...” Это — Евтушенко. Все это произносилось тогда, когда прямые выступления Мейерхольда, связанные с “эстетическим расстрелом ушедшего”, были неоднократно опубликованы... Кожин, конечно, не видел мейерхольдовского “Леса”, но у него были все основания сказать, что в “его “Лесе”, например, никакого “Леса”, естественно, не оставалось”, ибо к этому времени в читательском обиходе были свидетельства людей, которые мейерхольдовский “Лес” видели. “Здесь подменена тема. Тема Островского — одна, а тема Мейерхольда — другая... Можно очень широко трактовать пределы содержания текста, но каждый строгий филолог и самый изысканный, глубокий режиссер знает, что есть предел, вне которого нельзя толковать вещь” (В. Сахновский). “...От “Леса” остается тяжелое впечатление — не как от спектакля, который, точно, сделан отлично, — а как от беспощадного разоблачения всякого человеческого существа, у которого под маскарадом фраз и костюма сидит непременно двойник, и этот двойник обязательно либо подлец, либо хам, либо дурак... Вечная подложность... вечный обман и вечное свинство...” (А. Кугель).

Театральная война с классикой у Мейерхольда сопровождалась идеологической и политической войной с теми современниками, которые представлялись ему помехой на пути идей “Театрального Октября”, и он писал беззаветный донос на упоминавшегося, в частности, в дискуссии Николая Голованова, уже не единожды объявленного “черносотенцем” (ничто не ново под луной!): “Если факты, сообщенные в печати, подтвердятся, к Голованову надо отнести беспощадно. Я хорошо знаком с бытом Большого театра и знаю, что часть хора привыкла, например, по “большим праздникам” выступать в церквах. Хотя религиозные убеждения дело частное, но такие “убеждения” не могут не способствовать созданию настроений, взращивающих антисемитов”.

Надо понимать, что означало подобное обвинение в конце 1920-х годов, да еще на страницах центрального органа печати (в данном случае — “Комсомольской правды”). Мейерхольд здесь шел на Голованова единым фронтом с рапповцами типа Билль-Белоцерковского, который удостоился письменного ответа от самого Сталина по поводу “проблемы черносотенца Голованова”. И неизвестно, чем бы все это кончилось для великого дирижера, если бы не выступление в его защиту ряда известных композиторов, артистов МХАТа и солистов Большого театра. Это понимание, безусловно, присутствовало у защитников “Мейерхольда от Палиевского”, которое они, однако, прятали в дальний карман, и сами, ничтоже сумняшеся, обвиняли своих оппонентов в “антисемитизме”.

Александр Борщаговский в своём вступлении, а за ним и Поэль Карп в статье, опубликованной в “Toronto Slavie Quaterly”, — откровенно лгали, говоря о том, что во вступительном докладе Палиевского предстал “мир мертвых”, что Станиславский в “Горячем сердце” “сотворил много такого, что, вероятно, могло бы быть зачислено в авангард”, — тем самым давая понять, что их оппоненты вообще представления не имеют о том, что такое интерпретация. Палиевский сказал самые нужные слова, которые те предпочли вообще не услышать:

“Даже люди нашего поколения были когда-то в настоящем театре и видели настоящие классические произведения, поставленные классическими режиссерами. Мы знали, что такое Качалов, что такое Хмелев, что такое Москвин, Тарханов, что такое спектакль, поставленный Станиславским, что такое Чехов в Художественном театре, что такое Островский в Малом театре. Мы это видели... Пусть нам не говорят, что здесь не было новаторства, исходящего из самой природы этих произведений”.

Они сделали вид, что не услышали сказанное Селезневим:

“Можно ли и нужно ли интерпретировать сегодня классику? Безусловно, и можно, и нужно, и даже необходимо... Интерпретация интерпретации, как мы понимаем, рознь. Одно дело, когда мы восстанавливаем истинное значение классики, когда мы сегодня по-новому понимаем себя через эту классику, и этим самым даем как бы новую жизнь... этому произведению и этому писателю, и другое дело, когда мы пляшем на классике, когда мы превращаем великие, подлинно национальные шедевры... в сырьевой материал для наших плясок над прахом наших великих предков...”

Примеров подобных “плясок” в то время было более чем достаточно. Это сейчас может показаться, что демонстрация в спектаклях по классическим

пьесам сексуальных ужимок персонажей — примета нашего разнузданного времени. Нет, это тянется с давних времен, с того самого “застоя”, который был, якобы, “невыносим” для “смелых новаторов”. Тогда в “Горячем сердце” на сцене Театра комедии “Наркис... опрокидывал на широкую плаху Матрену... и делал на ней стойку... Вслед за Наркисом Матрену подминал под себя Курслепов... Режиссер В. С. Голиков не оставлял никаких сомнений по поводу его властного успеха — истерзанная Матрена поднималась и шла, пошатываясь, перебирая руками по забору... Параша... в сцене в лесу становилась соучастницей разнузданной оргии. Полураздетую, в одной нижней рубашке, ее перебрасывали из рук в руки пьяные молодчики. В финале разгоряченная Параша лихорадочно натаскивала листьев, устраивая любовное ложе, на которое тащила Гаврилу... На сцене действовали не люди, но маски пороков...”

Это яркое описание творящегося на сцене блуда, спрятавшегося в 1973 году под маской “нового прочтения Островского”, оставил театровед Марк Любомудров в книге “Размышления после встречи”. Имя Марка Николаевича издавна ненавидимо всеми театральными “либералами” — но ни один из них при этом не посмел уличить его во лжи. Больно уж много свидетелей было у этого сценического беспредела.

Не меньше впечатляет и описание “Ревизских сказок” (по Гоголю) в Театре на Таганке (1977 год): “... Возникал образ адского чрева, мрачного застенка, куда попадали жертвы петербургского казенно-бюрократического механизма, где властвовали прислужники бытия, управляемого демоническими законами. Кривлялись в хороводе обитатели сумасшедшего дома, лязгала железом и шуршала бумагой чиновничья машина, совершалась пьяная оргия... Один из персонажей запевал вдруг современную песню “Поле, русское поле, я твой тонкий колосок”, с остервенением отплевываясь. А Чичиков тут же глубокомысленно и с намеками произносил фразу, обращая ее к зрителям: “Вы сейчас в целом свете не сыщете человека, который бы не плевался”. Знаменитую “Тройку” читали загробным голосом в почти полной темноте, которую не в силах рассеять зажатый в ладони сальный огарок. Посреди этого кошмара, почти не выделяясь из массы персонажей фантомов, бродили фигуры, изображавшие самого писателя в двух лицах...” И это было не единичное мнение о любимовском издевательствах над Гоголем. “Ревизская сказка” — это “Шинель”, “Мертвые души”, “Записки сумасшедшего” и еще многое другое, это претензия прочесть за три часа всего Гоголя и одновременно соотносить образ и судьбу писателя с образом и судьбой всея Руси, — писала Галина Кожухова. — Выдергивая отовсюду по фразе, по мотиву, по мысли, театр строит спектакль по принципу: была бы концепция, а Гоголь приложится. Текст и столь свойственный писателю второй план здесь не в почете. Натужно ищут подтекст, третий план. Фантазии несть конца. Вот персонажи из драматических превратились в оперных. Почему?? А потом вдруг затянули “Песню о рушнике” современного украинского композитора. Зачем?? Правда, несколько человек в зале захлопали: должно быть, увидели пятый план. Может быть, так и рождается взаимообман: артисты, позволяя себе пошлость и неправду, потакают плохому вкусу иного зрителя, а этот иной зпитель, одобряя пошлость и неправду, потакает нетребовательности артистов к самим себе...”

Теперь о личном впечатлении. Мне довелось видеть постановку Юрия Любимова по пьесе Александра Грибоедова “Горе от ума”. Дико было наблюдать нелепые ужимки и прыжки героинь пьесы (в том числе Софьи) с показом зрительному залу белоснежных подштанников. Режиссёр словно намеренно издевался и над Грибоедовым, и над зрительным залом, не говоря уже о том, что знаменитый монолог Чацкого о “французике из Бордо” был полностью выброшен из этой инсценировки (впрочем, эту же вивисекцию в своё время проделал в своём спектакле “Горе уму” Всеволод Мейерхольд).

Видимо, вдохновленный любимовским примером, В. Салюк, поставивший в тогдашнем МХАТе “Горячее сердце” (представленное как возобновление “авангардистской” постановки К. С. Станиславского!), заставил Градобоева и Хлынова исполнять хором “Прощай, любимый город...”

Весьма “своеобразно” подошел тогда к “Мертвым душам” и Анатолий Эфрос, ставивший в Театре на Малой Бронной спектакль под названием “Дорога”. Мне довелось быть на одной из “открытых репетиций” (была у Эфроса такая практика, обоснованная им “теоретически” в книге “Репетиция — любовь моя”). Спектакль был абсолютно провальным — и этот грядущий провал невозможно было не предугадать, видя истерическую суету, в которую режиссер по-

гружал артистов. Он не давал им ни мгновения передышки, уничтожая саму возможность поразмыслить над тем, что они произносят. До сих пор помню ошарашенное лицо Михаила Козакова – будучи в полном отчаянии от невозможности найти более или менее верную интонацию в роли Автора, он почти умоляюще произнес: “Дайте мне подумать...” Ответный вопль Эфроса должен войти в театральные анналы. Согнувшись, устремив корпус вперед, приняв позу быка, рвущегося в сторону матadora, он заорал: “Не надо думать!!!”

“Канон должен быть разрушен, и его разрушили, как некогда Карфаген”, – ликовала критика, певшая гимн постановке Эфросом “Вишневого сада” в Театре на Таганке, подчеркивая “историческую истощенность... идеала вишневого сада”, объясняя эту “истощенность” – “невольным сравнением нас с ними”... Вот тут и вспомнишь сентенцию о “современной десятикласснице”, якобы чувствующей в сто раз богаче, чем пушкинская Татьяна, о чём с возмущением говорил Вадим Кожин... И ведь не единичная глупость это была. Что там “десятиклассница”? В “Вопросах литературы” Василий Литвинов черным по белому писал, “что сегодняшнему писателю приходится быть большим психологом, иметь дело с внутренней драматургией куда более сложной, чем даже автору “Бедной Лизы” или даже автору “Повестей Белкина”...”. Тут же в скобках, правда, оговорился: “разумеется, о масштабах таланта здесь речи нет”. Но эта “вынужденная” оговорка лишь оттенила первоначальный ударный тезис... “Какая там психология у классиков! Вот у нас...” А дальше – почти издевательски: “Понимаю, какой гнев читателей бессмертной классики можно наклепать этой фразой, и тем не менее...”.

Вот в какой обстановке, в какой атмосфере состоялась дискуссия о классике и о “нас”. И все дальнейшие сентенции Лерт, Карпа и других, что якобы “на классика никто не посягал”, были прямой ложью. Другое дело, что эти посягательства могли быть соответствующим образом “обставлены”, как это сделал Юрий Ханютин, когда писал о фильме “Неоконченная пьеса для механического пианино”: “Почему Н. Михалков и его соавтор по сценарию, художник фильма А. Адабашьян обратились к ранней, еще весьма несовершенной многословной “Пьесе без названия” А. Чехова? Может быть, именно потому, что это не было классическое произведение, перед которым следовало стоять на вытяжку. Здесь у авторов были развязаны руки, они могли менять, сокращать, свободно соединять мотивы различных произведений. И при этом оставаться верными духу Чехова, точнее, своему пониманию его...”. Впрочем, “навытяжку” в наших театрах уже не вставляли и перед зрелым Чеховым, “по-своему” его понимая. “У нас Аркадина разговаривает с Тригоринным, – писал Алексей Зверев, – как, должно быть, разговаривала с провинившимся фаворитом императрица Екатерина; зато уж никто не обманется насчет душевной черствости стареющей знаменитости. У нас три сестры чеканят шаг в солдатской колонне, но зато и младенцу ясно, что их заел, загубил казенный и бездушный быт”.

Обо всем этом прекрасно знали все – посвятившие позднее дискуссии “Классика и мы” пространные статьи. Всерьез об авторах альманаха “Поиски” – “псевдониме И. Н. Понырев”, Петре Абовине-Егидесе и Глебе Павловском – говорить не приходится. Их обсуждение дискуссии прошло на уровне кухонного “диссидентского” трепы, который в “перестроечные” годы квалифицировался как нечто чрезвычайно серьезное. Обсуждать с Павловским – был ли это “сталинизм” или “русизм” (этим заезженным термином он с наслаждением пользовался в фальшивой до мозга костей “пикировке” с Немцовым уже в 2000-е, участвуя в передаче “Русский фашизм страшнее немецкого?” цикла Михаила Швыдкого “Культурная революция”) или всемерно скандируемый “антисемитизм” (Кожинова вообще обвинили в том, что он назвал Мейерхольда “евреем”, хотя ничего подобного в помине не было) – на это не пошел бы никто из серьезных участников дискуссии. Здесь вообще не было общего языка. И не могло быть.

Другое дело – Раиса Лерт. С этой дамой можно было бы всерьез обсудить вопрос и о Багрицком, и о Мандельштаме, и о Мейерхольде, и о современности. Можно было бы... Если бы она не забила себе голову соображениями о “связи” “шовинистической группы” Палиевского с властью, воспользовавшись фразой Феликса Кузнецова: “Наше сегодняшнее собрание является экспериментом... Оно является проверкой – можем ли мы вести дискуссию”... Лерт (и не она одна!) мгновенно сделала вывод, что этот эксперимент устраивала власть. Тогда как в этом слове “эксперимент” содержался один-единственный смысл: это был первый опыт подобной дискуссии вообще и первый опыт дискуссии объединения критики и литературоведения в новом составе

под новым недавно избранным руководством. Ведь сам Феликс Кузнецов на Секретариате Московской организации СП сетовал на то, что не был приглашен никто из партийного начальства, что уже говорит: власть не имела к проведению данного “эксперимента” никакого отношения.

Теперь, во времена победившей демократии, подобная дискуссия невозможна в принципе. По той причине, что в театрах творят все, что желают, и нынешним “творцам” в принципе наплевать и на автора, и на зрителя, сидящего в зале.

Вот что писал Савелий Ямщиков в статье “Засохшая совесть нации”:

“Шатания и шараханье после 1917 года Мейерхольда, Малевича и им подобных были сладкими ягодками по сравнению с тем, что творят нынешние псевдопоследователи революционных экспериментаторов. Куда основоположникам подлинного авангарда, получившим образование в царских гимназиях и университетах, до всякого рода фокиных, ширинкиных, розовских, житинкиных и виктюков, учившихся в заведениях с обязательными курсами истории КПСС да истматов с диаматами. Эти «поставангардисты» препарируют классику в особо извращённой форме.

Сколько “Ревизоров”, “Мёртвых душ”, “Чаяк”, “Вишнёвых садов”, “Гроз” и “Карениных” они осквернили, заставив героев материться, заниматься сексом, плевать в зрительный зал.

Действие пьес они переносят в наши дни: Чичикова превращают в олигарха, а Хлестаков ревизует у них тюменские нефтескважины. Главная цель – посмеяться над народом, наделив его своими же пороками; исказить историю и помочь “этой стране” скорее окануться на дне”.

Теперь на сцене театра имени Вахтангова персонаж чеховского “Иванова” может высасывать самогон прямо из трубки соответствующего аппарата. Гамлет на сцене сыктывкарского театра может насиловать Офелию – а режиссер с наслаждением измываться над зрителем, прекрасно зная, что многие, пришедшие в зал, читали Шекспира и имеют представление о совершенно иной системе взаимоотношений героев в авторском тексте. О том, что творится в Большом театре, писалось неоднократно, в частности, об изуродованном творении Пушкина “Руслан и Людмила”. И любое возмущение зрителя встречает обструкцию “продвинутых профессионалов”, а то и истерику, которую закатил недавно Константин Райкин в присутствии президента (по тональности она очень напоминает истерику Эфроса на дискуссии): “Эти совершенно незаконные, экстремистские, наглые агрессивные, прикрывающиеся словами о нравственности, о морали, и вообще всяческими, так сказать, благими и высокими словами: “патриотизм”, “Родина” и “высокая нравственность” – вот эти группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к которым как-то странно власть нейтральна, дистанцируется (выделено мной. – С. К.). Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры”.

Ничто не ново под луной. В свое время Юрий Тынянов писал в статье “О фэксах”: “... Другой рассуждал так: классики – народное достояние; сценарист и режиссеры исказили классика – прокуратура должна их привлечь за расхищение народного достояния. Где этот критик сейчас, я не знаю, но боюсь, что он жив и работает”.

Трогательное сходство: стародавнее желание лишить оппонента возможности “жить и работать” – и апелляция к власти, которая, оказывается, не должна “дистанцироваться” от зрителя, не желающего молча утираться, когда ему намеренно плюют в лицо с театральной сцены. Едва ли и в том, и в другом случае были оправданы – и тем более эффективны – заявления в прокуратуру и в суд. Проще и надежнее вспомнить старый способ выражения негодования публики бездарностью и хамством “новаторов”. Гнилыми овощами.

Ибо нынешние “новаторы” (вроде Константина Богомолова и иже с ним) прекрасно осознают свое ничтожество рядом с насилуемой ими классикой, но, пользуясь попустительством власти (они пользуются, а не зритель!), реализуют свой комплекс неполноценности по полной. Они внутренне ненавидят русский классический канон, ненавидят Пушкина, Островского, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. И эта ненависть приводит их к единственному желанию: изгадить все, к чему они прикасаются.

Это надо знать и понимать. Как и то, что в этой обстановке дискуссия “Классика и мы” 1977 года нисколько не утратила своей актуальности.

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Классика – есть корпус художественных текстов, обладающих для нас огромной значимостью. Но кто такие мы и в чём состоит эта значимость?

Выбирая тот или иной ракурс рассмотрения данного вопроса, мы каждый раз как бы вступаем в новое смысловое поле. И каждый такой выбор требует от нас разработки особых проблем, определения подходов к их решению, а иногда даже – просто конкретных действий.

Можно посмотреть на классическую литературу сквозь призму читателя и его формирования как личности. Тогда классика – это то, что касается лично меня как человека, что входит в мой сокровенный мир, в мою жизнь, в мою судьбу. Это опыт постановки самых сложных и важных вопросов: в чём смысл моей жизни? как мне жить? как устроен мир вокруг? А также – опыт ответов на самом глубоком уровне.

Можно поставить вопрос о классике как о форме национального сознания. И тогда неизбежен разговор о ценностях, которые она несёт, о влиянии классической литературы на общество. Государство, которое делает культуру (и литературу в частности) частью своей политики, может достичь высочайшей степени консолидации общества для решения сложнейших задач и ответов на любые вызовы. Но здесь важно не свести ценности, органично существующие в художественном произведении во всей глубине и противоречивости, к выхолощенным формулам, вызвав не консолидацию, а отторжение (особенно среди молодых граждан).

Всё это нуждается в детальной разработке, чему, надеюсь, будет способствовать та дискуссия, которую “Наш современник” совместно с Институтом мировой литературы и Союзом писателей России планирует провести в ближайшее время, приурочив её к юбилею известной дискуссии “Классика и мы” 1977 года.

Здесь же мне хотелось поговорить об одном частном аспекте проблемы “Классика и мы”, а именно об отношениях классической и современной литературы. А точнее о том, как именно классика влияет на современного писателя, насколько это влияние должно быть сильным и есть ли у него границы.

Фактически это вопрос о соотношении традиции и индивидуального таланта.

Традиция зачастую мыслится по отношению к конкретному современному писателю как нечто предзаданное, назидательное, довлеющее. Как “общее”, перед которым необходимо умалить “частное”. В каком-то смысле так оно и есть: большой писатель всегда выражает нечто, имеющее поколенческую, национальную или всеобщую ценность, выражает эпоху или вечность. Но здесь заключается главное искушение – пренебречь принципиальной

субъективностью литературы, свести традицию к комплексу нравственных положений, к идеологии в самом узком значении этого слова.

Когда мы говорим, что художественная литература принципиально субъектна, мы вовсе не имеем в виду биографического писателя как субъекта, а имеем в виду “образ автора” – “завершающую категорию” любого произведения, восстанавливаемую из текста и только из него. Но системная особенность этой “завершающей категории” (по крайней мере, в литературе последних веков) состоит в том, что она обладает определёнными свойствами, которые делают её близкой не к понятиям структура, система, поле, а к понятию – личность. Это её важное функциональное качество, собственно, и позволяющее отделить художественную литературу от других продуктов человеческой деятельности (науки, журналистики, идеологии и т. д.). И потому, говоря о традиции как о своего рода объективации, “преодолении индивидуальности”, приобщении к “общему” вместо “частного” (и справедливо говоря), тем не менее, никак невозможно отказываться от “личности” как от ключевого свойства художественного произведения. Иначе мы придём либо к “смерти автора” и интертекстуальности, либо к традиции как к эдакой славянофильской риторической фигуре. При видимой противоположности и то, и другое – одинаково спекулятивно и совершенно не в духе отношения русской критики к художественной литературе.

Каждый индивидуальный талант в своём развитии стремится создать собственный мир, и оттого, насколько ему это удаётся, зависит, по большому счёту, реализовался ли этот талант, превратился ли начинающий автор в полноценного писателя. Если художественный мир создан и он обладает языковой, ценностной, психологической самобытностью, – значит, существует в литературе писатель.

А дальше начинается развитие более сложное и таинственное. В конечном счёте, оно сводится к вопросу, связаны ли созданный писателем художественный мир и мир реальный, описывает ли художественный мир какую-то часть мира реального или – более того – невероятным образом описывает его весь. Если точка виденья автора созданного художественного мира такова, что из неё обозреваются реальный мир целиком в его сложности и глубине, это означает, что перед нами – зрелый писатель. Этого достигает далеко не каждый художник. Единицы способны создать художественный мир, “образ автора” которого обладает объёмным мировоззрением. Или, в терминах Михаила Бахтина, устойчивой авторской “внеаходимостью” по отношению к описываемому миру.

Понятно, что никакая литературная среда или образованность не могут обеспечить достижение такого уровня. Понятно, что развитие реальной биографической личности автора некоторым образом помогает глубже понять окружающий мир и способствует обретению “образом автора” той самой “внеаходимости”. Но процесс этот, думаю, вряд ли управляем – тут мы ступаем на зыбкую почву психологии творчества. Замечу ещё, что у каждого крупного писателя – “внеаходимость” своя. Один поэт может показать нам, как реальность ужасна и трагична. Другой – передать нам её удивительную красоту. Художественные миры субъективны, и это абсолютно естественно.

Конечно, пока мы ещё даже не начали говорить о традиции, а лишь – о развитии индивидуального таланта.

А вот дальше начинается самое таинственное. Оказывается, точка виденья на мир наиболее крупных национальных писателей почему-то тяготеет к одному и тому же центру – разными путями, но идут они все именно туда. Этот центр странным образом связан с именем и творчеством Пушкина. Собственно, эту самую пушкинскую “внеаходимость” я и называю традицией. Убеждён, что она связана не только с художественной литературой, а обусловлена народной жизнью, национальным характером, национальной историей, национальной культурой во всем их многообразии. И эта точка виденья, эта “внеаходимость” уже не личностна, а “надличностна”, она вполне объективна для нашей литературы и причудливым образом тянет к себе любого русского писателя первого ряда.

Я не могу в полной мере выразить, что такое Пушкин для русской традиции. Попытаюсь дать несколько штрихов, которые для меня чуть-чуть проясняют вопрос. То, что я буду излагать, придумал вовсе не я – в той или иной

степени об этом писали многие критики, от Аполлона Григорьева до Татьяны Глушковой. Нарочно буду говорить несколько упрощённо, тезисно.

Штрих первый. Вот Пушкин пишет “Капитанскую дочку”. Можем ли мы сказать, на чьей стороне находятся его политические симпатии, на стороне Пугачева или Екатерины II? Думаю, нет – Пушкин понимает и ту, и другую сторону, Пушкин не ангажирован политически. И если мы станем рассуждать в этом направлении, то поймём, что самая высокая нота русской традиции связана именно с этой политической неангажированностью. Таков, например, “Тихий Дон” Шолохова. Это не значит, что все произведения больших русских писателей были таковы – случилось всякое. Но вершиной всё равно оставалось стремление к объективности (понимаемой как чуткость к каждой правде).

Второй штрих – пушкинская оптика. В знаменитом “Пророке” часто делают акцент на “угль, пылающий огнём” и “глаголом жги сердца людей”. Но в смысле оптики Пророка (идеального Поэта по Пушкину) показательнее, скорее, вот это четверостишие:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Здесь Пушкин не просто описывает природу, он показывает нам, что для Поэта важны все явления: и огромные (“неба содроганье”), и очень маленькие (вроде прозябания дольней виноградной лозы). Маленькая лоза занимает в мире традиционного поэта место не меньшее, чем глобальные исторические катаклизмы.

И третий штрих – любовное чувство. Пушкин задал в нашей традиции самую высокую ноту отношения мужчины к женщине. Это не значит опять-таки, что в русской поэзии не было и яркого сладострастия, и любовного опьянения, и надрыва. Но всё-таки где-то подсознательно мы чувствуем, что высшая нота для нас связана с финалом стихотворения “Я вас любил”: “как дай вам Бог любимой быть другим”. А нравственный идеал (если пользоваться терминами пушкинской речи Достоевского) связан со словами Татьяны: “я другому отдана и буду век ему верна”.

На этом завершу свои неловкие попытки объяснить художественно-нравственную меру, которую дал русской литературе Пушкин. Мне представляется очень правильным определять национальную традицию именно так: через Пушкина и через “внезаходимость”, из которой мир видится “взглядом Пушкина”. То есть определять традицию – принципиально лично.

Можем задать себе вопрос: а если бы не было Пушкина, эта “внезаходимость” была бы иной? Думаю, нет. Если бы не Пушкин, то кто-то другой взял бы эту ноту, потому что именно она близка нашему национальному характеру (что, кстати, Вадима Кожинова даже побудило “пройти логическую цепочку в другую сторону” и вывести из пушкинской оптики “всечеловечность” русского народа – концепцию крайне спорную, потому что “в другую сторону” всё-таки не работает).

Можем ли мы в рамках педагогической или просветительской деятельности “приобщать” молодых писателей к традиции? Думаю, вряд ли. Притяжение к пушкинской “внезаходимости” – процесс естественный, который либо идёт, либо нет. Мы разве что можем внутренним чутьём опознавать “своих”.

Но что мы будем делать с “чужими”, создавшими полноценные художественные миры и отстаивающими собственную “внезаходимость”? Уважать и ценить в их меру – а что нам ещё остаётся. Можно быть только тем, кто ты есть. Если автора, особенно молодого, заставлять свернуть с его собственной дороги в поисках некой заранее определённой позиции “внезаходимости”, он просто не станет подлинным художником. Национальную традицию можно открыть только самому, естественным образом. И чтение классической литературы лишь помогает писателю этот внутренний камертон обрести.

В КОНЦЕ НОМЕРА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА «ПО-ЛЕОНТЬЕВСКИ»

Первый Международный конкурс имени Константина Леонтьева – русского дипломата, мыслителя религиозно-консервативного направления, философа, писателя, литературного критика и публициста – задумывался редакцией журнала «Наш современник», прежде всего, для укрепления международных дружеских связей, воспевания жизни значимых зарубежных православных деятелей, имеющих отношение к России и философскому осмыслению традиционных православных ценностей в современном мире. Конкурс был объявлен сразу в четырёх номинациях: поэзия, проза, критика и публицистика в рамках реализации проекта «Русский литературный журнал» при поддержке Фонда Президентских грантов.

По итогам конкурсного отбора лучшие работы участников публиковались в нашем журнале на протяжении более чем полугода. Но кто они, эти счастливы? Сейчас мы поговорим об этом подробнее: в майском номере лучшим был признан подмосковный поэт Евгений Юшин с подборкой стихов «Я думал, так будет всегда». Финалистом шестого номера стал замечательный поэт из Республики Коми Андрей Гельевич Попов, в восьмом номере журнала в финал вышел перспективный автор из Армении Константин Шакарян с отличной подборкой под названием «Невидимое на свету», открывающей августовский номер журнала. Десятый номер обозначился напевной подборкой стихов «Пасынок русской нирваны» поэта Павла Широглазова из города Череповец Вологодской области. И, наконец, одиннадцатый ноябрьский номер подарил нам сразу трёх финалистов: Юрия Николаевича Кабанкова – одного из наиболее значительных и серьёзных поэтов современности с подборкой «Каждое слово – ожог и взрыв» (г. Севастополь), поэта Григория Шувалова со стихами-размышлениями «Спасаясь от ностальгии» (г. Москва) и Наталью Джурович из Черногории с лирической подборкой «Знак счастливой птицы».

Как видим, география проживания наших участников весьма разнообразна, а их поэзия, безусловно, заслуживает того, чтобы быть внимательно, пристально прочитанной и должным образом осмысленной.

Награждение победителей Конкурса состоится в Шолоховском центре Союза писателей России в конце декабря этого года. Победители получат сертификат на годовую подписку на журнал «Наш современник», а также памятные подарки, книги ведущих поэтов и публицистов России.

Поздравляем наших финалистов в номинации «поэзия» и желаем победы сильнейшему из них!

Карина Сейдаметова

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2022 ГОД

ПРОЗА

- АБДУЛАЕВ Залимхан. **Дневник профессора Эльбаева.** Повесть (№4)
- АЖНАКИНА Елена. **От войны до войны.** Рассказы (№5)
- АЗАЕВА Эвелина. **Как апостолы.** Рассказ (№10); **Канадский клён стучит в окно.** Рассказы (№3)
- АЛЕЕВА Галия. **За кадром.** Рассказы (№8)
- АЛЁШКИН Пётр. **Два рассказа** (№2)
- АНОЦКИЙ Валентин. **Под созвездием Иисуса.** Рассказ (№6)
- БАЛАШОВ Кирилл. **Родовое гнездо.** Рассказ (№5)
- БАЛЮЛИНА Анастасия. **Смешные люди.** Рассказы (№8)
- БУТЕНКО Владимир. **Судный камень.** Рассказ (№5)
- ВАСИЛЬЕВА Анастасия. **Такие разные сюжеты.** Рассказы (№6)
- ВАСЮНОВ Максим. **Пушкин, прощай!** Рассказы (№12)
- ВАСЮТИН Сергей. **Мариупольский дневник** (№10)
- ВИНОГРАДОВА Ирина. **Кривая дорога жизнь.** Рассказ (№12)
- ВИТКОВСКИЙ Александр. **Отдам ребёнка в хорошие руки.** Повесть (№7)
- ВЛАДИМИРОВ Александр. **Городок в центре Вселенной.** Рассказ (№12)
- ВОРОНИН Дмитрий. **Воры.** Рассказ (№11)
- ГОБОРОВ Виктор. **Первый концерт Чайковского.** Рассказы (№9)
- ГОГОЛЕВА Ольга. **Дверь.** Рассказ (№6)
- ГУМЕРОВА Альбина. **Кина не будет.** Рассказ (№8)
- ЕВСЕЕВ Сергей. **Диво-сон.** Рассказ (№7)
- ЖАРИКОВА Татьяна. **Ожог.** Рассказ (№3)
- ЖУРАВСКАЯ Юлия. **Жажда жизни.** Рассказ (№6)
- ЗАЙЦЕВ Николай. **Территория войны.** Роман (№3)
- ИВАНОВА Людмила. **“Каротинка”.** Рассказ (№6)
- ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ Валерий. **Конь на F6.** Повесть (№8)
- ИВАНЦОВА Ирина. **Человечье тепло.** Рассказы (№3)
- КАРПОВ Владимир. **Тень мужчины.** Роман (№6-7)
- КИЛЯКОВ Василий. **Последние.** Повесть (№9-10)
- КОВАЛЕНКОВА Анастасия. **Ласточка.** Рассказ (№12)
- КОЖУХАРОВ Роман. **Днепр впадает в Чёрное море.** Роман (№2-5)
- КОЛЕСНИК Вячеслав. **Огородная поэма.** Рассказ (№7)
- КОРНЕЕВ Александр. **Долговременная огневая точка.** Рассказ (№5)
- КОРОЛЬ Илья. **Итальянский кабан.** Рассказ (№10)
- КРУПИН Владимир. **Я не могу внезапно использовать душу.** Рассказы (№9)
- КРУПИН Николай. **Беги, дед, беги!** Рассказы (№1)
- КУЗНЕЦОВА Зинаида. **Взрослые люди.** Рассказы (№3)
- КУИМОВ Олег. **Иван Сергеевич.** Рассказ (№9)
- КУЛАГИН Олег. **Главный обряд.** Повесть (№5)
- ЛАГУТИН Дмитрий. **Светом и прохладой.** Рассказы (№12)
- ЛЕОНОВ Юрий. **На краю Ойкумены.** Рассказы (№5)
- ЛИХАНОВ Альберт. **Прошедшее время.** Повесть (№1)
- ЛИХАНОВ Дмитрий. **Обрубок.** Рассказ (№10)
- ЛОЗОВИЧ Виталий. **“За духов неба и тундры!..”.** Повесть (№12)
- ЛУТЮК Николай. **Дважды воскресший.** Рассказ (№7)
- ЛУЧКИНА Светлана. **Гармония.** Рассказ (№3)
- МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО Светлана. **Кусочек счастья.** Рассказы (№6)
- МАЛЬКОВ Виталий. **Утро Степаныча.** Рассказ (№7)
- МАРКАРОВ Валериан. **Неношеное платье.** Рассказ (№7)
- МАРТЬЯНОВ Сергей. **Олма.** Рассказ (№11)
- МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий. **На каждый пир – свой чир.** Повесть (№6)
- МОЙСАК Вячеслав. **В доме престарелых.** Повесть (№9)
- МУХАМЕТШИН Рузаль. **Лале.** Рассказ (№8)
- НЕВОЛИНА Юлия. **Бабье лето.** Рассказы (№3)

- ОРДЫНСКАЯ Ирина. **Город миллиона роз.** Рассказ (№12)
- ОСОКИНА Алина. **Там, где нет войны.** Повесть (№8)
- ПИЦЕНКО Андрей. **Саввин день.** Рассказ (№8)
- ПОЛУЯНОВ Сергей. **Взгляд в бездну.** Рассказ (№11)
- ПОПОВ Михаил. **Смирительная рубашка, или Свет озаряющий.** Повесть (№2)
- ПРОНИНА Светлана. **В то прекрасное лето.** Рассказы (№7)
- ПРЯХИН Илья. **Если бы не Стендаль.** Повесть (№10)
- РАТНИКОВ Степан. **Школота.** Роман (№9-11)
- РОМАНОВА-СЕГЕНЬ Наталья. **Великий стряпчий.** Роман (№10-12)
- РЫБАКОВА Светлана. **Река времени.** Повесть (№2)
- РЫЖЕНКО Валерий. **Мимолёт.** Рассказ (№12)
- СОКОЛКИН Сергей. **Колыбельная для Дедушки Мороза.** Рассказ (№2)
- ТАРАСОВ Олег. **Обратный винт.** Рассказ (№7)
- ТАРАСОВА Ирина. **Ларсон.** Рассказ (№7)
- ТАРКОВСКИЙ Михаил. **Кинешма.** Главы из книги (№1)
- ТЕРЕХОВ Игорь. **Ваня, русский солдат.** Рассказ (№12)
- ТОЛМАЧЁВ Евгений. **Размышления о вечном.** Рассказ (№12)
- УБОГИЙ Андрей. **Красная зона.** Роман (№1)
- ФИЛИППОВ Дмитрий. **“Камень, ножицы, бумага...”** Рассказ (№6)
- ХАЙРЮЗОВ Валерий. **Амурские ворота.** Рассказ (№9)
- ХАНТ Павел. **Incertae Sedis.** Рассказ (№8)
- ХОБА Юрий. **Перекаати-поле.** Рассказ (№7)
- ЧВАНОВ Михаил. **Прирастай, Россия!..** Рассказ (№4)
- ШРАМКОВСКАЯ Кристина. **По ту сторону дождя.** Рассказы (№8)

ПОЭЗИЯ

- АВРУТИН Анатолий. **Ещё живём...** (№7)
- АГАЛЬЦОВ Сергей. **День вечереет, тьма сгущается...** (№6)
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван. **Медный голубь с тяжёлым крылом** (№4)
- АРТЁМОВ Владислав. **Бездомно в мире человеку** (№4)
- АРУТЮНОВ Сергей. **Парусники вдали** (№2)
- АХМЕДОВ Магомед. **Пушкинские горы** (№6)
- ВАСИЛЬЕВ Ярослав. **“Времена года”** (№9); **Поздравления Ст. Куняеву** (№12)
- ВЕРСТАКОВ Виктор. **Столетия русских богов** (№5)
- ВЕРШИНСКИЙ Анатолий. **Какие завтра ждут нас времена...** (№11)
- ВИНОГРАДОВ Илья. **Чистой радости родник** (№9)
- ВОЛОСЮК Иван. **Легко и нестрашно** (№7)
- ГОЛУБЕВ Валентин. **Земли едва касаясь** (№12)
- ДАБРИШЮТЕ Дина. **Чувствовать музыку и весну** (№8)
- ДЖУРОВИЧ Наталья. **Знак счастливой птицы** (№11)
- ДОЛГАРЕВА Анна. **Это моя страна** (№3)
- ДОНБАЙ Сергей. **Твоё создание – твой дом** (№12)
- ДЬЯКОНОВ Евгений. **На берегах неистовой реки** (№8)
- ЗОРИНА Анна. **До первых слёз** (№12)
- ИЛЬГОВА Дарья. **Посреди июльского звездопада** (№8)
- КАБАНКОВ Юрий. **Каждое слово – ожог и взрыв** (№11)
- КАЛЮЖНЫЙ Григорий. **Путеводное слово** (№6)
- КАН Диана. **И ни о чем, что было – не жалею!** (№10)
- КАРАНОВА Маргарита. **Весна побеждает уверенно** (№3)
- КИРИЛЛОВА Элла. **Златые цепи** (№5)
- КОБЗАРЬ Вера. **Элегии лета** (№7)
- КОНОВСКОЙ Николай. **Мир утешает нас** (№7)
- КОРИЦКАЯ Полина. **Скрой меня от печали...** (№3)
- КОТОВА Марина. **Как до войны** (№3)
- КРАСНИКОВ Геннадий. **Погаснешь ты во тьме – и мир не устоит...** (№2)
- КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО Тамара. **Милосердье не знает границ...** (№7)
- КРАСЮКОВА Наталья. **Пой, пацанская душа...** (№8)
- ЛАСУРИА Мушни. **Поэма об отце.** Отрывки. *С предисловием С. Куняева* (№1)
- ЛУКИН Евгений. **Сумрачная нежность Петербурга** (№10)

МАЛОФЕЕВА Екатерина. **В чудесных мелочах** (№8)
МАЛЫГИНА Александра. **Переплавливая боль в слова...** (№8)
МАМАЕВА Лидия. **Весна летела** (№8)
МОЛЧАНОВ Владимир. **На Пикете та-волга цветёт...** (№2)
НЕСТРУГИН Александр. **Равнинное** (№1)
ПАРХОЦ Эльвира. **Непослушные лебеди** (№8)
ПЕРЕСТОРНИН Николай. **Золотая подсветка судьбы** (№10)
ПОНОМАРЁВ Павел. **Снегом, листом и словом** (№8)
ПОПОВ Андрей. **Течение жизни и рек** (№6)
Поэтическая мозаика (№6-7, 9)
РАЧКОВ Николай. **“Золотые дожди”** (№12)
САВВИНЫХ Марина. **От корня одного** (№3)
САВИНА Ксения. **Смола и лава** (№8)
САМАРИН Валерий. **От земли до солнечных высот** (№4)
СЕМИЧЕВ Евгений. **Красный кречет. Поэма** (№5)
СЕНИЦЫН Тихон. **Синдбады Тавриды** (№4)
СМОРОДИН Константин. **А небо плачет то дождём, то снегом...** (№9)
СТЕПАНОВ Евгений. **До высокой весны** (№5)
ТЕПЛОВА Инна. **В преддверии фантастического рассвета** (№8)
ТКАЧУК Денис. **Под облачным фронтом** (№8)
ФОКИН Валерий. **Это время ледяных цветов** (№2)
ФОКИНА Ольга. **Ненадолго расста-ни** (№9)
Чеченская тетрадь (№12)
ЧУРСИН Владимир. **Мы – до сих пор в бою** (№7)
ШАКАРЯН Константин. **Невидимое на свету** (№8)
ШАЦКОВ Андрей. **Заворожённый кистью января** (№12)
ШЕВЯКОВ Вадим. **Земля – чиста, и небо – первозданно...** (№8)
ШИРОГЛАЗОВ Павел. **Пасынок русской нирваны** (№10)
ШУВАЛОВ Григорий. **Спасаясь от ностальгии...** (№11)
ШУХНО Наталья. **Иди напрямик...** (№8)
ЭРАСТОВ Евгений. **Наш вечный город не для слабаков...** (№9)

ЮШИН Евгений. **Я думал, так будет всегда...** (№5)
ЯГОДИНЦЕВА Нина. **В медвежьей нежности снегопада** (№1)

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

БЕРЕЖНОЙ Сергей. **Этюды войны** (№9)
БЕСЕДИН Платон. **Мечта как выход из Матрицы** (№12)
БОБРОВ Александр. **Выстрелы бездействия в спину** (№4)
БОЕВ Виктор. **“Честно служить своему народу”** (№4)
БЫКОВ Андрей. **Инфляция как феномен экономики** (№1)
ВЕРТЛИБ Евгений. **О духовно-цивилизационной обороне Отечества** (№5)
ГЕВОРГЯН Каринэ, ГОНЧАРОВ Николай. **Концы либерализма** (№8)
ГОДИН Юрий. **Россия-Запад. Как сберечь русскую православную цивилизацию (с предисловием А. Бельчука)** (№8)
ГРЕШНЕВИКОВ Анатолий. **Без вести пропавший** (№7)
ГУРОВ Валерий. **Три желания** (№11)
ДАРЕНСКИЙ Виталий. **Четвёртая Отечественная война – за восстановление России** (№4)
ДОЛГОВ Константин. **Образование, наука, культура и будущее России** (№12)
ЗАДОРОЖНЮК Элла. **Константин Леонтьев об осмотровом благоразумии чехов** (№7)
ЗЕЛИНСКИЙ Андрей. **Украина как евразийская проблема** (№1)
ЗЮГАНОВ Геннадий. **Если дорог тебе твой дом** (№11)
ИВАНОВ Виктор. **В гости к Кириллице** (№12)
КИПРИЯНОВ Владимир. **Эпизод гибридной войны** (№1)
КЛЮЧНИКОВ Юрий. **Украинский кризис глазами поэта** (№7)
КОВАЛЬ Евгений. **Наше море** (№4)
КРАСНИКОВ Геннадий. **Це Европа** (№6)
КРАСНОВ Антей. **Катастрофа** (№5)
ЛАРИНА Елена, ОВЧИНСКИЙ Владимир. **Квантовое превосходство и квантовая мобилизация** (№3)
МЕДВЕДЕВ Александр. **Читать Достоевского без слёз** (№4)
НАРОЧНИЦКАЯ Наталия. **Приговор России вынесен и обжалованию не подлежит** (№12)

НИГМАТУЛИН Роберт. **Демографический кризис и коронавирусная пандемия: условия преодоления** (№3)
ОВЧИНСКИЙ Владимир. **О “новой” внешней политике США** (№6)
ОГУРЦОВА Татьяна. **Приметы перемен** (№7)
ОСЫКОВ Александр, ОСЫКОВ Борис. **Белогорье литературное** (№7)
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Сергей. **“...И откуда Руская земля стала есть”** (№11)
ПОНОМАРЁВА Елена, РЯБИНИН Евгений. **“Цветные революции” в контексте стратегии “управляемого хаоса”** (№9)
РОМАНОВ Александр. **Иеромонах Иоанн (Шаховской) и Борис Петрович Вышеславцев** (№12)
СДОБНЯКОВ Валерий. **Путешествие к мечте** (№4)
СЕМЯШКИН Руслан. **Подвиг Ярослава Галана** (№10)
СОКОЛОВ Юрий. **К концепции советского общества** (№12)
СТАРКОВА Галина. **Моряки в запас не уходят** (№5)
СТРИЖАК Олег. **Загадки и тайны 1917 года** (№2)
ТАТАРИНОВ Алексей. **Россия и Запад: почти бесконечная война** (№5)
ФАДЕЕВ Юрий. **Россия: репатриация и миграция** (№2)
ЧАРСКИЙ Владимир. **Случайная встреча** (№1)
ЧЕРНУШЕНКО Михаил. **Революция и Россия. Сталин и Победа** (№9)
ЧУГУНОВ Владимир. **Крестная слава** (№12)
ШТЫРОВ Вячеслав. **Без единства инфраструктуры нет единства страны** (№8)
ШУЛЬГИН Владимир. **“Бюрократическое иго” Санкт-Петербурга в отображении русской классики XIX – начала XX века** (№9); **Попытка исторического реванша** (№5)
ЮДИН Владимир. **Вакцинироваться или нет? – Вот в чём вопрос** (№2); **ЕГЭ – путь в никуда** (№8)

ПАМЯТЬ

БАГРОВ Сергей. **Загадки Родины** (№10)
БЕРЯЗЕВ Владимир. **Звезда и крест Станислава Золотцева** (№5)
БРАГИН Никита. **Человечество и природа в стихах Сергея Викулова** (№9)

ГОРЕЛАЯ Ольга. **“И вдохновеньем полнится душа...”** (№11)
ДАНИЛЬЕВА Галина. **Собачья площадка в лучах Арбатско-Поварских переулков** (№10)
ДАРЕНСКИЙ Виталий. **Филология как постижение бытия в слове** (№5)
КРАСНИКОВ Геннадий. **Танцы смерти на горящих мостах** (№10)
КРАСНОВ Пётр. **Не уходи с поля** (№6)
КУНЯЕВ Сергей. **Вадим Кожинов** (№ 2-3, 6-7, 11); **Русский интеллигент-труженик** (№5)
КУНЯЕВ Станислав. **Детство, спасённое любовью** (№1)
МЕЛЁХИНА Наталья. **“Остался в поле след...”** (№9)
Нет для меня роднее и ближе издания, чем “Наш современник”... (Письма С. В. Викулову) (№9)
РОСТОВЦЕВА Инна. **Марина Цветаева: час души** (№10)
СМОРОДИНА Анна. **Но русская я по крови...** (С предисловием К. Смородина) (№8)
СУХОВ Фёдор. **Пересвет и Ослябя** (№3)
ЧЕРКЕСОВ Валерий. **Правда Фёдора Сухова** (№3)
ШОРОХОВ Алексей. **Русский хоровод посреди всемирного карнавала** (№2)
ШУРАЛЁВ Александр. **Памяти Сергея Янаки** (№9)
ЩЕПОТКИН Вячеслав. **Люди на дороге жизни** (№2-4)

КРИТИКА

БАЛТИН Александр. **Словесное сияние советского деревенского космоса** (№ 4); **Космос Евгения Степанова** (№9)
БОЧЕНКОВ Виктор. **Корзина с мухоморами** (№7)
ВОДОЛАГИН Александр. **В кабале у Солнца** (№2)
ГУНДАРИН Михаил. **Валентин Распутин и Владимир Маканин: в тисках великой модернизации** (№3)
ДУДАРЕВА Марианна. **Русские Иваны, или об апофатике русской современной поэзии** (№5)
ЕГОРОВА Наталья. **Сражение за вечность** (№12)
Если преодолеем – у нас появится шанс. Интервью с Юрием Козловым (№6)
ИВАНОВ Николай. **Точка “Ноль”** (№4)

КАРАСЁВ Вадим. **“В моей душе – одна любовь...”** (№11)
КОЗЛОВ Владимир. **Поэзия как полная противоположность идеологии** (№4)
КРУГЛОВ Роман. **Иерархия ценностей** (№8)
КУРКИН Борис. **Железный всадник** (№6)
ЛЮБОМУДРОВ Марк. **Великорусский театр** (№2)
ЛЮТЫЙ Вячеслав. **Родовые вериги** (№12)
МИНАКОВ Андрей. **Трудный опыт большой книги о славянстве** (№9)
НЕСТРУГИН Александр. **“Дай мне самому её пройти...”** (№11)
НИКОЛЬСКАЯ Татьяна. **“Картину с Троцким показывать нельзя...”** (№4)
НОВИКОВА-СТРОГАНОВА Алла. **Пасха и русская литература** (№5)
НУЖДИНА Анна. **Посмотрите на Воронеж** (№1)
ОРЛОВ Даниэль. **Эмпатия и интуиция – два мускула писателя** (№8)
ПАВЛОВ Юрий. **Александр Казинцев как критик и публицист: путеводитель** (№8)
ПРИЙМА Иван. **Леонтьев или Достоевский?** (№6)
РАЗУМИХИН Александр. **Царица салонов и стихотворение Лермонтова** (№5)
РУДЯГИНА Олеся. **“Есть в мире сердце, где живу я...”** (№10)
СВИНИННИКОВ Валентин. **Размышления о “Дневнике русского”** (№5)
Слушать и слышать – важнее, чем говорить. Интервью Юрия Татаренко с Ниной Ягодинцевой (№1)
ТАРКОВСКИЙ Михаил. **Озёрное чудо** (№2)
ТАТАРИНОВ Алексей. **Юрий Павлов и Захар Прилепин: драма на правом фланге** (№9)
ТКАЧЕНКО Пётр. **“Бродил и я в стихиях мира...”** (№5)
ЧИЖОВ Михаил. **Самобытный взгляд на историю** (№10)
ЮДИН Владимир. **Святые горы** (№6)
ЯГОДИНЦЕВА Нина. **Существуют ли критерии оценки художественного произведения?** (№5)

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

АНАШКИН Эдуард. **Неугасимая лампада слова...** (№5)

БЛЮМИНА Ольга. **Преодолённое время Василия Казанцева** (№2)
ВОЛОДИХИН Дмитрий. **Движение к изначалью** (№2)
ВОРОБЬЁВА Людмила. **Единая земля Победы** (№1)
ЕРМЕНКОВА Наталия. **Ваше Превосходительство Слово** (№12)
ЕФИМОВСКАЯ Валентина. **Скорлупки золотые, или Разбиение “вещества существования”** (№5)
ЖДАНОВА Елена. **Донбасский проект закрыт** (№8)
КОЗЛОВ Анатолий. **Рождение и крах Великой Скифии** (№6)
КОКШЕНЁВА Капитолина. **Искусство помнить. Философ Астафьев и наша современность** (№1)
КРЮКОВА Елена. **Сотворение мифа** (№1)
МАХАЕВ Виктор. **Временной круг Константина Смородина** (№2)
МЕЛЁХИНА Наталья. **В зеркале провинции** (№3)
МОСКВИН Александр. **Воля и фатум. “Пугачёвская” трилогия Александра Чиненкова** (№7)
НЕСТРУГИН Александр. **“Тёплый свет издалека...”** (№9)
ПЕТРОВ Виктор. **Чабрец Непрядвы** (№7)
ПИРОГОВ Николай. **Биография Симона Полоцкого** (№2)
ПОПОВ Артём. **Небесная проза и земные герои** (№8)
САЗЫКИН Анатолий. **Путеводитель по русской душе** (№9)
СЕМЁНОВА Валентина. **“Возвращение” Александра Казинцева** (№1)
ТАТАРИНОВ Алексей. **Ажурная тяжесть “абсолютного текста”** (№7)
ТУГОВА Олисава. **“Деревенская” проза Артёма Попова** (№8)
ШЕПЕЛЁВ Алексей. **Не мода, но таинство** (№12)

ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЯМИ

БОБРОВ Александр. **От Волги до Эльбруса** (№10)
ДАБРИШЮТЕ Дина. **Печаль свою оставлю ветру...** (№12)
ДЬЯКОВА Нина. **Свет “Забайкальской осени”** (№10)
ЕРШОВА Зинаида. **Репетиция школьного вальса** (№10)
КОЖЕВНИКОВА Наталья. **Лёгкая лодка на вольной воде** (№11)

КОРНИЕНКО Игорь. **Мамихлапината-пай** (№11)
ЛУНИН Юрий. **Преображение. Рассказ** (№11)
МАЛЫГИНА Александра. **Цикориевый небосвод** (№12)
МАМАЕНКО Анна. **“Перекасти-столетие”** (№11)
ТАТАРЕНКО Юрий. **Отпуск в Сибири** (№12)
ЧАЙКА Лена. **Когда прорастаешь у моря** (№12)
ЧУРАЕВА Светлана. **Падали яблоки в графском саду** (№10)

В КОНЦЕ НОМЕРА

ВАЛЮКЕНАС Ярас. **Взгляд из Литвы** (№2)
ДОРОГАНЬ Олег. **Афористические раздумья Ивана Переверзина** (№1)
Заявление писателей Республики Абхазия (№4)
КОБОЗЕВА Анастасия. **Молодой “Наш современник”** (№1)
КОСЯКОВ Дмитрий. **“Молодая” литература на рубеже** (№8)
КОТЮКОВ Лев. **Бабочка во тьме** (№1)
КУНЯЕВ Сергей. **“Круглый стол”, посвящённый Юрию Кузнецову** (№1)
КУНЯЕВ Сергей. **Сорок пять лет дискуссии “Классика и мы”** (№12)
КУПРИЯНОВ Вячеслав. **Вокруг больших поэтов** (№12)
НАЩЁКИНА Нелли. **Слова сапёра в час передышки** (№7)
Памяти скульптора (№1)
ПЕРЕВЕРЗИН Иван. **Афоризмы** (№1)
Письмо Президенту (№3)
СЕЙДАМЕТОВА Карина. **Великолепная семёрка “по-леонтьевски”** (№12)
ТИМОФЕЕВ Андрей. **Классическая литература и современный писатель** (№12)

ЮБИЛЕЙ

БОНДАРЕВ Юрий. **Представление на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства Станислава Куняева** (№11)
СВИНИННИКОВ Валентин. **Страстное мужество Станислава Куняева** (№11)
СЕМЁНОВА Валентина. **История отступничества в зеркале поэзии** (№11)
Поздравления Ст. Куняеву (№12)

ТКАЧЕНКО Пётр. **“Всё, что было отмечено сердцем...”** (№11-12)

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

“Ради добра и справедливости” (№11)
СКРИПКО Валерий. **Люди сибирской стороны** (№4)
ТОР Александр. **События на Украине в свете экранизации романа “Белая гвардия”** (№9)

НА ЯЗЫКЕ ВОЙНЫ

ПРОХАНОВ Александр. **Алеющий восток** (№5)
ГУЦЕРИЕВ Михаил. **Украинская рапсодия** (№5)

СРЕДИ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

ПЕТРОВА Марина. **“Единственный глаз на макушке, который постоянно устремлён в небо, где живёт Бог”** (№1)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПУТИН Владимир. **Поздравление работников культуры** (№4)

МИР СВИРИДОВА

БЕЛОНЕНКО Александр. **Шостакович и Свиридов: к истории взаимоотношений** (№3-4)

СВЕТ РАЗУМА

ЩЕРБАКОВА Марина. **В преддверии русской Палестины** (№4)

Поздравление юбиляру (№ 6)

Творческие итоги 2021 года (№ 1)

К 200-летию Николая Яковлевича Данилевского



Европа не признаёт нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для неё простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д., — материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему, так прежде было надеялась, как особливо надеялись немцы, которые, несмотря на препроставленный космополитизм, только от единой спасительной германской цивилизации чают спасение мира. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, всё же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твёрдое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, — которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, — которое имеет и силу, и притязание жить своею независимою, самобытною жизнью. Гордой, и справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно — чтобы не сказать невозможно — перенести это. Итак, во что бы то ни стало, не крестом, так пестом, не мытьём, так катаньем, надо не дать этому ядру ещё более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь.

Н. Я. Данилевский “Россия и Европа”

18 декабря исполняется 90 лет
со дня рождения большого русского поэта
Анатолия Константиновича Передреева



МОСКОВСКИЕ СТРОФЫ

*В этом городе старом и новом
Не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
Удивить выраженьем лица.*

*В этом городе новом и старом,
Озабоченном общей судьбой,
Нелегко потеряться задаром,
Нелегко оставаться собой!*

*И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колес,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слёз!*

*Но летит надо мной колокольня,
Но поёт пролетающий мост...
Я не вынесу чистого поля,
Одиноко мерцающих звёзд!*

1964